Юозас
Пожера

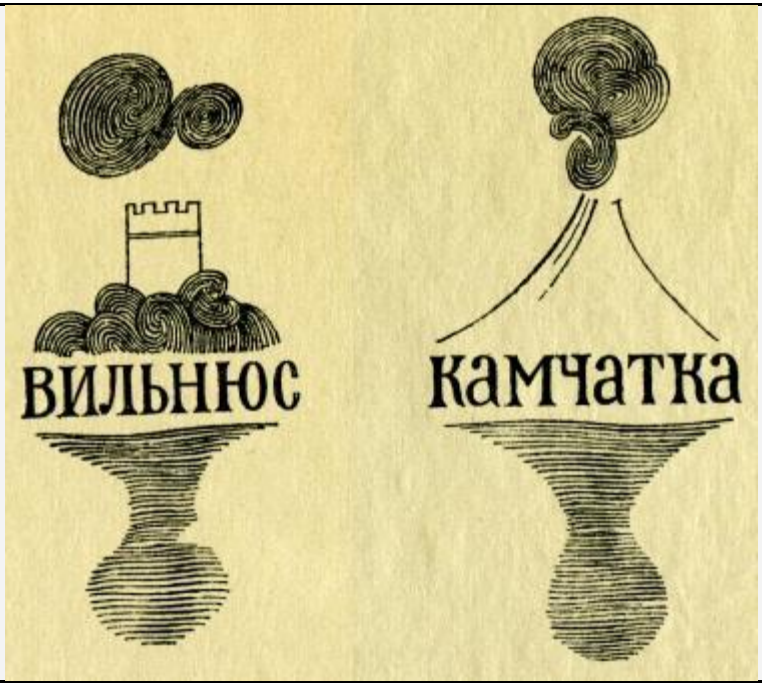
SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Юозас Пожера — литовский писатель, журналист, впервые выступил в печати в начале шестидесятых годов с очерками и рассказами о литовской деревне. Затем появился его сборник рассказов «Мне чудятся кони», роман «Мой суд». Большую популярность Ю. Пожера завоевал своими очерками. Писатель много ездил по Крайнему Северу Советского Союза, побывал у эвенков, ненцев, тофаларов, в Горной Шории, Туве, на Камчатке. Очерки о северных народностях составили несколько сборников: «День белого солнца» (1966), «Нет у меня другой печали» (1967) и «Северные эскизы» (1969), которые вошли в данную книгу.

- Нет у меня другой печали
  -
  - ДЕНЬ БЕЛОГО СОЛНЦА
  - ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ ТЕТЕРЕВА
  - МЕДУЗЫ НА БЕРЕГУ
  - НЕТ У МЕНЯ ДРУГОЙ ПЕЧАЛИ…
  - ТОФАЛАРСКИЕ ВСТРЕЧИ
  - ПО КАКИМ ДОРОГАМ ХОДИТ СЧАСТЬЕ
  - ГОЛОС ЗЕМЛИ
  - НА СЕВЕР С ПТИЦАМИ
  - СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Нет у меня другой печали

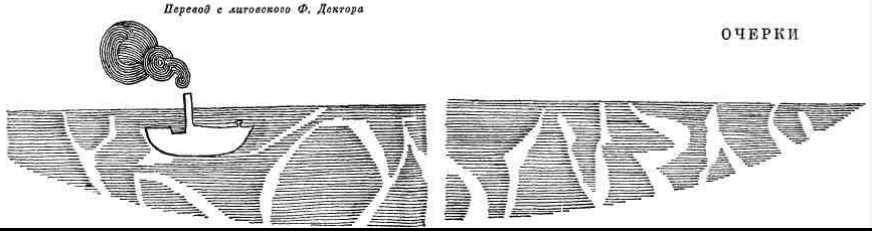


Юозас Пожера

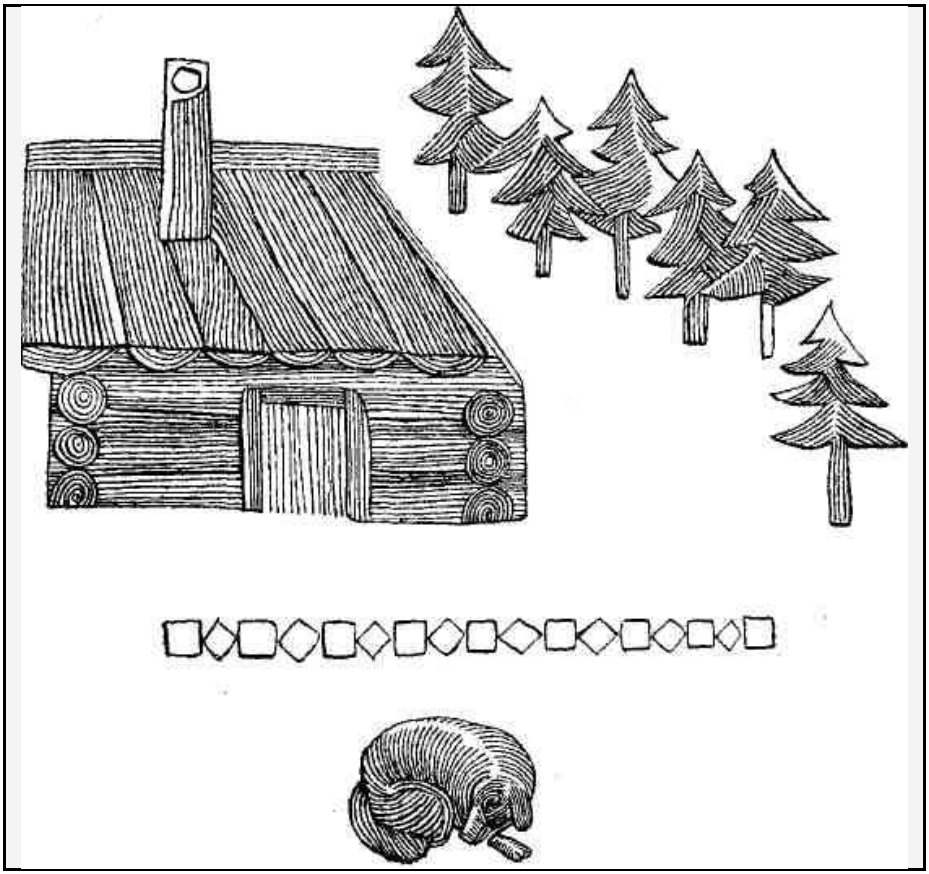
НЕТ У МЕНЯ ДРУГОЙ ПЕЧАЛИ

Перевод с литовского Ф. Доктора

ОЧЕРКИ



ДЕНЬ БЕЛОГО СОЛНЦА



1

Колеса поезда отсчитали первую и уже заканчивают вторую тысячу километров. Я еду по дорогам, которыми впервые довелось ехать почти четверть века назад, в суровые дни сорок первого года. Где-то позади остался новый Минск. Почти четверть века тому назад я видел, как падали на него немецкие бомбы. Человеческая память сохраняет такое на долгие времена… И я прекрасно помню, как сорок пять немецких бомбардировщиков уничтожали город, и как бомбы падали на вокзал, в котором мы ютились, и как стена гигантского дома, падая, похоронила под обломками десятки людей с малыми детьми на руках, и как моя девяностолетняя бабушка металась от одного внука к другому. А

внуков было четверо. И старшему — мне — всего четырнадцать лет. Остальным — семь, четыре и три. Испуганные, оглушенные разрывами, они рассыпались во все стороны, как цыплята из-под крыла наседки, а она — седая старушка — собирала их в кучу. А потом, когда бомбардировщики оставили горящий город, мы сидели под яблоней на вокзальном скверике и ели сахар, несколько мешков которого были рассыпаны прямо на мостовой. Кто-то сказал, что сахар, может быть, отравленный, но малыши не понимали, что такое отрава, они были просто голодными.

Где-то позади остался и крохотный полустанок на Смоленщине. Поезд миновал его ночью, я ничего не увидел, но память навсегда сохранила для меня этот полустанок, ибо здесь я впервые познал тепло русского сердца. Мы ехали в товарных вагонах, и ночи были холодные. Может, они были не холоднее, чем все июньские ночи, но мы не захватили ничего из теплой одежды, и мой младший братишка заболел. Когда мы очутились на том полустанке, поезд обступили люди. Они бежали от вагона к вагону, разнося молоко, хлеб, мед, заранее сделанные дома бутерброды, и все это отдавали беженцам, словно мы были их ближайшая родня. И навсегда осталось у меня в памяти одно лицо. Простое, скуластое, немного курносое лицо мужчины. Этот человек принес жестяную банку с медом и большую буханку хлеба, сам влез в вагон, вручил нам свои дары и молча смотрел на нас, как бы стараясь все увидеть и запомнить. И когда четырехлетний малыш застонал на полу вагона, мужчина нагнулся над моим братом, коснулся ладонью его горячей головы и грустно поглядел на голые доски, на которых лежал прикрытый жиденьким бабушкиным платком ребенок. Мужчина с минуту колебался, точно взвешивая что-то, а затем снял с себя пиджак и завернул в него моего больного брата… Это было мое первое знакомство с теплотой русского сердца.

А сейчас я лежу на полке вагона и мчусь по заснеженной русской земле на восток. Колоса неумолчно отсчитывают километры, и чем меньше их остается до Пачалмы, тем больше я волнуюсь, волнуюсь так, словно встреча с Пачалмой будет для меня решающей, словно от этой встречи в моей жизни зависит очень и очень многое.

Пачалма, Пачалма! Вы только вслушайтесь в звучание этого слова. Для меня оно — колокол далекого детства, вызывающий радостные и грустные воспоминания.

Пачалма, моя Пачалма! Сколько раз бывал я на этой маленькой станции, провожая друзей своего детства и ранней юности, уходивших из дому с простым полотняным мешочком, в котором не было ничего, кроме ложки, железной кружки да

горсти черных сухарей. Русские матери любят своих детей, как и все матери мира. Но в суровом сорок первом году (и еще много лет после того) русским матерям было нечего положить в дорогу своим детям, хотя для многих это была последняя дорога, из которой они так никогда и не вернулись, сложив свои молодые головы по разным уголкам Европы. И в моей Литве — тоже.

Пачалма, моя Пачалма! Приближаясь к тебе, я, кажется, понимаю, почему меня постоянно зовут, манят российские дали. Однажды у Каунасской гидроэлектростанции я видел бесчисленные косяки рыб, собравшихся перед плотиной, запрудившей дорогу в верховья, к большим и малым речкам, в которых испокон веков метали икру их предки и куда неизменно возвращались нереститься их потомки. Я слыхал, что мы, литовцы, как и другие балты, пришли в Литву из каких-то северных и восточных краев, что там и поныне сохранились балтские названия отдельных местностей и рек. Если человек действительно чувствует зов предков, то я понимаю, почему зовут меня русские дали. Однако вряд ли мы можем так сильно чувствовать этот зов, чтобы бредить по ночам просторами далекой земли, ее утонувшими в снегах лесами.

Пачалма, моя Пачалма! Я понимаю, откуда эта тоска и волнение, откуда это огромное беспокойство, которое не дает мне оторваться от окна: я отправляюсь в свое детство. Встреча с детством всегда волнующа — как первое свидание, как первая любовь.

Вот поезд замедлил ход, прополз еще немного и остановился. Я выскочил из вагона и оторопел: где же моя старая Пачалма? Все вокруг настолько изменилось, что я несколько раз перечитываю название станции и думаю, что это, наверно, какая-то другая Пачалма, где я никогда не был. Но нет, это она, та самая Пачалма, куда я провожал по узкоколейке друзей моей ранней юности… И не надо грустить, что она стала неузнаваема. За четверть века многое может измениться… Особенно в наше время.

Я поднимаю с железнодорожной насыпи небольшой камешек, прячу его в карман и возвращаюсь в вагон. Поезд движется по своему маршруту, а мои мысли бегут по узкоколейке от Пачалмы к Нижне-Ломову, где мы провели первую военную зиму…

Помню, сначала мы жили в школе. Малышей сразу взяли в детский сад, откуда они то и дело убегали, подрывшись, точно хорьки, под высокой оградой. Мы вели их обратно, а через несколько минут они снова вылезали из-под забора. Наконец воспитательница детского сада с помощью моей бабушки выучила горстку литовских слов. Этого хватило, чтобы малыши нашли с

ней общий язык и не убегали домой. Мы получали талоны, по которым нас бесплатно кормили в ресторане, но поздней осенью, когда гитлеровские орды подступили к Москве, талонов больше не было. Малыши по-прежнему ходили в детский сад, а нам приходилось заботиться о пропитании для себя. Но как это сделать, если бабушке шел девяностый, мне — четырнадцатый, а сестренке Люсе — восьмой год?

Жили мы в то время в тесной комнатушке, в частном доме, хозяйка которого кормила нас. Ее муж и сын ушли на фронт. Женщина осталась одна в большом доме. Все комнаты были отданы беженцам. Она не держала под замком ни дрова, ни картошку, которую сообща накопали осенью на ее огороде, однако этих запасов не могло хватить надолго. Слишком много ртов было в доме этой русской женщины. И однажды запасы кончились.

Помню, в то утро она взяла меня за руку и хотела вести в город. За дверью намело горы снега, и она втащила меня обратно в комнату, велела снять изношенные ботинки и сама нашла валенки сына. Пусть эти валенки были и великоваты, и поношены, но я в них чувствовал себя как у Христа за пазухой. Меня уже не страшили вьюги.

Хозяйка повела меня к секретарю райкома партии, успевшему потерять руку на фронте. Я знал тогда не слишком много русских слов, но понял, что речь идет о нашей семье, о голоде… Секретарь повел меня в небольшую пекарню. Там и остался я в тот день, начав свой трудовой путь учеником пекаря.

Что значит в голодное время работать в пекарне — этого можно не объяснять даже самому наивному человеку. Но я хочу рассказать об одном случае.

Каждый день, возвращаясь с работы, я приносил домой буханку хлеба. Краденого хлеба. Только с той разницей, что про эту мою кражу знали все рабочие пекарни. Кроме заведующей — молоденькой Насти, которая еще ходила в вечернюю школу. Началось это в первый же день. Наш пекарь — пожилой дядя Ваня — на глазах у всех разрезал вдоль буханку хлеба и велел мне расстегнуть мой тоненький плащ. Он прижал половины буханки к моему животу и обвязал шпагатом, чтобы не выпали из-под плаща. И так было каждый день. Каждый день я приносил домой буханку хлеба военных лет, который был большим подспорьем для нашей семьи. За эту буханочку мы получали для малышей каплю молока, меняли ее на картошку, а иногда — на охапку дров или стакан крупы.

Однажды, возвращаясь с работы, я нос к носу столкнулся в проходной с юной Настей — заведующей нашей пекарней. Сам не

знаю, как это случилось, но одна, а за ней и вторая половина буханки выскользнули из-под плаща и шлепнулись на порог. Настя подняла их и вернулась со мной в цех. Она была честным, добросовестным руководителем, и нелегко ей было решить, что делать с несовершеннолетним вором. Она плакала, как маленькая обиженная девочка, а потом посмотрела на меня еще мокрыми от слез глазами, отдала хлеб и сказала:

— Я ничего не видела, ничего не знаю.

Сегодня, спустя четверть века, я преклоняюсь перед этими чистыми Настиными слезами и знаю, что та ежедневная буханка военного хлеба много сделала для того, чтобы после освобождения Литвы мы все, живые и здоровые, вернулись домой, к родителям, которые уже оплакали нас…

Пачалма, ты моя Пачалма! Имя твое звучит для меня колоколом далекого детства, нашептывая все новые и новые сказки, но я удаляюсь от тебя на восток, где люди творят на сибирской земле иные сказки, необычайные, незаурядные, о которых я должен поведать в своих письмах.

2

Всем нам более или менее известно, что такое электрифицированная железная дорога, но когда едешь по магистралям Сибири, невольно изумляешься и начинаешь понимать, что только могучая индустриальная держава могла осуществить такой замысел. Прежде всего, нужно было иметь достаточно стали, чтобы поставить вдоль всего полотна мощные опоры, несущие на своих плечах сеть проводов, иметь достаточно электроэнергии и, как и в каждом деле, опытных, хорошо знающих свое дело специалистов. Всем этим обладает современная Сибирь.

Если бы меня спросили, что больше всего бросается в глаза в современном сибирском пейзаже, я бы не колеблясь ответил: электрификация края. Высоковольтные линии провожают нас всю дорогу. И все это — в стране, которая двадцать с небольшим лет назад закончила самую страшную в истории человечества войну, в стране, на долго которой выпали невиданные разрушения и потери. Размах работ, их темпы поистине изумительны.

В Красноярск приехали ночью. Утром мне надо будет пересесть на поезд, идущий к берегам Лены. Сдав багаж в камеру хранения, я спешу к выходу в город. Электрические фонари распространяют, кажется, не только свет, но и тепло, они утопают в тумане, словно в клубах пара. У вокзала я бросаю взгляд на

большой градусник — тридцать пять ниже нуля. Сибиряки говорят, что это не мороз, а морозец. Бодрящий, веселый морозец. Ну что ж, веселые люди эти сибиряки!

Глубокая ночь. По московскому времени сейчас одиннадцать вечера, а по местному — уже три часа ночи. На вокзальной площади светятся несколько зеленых огоньков такси. Подхожу к одной из машин, сажусь, и мы движемся по улицам спящего Красноярска.

— Куда поедем? — спрашивает шофер.

— Безразлично. Хочу посмотреть на город.

Шофер сбавляет газ и подозрительно косится на чудака, которому под утро вздумалось осматривать город. Но я объясняю, что пробуду в Красноярске всего несколько часов, что я очень любопытный человек, и он успокаивается. Некоторое время мы едем молча. Я смотрю на спящий город, и вдруг шофер говорит:

— Жалко мне ваших денег. Вернемся.

— Почему?

— Красноярск большой город. На сорок километров тянется набережная Енисея.

Тут и я подумал о своем кошельке.

Мы покружили еще немного по безлюдным улицам, и шофер окончательно решился:

— Хватит. Толку из этого не будет. Что вы ночью увидите? А меня совесть мучает, как на таксометр погляжу.

Мы возвращаемся на вокзал.

До поезда еще несколько часов. На одной из дверей написано, что здесь можно в любое время суток принять душ. Я покупаю билетик, получаю мыло, полотенце, мочалку и мысленно благодарю людей за хороший порядок, заботу о тех, кого ждет еще не одна пересадка.

На рассвете я уже сидел в поезде, который уносил меня к берегам далекой Лены.

От Тайшета поезд повернул еще круче на север. С каждым часом в вагоне становилось все холодней, хотя проводник не жалел угля и все время подбрасывал в топку. Под вечер стены вагона обындевели. Я вынул из чемодана приобретенные в Вильнюсе валенки, так как ноги в полуботинках стали мерзнуть. Через несколько часов я почувствовал, что валенки не годятся. Они были узковаты и выворачивали стопу в сторону, больно ломали пальцы. Проводник дал мне молоток и посоветовал побить валенки, чтобы они стали немного мягче. Я колотил их что было мочи.

В Тайшете в вагон вошел новый пассажир. Лысоватый, худощавый человек лет пятидесяти снял полушубок, пиджак и,

сидя в одной рубахе, со снисходительной улыбкой наблюдал, как я колошмачу свои валенки.

— Первый раз в этих местах?

— Первый, — ответил я.

Мы познакомились. Оказалось, он здешний старожил. Еще раньше я заметил, что и проводник и пассажиры, вошедшие вместе с худощавым человеком, обращаются с ним весьма почтительно и называют его Хозяином. Когда мы познакомились, я понял, чем это вызвано. Оказывается, Сергей Евстигнеев работает в этих местах с сорок седьмого года. Он руководил работами по строительству железной дороги Тайшет — Лена, по которой мы сейчас едем. Закончив прокладку железной дороги, перешел на должность заместителя начальника управления «Братскстрой». В этом главном строительном управлении Братска есть еще несколько управлений по строительству отдельных крупных объектов. О тамошних масштабах можно судить по следующим примерам: Братская гидроэлектростанция — одна из самых мощных в мире; Братский деревообрабатывающий комплекс — самый большой в мире, а печи алюминиевого завода, который скоро войдет в строй, выдадут целую реку алюминия.

Простой и сердечный человек Сергей Евстигнеев. Настоящая русская душа. С удивительной готовностью он рассказывает о новостройках этого сурового края, о проблемах и трудностях, с которыми пришлось столкнуться и преодолеть, о том, что Братская гидроэлектростанция — уникальное сооружение, посмотреть на которое приезжают шведы, американцы, англичане, французы, и что Усть-Илимская гидроэлектростанция будет еще более совершенной.

— В Усть-Илиме тоже вы будете строить?

— Мы.

— А как туда попасть?

— Приезжайте ко мне в Братск, и как-нибудь доберемся туда, — сказал он и улыбнулся своей открытой улыбкой.

Мы простились, договорившись, что обязательно встретимся.

* * *

Братск вырос там, где еще пять лет назад на сотни километров во все стороны тянулась бескрайняя тайга, непроходимая, не знавшая человека, никогда не видевшая ни пилы, ни топора. Теперь здесь стоит новый город. Как и в каждом молодом городе, здесь даже проездом можно видеть историю его бурного развития. Вот, выстроившись длинными шеренгами,

стоят красные вагончики. Когда-то в них жили первые покорители здешних мест. Еще и сегодня над тем или другим вагончиком из жестяной трубы прямым столбом подымается в холодное ясное небо лента дыма, еще белеют кое-где на маленьких окнах узорчатые занавески, сохнут на дворе гирлянды залубенелого белья. Однако большинство вагончиков пустует. Заброшенные и покосившиеся под рыхлой шапкой снега, они стоят, как памятники тем, кто первым пришел на эту землю и своими руками преобразовал ее. Рядом с вагончиками выстроились на новых улицах бревенчатые дома с резными ставнями, большими крылечками и щедрой полосой дыма над красными кирпичными трубами. Дым валит из труб не переставая. Весь день. Здесь достаточно дров, чтобы человек жил в тепле. Эти дома — тоже уже история, вчерашний день края. Мы проезжаем еще немного, и открывается панорама нового города. Уже построенного и строящегося. Четырех- и пятиэтажные дома, утонувшие в сосняках, напоминают мне новые жилые районы Вильнюса. На улицах — вереницы машин.

Поезд снова бежит через тайгу, раскинувшуюся по холмам. Повсюду масса лыжников. Красные, синие шапочки и разноцветные костюмы лыжников, ослепительный блеск снега в ярких солнечных лучах, стайки ребятишек с салазками — все это утепляет пейзаж и свидетельствует о жизненной силе человека, его умении применяться к самым суровым естественным условиям и жить полнокровной жизнью.

Участок тайги кончается, и поезд замедляет ход.

— Опять станция? — спрашиваю у проводника.

— Нет. Приближаемся к Братской электростанции. Сейчас поедем через Ангару.

Пассажиры приникают к окнам.

Поезд очень медленно движется по крутому берегу Ангары. Внизу, метрах в двухстах под нами, клубится, катится, вьется густой дым, в редких прогалинах которого видна синяя ангарская вода. Даже в сорокаградусные морозы река ниже электростанции не замерзает. Зрелище настолько величественное, что его трудно описать, как трудно передать, например, тонкий запах первого подснежника. Надо понюхать самому. Так и здесь — надо своими глазами увидеть это зрелище, чтобы можно было составить истинное представление об этом величественном сооружении.

А поезд все мчит на север по бескрайним таежным просторам. За окном — «Швейцария». Островерхие горы, поросшие густой щеткой хвойных деревьев. Чем дальше мы едем, тем большее беспокойство охватывает меня. В вагоне новые люди. Некоторые живут в этих местах уже по многу лет, но никто не

слышал об Игирме — поселке, в который я хочу попасть. Вообще все в этой поездке складывается довольно странно. И началось это еще до того, как я пустился в путь. Однажды я случайно услышал по вильнюсскому радио, что какой-то учащийся-литовец, живущий в поселке Игирма, Нижне-Илимского района, желает переписываться с земляками. Я написал ему. Через месяц пришел ответ. Писал не он, а его отец, ибо моему учащемуся — всего одиннадцать лет. Приглашал приехать познакомиться с Сибирью. Написал, до какой станции брать билет, где пересадка.

Мороз усиливался. Проводник выдал мне три одеяла, а сверху посоветовал накинуть еще и ватный тюфяк. Укрывшись таким образом, мне удалось на несколько часов задремать. Однако спал я беспокойно, даже во сне думая о том, что буду делать, если на станции Хребтовая меня никто не встретит. В письме было сказано, чтобы из Красноярска я телеграфировал в Игирму. Мол, придет машина меня встречать. Телеграмму я дал. Но дошла ли она?

Поезд двигался совсем медленно. Дорога все время шла в гору. И чем выше, тем сильней мороз. На станции под названием Сохатый проводник сказал, что снаружи — пятьдесят два градуса мороза. А спустя минуту он вернулся с сияющим видом и сообщил, что в соседнем вагоне есть человек, который знает, как попасть в Игирму. Проводник познакомил нас. Это был молодой парень. Коренной сибиряк. Родился и вырос в этих местах. Но теперь живет под Иркутском. Получил телеграмму, что его отец при смерти, и теперь торопится домой.

Мы вместе сошли на станции Хребтовая. Никто здесь меня не ждал.

Из какого-то вагона высыпала группа молодежи. Студенты. Едут из Иркутска в Илимск. Будут проходить практику в леспромхозе. И мне и моему новому товарищу Борису Котенцеву Илимск по пути. А поскольку студентов-практикантов ждал небольшой автобус, мы попросились к ним и вскоре катили по шоссе.

До Илимска добрались в час ночи.

Борис взял мой тяжелый чемодан, я закинул за спину рюкзак, и мы вышли в студеную ночь.

— Где будем ночевать?

— Найдем. Тут у меня родня есть, — успокоил Борис и первым двинулся по спящей улице, протянувшейся по заснеженному берегу Илима.

Борис долго и упорно стучал в окна одного из домов, пока внутри не зажегся свет. Через минуту мы вместе с клубами пара ввалились в жарко натопленную сонную избу.

Хозяин дома Николай Ведерников и его жена Галина встретили нас радушно. Не слушая наших возражений, гостеприимные сибиряки торопились накрыть на стол, покормить «дорогих гостей». На столе мигом появились рюмки, из кухни донесся запах жареной оленины, хозяйка поставила глубокую миску красных, маринованных с чесноком помидоров. С собственного огорода!

— Утром я достану машину, и сможете выехать в Игирму, — сказал хозяин.

— Далеко ли до Игирмы?

— Пустяк. Километров тридцать. Спите спокойно и не волнуйтесь. Утром я все улажу.

Я лег на железную кровать с мягкой пружинной сеткой, положил голову на белую, пахнущую водой и холодом подушку и долго еще с закрытыми глазами прислушивался к тихому разговору родственников о своих семейных делах, думал об этой поездке, о повстречавшихся мне людях и о том бесценном тепле, которым окружили меня эти люди и которое не купишь ни за какие деньги, ибо ему, как и шедеврам искусства, нет цены.

3

Утром меня разбудил тихий шорох. Я открыл глаза и некоторое время не мог понять, где нахожусь. Я все еще чувствовал стук колес и покачивание вагона, а пробудившееся сознание подсказывало, что я лежу в жарко натопленной избе, на чистой мягкой постели, и слышу приглушенные голоса. Вся семья Ведерниковых и мой попутчик Борис Котенцев собрались на кухне, видимо не желая будить меня. Я вспомнил, что у Бориса впереди еще дальняя дорога до Нижне-Илимска, что его отец лежит на смертном одре, и мне стало стыдно за свой беспечный сон.

На кухне стол уже был накрыт для завтрака: маринованные красные помидоры с чесночком, глубокая миска горячего мяса, тарелка не чищенных, а только потрошенных, подернутых инеем хариусов. Эта великолепная рыба — редкость в Литве.

— У нас ее — вот! — Николай провел ребром ладони по подбородку и предложил: — Попробуйте. Сибирская. С душком.

Рыба и впрямь повонивала, и непривычному человеку нелегко было проглотить первый кусок, тем более что рыба не вареная, не жареная, не копченая — посоленная и замороженная сырая рыба. Мясо ее красное и по вкусу напоминает лососину. Осенью сибиряки ловят эту жирную, вкусную рыбу в больших количествах

и засаливают на зиму в пузатых бочках. Так же солят и лососевых рыб — тайменя, который здесь достигает шестидесяти — восьмидесяти килограммов. С доброго поросенка!

К мясу подали полную тарелку брусники. Перед этим ее держали на теплой плите, чтобы ягода немного отошла, так как ее принесли из холодных сеней, где она лежала с начала зимы. Мороженая брусника чрезвычайно вкусна и сладка. Кажется, будто ее смешали с сахаром, хотя хозяйка не сыпала его ни грамма. Такая брусника — незаменимая приправа к мясным блюдам.

Завтрак закончился традиционным сибирским чаем. Крепко заваренный чай, в который каждый по вкусу добавляет малиновое, клюквенное, черничное, черносмородиновое или красносмородиновое варенье. В Сибири все эти ягоды растут не в садах, а прямо в тайге и в таком огромном количестве, что нам трудно себе представить. Женщина, побродив часок по тайге недалеко от дома, приносит в одной руке ведро красной, а в другой руке — черной смородины. Собранную ягоду обычно сушат и только часть ее варят.

В Илимске есть леспромхоз, где Николай Ведерников работает технологом. Он еще рано утром позаботился насчет грузовика для нас с Борисом, который уже ждал на улице у ворот.

Мы сердечно простились с гостеприимной семьей, обменялись адресами, обещали при случае навестить друг друга, не порывать дружбы, родившейся в морозную ночь. Когда я, уже одетый, направился к двери, Галина Ведерникова, мать пяти дочерей, сказала:

— Присядем перед дорогой.

Я вспомнил, что здесь, в Сибири, народные традиции очень живучи и сказываются сильней, чем в других местах бескрайней России. Об этом мне приходилось немало читать, так что я послушно стянул шапку и присел на кончик стула.

День, как и все предыдущие дни, выдался морозный и солнечный. В высоком, необычайно чистом и синем небе висит ослепительное солнце, но лучи его еще скупо греют. Правда, в самый полдень на припеке мороз немного падает, и ртутный столбик поднимается на десять — пятнадцать градусов. Однако в тени все та же пятидесятиградусная стужа. В воздухе — ни малейшего ветерка. Голые лиственницы, заснеженные сосны и сибирские ели стоят застывшие, не смея шелохнуть веткой.

Кабина машины отапливается, и мы все трое сидим без варежек, подняв уши меховых шапок.

Дорога бежит через тайгу, взбираясь на пригорки и снова отвесно падая вниз, в долины, прижимается к высоким скалам и

делает крутые повороты, подбегая иногда к самому краю обрыва. В такие минуты из окна кабины не видно ленты дороги, а только пушистые макушки сосен далеко внизу. Из бокового окошка кажется, что не на машине едешь, а летишь на самолете. И еще почему-то лезут в голову мысли о внезапно отказавших тормозах, о лопнувшей вдруг передней шине, о том, что иногда машина не подчиняется водителю, тем более что дорога — сплошная ледяная корка.

Снега очень много, но дорога гладкая, не занесенная снегом, хорошо укатана. Теперь даже в таких отдаленных уголках Сибири много техники. Обычно снег выпадает здесь в начале зимы. Мощные бульдозеры пробивают в нем как бы каналы, чистят, скребут дороги, и стоят они почти всю зиму чистые, годные для проезда.

Зимник — близкая дорога. Часто она лежит по рекам. С толстым, метровым льдом. Малые речки промерзают до дна, и лучшей дороги не найдешь. Лишь местами, где бьют незамерзающие родники, приходится делать объезд, так здесь нарастают ледяные горы, которые сибиряки называют «накипью». В самом деле, такая наледь напоминает котел с кипящей водой. Родник непрестанно подает из глубины воду, а мороз схватывает ее, и нарастает ледяная гора. Хуже на таких речных дорогах весной. Особенно по большим рекам. Мне рассказывали, что Ангара поглотила не одну машину со всеми грузами, а порой и с водителем. Весной, когда воды подтачивают лед, водители часто едут, приоткрыв дверцу кабины, чтобы успеть выскочить, если машина ухнет под лед. Но и это не всегда помогает.

Шофер высадил меня в Игирме, а Борис отправился дальше, в Нижне-Илимск, до которого по реке Илим еще около пятидесяти километров.

Игирма — молодой поселок. Новые избы из тесаных бревен. Просторные. Со светлыми окнами. И над каждой дымятся трубы. Люди греются. Спасаются от лютой сибирской стужи.

Пока я сидел в кабинете директора химлесхоза Александра Быкова, пока мы с ним познакомились да перекинулись несколькими словами, в сенях набралось много людей, и я услышал литовскую речь. Оказывается, весть о моем приезде уже успела облететь поселок.

— Хорошо, что вы заглянули ко мне. Мы уже готовились отправлять машину в Хребтовую — встречать вас, — сказал Быков.

Спустя несколько минут я был в доме рабочего-литовца Зигмаса Лобшайтиса.

Сюда пришли и другие литовцы, различными путями

попавшие в этот край. О них я постараюсь рассказать в своих следующих письмах, когда лучше узнаю и самих людей и их жизнь. А теперь мы сидели за накрытым столом, и я видел, что люди заранее готовились к моему приезду. Об этом говорили заботливо приготовленные яства, нарядно одетые дети. Все это приятно волновало и в то же время стесняло, мне казалось, что я доставил людям лишние хлопоты.

Мы сидели за столом, когда кто-то постучал в дверь. Хозяин отворил и впустил почтальоншу. Подмигнув нам, он пригласил девушку к столу. Оказывается, она доставила телеграмму. Мою телеграмму, отправленную из Красноярска. Я сам же и расписался в получении. Теперь мне было ясно, почему прошлой ночью никто не ждал меня на утонувшей в сугробах станции Хребтовая. И запоздавшая телеграмма, и смущенное пожатие плеч почтальонши, и общий веселый смех откликнулись в моем сердце новой волной тепла, и я понял, что все трудности путешествия остались позади, понял, что эта телеграмма особенно порадовала хозяев, так как была вручена при мне, и я уже никак не мог бы заподозрить их в том, что они получили ее раньше, но не поехали в Хребтовую встречать меня. Запоздавшая телеграмма рассеяла взаимные сомнения.

— Лучше позже, чем никогда, — сказала почтальонша, как бы оправдываясь, но никто уже не сердился на почту.

4

Уже который день мои хозяева встают еще затемно, тихонько собираются и уходят на работу, а через час возвращаются домой. Нет работы. Так было и вчера, и позавчера, и позапозавчера. Это называется «актируемый день». Северные законы не позволяют людям работать, если мороз больше сорока пяти градусов. Нижне-Илимская метеостанция дает официальную справку о том, что такого-то и такого-то числа температура воздуха, допустим, пятьдесят градусов, и администрация хозяйства составляет акт, по которому рабочие не выходят на работу и им выплачивается за этот день половина зарплаты.

В эти дни печи топятся с раннего утра до позднего вечера. Только в полночь и в предрассветные часы не дымит труба нашей избы. Часто жар не остывает до самого утра. Подернутые серым пеплом угли все еще розовеют, искрятся. И все же под утро в комнате прохладно.

Каждое утро я выхожу во двор и не могу налюбоваться чудесными картинами. Наш дом стоит на высоком берегу

Игирмы, откуда открывается вид на высящуюся в пятидесяти километрах вершину горы у Нижне-Илимска, на широкую и глубокую долину реки Илим, сжатой с обеих сторон отвесными скалами, кудрявым ковром бескрайней тайги.

Это в полдень. А по утрам все утопает в густой белесой мгле — и долина, и горы, и тайга. Глаз выхватывает из тумана только ближние сосны да лиственницы, на голые ветви которых надеты белые чехлы инея. Лиственница — единственное хвойное дерево, которое на зиму сбрасывает свои иголки. Однако больше всего меня в такое утро удивляет солнце. В первый раз я даже подумал, что это не солнце, а блеклый диск луны, который можно увидеть поутру у нас в Литве. Уже который день солнце встает в дымке, непохожее на себя. Оно белое, как молоко. Никакого ореола, никакого иного цвета, ни одного луча! Белое, как молоко, солнце. Белый диск, на который можешь сколько угодно смотреть, не щуря глаз. И только к полудню этот белый диск начинает превращаться в солнце. Сперва несмело, краснея, точно девушка, оно окрашивается нежным румянцем, а спустя полчаса играет всеми красками, горит, пылает и не дает на себя смотреть, заставляя жмуриться, отводить прочь любопытные глаза. И тогда снова открываются, освобождаются от туманной дымки далекие сибирские просторы.

И еще меня удивляют здешние собаки. У моего хозяина их две: Белка и ее двухмесячный сын Дозор. Собаки круглые сутки на дворе. Им не положено ни теплой конуры, ни охапки соломы. Белка, свернувшись клубком, лежит под дверью дома, прямо на утоптанном снегу, а щенок ютится где попало. Оба покрыты инеем, словно надели белые шубы. Собака — умное существо. Она понимает, что я гость и мне не пристало кричать на чужом дворе, а посему каждый раз проскакивает мимо моих ног в теплую кухню. И каждый раз ее выдворяют прочь.

— Впустишь раз-другой — и нет собаки, — с тягучим жемайтийским акцентом объясняет Зигмас Лобшайтис. — Жалко губить собаку — хороший помощник. Будет гонять по тайге соболя и белку, а отведает тепла — и кончено. Заболеет, и поминай как звали. Сибирская лайка не боится мороза. Круглый год живет под открытым небом.

Наконец сегодня утром термометр показал «всего» сорок пять градусов. Часа через два мороз еще немного ослабнет, и нечего рассчитывать, что этот день «актируют», спишут. Мои хозяева собрались на работу. Решил и я пойти вместе с ними. Зигмас Лобшайтис посмотрел на мои валенки и сказал:

— Обувай мои. Твои мы еще лечить попробуем.

Я уже рассказывал, как пытался в поезде исправить свои

валенки, безжалостно колотя их молотком. Они чуть смягчились, но особенных результатов эта операция не дала. Зигмас тоже пытался что-то сделать: сунул их в горячую воду, хорошенько намочил, а потом натянул на специальную колодку. Валенки стали шире, но короче. Теперь палец больно упирался в носок.

— Этак сразу отморозишь палец. Обувай мои.

Долго уговаривать меня не требовалось. Я мигом натянул удобные хозяйские пимы на толстой подошве.

До лесного участка моих хозяев, где они работали в прошлом году и работают нынче, — два с половиной километра. Участок тянется вдоль дороги и поэтому легко доступен. Но стоит хоть на шаг свернуть с большака — снег выше колена. И лежит он рыхлый, нетронутый. Лишь кое-где бежит цепочка мышиных или беличьих следов. Со всех сторон долбят долотами бессменные лесные работники — дятлы. В абсолютной тишине их перестук, точно выстрелы, далеко-далеко разносится по тайге…

Лобшайтис и его жена Стасе (тоже родом из Жемайтии) прежде всего вырыли в снегу яму, положили туда корзину с провизией и засыпали снегом. Под снежным пологом не так быстро остынет суп и хлеб дольше не превратится, в ледышку. Лишь после этого они принялись за работу.

Сибирская сосна неохотно отдает человеку свой сок. Тяжелая работа у тех, кто собирает смолу. Я вижу, как Зигмас и Стасе подходят к высоченной сосне и специальными резцами, укрепленными на длинных черенках, срезают с дерева полосы коры. Иногда мне кажется, что люди мотыжат кору, которая большими кусками и мелкими крошками падает на белый снег.

Тяжелая работа. С непривычки и вовсе не по силам. Человек все время бредет по глубокому снегу и почти все время работает поднятыми руками. Неудивительно, что руки начинают коченеть, быстро мерзнут. За зиму Зигмас с женой должны обработать пятнадцать тысяч деревьев. Чем больше будет подготовлено за зиму деревьев, тем больше соберут смолы и тем больше заработают люди, выполнившие эту операцию. Другой работы зимой у сборщиков смолы нет. Обдирка коры вчера, обдирка сегодня, обдирка завтра — и каждый день. Если только утро не обещает день белого солнца.

А весной, когда деревья просыпаются от зимнего сна, у сборщиков смолы начинается самая горячая пора. Каждые четыре дня приходится обходить деревья и вырезать на очищенном от коры участке ствола по нескольку «усов», по которым стекает смола — очень ценное сырье для нашей промышленности, особенно химической. Так используют деревья лет пятнадцать. Потом их рубят. За это время они дают столько смолы, что ее

стоимость во много раз превышает стоимость самой древесины. В этих местах, где трудятся сейчас мой хозяева, несколько лет спустя разольется водохранилище Усть-Илимской гидроэлектростанции, и люди спешат взять как можно больше у тайги, пока она не очутилась на дне морском.

Потом мы разложили большой костер. Грелись сами и грели извлеченную из-под снега еду. Ломти хлеба насаживали на вертел, как насаживают кусочки сала отправившиеся на экскурсию дети, и держали их возле пламени, пока хлеб не согреется и не «заплачет». В хлебе, как его ни пеки, много воды. На морозе влага превращается в лед, а растаяв, проступает на поверхность прозрачной росой.

Жизнь Зигмаса Лобшайтиса была нелегкой. Семнадцатилетним парнем взял он в руки винтовку и записался в отряд народных защитников в местечке Эрживилкас. Много нервов стоили полные опасности ночи, когда свирепствовали шайки буржуазных националистов. Все знают, какое это было тревожное, кровавое время. После — милицейская школа в Каунасе, звание младшего лейтенанта, работа в Клайпеде, Гаргждай, Паланге. И сорвался парень на спиртном. Расстался с лейтенантскими погонами, расстался с работой, и остался человек только с верной своей Стасе и желанием не сдаться, выкарабкаться. Покинув Литву, отправился на поиски счастья. Был в Карелии, в Казахстане, а затем попал сюда. Воспитывает двоих детей — сына Зигмаса и дочурку Риту. Зигмас в третьем классе, Рита — в детском саду.

Лобшайтис говорит:

— Заработаю денег и поеду домой, в Литву.

А заработать здесь можно. Труд хорошо оплачивается. Не знаю, как складываются дела у Зигмаса. Сам он не хвастался, а спрашивать о таких вещах неудобно. Но один из литовцев — Альгас Свиклис, работавший в том же хозяйстве, сообщил мне, что где-то возле Утены достроил родителям дом за три с половиной тысячи рублей и еще столько же лежит у него на книжке.

Надо думать, и мечта моих теперешних хозяев тоже сбудется. Они действительно заслужили это.

Под вечер мы вышли из леса и большаком направились к дому. Иззябшие за день лица пылали, чесались, болели от малейшего прикосновения. Но я был доволен, так как знал, что после этого дня мне будет легче. А завтра я ухожу в тайгу на целую неделю. И администрация хозяйства, и заботливые мои хозяева всячески меня отговаривают, предлагают подождать. Но время не ждет. Не могу я сидеть здесь целую неделю. Никак не

могу, хоть и боязно в такую стужу брести на лыжах за двадцать километров по нетронутой тайге к охотничьей заимке, куда поведут меня коренные сибиряки, испокон веков промышляющие охотой и знающие этот край как свои пять пальцев.

Солнце еще не село. Желто-багровый шар горит на горизонте, освещая поселок с его дымящимися трубами. Я думаю, что и много лет спустя сибирская зима будет оживать в моем воображении прежде всего через эти дымящиеся трубы, устремившие высоко в синее небо белые пряди дыма. Солнце еще не село. Горит над дальним хребтом, а на востоке выплывает луна. Желтая, полная, ничем не отличающаяся от солнца. Разве только беловатыми контурами своих морей и кратеров.

Хозяин осматривается, глядит на чистое, будто выметенное, небо и говорит:

— Завтра опять мороз будет.

А я не знаю — радоваться мне или нет, что увижу еще один день белого солнца.

5

Наконец я остался в заимке один. Виталий Слободчиков и Ангон Ахунов положили в рюкзаки еду, захватили ружья и, нагнувшись у низкой притолоки, выбрались во двор, Я смотрел в окошко, как они долго и тщательно прикрепляли к валенкам лыжи, затем, проваливаясь по колено в рыхлом снегу, спустились с холма к замерзшей речушке, где мы видели утром свежие следы северных оленей. Я провожал их взглядом, пока прибрежные лиственницы и густые кустарники не слились с двумя фигурками. Они вернутся лишь поздно вечером. Я обязался приготовить горячую еду, чтобы они могли подкрепиться и согреться, едва переступят порог избушки. Однако до вечера еще много времени, и я достаю из рюкзака папку с бумагой, придвигаю к окну небольшой, грубо отесанный, но прочно сбитый стол.

Впечатлений столько, что не знаю, с чего начать. О чем писать? Может быть, о том, как Зигмас Лобшайтис отвез меня в деревушку Прокопьево и познакомил с человеком, который спас, вытащил из лап смерти и самого Зигмаса, и его жену Стасе? Это было несколько лет назад, во время ледохода, когда Илим выворачивает с корнем столетние деревья. Человек не струсил. На утлой лодчонке добрался до утопающих, вытащил их из воды. Я видел этого человека. Обыкновенное, ничем не примечательное русское лицо. Возможно, читателю и была бы интересна эта история. Возможно, через нее удалось бы раскрыть еще одну

черту, характерную для русских людей. Но я думаю, что на эту тему уже много писалось, и ничего нового я не скажу.

А что же новое я могу сказать? Чего наш читатель еще не слышал? О чем писать? Может быть, всех интересует трагедия, случившаяся в том же Прокопьеве поздней осенью прошлого года, когда медведь задрал двоих — отца и дочь — в их же собственном дворе? Это случилось семнадцатого октября, многие видели всё собственными глазами и рассказывали мне со всеми подробностями: и как медведь средь бела дня пришел ко двору, и как он, не обращая внимания на коров, направился к человеку, и как тот дал спрятаться в дом жене, а сам добежал под носом у медведя до сарая и хотел там запереться, и как медведь высадил дверь и одним ударом убил его, и как из избы выскочила дочь убитого и с голыми руками бросилась на медведя, и как зверь несколькими ударами в четырех местах сломал ей позвоночник. И как нес потом женщину в охапке, точно заслоняясь ее телом от преследователей, и как муж несчастной женщины долго не решался стрелять, и как в конце концов мужчины прикончили косматого разбойника.

Таких медведей называют шатунами, потому что в эту пору им положено спать, а они шатаются по тайге, видимо, потому, что у них глисты и они все время чувствуют голод. А какой сон голодному? Обо всем этом люди подробно рассказывали мне, и, наверно, можно было бы написать об этом, но я подумал, что медведь никогда не отличался нежным отношением к человеку, и ничего нового читатель не услышит.

И тогда мне захотелось написать о людях сибирской тайги, о вечной их борьбе с природой. О безжалостной, коварной тайге и о разуме человека, его воле, его умении приспособиться к невыносимым условиям и выйти победителем из этого поединка. Может быть, этот рассказ поможет читателю лучше узнать людей Сибири.

С Виталием Слободчиковым — коренным сибиряком — меня свел Зигмас Лобшайтис. Среднего роста, средних лет мужчина на первый взгляд показался мне мальчишкой из-за крупных веснушек, сплошь усеявших лицо, и рыжеватых, торчащих во все стороны вихрастых волос. Казалось, человек надкусил спелый помидор, обрызгался и не успел стереть капельки сока. Виталий долго раздумывал над моим предложением, отправиться в глубь тайги, но в конце концов согласился и сам предложил третьего спутника — башкирского татарина Ангона Ахунова, который уже несколько лет работает в этом же лесхозе. Ахунов оказался высоким парнем с твердым взглядом, кривоногий, словно родился на коне и всю жизнь не слезал с седла.

Вечером мы собрались в избе Виталия Слободчикова, принесли собранные в дорогу рюкзаки, но хозяин дома приподнял их, взвесил на руке и велел развязывать. Без долгих разговоров он извлек из моего рюкзака теплое одеяло:

— Это не нужно.

— Почему?

— Может, еще и раскладушку понесешь? — ответил он вопросом на вопрос, и все четыре малолетние его дочери засмеялись, точно колокольчики зазвенели.

Потом из рюкзака были изъяты две буханки хлеба, две банки мясных консервов, несколько десятков патронов.

— Зачем тащить эту тяжесть? Хватит ногам работы самого нести, — сказал он.

В свой рюкзак Виталий положил сахар, соль, несколько горстей крупы да несколько десятков замерзших, стучащих, как камешки, пельменей. Сибиряки очень любят пельмени и готовят их в больших количествах. Зарежут скотину, ставят тесто и делают пельмени. Мешок, два. Повесят в сенях, на чердаке, и висят они там, как в огромном холодильнике. Другие так же хранят котлеты. Мясо здесь никто не коптит. Солят либо морозят, как пельмени или котлеты. Когда приходит гость или просто так захочется, достаточно лишь вскипятить воду, и через полчаса на столе уже исходит паром миска пахучих, сдобренных чесноком пельменей. У кого есть корова или две, те так же поступают со сливками. Снимают их, сливают в ладные березовые туески и тоже замораживают. Месяцами хранятся такие туески в холодных сенях, наполненные всегда свежими сливками. Как видим, человек и сибирские морозы запряг в свою колесницу. Хуже летом, когда здесь стоит жара. Но и в жару местные жители держат молоко в тех же березовых туесках, и оно не киснет по нескольку дней.

Мы встали рано, еще до света. Нам предстоял поход в глубь тайги. За день надо будет пройти около сорока километров по глубокому и рыхлому, как пух, снегу.

Термометр показывал сорок семь градусов. Деревенские окна тускло светились, утопая в тумане.

Виталий Слободчиков шел впереди. Впрочем, назвать это ходьбой на лыжах можно только условно, так как лыжи утопали в снегу, и даже на ровном месте казалось, что человек карабкается в гору. Зато лыжи были не простые: короткие и широкие, подбитые лосиной шкурой, какими пользуются все здешние охотники. Благодаря своей ширине они сравнительно неглубоко вязнут в снегу, а полоски меха даже на крутом склоне не дают им скользить назад. Глубокие сибирские зимы заставили человека

придумать такие лыжи.

Мне легче всех. Передо мной все время мелькают кривые ноги Ангона. Я иду по протоптанной тропе.

Мы не далеко отошли от деревни, когда поднялось белое солнце и пролило на тайгу свой скупой свет. Повсюду виднелись заячьи тропки, со всех сторон доносился перестук дятлов, там и сям виднелись места, где ночевали глухари. Эти большие лесные птицы спят в снегу. С вечера, наевшись сосновой хвои, они камнем падают с дерева прямо в сугроб и оказываются под настом, устраивая для себя просторную спальню.

Однако чем дальше от деревни, тем угрюмее и пустыннее становилась тайга. Все реже встречались заячьи следы, почти не слышно было дятлов, лишь иногда вспорхнет семейство рябчиков, широким веером разлетаясь во все стороны. Зато все чаще попадались собольи следы, тропы, проложенные лосем и рысью. Казалось бы, здесь, вдали от людей, и должна водиться дичь, а почему-то все было наоборот. Неподалеку от деревни снег испещрен следами, а здесь — пусто. Почему?

— Работа соболя, — сказал Виталий.

Я не мог поверить, чтобы такой маленький зверек умудрился разогнать таежных жителей.

Время от времени подменяя идущего впереди, мы без остановки, без передышки пробирались все глубже в тайгу. Дорогу всегда указывал Виталий, ориентируясь по известным только ему приметам. Мы направлялись к его охотничьей заимке. Но и он иногда на минуту останавливался, потом возвращался, осматривая каждое дерево. Я заметил на некоторых деревьях старые, заплывшие смолой зарубки. Это и были единственные знаки, которые указывали тропу. Тропа — не дорога и не стежка. Тропа — это такая же нехоженая тайга, как и та, что стоит вокруг, но она отмечена человеческими руками и ведет по более доступным местам, огибая топи и болота, крутые скалы и непроходимые буреломы.

В полдень мы сделали привал.

Я захватил с собой из Вильнюса несколько жестянок с концентратом мясного бульона. Наломав сушняка, мы развели костер, набрали котелок снега и через несколько минут прихлебывали горячий, ароматный бульон, который был взят, главным образом, за то, что был легок и не занимал много места в рюкзаке. Пламя костра обжигало наши лица, пар валил от ватных брюк, а по спине гуляли ледяные пальцы мороза. На ходу мы согрелись, вспотели, а теперь мокрая одежда застыла, и мы почуяли когти стужи. Наспех покончили с едой. Виталий был чем-то обеспокоен и почти все время шел впереди, прокладывая тропу

и как бы диктуя скорость. Хотя у него был самый тяжелый груз, мы с Ангоном не поспевали за ним. Когда солнце стало клониться к вечеру, мы едва волочили ноги. Шапки, шарфы, брови и ресницы покрылись инеем, обледенели, а по спине стекал пот. Виталий явно нервничал. Он то и дело оборачивался через плечо, и на его лице нетрудно было прочесть не только озабоченность, тревогу, но и досаду. Наконец, взобравшись на очередной холм, он дождался нас и спросил:

— Устали?

Мы с Ангоном молчали. Не знаю, как он, а я устал как собака. Признаться было стыдно, а солгать, притвориться, что не устал, у меня просто не было сил. Виталий, видимо, правильно понял наше молчание и снова спросил:

— Что будем делать? Мы по-прежнему молчали.

— До заимки еще километров семь, — сказал он, и я понял: никто на свете — ни силой, ни добром — не заставит меня пройти эти семь километров.

— Может, сварим чифир? — не то предложил, не то спросил Ангон.

— Попьем и дальше? — посмотрел на него Виталий.

— Может, доберемся.

— Это далеко?

— Семь километров — самое малое два часа ходу. А чифир через полтора часа не действует. Что тогда?

Три года назад, путешествуя по Горной Шории, я впервые услыхал о чифире и его воздействии, но практически не имел понятия об этом напитке.

— Заночуем здесь, — решил Виталий.

Мы сбросили рюкзаки, сняли лыжи и принялись собирать дрова на долгую зимнюю ночь. Мы с Виталием тащили сушняк, Ангон рубил еловые лапы, хлопотал у костра, заглядывая в почерневший котелок. В нем варился чифир. Варят его из чайной заварки, но он не имеет ничего общего даже с самым крепким чаем. На стакан воды идет целая пачка, а то и больше. Пока Ангон колдовал над своим зельем, мы с Виталием натаскали большую кучу сухого, как порох, валежника, с северной стороны поставили и оплели еловыми лапами стенку — заслон от ветра, выложили еду и только после этого отведали черный как деготь и ужасно едкий напиток, по вкусу напоминавший недозрелые ягоды черемухи. Попробуйте разжевать горсть еще незрелых черемуховых ягод — и приблизительно узнаете вкус чифира.

Над тайгой опустилась ночь. Тихая, безветренная, морозная сибирская ночь. Большие, яркие звезды предвещали еще более сильный мороз. Где-то вдали ухал, стонал, как раненый человек,

серый филин — ночной разбойник. Огромный наш костер распространял тепло, заставлял отодвигаться, поворачиваться к нему спиной, подставляя то один, то другой бок. После чифира настроение у всех поднялось, усталость почти не чувствовалась, и, воспользовавшись этим, Виталий заставлял нас таскать все новые и новые охапки дров: пускай лучше останется, чем не хватит. Потом мы сдвинули костер в сторону, смели головешки и угли, и на месте костра остался голый клок дымящейся земли. Поспешно набросали на согревшуюся землю еловых веток и легли сами.

Трудно, разумеется, назвать это сном, но за долгую ночь я достаточно отдохнул. Правда, Виталий по крайней мере раз шесть будил меня, расталкивал и сердито гнал рубить толстый валежник, заставляя подкладывать в и без того жарко пылающий костер. Чертовски не хотелось вставать, и один раз я сказал ему:

— Мог бы и ты… Почему все время я да я?

Он молча встал и минут десять добросовестно махал топором, а потом сказал:

— Теперь ты вставай.

— Ведь дров полно, и костер хорошо горит…

— Вставай!

Чертыхаясь про себя, я встал. Другого выхода не было. Еще перед уходом в тайгу мы договорились свято слушаться Виталия и делать все, что он нам велит. На других условиях он отказывался идти с нами.

— Злишься? — спросил Виталий, когда я снова лег рядом с ним.

Я ничего не ответил.

— Напрасно, — сказал он. — Если дать тебе сейчас крепко заснуть, не будить, то утром проснешься с отмороженными ногами и руками.

— Спасибо за заботу…

— Зря ты обижаешься, — уловив иронию в моих словах, серьезно сказал Виталий. — Вернемся в деревню, можешь спросить у сибиряков — прав я или нет. Это каждый скажет.

Теперь я и сам уже знаю, что Виталий был прав. И благодарен ему за это.

Утром мы позавтракали на скорую руку и через два часа подошли к охотничьей заимке на берегу ручья. Снег вокруг небольшой избушки был вытоптан, заслежен, словно двор животноводческой фермы. Повсюду выделялись следы оленей. Свежие. Видимо, рано утром стадо оленей прошло мимо заимки и спустилось в широкую, заросшую кустарником пойму ручья.

— Пойдем? — спросил Виталий, показывая на глубокие

отпечатки следов.

— Сегодня — без меня, — сказал я, чувствуя во всем теле вчерашнюю усталость.

Избушка была сложена из неотесанных круглых бревен и разделена на две половины. Одна половина была чем-то вроде больших сеней или сарая. На голой земле виднелись остатки костра, а под потолком висели мешки с мукой, сухарями, крупой, солью и другими припасами, без которых трудно обойтись в тайге. В углу — аккуратно сложенные дрова. Низкая дверь вела из сеней во вторую половину избы. Виталий открыл ее и первым шагнул через высокий порог. Все тут оставалось на своих местах с осени, когда Виталий, охотясь на соболя и белку, ночевал здесь последний раз. В углу стояла старая, местами прожженная печка, возле нее лежала кучка сухой лучины, на широких нарах вдоль стен была настлана сухая осока, на подоконнике — керосиновая лампа без абажура и несколько свечек. Всю зиму избушка стояла нетопленной. Но достаточно было развести огонь, и через полчаса в ней стало невыносимо жарко, душно. Стенки и труба печурки раскалились докрасна и каждый раз сердито шипели, когда с запотевших досок потолка падала капля воды.

Мы хотели по-человечески поесть, сварить суп и, конечно, чай, без которого сибиряк и шагу не ступит, однако у нас был только один котелок. На столе стоял туесок из бересты. Виталий принес воды из незамерзающего родника и… повесил туесок над пылающим костром так, чтобы пламя лизало кору.

Каждый, кому приходилось разводить огонь в ненастные дождливые дни, знает, что лучшей растопки, чем береста не найдешь. Она горит, как порох.

А тут в берестяном туеске кипятили чай. Вода закипела, а березовая кора осталась целехонькой. Только закоптилась и почернела.

6

Уже почти неделю живем мы в охотничьем домике Виталия Слободчикова. Каждый день подымаемся до восхода солнца и, встав на лыжи, уходим до вечера, в места, где надеемся встретить северных оленей. Свежие следы находим каждый день. Словно гончие псы, бежим мы по этим следам целый день, но все напрасно. Всего дважды издали довелось увидеть оленье стадо. И оба раза на таком расстоянии, что даже Виталий не взялся за карабин. А мне и Ангону с нашими двустволками вообще было нечего соваться.

В те дни, когда мы уходили слишком далеко от заимки, Виталий водил нас ночевать в избушки поменьше, которых было всего четыре и которые как бы кольцом окружали основную заимку. Так что, куда бы мы ни забрели в течение дня, всегда находили одну из малых заимок Виталия и больше ни разу не ночевали под открытым небом.

Но кроме оленей было у нас еще одно занятие.

Мы ежедневно натыкались в тайге на свежие следы, оставленные красой сибирских лесов — соболем. Один зверек, видимо, жил где-то неподалеку от нашей заимки, и мы задумали его поймать.

Вряд ли найдется человек, ничего не слыхавший о соболе. Дорогой мех этого зверька упоминается даже в сказках, где короли ходят «в соболях». Думаю, что читателю будет интересно узнать кое-что об этом обитателе тайги.

Сибирь исстари славится редкими зверями, меха которых не имеют себе равных на мировом рынке. Недаром сибирскую пушнину называют мягким золотом. На международных аукционах она издавна пользовалась колоссальным спросом, который сохранился до наших дней и, надо думать, будет держаться еще много лет, хотя человечество и научилось производить синтетический мех. (Будучи в Иркутске, я видел, как заканчивается строительство большого здания, предназначенного для международных пушных аукционов, которые будут проводиться здесь ежегодно и на которые будут съезжаться торговцы со всего мира. Сибирь — единственный край, где водится соболь, и держит монополию на ценный мех этого зверька.)

За последние годы соболя развелось в сибирской тайге видимо-невидимо, так как долгое время охота на него была запрещена. Никогда еще сибирские охотники не давали так много этой ценной пушнины, как в последние годы. Весь осенне-зимний охотничий сезон называется здесь одним словом — белкование, хотя белку охотники стреляют лишь между прочим, пока собака не нападет на след более ценного зверька. Стоит обнаружить свежий соболий след, как охотник и собака, обо всем забыв, пускаются в погоню, которая длится иногда целыми днями. Осенью и в начале зимы, когда снега еще немного и собака легко пробирается по тайге, охота на соболя сравнительно нетрудна. Пес нагоняет зверька, «сажает» его на дерево и лаем зовет хозяина, который бежит, спотыкаясь, задыхаясь, и от волнения часто «мажет». Тогда соболь пускается наутек по верхушкам деревьев. Как белка. Только гораздо быстрей. И часто ему удается замести следы, унести свою дорогую шкурку. А зимой, когда

собаки вязнут в глубоком снегу, соболя ловят специальными капканами. У нас их нет, и поэтому Виталий, изучив собольи тропы, ставит самую примитивную ловушку с подвешенным на веревочке кусочком жареного сала. Соболь прибежит на запах, попробует утащить сало, но, дернув за веревочку, попадет под удар колодки. Ну, а нам останется лишь поднять колодку и вынуть из-под нее драгоценного лакомку.

Снарядив ловушку, мы вернулись в жарко натопленную избушку, где Ангон хлопотал у котелка, желая блеснуть своими кулинарными способностями. И блеснул. То был суп из перца и лаврового листа, в котором изредка попадалась и крупа. Сам Ангон это варево есть не стал. Заявил, что он уже сыт, хотя котелок был полнехонек. Все выяснилось несколько позже, когда мы решили сварить какао. Банка из-под какао была пуста. Исчезли также две пачки печенья. Ангон был сладкоежка, и мы беззлобно, по-товарищески подтрунивали над этой его слабостью. Жили мы дружно и ладили лучше, чем ладят в иной семье родные братья. Виталий и Ангон берегли меня и смотрели за мной, как за малым ребенком, ни на минуту не упуская из виду. А когда в один из вечеров я спросил, не боялись ли они брать меня с собой в тайгу (ведь человек может сломать или вывихнуть ногу, заболеть или пораниться), Виталий засмеялся:

— Все, братец, было предусмотрено. Если что — сделаем нарты, впряжемся и вытащим тебя. Так мы с Ангоном решили до того, как выйти из дому.

На другой день мы отправились проверять ловушку. Сало исчезло. Не было и соболя. Как зверек сумел стащить приманку, не потеряв шкуру, знает только он. Виталий снова зарядил ловушку, и мы решили прийти дня через два. Однако и на сей раз ничего не добыли.

Вечером я спросил:

— Сколько стоит соболь?

Виталий пожал плечами:

— Никто не считал. Иногда чуть ли не даром достается, а иногда обходится очень дорого.

— Нет, Виталий, я спрашиваю, сколько государство платит охотнику за соболиную шкурку.

— Если хорошая, красивая шкурка — до ста пятидесяти рублей.

На следующий день мы снова двинулись на поиски оленей.

В тайге мы обратили внимание на странное явление. Мы все время шли по свежему следу лося, который прошел в нужном нам направлении, а идти по протоптанной зверем тропе было гораздо легче, чем по рыхлому, нетронутому снегу. Шедший все время

шагом сохатый вдруг чего-то испугался и побежал рысью. Об этом явственно говорили оставшиеся на снегу следы.

— Кто бы мог его напугать? — то ли сам себя, то ли нас спросил Виталий и направился по следу. Сохатый метнулся из редкого сосняка прямо в чащу, продираясь сквозь переплетшиеся ветви, ломая их и стряхивая снег с деревьев. Зверь несся широким, почти двухметровым шагом, оставляя на снегу глубокую борозду. Через несколько десятков метров Виталий остановился в густых зарослях и показал на снег:

— Смотрите. Работа соболя.

Рядом со следами лося появился соболий след. Откуда он взялся? С неба? Ведь не видно было, чтобы соболь прибежал откуда-нибудь.

— Сохатый его сбросил, — сказал Виталий.

Я слыхал, что соболь часто нападает на зверей, которые гораздо больше его самого, и побеждает их. Этому кровожадному карлику ничего не стоит задрать зайца или косулю. Часто соболь нападает и на спящих в снегу глухарей. Эти большие птицы весят раз в десять больше, чем соболь, но пушистый зверек и здесь выходит победителем. Он мертвой хваткой держится зубами за шею птицы. Нередко глухарь взлетает вместе с хищником до верхушек деревьев, но вскоре слабеет, падает наземь и становится добычей маленького разбойника. Но чтобы нападал и на могучего лося — такого я не слыхивал.

— Охотится он так же, как рысь, — объясняет Виталий. — Бросается на сохатого с дерева и острыми зубами до тех пор вгрызается в холку, пока лось не свалится.

— Неужели сохатый не может его сбросить?

— Очевидно, не всегда. Когти у соболя острые, цепкие. Однако на этот раз сохатый спасся. Наверно, стряхнул соболя, продираясь сквозь чащу. Смахнул ветвями, как коровы стряхивают с себя в жаркий день мух и слепней, продираясь через кусты.

На снегу легко было все прочесть. Мы видели, как сброшенный соболь еще некоторое время бежал рядом с лосем, с его мордочки упало несколько капель крови, которые горели на белом снегу, словно спелые ягоды клюквы. Потом соболь сел, должно быть провожая злыми глазками удаляющегося лося, а через некоторое время и сам побежал прочь — искать новую добычу.

Соболь не шел в нашу ловушку. И чего мы только не делали, как не старались. Мы подвешивали ему и сало, и жареного зайца, но все было напрасно. Хитрый зверек обходил нашу ловушку, даже не приближаясь к ней. Между тем отпуск у Виталия и у

Антона кончался. Оба взяли по семь дней отпуска за свой счет, чтобы сходить со мной в тайгу. И теперь эта неделя подходила к концу. Настроение у всех падало. Особенно переживал неудачную охоту Виталий, точно принимая на себя вину за невезение.

Наконец однажды утром мы простились с нашей заимкой. Возвращаться с опустевшими рюкзаками, по протоптанной тропе было легко, и вечером того же дня мы были в деревне Прокопьево, где жил Виталий.

Деревня раскинулась по обоим берегам Илима (притока Ангары). На каждом берегу — по длинной, вытянувшейся вдоль реки улице. Деревня старая. Почти триста лет назад ее первые жители — царевы ссыльные — поставили здесь свои избы. В наши дни деревня как бы помолодела. Появилось много новых домов. Новая большая школа, детский сад, магазины. Сегодня суббота, и вдоль реки тянется вереница дымящихся бань.

Жена Виталия Александра щеткой белит печь. Когда я попал к Слободчиковым впервые, она тоже белила печь, и я подумал, что это делается в честь гостя. Но чего ради она и нынче взялась за щетку, если печь и без того бела, как лебедь? Неужто снова ради меня? Спрашивать о таких вещах неудобно. Когда она закончила свою работу и уже готовила кое-что закусить, прибежала пожилая соседка.

— Шура, у тебя, часом, побелки не осталось? Я сегодня своей не разводила.

— Осталось, — сказала хозяйка.

— Дай-ка — сбегаю побелюсь.

Оказывается, сибиряки каждую неделю белят печь, а некоторые и всю кухню. В скольких домах я ни побывал, всюду видел идеально белую русскую печь и образцовую чистоту. Крашеные полы устланы домотканными дорожками. Стены тоже побелены и увешаны коврами. Воду держат в больших крашенных снаружи бочках и черпают ее ковшами, из которых никто не пьет, не прикасается к ним губами.

Потом мы парились в сибирской бане, которая мало отличается от наших литовских бань: каменка с котлом, полок, березовый веник и невыносимый жар. Вокруг бани — горы снега. Почти все мужчины, голые, распаренные, выскакивают из душной бани и ныряют в сугроб. Не отстаю и я. Мороза не чувствую. Ощущение такое, будто снег тает вокруг тебя с шипением воды, попавшей под раскаленный утюг. И неудержимо хочется смеяться, хохотать во все горло, буйствовать в снежном сугробе, словно тебе не больше десяти лет. Я свято убежден, что свое недюжинное здоровье сибиряки черпают в здешних банях. Ни в Игирме, ни в Прокопьеве я не слыхал, чтобы кто-нибудь страдал болезнями

легких. Местные жители не знают чахотки. Впрочем, это — заслуга не только сибирских бань. Сам климат очень здоровый, и люди редко обращаются к врачу, хотя почти в каждой деревне, в каждом, даже отдаленнейшем поселке есть амбулатория.

После бани мы пили заправленный кисло-сладким вареньем чай, как вдруг кто-то открыл и снова закрыл ставни с улицы. Виталий вопросительно посмотрел на жену.

— Анатолий Слободчиков отца поминает, — сказала жена.

— Сколько лет?

— Десять, — сказала жена и добавила: — Надо сходить.

Оказывается, так в сибирских деревнях принято приглашать в гости. Никто не ходит по домам, никто устно не просит, а пробежит подросток вдоль улицы, помашет ставнями, и все знают, что пора в гости: там уже стол накрыт и хозяева ждут вас.

Мы пошли.

Большая, просторная изба была набита людьми. Вдоль стен стояли широкие столы, заставленные едой. Хозяева призвали гостей есть-пить только вначале, садясь за стол, и больше об этом не говорилось, так как все здесь считались своими, а свои могут чувствовать себя как дома и есть все, что душе угодно.

Очевидно, во всем мире мужчины за столом говорят о своей работе, сибиряки — тоже. Я слушал разговоры о процентах, заработках, премиях и мысленно подсчитывал, сколько потеряли Виталий и Ангон за ту неделю, что провели со мной в тайге. Каждый заработал бы за неделю примерно по пятьдесят рублей. Плюс тридцать процентов так называемых северных, которые государство выплачивает людям, работающим в этих краях. За выполнение плана — еще пятнадцать процентов от общего заработка и двойная оплата за каждый сверхплановый процент. Выходит, за неделю они потеряли примерно по восемьдесят рублей.

Когда поздно ночью мы вышли на улицу, я сказал Виталию:

— Дорого обошелся тебя, Виталий, этот непойманный соболь. Около восьмидесяти рублей.

Он сперва не понял, о чем речь. А когда я объяснил ему, засмеялся:

— Черта с два! Я не только ничего не потерял, но еще и выиграл. Плохо ты считаешь.

— Где же я ошибся?

— Соболя мы и впрямь не взяли, но за восемьдесят рублей получить хорошего друга — редкий случай. Я его не упустил.

Мне хотелось сказать что-то о моей благодарности, о желании хотя бы частично покрыть убытки и труд друзей, но после слов Виталия я понял, что лучше не говорить об этом.

Мы обнялись и двинулись по улице спящей деревушки к дому Виталия, где нас ждали мягкие, чистые постели, которые после таежных неудобств представлялись мне вершиной блаженства и комфорта.

7

Не требуется и часа, чтобы добраться пассажирским самолетом из Нижне-Илимска в Братск. Мы приземлились на аэродроме, где множество бульдозеров, не обращая внимания на зимнюю стужу, разравнивали широкие взлетные дорожки.

Я сдал вещи в камеру хранения и вышел на площадь перед аэровокзалом. Около дюжины такси ждало пассажиров. Подъемный кран подносил штабеля красного кирпича рабочим, занятым на втором этаже строящегося аэровокзала. Сибирский мороз не мешал людям. Строя величайшую в мире гидроэлектростанцию, жители Братска накопили колоссальный опыт работы в суровых зимних условиях. Были дни, когда столбик спирта в термометре падал до пятидесяти пяти — шестидесяти градусов ниже нуля. Люди гордились, что и в такой мороз могут работать на плотине, на высоте ста метров. Однако молодой инженер-конструктор Александр Марчук говорил, что человеку особенной чести это не делает. Дело в том, что в такой мороз выходят из строя гигантские подъемные краны, установленные на плотине будущей электростанции. Люди гордились тем, что они крепче металла. Неважно, что еще нет в мире кранов, которые могли бы работать в такой мороз. Мало ли чего нет в мире! У нас будет! И мы будем гордиться, говорил Александр Марчук, когда выплавленный нами металл будет таким же прочным, как люди.

Зарубежных гостей все это поражало, они не могли опомниться. Их удивляли размах и темпы строительства. В Братске помнят случай с американским сенатором-миллионером Гарриманом. Это было летом 1959 года. Сенатор торопился в Братск. Ему хотелось своими глазами увидеть, как со специального помоста (который, кстати, сконструировал все тот же Марчук) будет производиться перекрытие левой половины Ангары. Правая половина была перекрыта еще зимой, прямо со льда, что немало изумило специалистов во всем мире. Сенатор Гарриман торопился в Братск. Он так спешил, что даже не принял предложения иркутян полюбоваться на Байкал — уникальное по красоте творение природы. Он приедет посмотреть на Байкал в другой раз, а сейчас должен торопиться в Братск. Гарриман приехал вовремя. Он прилетел утром того дня, на который было

намечено перекрытие Ангары. На аэродроме его встретил главный инженер строительства Арон Гиндин. Едва выйдя из самолета, Гарриман сказал:

— Я думаю, мы не будем терять время и поедем на Ангару?

— Вы опоздали, мистер Гарриман, — развел руками главный инженер.

— Как опоздал? Ведь сегодня — девятнадцатое июня?

— Да, но мы перекрыли Ангару досрочно. Вчера. Очень жаль, но вы понимаете, что время не ждет. Нам дорог каждый день.

Рассказывают, что Гарриман сильно огорчился из-за своего опоздания, а затем, ознакомившись со стройками Братска, заявил на пресс-конференции: «Человек, не побывавший в Братске, не может считать себя культурным человеком». Братчане говорили потом, что им-де очень приятно, если американский сенатор заделался культурным человеком.

Я позвонил Сергею Евстигнееву, с которым познакомился еще в поезде. Заместитель начальника «Братскстроя» был у себя в кабинете и любезно предложил:

— Высылаю машину. Ждите.

— Спасибо, но я хотел пройтись пешком, посмотреть на город.

— Вам придется идти до нашего управления ровно сутки, — послышался в трубке веселый и сочный голос Евстигнеева.

— Спасибо. Буду ждать, — сказал я, вспомнив, что Братск состоит из множества микрорайонов, расположенных на изрядном расстоянии друг от друга. Еще когда мы ехали в поезде, меня удивили слишком частые станции. Поезд останавливался каждые пятнадцать — двадцать минут. Названия были разные, но, как выяснилось впоследствии, и «Падунский порог», и «Гидростроитель» — это все тот же город Братск.

Когда-то сибиряки вырубали, выжигали участок тайги, корчевали пни и только после этого ставили дома. Есть немало городов, в которых не увидишь ни одной сосны, лиственницы или сибирской ели. На улицах этих городов растут теперь невысокие, посаженные человеческой рукой деревца. Люди с большими усилиями пытаются исправить свою ошибку.

Братск строился и продолжает строиться совсем иначе. Новые пяти- и шестиэтажные дома стоят в окружении стройных сосен и лиственниц, утопают в березовых рощицах.

Другие города могут позавидовать и молодости Братска. Прямые, широкие улицы, просторные дворы, и кажется, что это не гигантский промышленный центр, а курортный город. Люди, разумом и трудом которых рожден этот город, думали о будущем, о том, что здесь будут жить не только они, но их дети, внуки,

будущие поколения.

Я не надолго задержался в кабинете Сергея Евстигнеева, видя, как он занят и как дорога каждая минута его времени. Думаю, что в мире есть немало государств, у глав которых куда меньше забот, чем у людей, руководящих строительством Братска, ибо многие страны могут только мечтать о том, что происходит сегодня в Братске. Мы были уже в дверях, когда в кабинет Евстигнеева вошел седой человек. На вид ему можно было дать и пятьдесят, и шестьдесят лет.

— Гиндин, — сказал он, пожимая мою руку.

Я понял — передо мной стоял человек, разумом и волей которого создавалась сибирская легенда. Арон Гиндин — главный инженер-строитель Братска.

— Значит, из Литвы, — сказал он и, немного помолчав, добавил: — Немало ваших работали здесь и сейчас работают.

— И как?

— Отличные люди. Умелые и работящие. Помню, была у нас бригада плотников во главе с вашим земляком. — Гиндин с минуту помолчал, стараясь что-то вспомнить, потом поднял глаза от бумаги, которую держал в руках, и, слегка коверкая литовскую фамилию, сказал: — Керпаускас, кажется… Юстас Керпаускас! Это на его бригаду мы не могли нарадоваться. И самое интересное, что в ней трудились представители десяти национальностей: белорус, мордвин, татарин, армянин, русские, украинцы, бурят, казах и даже один кореец. Настоящий интернационал.

Потом я целый день ездил и ходил по местам, которые советовал осмотреть Сергей Евстигнеев.

Особое чувство я испытал, спустившись к Ангаре ниже плотины. Когда стоишь у ревущей, низвергающейся горами воды, сила падения которой в два раза больше, чем у Ниагарского водопада, тебя охватывает двойственное чувство: чуть ли не физически ощущаешь ничтожность и величие человека. Одновременно. И должно быть, оттого, что эти противоречивые ощущения охватывают тебя сразу оба, их воздействие бывает столь сильным. Под ногами ревут горы воды, отдавшей свою силу турбинам, а на высоте ста двадцати семи метров на бетонной плотине снуют гигантские краны, движутся крохотные точки — люди, и все утопает в неописуемом гуле обузданной реки, в тучах мелких водяных брызг и пара. Величайшая в мире гидроэлектростанция мощностью в четыре с половиной миллиона киловатт. Лишь Красноярская ГЭС, которая сооружается на Енисее, превзойдет ее.

Ангара — река редкой красоты. В месте, выбранном для

строительства Братской электростанции, Ангару стиснули высокие величественные скалы. И названия у скал красивые, сибирские: на одном берегу — гигантская скала Персея, на другом — Журавлиная Грудь. Сами скалы голые, с красноватым оттенком, точно закат впитали. И только на одной из них, склонившись над обрывом, стоит зеленая сосна, которую люди прозвали Лермонтовской. Разумеется, не красоты пейзажа определили место будущей электростанции. Ангара здесь сравнительно узка, и скалы-великаны стали естественными опорами плотины. Оставалось только навек связать Персея с Журавлиной Грудью, что люди и сделали, удивив мир оригинальностью инженерной мысли. Пожалуй, уже за одно это можно назвать Братск уникальным сооружением.

Я немало думал о весе слов, о том, какие эпитеты нужны, чтобы нарисовать хотя бы приблизительно картину строящегося Братска. Величественно, колоссально, ошеломляюще? Нет, все эти слова не годятся, они привычны, мы часто слышим их, и они потеряли свою ощутимость, конкретность. Возможно, у читателя и возникло бы более полное представление, если бы я все описал подробно и тщательно, но для этого понадобится не один год и не одна толстая книга. Ведь все, что строится в Братске и вокруг него, — самое крупное в мире. Может, что-то сумеют передать цифры? Рассказать о том, что строители Братска проложили более пятисот километров шоссейных дорог, двести тридцать километров железнодорожного полотна, тысячу километров подземных коммуникаций и две тысячи километров высоковольтных линий? Но ведь это — подсобные сооружения, служащие лишь достижению главной цели. А может, возникнет какая-то картина, если мы узнаем, что на строительстве Братской ГЭС было уложено пять миллионов восемьсот тысяч кубометров бетона? А как описать другие стройки? Ведь рядом с гидроэлектростанцией вырос комплекс лесной промышленности, какого нет ни в одной стране. Этот сложный комбинат производит за год в три раза больше целлюлозы и в четыре раза больше картона, чем выпускалось их в 1958 году во всей нашей стране. В этом комплексе ни крошки древесины не уйдет в отходы. Опилки, кора, древесина, ветки, хвоя — все будет переработано в нужную стране продукцию. Не пропадут даже газы, которые испускает древесина при изготовлении целлюлозы! А может быть, у читателя будет более полная картина, если он узнает, что со дна Братского моря было вырублено и вывезено столько леса, что лесопромышленный комплекс будет перерабатывать его целых десять лет? А алюминиевый завод и рудник с гигантскими запасами, где высококачественные руды

лежат почти на поверхности земли? Я говорю, что многие государства мира могут только мечтать о таких богатствах и таком размахе работ, какими живет сегодня Братск. Наконец-то! Наконец я, кажется, нашел сравнение, которое даст литовскому читателю представление о величии ведущихся в Братске работ. Братская гидроэлектростанция — это пятьдесят каунасских ГЭС! Однако даже этой величайшей в мире электростанции недостаточно, чтобы удовлетворить индустриальные потребности Братска. Братску не хватает электроэнергии! Больше всего ее потребляет алюминиевый завод. Лесопромышленному комплексу приходится строить еще и свои тепловые электростанции, каждая из которых будет производить электроэнергии больше, чем Каунасская ГЭС. Можно представить себе, каким гигантом является этот лесопромышленный комплекс, если он, получая ток от Братской ГЭС, строит еще и свои электростанции.

Через несколько дней мы вместе с Сергеем Евстигнеевым вылетели в Усть-Илим, где начинается строительство новой гидроэлектростанции, которая по мощности не уступит Братской. Она также сооружается на Ангаре, ниже устья Илима.

Из окон вертолета виднелась освещенная зимним солнцем бескрайняя сибирская тайга, большие и малые возвышенности. Мы летели невысоко, как бы взбираясь с одной горы на другую. В долине какой-то речки спугнули стадо северных оленей и долго видели через окна, как эти красивые животные тесной гурьбой бежали по глубокому снегу, точно пытаясь перегнать нас.

— Смотрите, — показал Евстигнеев на ровную полосу, бегущую с холма на холм и будто ножницами прорезавшую тайгу. — Дорога, которую мы прокладываем на Усть-Илим.

Земля с самолета — точно большая карта. Сергей Евстигнеев показывал на ней берега будущего моря, рассказывал, как через несколько лет расцветет и этот уголок Сибири, превращаясь в новый крупный промышленный центр. Он сказал, что строить Усть-Илимскую электростанцию будет легче, чем Братскую. Не потребуется сооружать множество подсобных предприятий — бетонный, арматурный, деревообрабатывающий и другие заводы. Построенные в Братске, они будут служить и Усть-Илимской электростанции. Люди накопили громадный опыт, научились управлять сложной техникой и собираются быстро построить Усть-Илимскую ГЭС. Это будет самая экономичная гидроэлектростанция в мире. Пока же эта честь принадлежит Братской ГЭС.

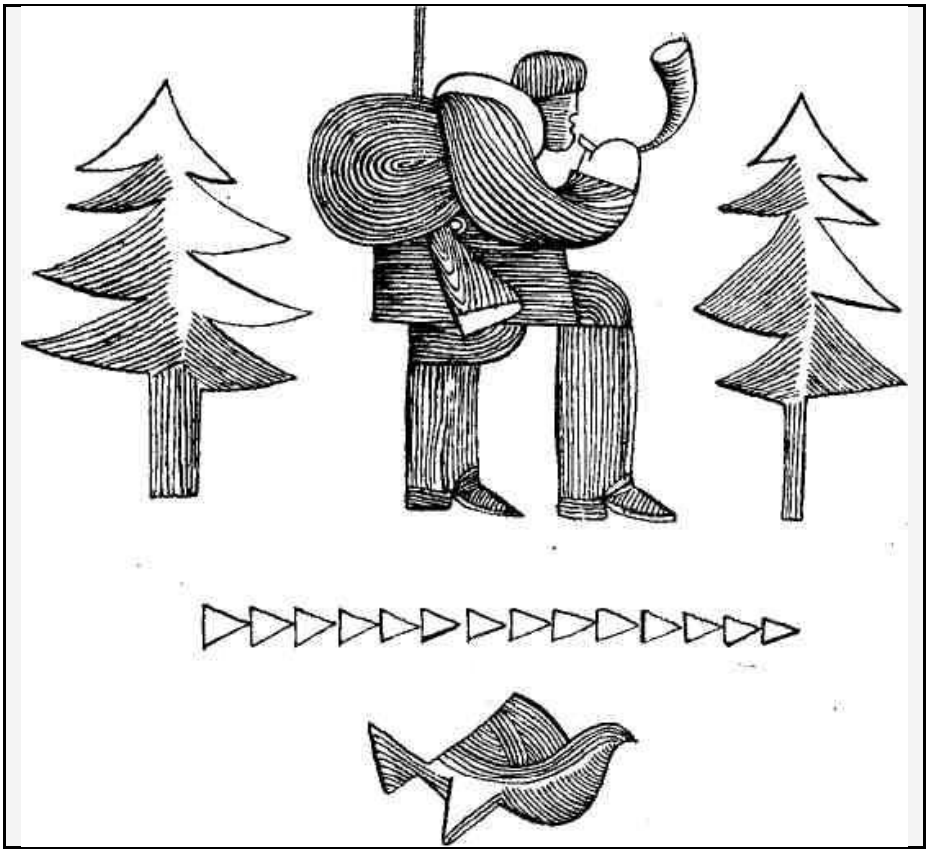
Мы осмотрели строительство жилых домов. Здесь будут жить строители Усть-Илимской гидроэлектростанции. Они еще не пришли, а новые просторные, светлые и теплые дома уже готовы.

Тут никто не будет жить в палатках и вагончиках. Братск проложил тропу! В прямом и в переносном смысле.

И тогда, в вертолете, и по возвращении в Вильнюс я все думал и, кажется, понял, почему так трудно писать, почему так трудно подыскать слова, когда рассказываешь о покорителях Восточной Сибири, о размахе и величии их дел. Очевидно, дело в том, что видишь все в процессе изменения, устремленным вперед, и чувствуешь — слово стареет прежде, чем успеешь записать его, и ты невольно говоришь о прошлом, как о прекрасной, но знакомой всем легенде. У этой легенды существует продолжение. И, пожалуй, лучше всего назвать ее двумя словами — нескончаемая легенда.

1964

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ ТЕТЕРЕВА



ЕСТЬ ЛИ У ВАС СТРАСТЬ?

По едва заметным звериным тропам мы шли гуськом к токовищу. Мы удивлялись Василию: кругом ночь, а он вышагивает длинными своими ногами, как средь бела дня. Под его тяжелыми, смазанными дегтем сапогами не хрустнет даже веточка, беззвучно расступается перед ним лесная чаща, и кажется, что он ступает по мягкому мху. А мы с Вацисом чуть ли не на каждом шагу спотыкаемся, натыкаясь на трухлявые стволы вывороченных деревьев, торчащие из земли корни сосен или цепкий кустарник, который как бы руками призраков хватает за одежду, рюкзаки, шарит по лицу.

Лес спит. В звенящей тишине застыли высоченные сосны. Играет в небе северное сияние. Только ночной разбойник филин

ухнет несколько раз и, словно испугавшись своего одинокого, жуткого крика, тут же смолкает.

Через два часа Василий остановился. Дождавшись нас, снял с плеча ружье, присел на вывороченное с корнем дерево, закурил и вместе с дымом выдохнул:

— Недалеко уже. Можно и отдохнуть.

В темноте уютно посвечивали огоньки сигарет. Где-то сбоку разорвал ночную тишь треск сучьев. Казалось, через чащу ломится неизвестное чудовище, неумолимо приближаясь к нам. Мы насторожились и вопросительно уставились на Василия. На спокойном, сосредоточенном лице карела не дрогнул ни один мускул. Василий предостерегающе поднял руку и застыл на месте. Шум стих в нескольких шагах от нас, а затем снова раздался треск ломающихся веток и, быстро удаляясь, растаял в ночи.

— Сохатый небось, — шепотом сказал Василий и, помолчав, добавил, будто передумав: — А может, и медведь. Вышел голодный из берлоги и шатается по тайге.

Мы снова закинули за плечи ружья и снова цепочкой двинулись по звериным тропам, но вскоре кончились и они. Василий свернул в сторону, и мы подошли к отвесной скале. Она была такая гладкая, словно какой-то великан тщательно обтесал, обточил ее, не оставив ни малейшего выступа или углубления, чтобы поставить ногу, ухватиться рукой. Однако Василий не колеблясь вел нас вдоль каменной стены, и вскоре мы нашли участок, где можно было кое-как вскарабкаться наверх.

— Здесь, — почти беззвучно шевельнул губами карел и жестом показал каждому из нас его место.

Мы немедленно разошлись.

Даже ранней весной ночи в Карелии такие же короткие, как у нас в Литве июньские. Темнело, когда мы вышли из деревни, а теперь, спустя несколько часов, восточный край неба снова начал светлеть, розоветь. Занимающаяся заря постепенно гасила звезды, и только на западе они, робкие и поблекшие, еще подмигивали спящей земле.

Я стоял у замшелого камня и прислушивался, буквально ловил ушами каждый звук. Вот где-то внизу раскудахталась, расхохоталась белая куропатка, ветерок пробежал по макушкам сосен, и деревья зашелестели, приветствуя рождение нового дня.

Вдруг я затаил дыхание: услыхал отчетливый странный звук — словно кто-то щелкал ногтем по спичечному коробку:

— Тек… Тек… Тек…

Сухой, резкий звук шел от сосен на скалистом обрыве. Я не сомневался, что это глухарь. Застыв на месте, я ждал, когда

начнут «жернова молоть», но птица только щелкнет несколько раз клювом и опять смолкнет. К такой не подберешься. Она все слышит, все видит. Хрустнет под ногами веточка, и глухарь мгновенно сорвется с дерева и исчезнет в чаще. Бежали минуты, затекали руки, ноги, а глухарь все никак не распоется. Я нечаянно пошевелился, под ногами зашуршал мох, но птица не испугалась. Она по-прежнему текала, а я, ничего не понимая, всматривался в ту сторону. Сделал шаг, другой, третий. Птица не боялась. Я, уже не остерегаясь, подошел к обрыву и… плюнул. Легкий ветерок покачивал сухую сосну, а та:

— Тек… Тек… Тек… — скрипела.

Солнце взошло, и было ясно, что ждать глухарей уже нет никакого смысла.

Вернувшись в условленное место, я застал Вациса за работой. Он сидел у края скалы и делал карандашом наброски пейзажа. Глухари, казалось, его не интересовали: ружье валялось поодаль, рюкзак — тоже в нескольких шагах. Услыхав меня, он обернулся:

— Ты только посмотри, какая красота! Какие краски!

Действительно, отсюда, с отвесной скалы, вознесшейся над лесом на тридцать — сорок метров, открывался чудесный вид на бескрайние леса, усеянные белыми пятнами озер, изрезанные голубыми лентами речушек. Озера были еще покрыты льдом и блестели, сверкали под лучами солнца — не оторвать глаз. На быстрых, порожистых местах речки уже очистились от льда и теперь, пенясь, скакали по камням, рассеивая вокруг себя тучи брызг, в которых играла, переливалась радуга.

Василий вернулся хмурый и задумчивый. Его синие глаза потемнели, скулы выступили еще острее. На вопросы он откликнулся не сразу. Посмотрел на нашу обувь и велел:

— Покажите подошвы.

Мы с Вацисом послушно вскинули ноги, а Василий вздохнул и сказал:

— Пошли.

Провел нас метров триста и показал рукой на снег, сохранившийся в тени деревьев. На снегу ярко отпечатались серые следы крупной мужской ноги, обутой в твердый, подкованный сапог. Мы смотрели, ничего не понимая, а Василий нагнулся и, что-то бурча себе под нос, принялся изучать след.

— Чужой, — то ли себе, то ли нам сказал он. — В нашей деревне ни у кого таких сапог нету… Усталый шел…

— Откуда ты знаешь?

— Как не знать! — Василий поднял удивленные глаза. — Смотри, снег все скажет. Видишь, ноги чуть не волоком волок. Вон какая борозда. И носами сапог все цеплял за снег.

Василий замолчал, с минуту о чем-то думал и неожиданно направился в самую чащу.

— Никуда не уходите. Ждите здесь! — крикнул нам.

Вернулся он через добрый час. Вспотевший, разгоряченный, едва переводя дыхание.

— Думал, может, кто из дальних охотников за лосем или медведем шел. Обежал вокруг — никаких следов: ни лося, ни медведя, ни собаки. Без собаки никто не станет преследовать ни лося, ни медведя… — Он сдвинул на затылок меховую шапку и вздохнул: — Неужто кто-нибудь проведал про токовище моих глухарей? Глухари, конечно, с вечера прилетали: везде полно следов. А этот, — он показал на след человека, — тоже вечером здесь был. Испугал, прогнал.

Слушая его, я вдруг почувствовал, как во мне закипает злая досада, я ненавидел этого незнакомца, которого сюда небось тоже пригнала страсть. Есть ли у вас какая-либо страсть? Если да, то вы поймете меня, так как сами, должно быть, не раз испытывали пренеприятное, заставляющее краснеть и бледнеть мелкоэгоистическое чувство под названием ревность.

Молчаливые и понурые, двинулись мы домой. Особенно переживал Василий. Он действительно хотел показать нам глухариный ток, да не вышло. Но не только в этом была причина его дурного настроения.

Глухарь — лесной красавец. Как лось выделяется красотой среди зверей, так глухарь — среди птиц. Впервые увидев глухаря, можно подумать, что это хищник: твердый, загнутый клюв, когти — как у орла. И размером глухарь не меньше индюка. Но не только за мясо ценят охотники этого красавца. Из-за нескольких килограммов мяса, пускай даже самого вкусного, человек не поедет на край света. Нас тоже привлекало не мясо. Это она — роковая страсть — звала, манила, сокращала пути-дороги… Кто хотя бы раз увидел весной глухариный ток, тот никогда в жизни не забудет этого впечатления. Еще с вечера слетаются огромные птицы на токовище и, рассевшись по соснам, начинают свои песни. Чем дальше, тем страстнее поет глухарь. Он запрокидывает голову, свешивает растопыренные крылья, бегает, вертится волчком на ветке и поет, поет. Когда впервые слышишь глухаря, не можешь прийти в себя от изумления: такой великан — и такое тихое, простое пенье! Сначала птица токует, а после начинает «жернова молоть» либо, как говорят охотники, «те́рять». И в самом деле, вторая часть напоминает музыку домашних жерновов. Подкрасться к глухарю обычно невозможно. Это исключительно пугливая и чуткая птица. Но самое удивительное, что, перейдя ко второй части пения, которая

длится совсем недолго, глухарь начисто глохнет. Можешь выстрелить из пушки, и он не услышит. Охотники знают этот секрет, поэтому на глухаря охотятся весной, во время тока. Осторожно, шаг за шагом подкрадывается охотник к глухарю. Стоит птице запеть, он делает несколько прыжков и снова застывает в ожидании новой песни. Так можно подойти к глухарю чуть ли не вплотную. Опытным охотникам иногда удается схватить глухаря даже голыми руками.

Но не так-то просто найти глухариный ток в необозримых лесных просторах. Можно целый год бродить по лесу и не заметить токовища. Разве что случайно наткнешься на него. Правда, еще зимой глухари слетаются сюда и, волоча растопыренные крылья, бродят по снегу, оставляя прочерченные перьями полоски. Набрел на такое место — знай: весной здесь услышишь пение глухаря.

Самое интересное, что глухари из года в год устраивают токовища на одном и том же месте. Тут они пели, яростно сражались с соперниками прошлой весной, тут же будут сражаться и петь нынче.

Василий узнал об этих токовищах от своего отца, который перед смертью рассказал сыну обо всем, что сам узнал от своего отца — деда Василия.

Таково неписаное правило старых карельских охотников: хочешь охотиться на глухарей — найди свой ток. И если хотя бы приблизительно знаешь, где находится ток, открытый твоим товарищем, не смей и шагу туда ступить, пока он тебя сам не пригласит. Только близкому человеку, верному другу, честному охотнику показывают старые карелы глухариные токовища, разбросанные среди болот, скал и непроходимых зарослей. И это понятно. Бесчестный и жадный человек может за несколько весен совершенно отвадить глухарей от полюбившегося им места, такой не постесняется убить и самку, подойти к которой гораздо легче. А без самок — нет токовища.

— Про это место знали только мой отец, один друг детства да я, — говорил по дороге Василий. — Отец с другом — давно в земле. Сам я никому токовища не показывал… Только вот вам… Почему вам не показать? Вы — люди приезжие, погостите и уедете, кто знает, будете ли еще когда-нибудь в наших краях. И вообще, сдается, люди надежные. Так откуда взяться этим следам?

Разумеется, мы с Вацисом ничего не могли объяснить и только успокаивали Василия: очевидно, это следы случайно забредшего в эти места охотника.

— Не подумайте, будто мне жалко, если человек подстрелит

несколько птиц! — вдруг обернулся он к нам. — Будь мне жалко, разве я повел бы вас? Боюсь, что это недобрый человек. Глухари и у нас не частые гости.

Измученные, сделав за ночь около двадцати километров, мы добрались наконец до нашей деревушки.

НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА КАРТУ!

Дома деревушки приткнулись на полуострове, с трех сторон окруженном озером. Раннее утро и у людей нет никаких срочных дел, но деревня уже не спит: над трубами клубится, поднимаясь в чистое небо, пахучий дым.

Мы живем у ветеринарного фельдшера — пожилого человека с тронутым оспой лицом. Увидев, что мы возвращаемся из лесу, он вышел на крыльцо.

— Ну как?

Василий развел руками и вкратце рассказал о том, что случилось.

На лице хозяина отразилось искреннее сочувствие.

По комнате гуляли такие запахи, что мы с Вацисом только переглядывались и глотали слюнки. Хозяйка — невысокая худая женщина — хлопотала у громадной печи, где в пузатом чугунке, сдобренный всевозможными приправами, тушился тетерев, подстреленный вчера Вацисом; на большущей сковороде румянились блины.

Когда мы сели за стол, хозяйка, как бы извиняясь, улыбнулась и сказала:

— Уж и не знаю, что к блинам подать? Масло, сметану? А может, варенье? Есть у меня и свое — брусничное, и какое-то заграничное. Может, понравится?

С этими словами она поставила на стол банку варенья и растерянно смолкла, так как мы с Вацисом разразились таким хохотом, что даже слезы навернулись на глаза. Отдышавшись, мы объяснили, что на банке написано по-литовски: «Slyvų uogienė» — «Сливовое варенье». Вот так заграница!

Собираясь в дорогу, мы с Вацисом не один вечер просидели над картой. Нас привлекали синие дали. Хотелось выбрать по возможности малолюдное место с нетронутой природой, куда еще не проникла цивилизация. Казалось, именно такое место нам удалось найти. Во всяком случае, на карте. Мы выбрали деревню Плаковари. Добрались туда пешком, тяжело нагруженные, запыхавшиеся, мокрые от пота. Деревня стоит на возвышенности, у водораздела. Тут берут начало ручьи и речки, бегущие в

противоположные стороны: одни к Белому морю, другие — к Онежскому озеру, в Балтийский бассейн. Мы постучались в первый попавшийся дом, но никто не откликнулся. Тогда сами открыли дверь и удивленно застыли на пороге. В доме стояла мебель, все вещи были на своем месте, но чувствовалось, что здесь никто не живет: все покрыто густым слоем пыли. В соседнем доме — такая же картина. Тяжелые, большие столы, сбитые из толстых досок, вдоль стен — лавки, сундуки, и ни живой души. Как будто случилось какое-то ужасное, непонятное бедствие, и люди бежали, оставив мертвую деревню.

— Кого ищете, милые? — окликнула нас показавшаяся на соседнем крыльце старуха.

Мы перешли к ее дому, рассказали, кто мы, откуда и зачем сюда пришли.

— Что вы, сыночки! Люди вниз отсюда перебираются, в долину, а вы…

— Почему перебираются?

— Как это почему? — удивилась женщина. — Светлее жить хотят. В долине и магазин, и кино, и врач, и школа. А здесь что? Голый камень. Карабкаемся по скалам, как обезьяны, будто за грехи какие-то.

Природа Карелии вообще сурова. А здесь, в Плаковари, она и подавно не балует людей. Повсюду торчат огромные камни, скалы. Деревня — как горошина на ладони: ветер продувает ее со всех сторон, палит солнце, и нет в ней ни тени, ни затишья.

Оказывается, большинство жителей уже переехало.

— Через пару недель и мы переберемся, — вздохнула женщина и добавила: — Спускайтесь-ка и вы, милые, в долину.

Мы последовали ее совету. Как выяснилось, и дом нашего хозяина-ветфельдшера остался в Плаковари. Самый крайний, в который мы раньше всего постучались. Здесь, в долине, человек построил себе новое жилище. Не он один. С самого утра в деревне начинают стучать топоры: мужчины обтесывают смолистые бревна, дома растут как на дрожжах, и по вечерам нередко звенят песни. Это строители «обмывают» фундамент, полы, потолок или крышу.

Вот и верь после этого карте. Плаковари на карте есть, а нашей деревни Остречье — нет, хотя она куда крупнее, чем Плаковари. В каждом доме радиоприемник! Вот и сбежали от цивилизации…

Жизнь в этих лесных районах шагает вперед так быстро, что географическая карта не успевает отразить все перемены. Там, где шумели когда-то непроходимые леса, растут новые поселки. Вернее сказать, новые городки. С электричеством,

амбулаториями, кинотеатрами, библиотеками, детскими садами, восьмилетними и десятилетними школами.

Мы макали в сметану жирные, испеченные из муки грубого помола блины и, запивая их крепким душистым чаем, говорили о неудачной ночной охоте.

За окном послышался веселый гомон школьников, группами направлявшихся к школе. Хлопнула дверь, и в комнату вошел наш юный друг Оскар, сын вдовы-соседки. Горящими от любопытства глазами подросток оглядел нас и несмело спросил:

— Как охота?

Мы с Вацисом только руками развели — что тут ответишь.

— Через несколько лет, если и дальше так пойдет, не только глухаря, но и тетерева с огнем не сыщешь, — вздохнул хозяин. — Нынче у каждого шофера в кабине двустволка. Увидит на дороге птицу, глухарь ли, тетерев, самец ли, самка — бах, и готово. А сколько еще пришлого люда…

Хозяин, спохватившись, замолчал и искоса поглядел на нас. Мы с Вацисом «не слышали» его последних слов. Оскар смотрел на хозяина с нескрываемым упреком. С первого дня парнишка так и пристал к нам. Каждую свободную минуту прибегал, взволнованный, с горящими глазами, слушал долгие рассказы Василия об охотничьих приключениях. Отец Оскара погиб уже после войны. Вез бревна из лесу и подорвался на мине, которые некогда попадались тут на каждом шагу. Оскар в ту пору еще пешком под стол ходил. А теперь вырос длинным парнем с загорелым обветренным лицом и выглядит старше, чем на самом деле. После смерти отца осталось одноствольное охотничье ружье. Оно долго пылилось и ржавело в чулане, пока этой весной Оскар не вытащил его на свет. Почистил, надраил, отскреб ржавчину. У кого-то из охотников выпросил пороху, у другого — дроби, у третьего — гильзы. Мы тоже не остались в стороне. Подарили два десятка патронов фабричного производства и приобрели друга, готового за нас в огонь и в воду.

ПЛЯСКА С МЕДВЕДЕМ

Ночью повалил снег. Яростный северный ветер до самого утра шарил по ставням, хлябал дверьми, завывал в трубе. Унялся уже под утро. Печатая на белом дворе отчетливые следы, прошел Василий. Переступил порог, потопал ногами, стряхивая снег, и сказал:

— Еду в Сайзозеро.

До деревни Сайзозеро километров тридцать. На лошади туда

и обратно за день вряд ли обернешься, да еще по такой распутице. А вчера мы договорились опять идти на глухарей…

— Дядю медведь помял, — как бы оправдываясь, проговорил Василий. — Вчера вечером тетка приехала. Проведать надо… Может, и вы хотите?

Хотим ли мы? Я тут же бросил свои записи, Вацис отложил альбом с эскизами, и через несколько минут мы были готовы в путь.

Дорога петляла по лесу. Заснеженные сосны, ели, березы с оголенными ветвями так и налегали на дорогу с обеих сторон. Деревья прочно пустили корни и на скалах, где, казалось, не было ничего, кроме голого камня. Даже на болотах там и сям торчали чахлые березки и сосенки-недомерки. Куда ни кинешь взгляд — повсюду лес, лес, лес. Густой, величественный, столетний лес, которому нет, казалось, конца и края.

Сайзозеро — старая карельская деревня. Длинная вереница избушек, банек, сарайчиков жмется к одноименному озеру. Берег высокий, скалистый. Большинство домов стоит у самой воды, будто ищет за высоким берегом укрытия от северных ветров. Обращали на себя внимание странные мосты, перекинутые от скал к крышам домов. Оказывается, жители деревни держат на чердаках корма, зерно и прочие блага, которые рожает земля. Чтобы не таскать тяжелые мешки по лестнице, они прямо на лошадях въезжают по этим мостам на чердак. Можно себе представить, каким прочным должен быть потолок такого дома! Да, карелы умеют строить. Они словно стараются не нарушить гармонию окружающей природы. Возьми в руки карельскую березу, тронь ее лезвием ножа — скользнет, как по камню. Все здесь прочно, грубо, надежно. И, пожалуй, очень странно выглядела бы в этом суровом окружении изящная вилла с легкими очертаниями. А эти мрачноватые, подслеповатые избы, сложенные из громадин бревен, стоят десятки лет, чернеют, но ни северная непогода, ни ветры им не страшны. Похоже, они такие же вечные, Как и эти замшелые скалы.

И люди здесь — тоже скалы.

Еще в районном центре Медвежьегорске мы прочли в газете объявление. Приглашали зарегистрироваться тех, кто всю зиму купался в полыньях и прорубях на озерах и реках. Здесь, очевидно, «моржи» — не редкость.

Переступив порог избы, в которой живет дядя Василия, мы еще раз убедились, что местные жители необычайно здоровы и выносливы.

Дядя Виль лежал под пестрым ватным одеялом на прочной деревянной кровати, украшенной резьбой по дереву. Голова была

обмотана бинтами, из которых выглядывал небольшой курносый нос, запекшиеся губы и живые темные глаза.

Василий и здесь проявил свойственную карелам сдержанность. Он не кинулся к дяде с причитаниями, а придвинул к кровати лавку, познакомил нас, пожаловался на распутицу и только тогда улыбнулся, показав белые зубы:

— Не повезло, значит?

В глазах дяди Виля зажглись теплые огоньки, он облизнул запекшиеся губы и тоже улыбнулся:

— Ага… Пришлось поплясать маленько, и, видишь, не совсем удачно…

Карел никогда не скажет, что пришлось сойтись с медведем врукопашную или что медведь ободрал его. «Поплясали…» Ничего себе пляски, черт возьми!

Дядя Виль снова улыбнулся, как бы извиняясь перед нами, и взглядом пригласил садиться. Мы двинулись к лавке, но из-под кровати послышалось грозное ворчанье.

— Молчать, молчать… Свои, — кого-то успокоил дядя Виль.

Мы заглянули под кровать и увидели черную карельскую лайку. Пес, словно беря пример с хозяина, тоже лежал обвязанный, поблескивая исподлобья злыми глазами.

— И ему досталось, — объяснил дядя Виль. — Челюсть сломал, бедняга.

По лицу Василия скользнула тень озабоченности. Он слегка подался к дядиной постели, но опять с улыбкой сказал:

— Вижу, вы не на шутку схватились…

Да, оказывается, там было не до шуток. Дядя Виль поставил мережи на узкой, уже оттаявшей протоке. В эту пору — самый нерест щуки. Она проникает к освободившимся от льда берегам озер на залитые вышедшими из берегов речками луга и мечет икру. За ночь мережи, поставленные на хорошем месте, битком набиты крупной и мелкой рыбой. Так вот, дядя Виль отправился проверить свои мережи. Захватил по привычке ружье, сунул за пояс топор (карел без топора из дому не выйдет), свистнул собаку и пошел. Как всегда, в патронташе была и пуля. На всякий случай. А все прочее — патроны с мелкой птичьей дробью. В этих местах во множестве водятся рябчики, так что дядя Виль рассчитывал принести парочку к обеду. Возле протоки собака, ощетинившись, заворчала, и тут же дядя Виль увидел медведя. «Хозяин» был занят. Забредя в вышедшую из берегов протоку, сгорбившись, мишка старательно вытряхивал рыбу из… мережей дяди Виля. То ли очень голоден был, то ли терпения мало, то ли просто не мог разобраться в хитроумной человечьей снасти, но только сеть в его лапах рвалась, как паутина.

Ни один охотник не упустит такого случая. А дядя Виль за свой век ухлопал больше двух десятков медведей. Ему ли было отступать? Зарядив одностволку своей единственной пулей, он, недолго думая, прицелился под левую лопатку и выстрелил. Обычно медведь при виде человека спешит убраться подальше от своего извечного врага. Нападает в исключительных случаях, когда нет другого выхода. А этот совсем иной попался.

— Не успел я глазом моргнуть, — вздохнув, продолжал дядя Виль, — как он шасть ко мне… Приостановился малость, отшвырнул вцепившуюся в него собаку и — на меня! Я и не почуял, как он выдрал из рук ружье, сорвал рюкзак со всеми ремешками. Только вижу перед собой разинутую пасть, кажись, даже дыхание на лице чувствую…

В последний момент, когда дяде Вилю оставалось только проститься с жизнью, медведь вдруг закружился на месте, пытаясь схватить собаку, которая мертвой хваткой вцепилась ему в зад. Этого короткого мгновения хватило, чтобы Виль вытащил из-за пояса топор и изо всей силы всадил его в макушку медведя. Но зверь будто и не почувствовал удара: взревел не своим голосом и ринулся на охотника. Покатились оба кубарем, а собака опять вцепилась в мишку. Медведь снова оставил охотника, а тот, уже безоружный, отполз на несколько метров и потерял сознание. Собака воротилась домой вся в крови, с выломанной челюстью и привела жену дяди Виля к месту схватки.

— Прихожу, а он валяется, уже совсем на человека не похожий, в крови плавает, а шагах в пятидесяти — и медведь такой же, — впервые вмешалась хозяйка дома, высунувшись из кухни.

Мы с Вацисом слушали затаив дыхание и с искренним восхищением смотрели на спокойного, грустно улыбающегося дядю Виля. Казалось, он рассказывал о самых простых вещах.

— Так-то… — вздохнул Василий и закончил популярной карельской поговоркой: — На топтыгина идешь — постель готовь, на сохатого — гроб заказывай.

Мы решили, что поговорка не верна. Ведь лось — такое красивое и не хищное животное. То ли дело медведь!

Однако нам сказали, будто в окрестных лесах еще не было случая, чтобы медведь задрал человека насмерть. Помнет, исцарапает, кости переломает и бросит. Через два-три месяца, а иной раз и только через полгода человек поднимется с постели. А если сохатый копытом стукнет, то сразу дух вон. Только дурак станет стрелять в лося на открытом месте. От него не убежишь, и ружье не перезарядить на открытом месте. Единственное

спасение — дерево. Бегай вокруг него, пока не загонишь новый патрон в казенник.

В Карелии, как и всюду, охота на лося запрещена. Однако местным жителям выдают лицензии на отстрел одного-двух лосей в год.

Потом мы рассматривали распяленную на рамах медвежью шкуру, которая сохла за домом, на весеннем солнышке. Не дай бог схватиться с таким великаном! От макушки до задней ноги — почти два метра. Когти чуть ли не в человеческий палец длиной. Зубы длиной со спичку.

После обеда над деревней послышался шум авиационного мотора.

— За мной прилетели, — снова как бы извиняясь, улыбнулся дядя Виль. И то было не притворство, а неподдельное смущение: вот, мол, сколько хлопот доставил людям.

Вертолет сел на пригорке, недалеко от дома, и через полчаса опять поднялся, унося дядю Виля и его верного четырехлапого друга.

Как довелось узнать впоследствии, оба полностью выздоровели. У дяди Виля была сломана левая рука, три ребра и разорваны мускулы правого плеча. А он лежал, улыбался, разговаривал! И ни единого стона!

Собака хоть и осталась с перекошенной челюстью, но тоже поправилась. Говорят, теперь во всей округе нет более злого и настойчивого врага медведей. Большие деньги предлагают за нее охотники дяде Вилю, но тот поклялся никому не отдавать ее, делиться с ней последним куском, как и положено самым близким друзьям.

ГДЕ ЗИМУЮТ КОМАРЫ?

И опять мы ни с чем вернулись с охоты на глухарей. Не видали и не слыхали их. Василий ругается на чем свет стоит. Нам тоже не весело. Неужели так и уедем, не повидав этих лесных красавцев?

Но самое главное: на обратном пути вновь увидели на снегу те же проклятые следы. В том, что это тот самый человек, можно было не сомневаться: большие, подкованные сапоги с отчетливым стыком на левом каблуке.

Было ясно, что это не случайно забредший охотник, а человек, проведавший о глухариных токовищах, про которые, по словам Василия, знали только его отец, покойный друг да он сам.

Мы вернулись злые и мрачные. Даже не глянув на завтрак,

повалились спать. Подремав часок, улучили момент, когда никого не было дома, и тайком пересмотрели всю имевшуюся у хозяев обувь. Ведь они слышали наши разговоры, когда мы собирались на новые токовища! Представьте, какой стыд охватил нас с Вацисом, когда, обыскав все углы, мы не нашли обуви, даже отдаленно похожей на ту, следы которой видели в лесу.

Вдруг за окном поплыло густое облако дыма. Ветер быстро гнал его, и через минуту вся деревня утопала в дыму.

Мы стремглав вылетели на улицу. Но в деревне было спокойно. Едкий дым густыми клубами катился вдоль раскисших деревенских улиц, тянулся над озером, грыз глаза, душил. Выбежав за околицу, мы увидели Василия и еще нескольких карелов, которые, опершись на колья, наблюдали за охваченным пламенем полем. Языки огня бежали над землей, слизывая порыжелую прошлогоднюю траву, которая, несмотря на раннюю весну, здесь, на солнцепеке, пылала, как порох. Когда пламя со всех сторон окружало растущий у дороги куст или молодую березку, к небу взмывала огненная стрела, собравшая гигантский рой искр, которые ветер уносил вдаль, рассеивал, гасил.

Каждую весну карел огнем и топором отвоевывает у ненасытного леса клочок пастбища для своей скотины. И каждый год лес снова пытается его отнять: ветер разносит множество семян, и, смотришь, там, где еще в прошлом году был чистый луг, нынче на каждом шагу пробиваются кустики, упрямо цепляясь за почву, пуская в нее корни. Человек опять жгет, опять рубит, сечет, корчует.

Нелегко достается карелу каждая пядь пастбища, луга или пахотной земли.

Когда обгоревшие кусты были выкорчеваны, Василий принялся ладить борону.

Достаточно взглянуть на окружающие деревню полоски, отнятые у вечного леса, чтобы сразу понять: современная сельскохозяйственная техника тут почти ничем не может помочь земледельцу. Ни одного более или менее ровного участка! Повсюду крутые взгорки, отвесные склоны, а на них — множество камней. Трактор, может быть, кое-как и мог бы еще пробраться, но пятилемешный плуг — откладывай в сторону: он мгновенно ломается, наскочив на камни, которыми так и усеяна земля, а еще больше прячется под тоненьким слоем почвы. Не пригодны здесь и наши железные бороны, культиваторы. Камень все ломает, как детские игрушки. Выдерживает только дерево. Да, дерево!

Мы смотрели, как Василий, выбрав густые елочки, валил их на землю, нарезал метровыми кусками и расщеплял вдоль ствола. Обрубив концы веток и очистив от хвои, Василий прибивал

каждую половинку ствола к бруску. Оставшиеся при стволе метровые сучья напоминали щетку. Ель, как известно, очень эластичное дерево. Вот такой щеткой, взвалив на нее специальный груз, и боронят карелы. Если борона натыкается на камень, сучья гнутся, проползают сверху и тут же опять вонзаются в землю.

— Есть у меня думка, — не поднимая головы, сказал Василий и, закончив тесать брус для бороны, добавил: — Я знаю одно токовище, где наверняка застанем глухарей…

— Так чего же мы ждем? — оживился Вацис и тут же смутился: — Гм… может быть, тебе…

— Нет, что ты, — с полуслова понял намек Василий. — Мне не жалко. Только не знаю, как доберемся до места: токовище-то за Остером.

Больше объяснять не требовалось — мы уже прекрасно знали, что такое Остер. Это река-озеро. Местами его воды разливаются в ширину до километра. В таких местах, кажется, совсем нет течения. Однако там, где высокие и крутые берега сжимают воды Остера, он, пенясь и оглушительно шумя, стремглав летит вниз по крутым порогам и водопадам. Летом, когда тихие места освобождаются от льда, попасть на другой берег Остера не сложно. Захватил топор, гвозди, сделал плот — и плыви на здоровье. Но сейчас все тихие заводи еще покрыты льдом. Недели две назад по этому льду можно было ходить вдоль и поперек, но тогда еще не «играли» глухари. А попробуй перейти Остер теперь, когда лед стал ноздреватым, пористым и мягким, как блин. Правда, на быстрине вода уже взломала, разбила лед, но там нечего и думать перебраться. Течение мгновенно перевернет и плот, и лодку, разнесет в щепки, ударив о подводные камни.

— За Остером раскинулись огромные леса, — говорил Василий. — Глухари там чувствуют себя в безопасности. Для них Остер — надежный страж. Ни одного охотника не пропустит. Но мы попробуем, а?

Теперь мы с Вацисом молчали. Сгоряча согласиться — легче легкого. Но решимости может и поубавиться, когда потребуется не на словах, а в самом деле ступить на хрупкий весенний лед Остера. Надо было серьезно все обдумать, взвесить.

— А пробраться туда можно? — спросил Вацис.

— Не знаю, удастся ли, но рискнуть можно, если лыжи надеть. Люди ходили. Мой отец так делал, — ответил Василий и, помолчав, добавил: — Надо выйти затемно. После ночного заморозка лед покрепче.

Эта мысль подбодрила нас. В самом деле, возвращаясь под утро с ночной охоты, мы нередко удивлялись, до чего быстро и

крепко сковал ледок многочисленные ручьи и болота.

— Ну что же, попытаемся! — решили мы.

С вечера собрались в избе Василия и стали готовиться в дорогу. Василий достал три пары широких лыж. Каждый по своей ноге приспособил ремни, испробовал, не слетают ли на ходу. Запяточные ремешки сняли — если случайно провалимся, легче будет освободиться от лыж. Иначе не выкарабкаешься из полыньи.

Всю ночь я не сомкнул глаз. Слышно было, как вздыхал, ворочался с боку на бок и Вацис.

Мы встали до рассвета и гуськом направились к Остеру.

Противоположный берег утопал во мгле, из которой смутно выступали неясные контуры леса; тот берег казался недостижимо далеким, хотя Василий уверял, что здесь чуть больше полукилометра. Он скинул с плеч рюкзак, достал из него аккуратно свернутую длинную веревку и топор. Войдя в густой подлесок, быстро срубил несколько высоких и тонких сосенок.

— Это зачем?

— Под мышки взять, — объяснил Василий. — Если лыжи провалятся — шесты удержат.

Молча помогли мы очистить сосенки от веток, испытали на крепость. Вроде надежные.

— Присядем, — показал Василий на замшелый валун. Он достал курево, угостил нас и принялся наставлять: — Гуськом идти не стоит, потому что первый надломит лед, а второй или последний наверняка провалится. Пойдем в десяти шагах друг от друга. Каждый возьмет в зубы веревку и, если что, конечно, поможет товарищу… И еще: смотрите, тщательно обходите каждый торчащий из воды камень или пучок травы. В таких местах лед слабее.

— А как же мы попадем на лед, если у берега все подтаяло?

— Вот, — похлопал Василий по тем же шестам.

Тем временем рассвело, и мы стали перебираться на лед. Перекинули с берега на лед шесты, закинули за плечи рюкзаки, ружья, взяли в руки лыжи и, балансируя, как циркачи, держа в зубах веревку, шаг за шагом медленно двинулись по гнущимся от тяжести шестам. Вот наконец и зубчатая кромка льда. Я осторожно перехожу с шестами на лыжи, беру шесты под мышки и оглядываюсь на товарищей. Они тоже готовы: один слева, другой справа. Каждый держит в зубах веревку, которая свободно провисает двумя большими дугами. Со стороны, должно быть, смешное зрелище, но нам не до смеха.

Шаг за шагом, вершок за вершком продвигаемся мы по неприятно потрескивающему льду. Веревка в зубах мешает

дышать… Вперед к «земле обетованной» — на другой берег Остера, до которого теперь, когда взошло солнце, кажется, рукой подать.

Я искупался первым.

Все произошло в одно мгновение. Лыжи продавили наросшую за ночь тонкую корочку льда и погрузились, точно в кашу. Я только почувствовал, что вишу на шестах, до подмышек окунувшись в ледяную воду. Веревку по-прежнему держал в зубах. Какое счастье, что она была не натянута — а то бы и зубы потерял.

— Не бойся… Не теряйся! — донеслось с обеих сторон, и ко мне вернулись дыхание и холодный разум. Вот именно — холодный…

Я обвил веревку вокруг запястья одной рукой, затем — другой и, стиснув под мышками шесты, взглядом умолял, чтобы они скорей тащили меня из этой ужасной ванны.

Наконец меня вытащили, мокрого и скользкого, как тюлень. Лежа на льду, я, зуб на зуб не попадая, выудил из полыньи лыжи, и через минуту мы двигались дальше.

Через несколько десятков шагов ухнул в воду Вацис. Не успел я обернуться в его сторону, как с другой стороны услышал:

— Ух!

Это окунулся Василий.

Ужас сковал меня по рукам и по ногам: вот-вот и я снова провалюсь в ледяную воду. Тогда уже можно считать, что все кончено: никто не протянет руку помощи. Но что это? Василий и Вацис даже не пытаются выбраться на лед. Отплевываясь и ругаясь, они крошат его грудью и, как ледоколы, бредут к берегу. Мель! Значит…

Мою радость вдруг остудила ледяная вода. Она доходила до груди, перехватывая дыхание. Я почувствовал под ногами каменистое, неглубокое дно. Подобрал всплывшие лыжи и направился прямо к берегу.

Несколько секунд мы стояли закоченевшие, мокрые, боясь шелохнуться. Малейшее движение заставляло вздрагивать. Мокрая, задубевшая на утреннем морозце одежда словно каленым железом прожигала тело.

— Быстрей костер! — первым опомнился Василий.

— А как огонь добудешь? — с кривой улыбкой спросил Вацис. — Может, дерево о дерево будем тереть?

У нас с Василием вытянулись лица. Вацис был прав: спички в карманах промокли, коробки раскисли, а головки превратились в кашицу, которая при малейшем прикосновении осыпалась на землю.

— Собирайте дрова… Бересты для растопки надерите, — все-таки придумал что-то Василий и дрожащими, непослушными пальцами поспешно вытащил патрон из патронташа. Стуча зубами, он лихорадочно извлек из гильзы картонную прокладку, высыпал на землю дробь, выковырял пыжи, оставив только порох. Потом стянул с себя шапку, надорвал зубами подкладку и выдернул из-под нее клок сухой ваты. Смял, затолкал ее в гильзу, загнал патрон в ружье и критически окинул взглядом большую груду хвороста, который мы с Вацисом натаскали со всех сторон. Отложив ружье, Василий взял кусок березовой коры и снял с нее верхний слой, тоненький, как папиросная бумага. Вынув из рюкзака топор, он в два прыжка подскочил к стройной, щедро залитой смолою сосне, и тут же во все стороны полетели щепки. Мы тщательно собирали их, обдували, очищали от снега. Каждое движение отзывалось нечеловеческой болью. Казалось, кто-то опутал тело колючей проволокой, которая безжалостно терзает руки, ноги, спину, живот…

Василий скинул телогрейку, наставил на нее ружье и выстрелил. Из ствола вылетел дымящийся, тлеющий комочек ваты. Василий бросился на колени, съежился и стал дуть на вату, со всех сторон подсовывая тонюсенькие полоски бересты. Вот вскинулся язычок пламени, лизнул край березовой коры, но не успел укусить, как тут же выдохся. А Василий все дул и дул. Осторожно, точно рассчитывая каждый свой вздох. Мы с Вацисом, затаив дыхание, следили за этой безмолвной, упорной борьбой. Вот вата снова выжала робкий, трепещущий огонек… Он раз-другой лизнул бересту… Кора почернела, свернулась трубочкой и… вспыхнула!

Через несколько минут весело трещали сосновые щепки, распространяя резкий запах смолы. Пламя костра становилось все шире, выше, и казалось, теперь уже не было силы, которая могла бы задушить его.

— Все озеро прошли, и у самого берега — на тебе… — протягивая руки к костру, бормотал Вацис.

— Это я виноват, — кряхтя от удовольствия, откликнулся Василий. — Недодумал. Тут ведь северный берег… Солнце с юга и подточило лед… Надо было искать переход где-нибудь севернее, где этот берег круче и зарос высокими деревьями. От них и в полдень тень ложится. Там лед покрепче…

— Хорошо еще, что так кончилось.

Не прошло и получаса, как мы сбились с ног: с одного бока жарко припекал костер, с другого — кусал мороз, и мы только знай успевали поворачиваться, пока вконец не закружилась голова.

— Второй костер, — еле ворочая языком, как после хорошей выпивки, предложил Василий.

Набросали в десяти шагах большую кучу веток, притащили головешки. Совсем другое дело. Теперь мы млели от тепла меж двух костров, веки так и слипались.

Однако запас дров таял на глазах, а одежда все еще была влажной. Неподалеку стояла сухая голая береза. Ветры обломали ее верхушку, и дерево напоминало телеграфный столб. Вацис подскочил к березе, нажал плечом, стал выворачивать ее с корнем.

— Отойди! — крикнул Василий. — Ты что, шею себе сломать хочешь?!

Он взял два длинных шеста, один протянул Вацису, другой сам приставил к щербатой коре березы и, упершись босыми ногами в заснеженные мшистые кочки, принялся раскачивать дерево. Вацис пристроился с другой стороны, и после нескольких дружных толчков дерево раскачивалось, как маятник. И вдруг… трах — отскочил метровый кусок верхушки и глухо стукнулся о снег, взметнув облако серой пыли.

— Моего дружка так убило, — сказал Василий как бы между прочим.

Затрещали трухлявые, подгнившие корни березы, и некогда могучее дерево с жалобным скрипом рухнуло в снег. Опять взлетело облако пыли, но что это? Пыль не осела, а роем взметнулась выше и стала медленно опускаться в наш костер.

— Комары!

Да, это были комары. Миллионы комаров! Густой массой падали они в пламя костра и трещали, как жир на сковородке. Некоторые, не долетев до костра, щедро устилали землю. Их было так много, что снег из белого стал серым.

НЕПИСАНЫЙ ЗАКОН

К полдню, высушив одежду и сделав еще десяток нелегких километров по тайге, мы подошли к небольшой охотничьей избушке, приютившейся на крутом, скалистом берегу ручья. Внизу, расшибаясь о камни и пенясь, грозно ревел стремительный водопад, не замерзающий даже в самую сильную стужу.

Вокруг избушки не было никаких следов — ни зверья, ни человека. У входа намело огромный сугроб. Мы откопали, очистили порог, ввалились внутрь.

Избушка была без окон, и не привыкшие к темноте глаза не сразу стали различать предметы. Посредине — громоздкая

каменная печь без трубы. Вдоль стен — нары из тонких бревнышек, в углу — крепко сбитый стол. Больше ничего.

— Ну, надо обед варить, не то останемся голодными. Вечер на носу, — сказал Василий, бросив в угол возле двери дорожный мешок и вытащив топор.

В таких случаях мы с Вацисом знаем свое дело — отправляемся по дрова, а Василий, как всегда, разжигает костер, готовит.

Постная, волокнистая, как нитяной жгут, сохатина с густой просяной кашей показалась нам отменным лакомством.

— Видать, вы не пробовали свежую печень или губу лося, что так облизываетесь. Вот это лакомство так лакомство! — засмеялся Василий.

— Почему ты не стал варить на плите? — поинтересовался я.

— Задохнулись бы от дыма. Да и темно внутри.

— Окна что, нарочно не прорубили?

— Угу, — кивнул он.

— Стекла не хватило?

— Не потому. От комаров спокойнее… Закроешь дверь, затопишь печку и выкуришь всех до единого.

— А как сами охотники?

— Охотники? Охотники спят.

Василий тяжело встал, вошел в избушку и позвал нас.

— Вот здесь, — пошарил в полумраке у стены, — дыра есть.

Он выдвинул небольшую дощечку, и в стене открылось четырехугольное отверстие, прорубленное невысоко от земли.

— Когда дыму полно набьется, полчаса комаров поморим, а потом заберемся внутрь, дверь закроем наглухо и откроем эту дыру или другую, повыше. Дым выйдет, задвижку опять закроем и спим себе. Ни один комар не жужжит под ухом, — объясняя, Василий открыл еще две дощечки-задвижки: одну — посредине стены, другую — под потолком.

Теперь в избушке стало больше света, и я заметил под столом массивный, накрытый тяжелой крышкой ларь.

— А это что?

Василий улыбнулся:

— Это — закон тайги.

Мы подняли крышку. В ларе лежали аккуратно расфасованные по мешочкам продукты: крупа, соль, несколько кусочков сахара, щепотка чаю, кучка черных сухарей, в жестяной банке чернел порох вперемешку с пистонами. На самом дне лежало несколько длинных гвоздей, моток проволоки, ржавый топор, коробок спичек.

— Заблудился человек или в беду попал, зайдет в избушку —

не пропадет. На несколько дней от голода спасется, а за это время, глядишь, и выберется из тайги, — объяснял Василий. — Таков неписаный закон тайги: сколько можешь — заботься о других, и другие тоже не забудут тебя.

Этот неписаный закон глубоко взволновал нас. Где-то на краю света, в, казалось бы, богом и людьми забытой глуши, среди непроходимых лесов и болот, кто-то позаботился о тебе… Я с грустью подумал о тех краях, где цветет цивилизация и… на ночь нельзя оставить открытое окно или выстиранную тряпку на заборе. Да, здесь, на Севере, в глухой тайге, тунеядцу и паразиту делать нечего. Тут каждый знает вкус хлеба, заработанного тяжелым трудом, мозолистыми руками. И наверняка никто так больно не переживает одиночества, никто не умеет так дорожить дружбой, как жители Дальнего Севера. Индивидуалист никогда не приживется на этой земле, никогда не пустит здесь корни.

— Пора идти, — прервал мои раздумья Василий.

Да. Солнце уже садилось, заливало лес тенями, пробираясь на отдых сквозь путаницу елей и сосен.

— Разойдемся в разные стороны, — решил Василий. — Так скорее наткнемся на глухарей. — Заметив на наших лицах беспокойство, он подсказал: — Чтобы не заблудиться, делайте топором или ножом зарубки на деревьях. По ним не трудно будет вернуться.

Жутковато одному в тайге. Каждый звук заставляет вздрагивать, озираться, кажется, что за каждым вывороченным деревом подстерегает неведомая опасность. Поживи так лицом к лицу с тайгой неделю-две и научишься дорожить человеческой дружбой.

Я бреду по тайге, высматривая места, где сугробы поменьше, где деревья реже и снег слизан солнцем. Через каждые десять шагов делаю зарубки: лучше чаще, чем…

Я застываю с поднятым топором. Над макушками сосен со свистом пронеслась большая птица. Глухарь! Теперь я пробираюсь осторожно, обходя снежные заплаты, которые отчаянно хрустят под ногами, не дают прислушаться. Передо мною небольшой, поросший соснами холм. Он уже сбросил зимний покров. По серому мягкому мху можно красться, как кошка.

— Лап-лап-лап… — залопотало где-то впереди. Это глухарь, садясь на дерево, хлопает так своими мощными крыльями. В тихую погоду этот звук слышен на несколько сотен метров.

Теперь я двигаюсь совсем медленно. Сделаю несколько шагов и снова прижимаюсь к сосне, снова напрягаю слух. Внезапно большая темная птица срывается с сосны и летит прямо на меня. На полдороге свернула, села на сухой сук, прилипла, застыла.

Застыл и я. Глухарь выждал, огляделся. Потом прошелся по суку туда и обратно.

Где-то далеко прогремел выстрел, и его отзвук докатился до моего холма. Я невольно выругался, но, оказывается, напрасно: глухарь по-прежнему сидел и преспокойнейшим образом клевал сосновые иглы. Ужинал. Я не шевелясь ждал, когда он начнет «играть». Но он и не думал. Где-то рядом сел еще один: было отчетливо слышно, как с треском ломались сосновые ветки, как птица хлопала крыльями. Тянулись минуты, но ни тот, ни другой не «подавал голос».

Солнце закатилось. Дольше ждать не имело смысла: раз уж не начали петь до этого, то ночью и подавно не запоют. Расстроенный, раздосадованный, я осторожно пятился назад, стараясь не спугнуть глухарей. Утром никуда не денутся — запоют.

Возле избушки уже весело трещал костер. Увидев меня, Вацис еще издали завопил:

— Смотри! Ты только посмотри!

Гоня прочь невольную зависть, я смотрел на великолепную птицу. Сколько оттенков в темных перьях! Какие когти, какой клюв! Под счастливой звездой родился Вацис.

— Сам подлетел на выстрел, — не в силах успокоиться, в который раз рассказывал Вацис — Иду, прислушиваюсь, и вдруг, откуда ни возьмись, — бряк на соседнюю сосну. Я в него и пальнул!

— Ничего. Утром и мы свое возьмем, — утешал меня Василий. — Глухарей много. Ток непуганый. С песней возьмем. Еще интересней.

Я так и не уснул. У меня перед глазами все время стояла черная птица с отливающим зеленью венчиком вокруг шеи. Ровно в два часа я разбудил товарищей. Мы наскоро напились крепкого горячего чаю и рассыпались по вчерашним тропам.

В сумраке отчетливо выделялись на белом снегу оставленные мной следы, тускло белели зарубки на соснах. Вот и устланная серым мхом площадка… Вот сосна, у которой я простоял вчерашний закат.

Я прислушался. Тайга спала. Ни звука, ни шороха. Стрелки часов, казалось, тоже заснули. Я поднес часы к уху.

— Тек… тек… тек… — Но ведь это не ход часов! Это песнь глухаря! Умолк… Нет. Опять токует. А вот и «молоть» начал. Я пропускаю несколько трелей, мысленно прикидываю, сколько шагов успею сделать за время «помола». Четыре, а то и пять. Но нет! Лучше три прыжка. Вернее будет.

Дождавшись, когда глухарь снова запоет, я, точно

подброшенный пружиной, оторвался от сосны и, с заряженным ружьем наперевес, сделал три прыжка по направлению к птице. Только успел притаиться, как глухарь затих. Снова — тек… тек… Новая трель — новые бешеные скачки. Каждый мускул вибрирует от напряжения. Пот градом. Кажется, я уже целую вечность повторяю эти упражнения… И сегодня, когда с той ночи прошло немало времени, я помню все до малейшей подробности. Песнь глухаря где-то совсем рядом, почти над головой. Впереди разлапистая ель. Надо обойти. Она скрывает птицу. Два шага вправо — и я оказываюсь под высокой сосной. Глухарь здесь. Сверху льется его пение. Но где же птица? Трель за трелью, а певца не видно. Я стою не шевелясь. Немеют ноги, сводит икры, но я стою… И вдруг:

— Лап-лап-лап…

Улетел. Я только и успел заметить мощные, широко раскинутые крылья. Как же так? Я не шелохнулся, даже мох не зашуршал под ногами. Что же его спугнуло?

Я сворачиваю в сторону, туда, где накануне сидел глухарь. Все повторяется сначала: в полутьме я не вижу птицу, а она, издав у меня над головой несколько трелей, улетает.

Бессильно уронив руки, я тяжело вздыхаю. Этот вздох и объяснил мне, в чем секрет моего невезенья…

Как я раньше не подумал об этом! Подкравшись к птице, я стою окаменев, а рот — разинут. На предутреннем морозце пар из него клубами валит… А глухарь — птица зоркая.

Я снова тихонько крадусь по мягкому мху, прижимаюсь к точеным соснам, прислушиваюсь.

Поодаль поет глухарь.

Я бросаюсь в ту сторону и через несколько минут отчетливо слышу каждый такт глухариной трели.

А в лесу уже совсем рассвело. Верхушки сосен купаются в пурпуре восхода.

Место удобное: замшелые камни, редкие сосны, молоденькие, рассаженные ветром елочки. Я крадусь, съежившись, уткнувшись носом в грубый ворот куртки, который впитывает дыхание и покрывается мелкими росинками.

Певца замечаю не сразу. Несколько раз вскидываю ружье, прицеливаюсь, но, оказывается, это густая вязь сосновых веток, а глухарь сидит ниже. Опустив крылья, почти отвесно задрав распущенный веером хвост, он мелкими, нервными шажками семенит по суку и глухим, преисполненным страсти голосом выводит «любовную песнь». Птица в экстазе. Запрокидывает голову, топорщит оперение шеи, и с каждой трелью по ее телу пробегает судорога. Пенье становится все более страстным,

глухарь кружится на одном месте, словно стараясь вцепиться клювом в перья хвоста. Опомнившись, я подымаю ружье…

Ломая ветки, птица рухнула вниз. Однако, захваченный собственным пением, глухарь еще несколько секунд, продолжал кружиться и на земле, пока не упал замертво. Встопорщенные перья на шее постепенно легли, прижались к коченеющему телу.

Руки у меня дрожали. Голова кружилась от счастья. Я бросился на мшистое ложе рядом со своей добычей — хотел заново пережить все подробности этого дивного утра…

И вдруг я почувствовал на душе пустоту. Все мгновенно поблекло, утратило свою прелесть, меня охватила непонятная жалость, как будто я потерял что-то очень дорогое. Я знаю людей, которые чуть не со слезами на глазах рассуждают об убитой птице или звере, а полчаса спустя уплетают за обе щеки жареного цыпленка. Мне было жаль не глухаря…

Вдали гремели выстрелы… Их эхо катилось по зубчатым верхушкам леса, а я лежал на спине, глядя на все ярче разгоравшуюся зарю, и думал о величии и ничтожестве человека, о жгучей, манящей страсти и о невыносимой пустоте на сердце, когда страсть померкнет.

Под вечер, увешанные добычей, мы покинули охотничью избушку. Однако не сделали мы и сотни шагов, как вдруг Вацис остановился:

— Погодите.

Он снял рюкзак, вынул из наших общих запасов банку литовской свиной тушенки, пачку печенья и побежал обратно, к избушке. Когда Вацис вернулся, Василий окинул его добрым, теплым взглядом.

ОДИН ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ГРЕХОВ

Больше полсуток мы с Вацисом спали как убитые. Разбудили нас громкие звуки марша и осторожное поталкиванье. В ногах стоял хозяин и, улыбаясь, говорил:

— Вставайте. Так и все праздники проспать недолго.

Из батарейного приемника неслись торжественные марши. Сегодня — Первое мая!

Мы вскочили с постели, ледяной водой прогнали последние остатки сна, надели чистые рубашки, повязали галстуки и… рассмеялись: мы ведь не в Вильнюсе, не спешим на праздничную демонстрацию.

— Просим гостей к столу, — пригласила нарядно одетая, какая-то помолодевшая хозяйка.

Только успели чокнуться и взяться за еду, как на пороге вырос Василий.

— Приятного аппетита, — пожелал он, а хозяин уже предлагал ему стул, усаживал за стол, наливал.

Уважив хозяев, отведав того-сего и сделав несколько глотков, Василий обратился к нам:

— А теперь пожалуйте ко мне.

Изба Василия так и сияла. Тут всегда был образцовый порядок, но сегодня, казалось, можно запачкать стены, прикоснувшись одеждой. Карелы редко, очень редко красят полы или стены своих жилищ. Здесь не увидишь бумажных обоев. Повсюду голое дерево. Но можешь провести по широким половицам белоснежным носовым платком, и на нем не останется ни пылинки. А перед праздником карельские женщины просто сами себя превзойти готовы: потолки, стены и полы надраивают… песком.

Стол ломился от яств, хозяева непрестанно уговаривали есть, накладывали снова и снова, и мы с Вацисом уплели жареную сохатину, съели по глухариной ножке, принялись за пироги. И каких пирогов тут только не было: с рыбой и с капустой, с черникой, брусникой и бог весть еще какими ягодами…

— Ну, за дружбу! — чокнулся уже слегка захмелевший Вацис с Василием.

В это время на пороге появился двоюродный брат Василия — Михаил. Стоит у двери, мнет шапку, а к столу не идет.

— Садись, Миша, гостем будешь, — приглашает Василий, а тот лишь головой мотает:

— Спасибо… Недосуг. Дома ждут. Я за гостями пришел, — и кивает нам, на дверь показывает.

Пришлась встать и идти. Отказываться не принято.

У Михаила не потчуют сохатиной, но зато в большой миске плавают в соусе два румяных, зажаренных в русской печи тетерева, а рядом с ними — жареный глухарь. Жена Михаила, проворная светловолосая карелка, как мы ни отказывались, наложила нам по кусищу холодца, придвинула птицу, нарезала пирог, а отец Михаила доверху налил солидные стопки. Последнее время старик хворает, а когда-то был знаменитым охотником. Не одного медведя убил.

Я слушаю его рассказы, жую из последних сил, а хозяйка знай подкладывает.

— С праздником вас, соседи! — с порога широко улыбаются наш юный друг Оскар и его мать, повязанная ярким, цветастым платком.

Хозяйка вскакивает, просит новых гостей к столу, ищет

чистые тарелки, но гости ни на шаг от двери.

— Спасибо… Мы на минутку. В гости звать пришли, — ласково улыбаясь, объясняет женщина, а сын уже смотрит, где наши шапки.

Несколько десятков шагов по раскисшей улице, и мы опять за столом, опять звенят ножи, вилки, опять вылетает пробка из бутылки.

Возле печки стоят высокие сапоги. Один из них упал набок. Я смотрю и не верю своим глазам: четкий стык через весь каблук. Так вот кто оставил «таинственный след» на известных только Василию токовищах! Я подталкиваю Вациса, но это лишнее: он и сам уже уставился на каблук с отметиной.

Оскар и не отказывается.

— Я все просился, чтобы взяли, да где там… Мал, дескать, глуп, еще людей перестреляешь. Ну тогда я сам. Один… — как бы извиняясь, объясняет Оскар.

Да… Бывает. Мы всё — мал, малыш, рано ему, а этот малыш уже давно вырос и раскусил все секреты взрослых. Но откуда у него такие сапоги? Прямо семимильные…

— Все отцовское: и сапоги, и ружье, и патроны, — смущенно объясняет паренек, а мне кажется, что уже не один — два Оскара сидят и оба шевелят губами, оба накладывают мне на тарелку салат… Ох!

— Господи, опять птица. Полгода на пернатых смотреть не сможем.

Хозяйка, не поняв сказанной по-литовски фразы, видимо, объясняет ее по-своему.

— Может, не хватает чего? — услужливо наклоняется она к Вацису.

— Да, — не выдерживает он. — Только курятины и не хватает…

С крыльца доносятся шаги, кто-то ищет впотьмах дверную ручку, и в комнату вваливается невысокий, быстроглазый старичок. Вроде мы раньше не видали его в деревне. Он машет рукой, чтобы мать Оскара не вставала из-за стола:

— Спасибо, не сяду… Я на минутку…

Мы с Вацисом, даже не дослушав, встаем и беремся за шапки.

Я пожимаю руку старичка, и мы, все трое, в обнимку мужественно отправляемся в соседнюю избу, где нас уже ждет хозяйка в белом фартуке.

… Наутро, сидя за столом, мы увидели за окном Василия. Он шел к нашей избе.

— Господи, неужто опять? — побледнел Вацис.

Однако наши опасения были напрасны. Василий приглашал

поохотиться на рябчиков. И кое-что рассказал нам.

Пока мы охотились за Остером, в деревушку завезли несколько ящиков водки и вина. Этот товар в отдаленных, труднодоступных уголках Карелии — редкость. Не так-то просто везти его по каменистым лесным дорожкам. В деревне исстари существует обычай: привезли «веселой водицы» — мужчины собираются и делят все между собой. Кто берет целый ящик, а кто довольствуется и несколькими бутылками. На лекарства. Карелы в основном люди трезвые. Правда, праздник — другое дело. По такому случаю грех не выпить… Деревня и на сей раз поделила эти несколько ящиков. И каждый просил по лишней бутылке, так как у него, мол, гости. Василию мужчины сами выделили побольше: вместе охотятся, так что небось и праздновать вместе будут. Получил дополнительную бутылку и наш хозяин. А как выяснилось, вся деревня ждала одних и тех же гостей — нас с Вацисом.

СМЕРТЬ ДВУХ РАЗБОЙНИКОВ

Каждый день Василий нас чем-нибудь да удивит. Уж очень много известно ему лесных тайн. Сегодня он учит нас охотиться на рябчиков — маленьких лесных курочек. Вырвал из глухариного хвоста горсть перьев и смастерил несколько маночков. Получилось что-то вроде тех свистулек, что вырезают из ивняка подпаски. Только свистулька из глухариного перышка свистит гораздо тоньше — как настоящий рябчик.

Каждый получил по манку, и мы засели на склоне, заросшем елями, осинами и березами. Склон спускался к берегу озера. У края рябила широкая полоса воды, а все озеро еще было покрыто почерневшим льдом.

Я спрятался между двумя коренастыми елочками и свистнул:

— Ти-ти-ти-и-и…

Вскоре из чащи откликнулся рябчик:

— Ти-ти-ти-и-и…

Я тут же свистнул еще раз и прислушался. Василий оказался прав: слышно было, как птица вспорхнула и села на ближнюю березу. Но как ни старался я ее разглядеть, это не удавалось. Оперение рябчика цветом напоминает кору старой березы или осины, так что самый зоркий глаз не заметит прижавшуюся к стволу птицу. Я снова свистнул. Порх — и передо мной опустился хохлатый, с черной шейкой, точно в галстучке, самец. Удивленный не меньше моего, он какое-то мгновение смотрел на меня, а затем его как ветром сдуло. Я свистнул опять. Неведомо

откуда выпорхнул новый рябчик и сел на дереве в нескольких шагах. Я видел, как самец вертел головой, высматривая подружку. Снять его выстрелом ничего не стоило, однако наивная доверчивость птички удержала мою руку.

Я встал и перешел в другое место. Снова свистнул, и снова все повторилось. Не знаю, что было тому виной: трогательная доверчивость рябчиков или слишком легкая добыча, — но только эта охота сразу стала не мила мне.

Я сидел на вывороченном дереве у берега озера и прислушивался к певунам, голосами которых звенел весь склон.

Но тут я заметил кружащего вверху коршуна. Поспешно перезарядив ружье крупной дробью, я не спускал глаз с парящего хищника. Вдруг он сложил крылья и камнем упал вниз. Взметнулись брызги…

Я видел немало коршунов, нападавших на птиц, похищавших домашних утят, цыплят, охотящихся на мышей, но коршуна-рыбака мне еще не приходилось видеть. А он, стиснув в когтях серебряную рыбешку, улетел за верхушки деревьев.

Вскоре крылатый разбойник опять появился. Не знаю, был это тот же самый или другой, но он упорно кружил над берегами озера, освободившимися от ледяных оков. Я, забыв о ружье, следил за огромной птицей. Описав десятка полтора кругов, он как бы застыл на мгновенье в воздухе, а затем сложил крылья и стрелой ринулся вниз. Высоко взлетели брызги, до меня донесся глухой звук удара и… коршун так и не взлетел. Не веря своим глазам, я вскочил на ноги и в тот же миг увидел высунувшееся из воды крыло, которое, рассекая гладь озера, удалялось от берега и вскоре исчезло под ледяной коркой.

Я стоял остолбенев, не в силах понять, что произошло. Потом подошел к озеру, пригляделся. У берега плавало множество мелкой рыбешки. Очистившаяся от льда полоса воды нагрелась на солнце. И тут мне все стало ясно. За малой рыбешкой сюда, наверно, явился и разбойник — щука. Она рассчитывала сытно поесть, но получилось иначе. Коршун увидел ее и, упав с высоты, вонзил когти в щучью спину. Ошалевшая от боли и страха щука рванулась вглубь, ища спасения, но не тут-то было: коршун никогда не расстается со своей добычей.

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ ТЕТЕРЕВА

Есть такая сказка про лису, которая долго ходила за бараном, рассчитывая, что вот-вот его курдюк отвалится и достанется ей. Прошлялась кумушка весь день, глотая слюнки, но так ничего и

не добыла — баран принес свой курдюк в хлев.

Нечто в этом роде получалось и с нами. Каждое утро, едва проснувшись, мы выскакивали во двор и прислушивались к голосам тетеревов. С восходом солнца мы видели вдали, на озере, множество черных точек. Они двигались, ходили по кругу, подскакивали кверху. Целые полчища тетеревов, охваченных свадебными страстями, кишмя кишели на льду, а мы лишь глотали слюнки, потому что озерный лед был пористый, подточенный солнцем и полой водой — ни пройти, ни переплыть.

Наконец однажды вода залила лед. В то утро тетеревов на озере не было, но их страстное воркование слышалось со всех сторон. Птицы перебрались в лес.

Тетерев мне чем-то напоминает человека. Во-первых, он сторонник оседлой жизни. Из года в год, едва пахнёт весной, тетерева слетаются на старые, излюбленные места и устраивают здесь свои свадьбы. В Карелии не редкость, когда на ток слетаются сотни черноперых кавалеров. Слетаются и дерутся так, что только перья летят. Как деревенские драчуны. Обычно начинает один. Затокует, зашипит, словно презирая остальных, хвост распустит веером, крылья вниз опустит и давай вертеться и скакать, вызывая на бой соперника. А вокруг токовища сидят на деревьях самки. Крутят хвостами, кудахчут — подзадоривают, распаляют кавалеров. И драчуны не выдерживают — закипает бой за право на любовь, на женскую ласку. Нахохлятся, напыжатся друг перед другом, а брови красные, точно кровью набухли. И долбят клювами, и лупят крыльями. Безжалостно. Упорно. Совсем как люди. До того разойдутся в азарте, что их не остановит даже грянувший из укрытия выстрел. Однажды я убил одного из дерущейся пары, так второй подскочил и еще стукнул его клювом, а затем, подняв голову, горделиво огляделся: «Видали, как я с ним разделался? Кто следующий?»

Солнечным, пышущим жарой и пропахшим смолой полднем Василий повел нас на старую вырубку. Побродив среди замшелых пней, мы убедились, что здесь каждый день происходят яростные схватки. Повсюду валялись тетеревиные перья, а в одном месте мы наткнулись на целую «подкладку» хвоста.

— Лиса поработала, — сказал Василий. — Рыжая — неплохой охотник. Знает, что на токовище легче поймать ослепленного страстью жениха. Но этот, видно, вырвался, оставив только белую подпушку своего хвоста.

На старой вырубке мы и поставили еловые шалаши. Любуясь красками белой ночи, долго пили чай у вечернего костра и только после полуночи, погасив огонь и затоптав угли, разбрелись по укрытиям.

Ночь была теплая, тихая. И уханье филина в этой тишине напоминало крик объятого ужасом человека.

Напрягая зрение, я смотрел сквозь щели шалаша, но так и не увидел, как прилетели тетерева. Я их услышал. Со свистом рассекая воздух, птицы пронеслись где-то надо мной, а спустя несколько минут опустились на утыканной пнями старой вырубке. Через минуту воздух снова рассекли быстрые крылья. И еще… И еще… Затаив дыхание, я прислушивался к этим волнующим звукам, боясь пошевелиться, неосторожным движением или треском ломающейся ветки спугнуть тетеревов. Ныла спина, замлели ноги. Я кутался в свой легкий плащ, ежился и дышал за пазуху, тщетно пытаясь согреться. Наконец, когда предрассветный холодок стал пробирать меня неудержимой дрожью, я услыхал далекий трубный звук — где-то на болотах журавли приветствовали нарождающийся день. Я знал, что ждать осталось недолго. Следом за журавлями затокуют и тетерева.

— Чувиш-ш… Чувиш-ш-ш, — ошпарило меня приглушенное шипенье на старой вырубке. Это они!

И вдруг в предрассветной тишине полилась свадебная песнь тетерева. Описать это пение невозможно. Пожалуй, самое близкое сравнение — стая воркующих голубей, хотя эти звуки издавал один-единственный тетерев.

Опять приглушенное шипенье, миг тишины, и вот уже снова льется, журчит тетеревиная песнь. В предрассветном сумраке я видел, как меж пней мелькали, маячили белесые пятна, как на мгновенье в воздухе повисали темные силуэты. Несомненно, это были тетерева. Много тетеревов. А когда еще больше рассвело, я увидел летящую прямо на меня птицу. Раскинув крылья, она летела так низко, что я подумал, будто сядет на мой шалаш. Но птица пронеслась надо мной и села на березу, метрах в пятнадцати от моего укрытия.

«Самка», — решил я, даже не повернувшись в ту сторону.

Тетерева почему-то смолкли. Неужто я или кто-нибудь из наших выдали себя неосторожным движением? Нет. Тетерева всегда встречают восходящее солнце молча, как бы молясь этому божеству жизни, тепла и света. Этим свойством они мне тоже чем-то напоминают людей.

Ослепительный шар солнца зажег восточный край неба. Тетерева всё молчали. Я подумал, не слишком ли рьяно поклоняются они светилу, не слишком ли долго молчат, не дают о себе знать. Было уже настолько светло, что я без труда мог поймать на мушку птицу, даже гораздо меньшую, чем тетерев. Но тетерева как сквозь землю провалились. Высоко вверху, в залитом солнцем небе, блеяли бекасы, где-то рассказывали о своей жизни

чибисы. Тетерева молчали. Прошел мучительно долгий час ожидания — они по-прежнему ни звука. Осторожно повернувшись в тесном шалаше, я увидел, что самка по-прежнему сидит на березе. На самку я еще сроду не поднимал ружья. Тем более весной. Но уж очень хотелось мне сделать чучело, которое напоминало бы об этом восхитительном утре на тетеревином току в далекой Карелии. И, подавив укор совести, я вскинул ружье. Птица свалилась с ветки, точно сбитая невидимой рукой.

Тетерева всё молчали. А может, я не заметил, как они улетели? Может, их давно уже нет? Неужто они могут молчать, когда проснулась вся природа и лес залит звуками?

Прошел еще час. Решив, что больше ждать бессмысленно, мы вылезли из укрытий. Вылезли и обомлели. Вокруг с шумом взлетели тетерева. Множество тетеревов. Мы даже выстрелить не успели. Только таращились на взлетевших птиц.

— Кого убил? — спросил Василий.

— Самку.

Он ничего не сказал, лишь укоризненно поглядел на меня.

Мы все вместе подошли к березе, под которой лежала убитая мною птица. Это был ястреб. Пестрый, как тетерка, ястреб. Лица у всех сразу прояснились. И все стало понятно. Тетерева затихли при появлении разбойника. Следили за ним, притаившись на старой вырубке, и, наверно, очень удивились странному поведению ястреба: он не улетел, а камнем упал вниз и не подымался. В чем дело? Потому-то они и молчали, забыв о свадебных песнях, так как не могли разгадать этой загадки.

— Тиран давно убит, а им, глупым, боязно рот раскрыть, — сказал Василий.

А я сказал, что из всех лесных птиц тетерева мне больше всего напоминают человека.

МЕДВЕЖЬЯ УЧЕБА

Теплый южный ветер раскрошил, размолол остатки льда, и озеро, казалось, радовалось свободе: шумело, играло белогривыми волнами, непрестанно посылая их к берегу, сгоняя последний лед.

Василий еще неделю тому назад подготовил лодку. Разогрел на костре большой котел с варом и тщательно просмолил им борта и днище.

Сегодня он собирался переправиться на другой берег озера, где в туманной дали чернеют вершины сосен. Плыть через бурное озеро — удовольствие маленькое, но Василия подпирает нужда:

сено кончилось, а выгонять скотину на пастбище еще рано. Там, на другом берегу, остался стог прошлогоднего сена. Вот Василий и решил привезти его для своей буренки.

Вызвались и мы ему в помощники.

Переправившись на другой берег и вытащив лодку на песок, мы вдруг услышали, как кто-то с шумом окунулся в воду. Повернулись и увидели странное зрелище: в озеро с разбегу кинулись три лося, а за ними — медведь. Он пытался догнать удалявшуюся добычу, но где там! Увенчанные ветвистыми рогами головы лосей все удалялись, уменьшались. Мишка, недовольно кряхтя и фыркая, выбрался обратно на берег и, как раздосадованный человек руками, хлопнул себя передними лапами по бедрам. Ветер дул от него, и зверь не учуял нас. Мы сидели за вывороченной с корнем елью, смотрели, что будет дальше.

Медведь долго провожал взглядом лосей, а затем вздохнул и принялся рыть мох. Выроет, схватит в охапку и, переваливаясь на задних лапах, несет в кучу. Что он задумал: уж не постель ли себе готовит?.. А мишка трудится, старается. Когда выросла большая куча, он оглядел ее своими маленькими глазками, удовлетворенно крякнул и побрел вперевалку к лесу. Но ушел не далеко. Остановился метрах в двадцати, припал к земле и давай красться обратно к куче мха. Когда до нее оставалось метров десять, молниеносно вскочил, стремительным прыжком пролетел оставшееся расстояние и вонзил когти в мох. Потом отряхнул лапы, поправил кучу и снова стал подкрадываться. На сей раз прыгнул с большего расстояния и шлепнулся на землю, не долетев до мха. Ох, до чего же недовольно он взревел!

Так зверь тренировался с четверть часа, пока наконец не стал каждый раз приземляться прямо на кучу мха. Видимо, остался доволен результатами, так как зачмокал и неторопливо заковылял в чащу.

Мы вопросительно смотрели на Василия. Он объяснил:

— Медведь учебой занимался. Видать, застал спящих лосей, прыгнул на одного, да не попал. Ну, а лоси в озеро — плюх, и до свидания… Из-под носа ушла пожива. Вот он и учится, чтобы в следующий раз не оплошать.

В самом деле, медведь удалялся гордый, довольный. Весь вид его как бы говорил: «Ну, теперь вы не уйдете от меня».

— Смышленая тварь, — сказал кто-то из нас. — Без труда и тренировки — ничего не добьешься.

— Да, кое-кто мог бы у него и поучиться, — серьезно рассуждал Василий. — Особенно те, кто разинув рот ждет манны небесной и орет благим матом, не дождавшись ее.

ПОБРЯКУШКИ

Еще в поезде мы познакомились с миловидной девушкой. Ее золотистые волосы, мелкие, правильные черты лица, синие глаза и грациозная фигура невольно привлекали внимание пассажиров. Одета она была тоже изящно, со вкусом.

— Ляля, — назвалась девушка, показывая белые зубки.

— Настоящая лялька, — пробормотал Вацис.

Девушка оказалась безумно болтливой. Как только мы с ней заговорили, на нас обрушился такой поток слов, словно до этого дня она жила среди глухонемых и все ждала возможности выговориться. Через полчаса мы уже знали, что Ляля — ленинградка, любит эскимо, обожает балет и французско-итальянские неореалистические фильмы, мечтает стать артисткой, «всю жизнь» готова жить под знойным кавказским небом…

— Так что же вы едете на Север?

Ляля достала из сумочки конверт, вынула из него фотографию и, положив на столик, объяснила:

— К жениху еду.

С фотографии смотрел не первой молодости, лысоватый человек.

— Стар? — перехватив наши взгляды, то ли спросила, то ли подтвердила Ляля. Впрочем, наше мнение для нее значения не имело. Ляля давным-давно все взвесила и решила. Она беспечно заявила: — Это ничего. Он — ученый. Много зарабатывает. Можно пару лет и на Севере потерпеть, зато потом… Не правда ли?

Она говорила с нами, как с единомышленниками, как с людьми, одобряющими ее замысел. А нам стало грустно. Я подумал, что так цинично человек может говорить только в двух случаях. Либо он свято уверен, что слушатели смотрят на вещи теми же глазами и сами поступили бы не иначе. Либо он столь же свято верит, что больше никогда не встретится со своими слушателями. Первое предположение само собой отпадало, оставалось второе.

Когда Ляля пошла обедать в вагон-ресторан, наш четвертый попутчик, который не вмешивался в разговор и, казалось, с головой ушел в журналы, улыбнулся:

— Обожжет крылышки.

Мы удивленно посмотрели на пожилого, полного человека, глаза которого прятались за очками в солидной оправе.

— Нет там такого ученого, — добавил он. — Я знаю.

— То есть как это нет?

— А так. Я их всех наперечет знаю.

— Почему же вы не предупредили девушку? Зачем ей понапрасну тащиться на край света?

Человек ответил не сразу. Улыбнулся, отхлебнул глоток холодного чая и снова улыбнулся:

— Во-первых, она мне не поверит, а во-вторых, слова — плохой учитель. Жизнь учит куда лучше и основательнее. Так чего зря языком болтать?

Мы сошли с поезда, и вся эта история тут же выветрилась из памяти. А сегодня вдруг вспомнилась. И вот почему.

Еще первого мая жена Василия нечаянно разбила белую фаянсовую тарелку. Я удивился, когда Василий, тщательно собрав разлетевшиеся осколки, завернул их в газету и куда-то спрятал. Я хотел было спросить, зачем они ему понадобились, но в тот момент мы о чем-то спорили, а потом забыл.

Сегодня Василий сам напомнил о них, вытащив сверток из-за картины.

— Зачем они тебе?

— Осколки? — переспросил Василий и лукаво подмигнул: — Простушек ловить.

— Каких простушек?

— Увидишь.

Василий полез на чердак и вскоре вернулся, весь в пыли, облепленный паутиной, держа под мышкой сеть. Квадратную, с частыми ячейками. Разложив ее на полу, Василий принес две сухие деревянные дужки, сложил их крест-накрест и привязал к концам углы сети. Дужки скрепил посередине проволокой, насадил на длинную палку, и получилось сооружение вроде огромного ковша с удлиненной рукоятью.

Мы сели в пахнущую свежим варом лодку и поплыли от берега.

Озеро было как стеклянное. Ни морщинки на гладкой, залитой весенним солнцем воде.

Василий достал осколки фаянсовой тарелки, бросил их в сеть и медленно погрузил в черную глубину. Прижав палец к губам, предупредил, чтобы я не шумел. Мы закурили. Василий подмигнул и, схватившись за черенок, быстро поднял сеть, с которой струйками стекала вода. В сетке трепыхалась щука.

— Вот и есть одна, — довольно улыбался Василий. — Глупая рыба щука. Как легковерная баба, бросается на побрякушки, а потом — рвется, мечется, да только поздно…

Он ухватил рыбу широкой, сильной ладонью, стукнул ее головой о ребро скамейки и бросил на дно лодки.

Вот тогда-то я и вспомнил повстречавшуюся в поезде

красотку.

ЦЕНА ХЛЕБА

Человеку всегда нужен хлеб насущный. И каким бы он ни был — черным и рыхлым, как комок земли, или белым и мягким, как вата, — всегда растет из земли. И не придет в закрома, если человек сперва сотни раз не поклонится земле, не окропит своим потом каждый ее вершок. Земля недоверчива: она до тех пор ничего не даст, пока не возьмет с человека все, что ей положено. Впрочем, и земля не везде одинакова. В одних местах она словно беспечный, веселый ветрогон, у которого и душа и карман открыты для друзей и для совсем незнакомых: бросил в нее зерно и знаешь, что к осени она принесет тебе спелый колос. В других местах она похожа на старую скупердяйку: сколько ни обхаживай ее, не откроет свои сундуки…

Отто стар. Очень стар. Когда он говорит, на лице оживают сотни морщин и складок, а за увядшими губами маячат два зуба. Редкие волосы серебрятся в лучах весеннего солнца, легкий ветерок перебирает их. И руки, потрескавшиеся словно кора вяза, неуверенно, на ощупь берут предмет. Но разум светлый. Мысли Отто, много повидавшего и пережившего на своем веку, весомы, осязаемы, точно камни, которыми усеян наш путь.

Мы идем со старым Отто посмотреть, как мужчины сеют овес. И дорога, и распаханные полоски по обеим сторонам усеяны мелкими и крупными камнями. Бросишь взгляд на поле и сразу понимаешь — машины здесь бессильны. Трактор, правда, пройдет, продерется, но что проку, если пустишь его порожняком. А про пятилемешный плуг или культиватор тут забудь. Даже простая железная борона здесь не годится. Железо крошится, ломается, когда на каждом шагу его путь преграждает камень.

Сын старого Отто Николай, тоже человек с сединой, ровным, широким шагом меряет ноле. Взмах руки — и на солнце сверкают падающие в землю зерна.

Мы сидим на замшелом плоском валуне.

— В Литве на такой земле сажают лес или пастбище устраивают, а иногда и под залежь остается, — говорю я старому Отто.

— Вы землей богаты, — вздыхает старик и кивком указывает на приближающегося к нам сына: — Он с боями прошел по вашей земле… Под Шяуляем ранен был.

Подходит Николай. Снимает с шеи берестяное лукошко, садится рядом с нами, отдувается:

— Уф, жарища… Как в печи.

— Нелегко выращивать хлеб среди этих камней.

— Когда по весне выходишь в поле, пусть даже налегке, через полчаса уже ног не чуешь, — честно признается Николай.

— Легкого хлеба нигде не сыщешь, — утешает старик. — Везде его заработать надо.

…На небольшом каменистом поле зерновые еще только-только поднялись, а на болотах и топях травы уже по пояс. Лишнюю неделю пропустишь, и трава начнет грубеть, рыжеть, потеряет и вкус и ценность. Достает карел из-под навеса «горбулю» и отправляется косить. «Горбуля» — не коса и не серп. Лезвие как у серпа, только не такое изогнутое. А черенок метровый. Убирать сено или хлеб «горбулей» легче, чем серпом, но спину гнуть все-таки приходится. А косой на этих землях не помашешь: валуны, обломки скал, кустарники. Зато при помощи «горбули» карелы дочиста выбривают траву или рожь вокруг каждого камня, каждого кустика.

Карельское лето гораздо короче и дождливее, чем в Литве. И все-таки здешние земледельцы не оставят гнить на покосах ни клочка сена. Люди не ждут, что оно просохнет на земле. Еще влажное складывают в копны.

Копны здесь не такие, как у нас. Карелы навивают их в мокрых низинных местах, у болот, там же, где и косят. Вывезти сено летом невозможно. Надо ждать, когда мороз скует болота и речки, топи и многочисленные протоки, когда толстое снежное покрывало выровняет дорогу… А пока нарубит карел множество длинных шестов. Сперва настелет их снизу, чтобы болотная вода не подступала к сену, потом навалит охапку травы. Поверх охапки снова скрещивают и втыкают в землю шесты. Новая охапка сена ляжет уже на них и не будет давить на нижнюю. Так складывается высокая, рыхлая копна, в которой сено отлично сохнет и сохраняется. Чтобы северные ветры не растрепали копну, ее со всех сторон подпирают шестами, а сверху накрывают еловыми лапами, по смолистой хвое которых дождевая вода сбегает, как по крыше.

За всю свою долгую жизнь старый Отто помнит одно-единственное лето, когда хлеба просохли в поле, в бабках. На такую удачу карел обычно не рассчитывает, а спокойно и настойчиво делает свое дело, преодолевая все капризы природы. В каждой карельской деревне мы видели риги — небольшие сооружения с маленькими окошками. В конце лета, когда начинаются непрерывные дожди и воздух пропитан влагой, в эти риги свозят невысохшие хлеба.

Внутри риги вдоль стен идут сбитые из деревянных планок

широкие двухэтажные нары, в углу стоит сушильная печь. Составив на этих нарах снопы колосьями кверху, карелы затапливают печь. К вечеру хлеб уже сухой. Его сносят на другую половину, где через несколько дней обмолачивают.

Мы возвращались с поля другой дорожкой, вдоль леса, где синела крохотная ламбушка. Ламбами карелы называют небольшие озера, бесчисленное множество которых украшает карельскую землю. И все они безымянные.

Рядом с ламбушкой тянулось каменистое, выжженное пожаром поле, на котором там и сям валялись кучки вывороченных пней, бессильно вытянувших к нему почерневшие, обгорелые корни.

— Вот как достается нам пахотная земля, — сказал старый Отто, окидывая взглядом поле. — Огнем и топором отвоевываем у леса каждую пядь. Год пропустишь — лес опять все захватит, и землю, и хлеб отнимет…

— Да, дорого стоит ваш хлеб, — согласился я, думая о скупой карельской земле и несокрушимом упорстве ее работников.

— А все-таки не дороже, чем на Украине, — пошутил Отто. — Ведь цена килограмма хлеба у нас в стране везде одинакова. — Однако улыбка быстро спряталась в морщинах его лица. — До советской власти мы действительно дорого за него платили. За несколько горстей муки лавочник семь шкур с тебя драл. И хоть зубами скрипи, хоть богу молись — мука не снег, с неба не сыплется. Хочешь не хочешь — протаптываешь дорожку к лавке.

Так говорит старый Отто о тяжелом прошлом лесорубов, сплавщиков, земледельцев и охотников этого края.

РАЗГОВОР С СОБОЙ

Солнце работало засучив рукава. Спускалось на короткий отдых, но, видно, даже не успевало глаз сомкнуть: стояли белые ночи, такие светлые и короткие, что только положишь голову на подушку, а в выходящее на восток окно уже стучатся первые лучи восхода. Опять оно, солнышко, принимается за работу. Вчера оно растопило последние обломки льда на озере, а сегодня взялось за лес: под его жаркими лучами расстегнули свои одежки почки на молодых березах, и необозримая тайга зацвела зелеными пятнами.

На полях вокруг деревни снега нет и в помине. Он забился в таежную чащу, в ложбины и ущелья, залег меж скал, но солнце находит его и там. Оно выпаривает из земли талые воды и, точно беспокойная совесть, зовет пахарей к плугу.

Деревня зашевелилась. Одни лихорадочно копаются в земле, а другие, самые здоровые и сильные мужчины, укладывают в дорожные мешки продукты, смены белья и отправляются на речку.

Василий расцеловался с женой, погладил маленьких сыновей и кивнул нам. У крыльца к нему, виляя хвостом, подскочил Буян. Василий ласково потрепал пса по лохматой шее и, как человеку, сказал:

— Смотри, Буян, будь умным.

Пес долго стоял у калитки, провожая нас тоскливыми глазами, в которых все еще тлела надежда, что хозяин вдруг остановится и позовет его.

Нелегок и опасен труд сплавщика. Карельские реки бегут, ревя и прыгая по камням, перекатываясь через пороги, низвергаясь водопадами. По таким рекам плоты не ходят. До истока реки бревна сплавляются по озеру, однако и здесь их не связывают в плоты. Карелы сцепляют железными скобами гигантский квадрат из бревен, будто загон для скота, и набивают его до отказа сосновыми бревнами. Подтащат такой «кошель» к сливу, где устроена небольшая запруда, поднимут деревянный щит и спускают бревна по одному в стремительно мчащийся поток, который подхватывает тяжелое бревно, как щепку. Бешеная сила у карельских рек.

— Лет двадцать назад, — рассказывает Василий, — был у нас в деревне странный и смешной случай. Жил тут один старичок. Маленький, издали не разобрать — мальчонка или взрослый. Он пас деревенских коров. Чтобы скотина не заблудилась в лесу, ей подвязывают под морду колокольчики. Однажды слышит старичок: трезвонят колокольчики, мычат коровы и кто-то отчаянно ревет. Прибежал он туда и видит — коровы кидаются на сидящего под деревом медведя…

— Коровы?

— Да, коровы. Таков уж у них прав: сами смерти в лапы лезут… Увидал старичок такое дело и за голову схватился. А медведь завидел человека и ползет к нему, волоча зад. Старичок прыг за дерево. Так они добрых полчаса и вертелись вокруг сосны, пока мишка ни с того ни с с сего не упал. Тут только старик вспомнил про топор. Хватил медведя по макушке, тот и протянул ноги. Потом уже охотники по следам все узнали. Оказывается, косолапый рыбу в речке ловил. А мужики там лес сплавляли. Бедняга увлекся и даже не заметил несущегося бревна. Его так стукнуло, что хребет сломался. Еле выполз медведь на берег. Несколько раз срывался в воду, пока выкарабкался. Ну, а там его коровы и почуяли.

Мы сидим на камне у реки, слушаем рассказ Василия и смотрим на пенистый поток.

— Вот бы человеку такую стремительность, а? — мечтательно говорит Вацис.

— Я не согласился бы, — качает головой Василий. — Больно короткий век. В несколько дней домчит до Онеги и уймется. Если человек вложит этак всю энергию в несколько дней, то и впрямь ничего путного не выйдет. Только глупостей, чего доброго, наделает.

— Но ведь река испокон веков течет, — возражает Вацис. — Нас с тобой еще на свете не было, а она уже давным-давно шумела, мы в прах превратимся, а она по-прежнему шуметь будет, стремиться к своей цели, к Онежскому озеру.

— Это верно, — вздыхает Василий.

Я смотрю на бурную, стремительную и своенравную речку и завидую ее постоянству, завидую ритму ее жизни. Весной и осенью, полноводная, могучая, она пробивает себе дорогу к цели. Не останавливает ее и летняя сушь: обмелевшая, вбирающая по дороге каждую каплю родников и притоков, она с прежним упорством и яростью налетает грудью на преградившие дорогу скалы. Не в силах ее сковать и зимние морозы. Вечно живая, вечно неугомонная… А течение моей жизни, хоть и небольшое, как та струйка, что выплеснулась на берег, слишком часто отступает, наткнувшись на каменную скалу, сворачивает в сторону…

— Началось, — прервал невеселые мои мысли Василий.

На излучине показались белые бревна. Река с бешеной скоростью несла их на своей спине. Иногда бревно ударялось о каменный горб, переворачивалось, подскакивало и снова скользило вниз.

Задача Василия — зорко следить, чтобы бревна не сбились в кучу. Река в этом месте делает крутой поворот, ее русло сжато береговыми скалами и усеяно камнями. Если одно из бревен застрянет, оно тут же преградит путь остальным, а тогда — беда. Через несколько минут река нанесет гору бревен, взгромоздит, наворотит их, и сплав остановится на несколько дней — пока люди не разберут, не растащат бревна, не расчистят им путь.

Василий, пристроившись на плоском камне, держит наготове длинный багор и не спускает глаз с реки. Стоит какому-то бревну подозрительно завертеться, как он сильным ударом направляет его в русло и провожает несколько шагов.

Такие караульщики стоят вдоль реки не слишком далеко друг от друга, чтобы в случае затора быстро дать знать людям у запруды. Те прекращают сплав, собираются у затора. Сыплются

острые словечки, едкие насмешки.

Несчастье приключилось как раз на посту Василия. Мы и глазом не успели моргнуть — столкнулись несколько бревен. Их прибило к камням, а сверху стали громоздиться новые деревья.

Василий, бросив багор, побежал к верховью, а мы с Вацисом, беспомощные и растерянные, смотрели, как растет груда бревен, как деревья, точно живые, встают на дыбы, трещат, стреляют и, изувеченные, с ободранной корой, так и лезут на берег. Пока сбежались люди, куча деревьев была как дом.

— Ворон считаешь?! — попрекнул Василия пожилой, коренастый мужчина, очевидно старший сплавщик, прибывший из другой деревни.

Василий промолчал.

— Болтают, как бабы на посиделках, а ты тут бейся из-за них, теряй время, — продолжал незнакомец.

Василий насупился. Он, как и мы, понял, что ему достается и за нас: на сплаве не место посторонним. Тут люди собираются не для развлечений.

— Я найду виновника и сам все улажу, — медленно сказал Василий.

Ропот сразу стих. Мы с Вацисом поняли, что Василий решился на что-то очень опасное, так как мужчины стали отговаривать.

— Не дури…

— Не горит — разберем за несколько дней.

— О жене, о детях подумай.

Василий только буркнул:

— Отойдите.

В сапогах, в одежде он вошел в ледяную воду и, придерживаясь за бревна, двинулся дальше. Он пробирался медленно, неторопливо, ощупывая нижние бревна. Через несколько минут он снова буркнул:

— Есть виновник. Топор давайте.

Мужчины молча подали с берега острый топор на длинном топорище. Василий принялся рубить невидимое бревно. И вдруг мы с Вацисом поняли: сплавщики называют «виновником» бревно, которое застряло первым и держит остальные. Вот его-то Василий и пытается перерубить, разрушить затор.

Безмолвные, оцепеневшие, мы наблюдали за Василием.

Вдруг он, спотыкаясь, кинулся к берегу, и мы услышали, как грозно заскрипела груда скопившихся бревен. Каким маленьким был Василий в сравнении с этим, казалось, живым и лишь дремлющим чудовищем. Но чудовище не кинулось на него. Оно погрозилось и опять застыло. Василий вернулся, снова занес

топор. Через несколько секунд, в течение которых можно было поседеть, бревна заскрипели, Василий, подкинутый невидимой силой, выскочил на берег, и в тот же миг с оглушительным грохотом рухнули бревна.

Мужчины баграми сталкивали их в русло, выравнивали, а Василий, подойдя ко мне, попросил закурить. Я протянул ему пачку сигарет. Его руки дрожали. Сделав несколько жадных затяжек, он как ни в чем не бывало встал на прежнее место на плоском камне и вместе со всеми толкал разрозненные, уносимые потоком бревна. Я смотрел на него и думал: «Ты многое сказал мне своим молчаливым подвигом. Как часто мы, зная, что «виновник» таится у нас в душе, притворяемся, будто не видим его, и, вместо того чтобы решительно отрубить, собираем щепочки. Но жизненный поток успевает нанести новые кучи щепок, и они вновь цепляются за главного «виновника», с которым мы сразу не покончили. Мало того! Часто мы и щепки-то собираем не сами — предоставляем эту работу другим…»

Мне довелось немало ездить. Бывал я и на юге, где беловерхие горы упираются в ясную лазурь. Красиво. Но красота эта легкая и нежная, как дуновение южного ветерка. Возможно, поэтому юг и не оставил в моей душе значительных следов, таких, которые остались после далекого Севера. И странно: ведь меня зовут и манят туда не мрачная тайга, не вязкие топи и угрюмые скалы. Так что же? Может быть, то, что суровая природа, которая окружает человека, ставит его лицом к лицу с нелегкими испытаниями и заставляет глубоко заглянуть в свою душу?

Может быть.

1960

МЕДУЗЫ НА БЕРЕГУ

Давно погрузился в море багровый солнечный диск, ночь давно залила горизонт, пронизывающий сиверко давно уже продувает насквозь мой старенький полушубок, а я все стою на палубе, не в силах расстаться с покорившей меня Северной Ночью и своими мыслями, боясь проглядеть что-то очень дорогое, неповторимое, прозевать «что-то», которое, возможно, откроет мне глаза, поможет разгадать множество тайн и загадку всех загадок — смысл жизни человека. Коченея под зябким ветром, я стою на палубе и, задрав голову, вглядываюсь в искрящийся Млечный Путь, в горящие на мачтах огни. Вслушиваюсь в неустанное дыхание моря… Каждый раз, отправляясь в путь, я испытываю это чувство — надежду узнать то, что рассеет многие сомнения и навсегда останется немеркнущим светочем. Мне все еще снятся неведомые края, где жизнь и человек прекрасны, как сказка детства. Каждое новое путешествие напоминает мне

первую любовь — беспокойными предчувствиями, мечтами, манящей тайной — и в то же время наполнено мучительным беспокойством и постоянным страхом, что все вдруг оборвется, кончится, что все это лишь иллюзия, которая рассыплется от малейшего нажима времени, и ты останешься опять один, с так и не высказанными думами, так и не сбывшимися надеждами.

Я вздрагиваю от сиплого пароходного гудка, мысли путаются, я вижу вдали свет маяка. Стрелки часов перебрались уже за полночь. Должно быть, подходим к Пертоминску, цели нашего маршрута. Пароход медленно принимает влево, к берегу, и Млечный Путь тянется теперь поперек курса.

Все утопает в густой тьме, и, кажется, нас тут никто не ждет, и зря мы жмемся к этому вымершему берегу, где не видно ни единого огонька. Но вспыхивает судовой прожектор и вырывает из темноты деревянную пристань, на которой, кажется, стоя спят люди. Много людей.

— Вся деревня собралась, — поясняет остановившийся рядом со мной матрос. — Такой обычай.

Сюда, на отдаленный Онежский полуостров, пароход приходит не часто, раз в неделю, и встречают его всем поселком: прибытие парохода — праздник, развлечение, а их не так уж много в этой глуши.

Освещенные прожектором люди как бы пробуждаются, начинают шевелиться, доносятся голоса.

Мы с художником Альгисом впрягаемся в ремни своих рюкзаков и высаживаемся на шершавую бревенчатую пристань. Вспомнив совет попутчиков, обращаемся к первому встречному:

— Мы не могли бы у вас переночевать?

Первый встречный — маленькая, пожилая женщина. Спустя минуту мы идем за ней по пустынным, погруженным в темноту песчаным улочкам — старуха ведет нас к себе домой. Стучат каблуки ее башмаков по доскам деревянного тротуара, едва маячит впереди темная фигурка, от которой мы стараемся не отстать. Темень, хоть глаз коли. Так хочется посмотреть поселок, и ничего не видно. Наконец старуха распахивает калитку, убирает палку, которой подперта дверь, и мы входим в жарко натопленную комнатку. Не успела хозяйка зажечь свет, а из всех углов уже так и повеяло уютом. Я стою в темноте и думаю, как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым. Какая-то женщина — мы и лица-то ее не разглядели, — ни о чем не спрашивая, привела к себе незнакомых людей, отворила, видно, никогда не запирающуюся, подпертую палочкой дверь, вот она шарит впотьмах вокруг керосиновой лампы, и этого вполне достаточно для человеческого счастья.

— Электричество у нас только до одиннадцати светит, — объясняет хозяйка, вешая под потолок керосиновую лампу. — Вы разувайтесь… Я чайку́ сейчас…

Каждый раз, когда я вижу чьи-то освещенные окна, мне чудится, что за этими окнами необыкновенная жизнь, удивительные судьбы, радости и трагедии. Вот и сейчас зажегся свет в домике на берегу Белого моря. Может быть, здесь, под этой коптящей лампой, я услышу то, о чем еще не слыхивал, узнаю великую тайну человеческого бытия? Может быть, этой махонькой старушке известно тайное волшебное слово, от которого жизнь человека делается прекрасной как сказка? Ведь Поморье — колыбель русских сказок, легенд, былин… Какую сказку расскажет нам старушка?

— Самовар-то у меня прохудился. — Она показывает пузатый никелированный чайник. — Не обессудьте, что в чайнике вскипятила.

Глаза у нее ясные-ясные, лоб прямой, высокий, перепаханный морщинами, и старые, видать, немало потрудившиеся на своем веку руки. Усталые руки, с синеватыми узелками вен, с иссохшей, увядшей кожей.

Мы пьем горячий чай вприкуску, слушаем бабушкину сказку. Грустная это сказка. Печальная. Да и неправильная, потому что нет у нее счастливого конца, такого, как у всех добрых старых сказок…

Жил с нею младший сын. Старшие рассыпались по белу свету, муж в земле покоится. Хороший мальчик. Вот его карточка, вот он с дружками, а эту давно снимали, только-только в школу начал ходить… Похож на маму. Особенно глаза и лоб. Последний класс кончал, когда зарезали сына.

— Зарезали?! — Я кладу на стол замусоленный огрызок сахара. — Кто зарезал? Почему?

— По пьяному делу. Был тут озорник один. Хотел его сын одернуть, а тот — ножом.

Старушка встает, идет за печь и выносит мужские брюки. Подняв к свету, перебирает их старыми, усталыми руками, находит дырку.

— Вот сюда пырнул и еще повернул нож-от.

Треугольная дырка, как будто брюки порвали, зацепив за гвоздь.

— Я бы, может, и отходила его, да поздно прибежала. Изошел кровью сынок. Белый, как бумага, лежал. До больницы не довезли. По дороге скончался.

— Мы, бабушка, слыхали, что поморы — очень добрые люди… Как же так?

— Приезжий был.

— Его судили?

— Семь лет дали, да разве от этого легче? Господи, господи, прибежать бы пораньше, хоть на часок раньше!

— Откуда ж вам было знать, бабушка.

— Оно так. Не мы, а нас жизнь выкраивает, — вздыхает Васильевна и встает. Нет, это не сказочная старушка, а простая земная женщина, не ведающая волшебного слова.

Она стелет нам на полу, подложив тюфяк, взбивает большую подушку. Гасит свет, и я, уже засыпая, думаю, что и за неосвещенными окнами — живые судьбы людские.

Утром старушка будит нас завтракать. На столе уже исходит паром миска картошки, ждут соленые рыжики в глубокой тарелке и конечно же шумливый чайник.

— Что на обед готовить? — опрашивает Васильевна, и теперь, при дневном свете, я вижу, до чего прозрачные у нее глаза. Голубые, как осеннее небо. Весной оно ярче, да, видно, после летней жары слегка тускнеет. Лето Васильевны уже прошло… А может, синеву глаз обесцветили, размыли слезы? Говорят же про людей — «глаза проплакал».

— Спасибо, бабушка, мы дальше двинемся.

— Не погостите?

— Не получается, бабушка.

В ее глазах отражаются и печаль, и страх одиночества. Нет, не знает она тайных слов, не знает. И ей, должно быть, одинокими ночами снятся края, где жизнь у людей прекрасна, как в детской сказке.

* * *

У пристани покачивается на воде небольшой катер «Ленок». Он переправит нас на другой берег Унской губы, к уединенной избушке, где мы будем жить.

Моторист Виктор не торопится отчаливать.

— Малая вода, — говорит он, имея в виду отлив. — На той стороне к берегу не подойдем.

Мы рады свободной минуте и бежим в магазин, набиваем в рюкзаки сахар, соль, хлеб, масло — все, что понадобится, пока будем жить вдали от селений, в заброшенной избушке на берегу моря.

Виктор, как и все поморы, с детства дружен с морем. Не зря ведь и Архангельская, и Мурманская, и другие рыболовные флотилии наперебой зазывают поморов на свои суда, потому что

лучше матросов не найти. Если ты помор, для тебя всегда отыщется место на рыболовецком судне, тебя возьмут даже без трудовой книжки. Вся жизнь поморов связана с морем. С самого детства и до последнего вздоха. Они рождаются моряками, моряками и умирают. И нередко местом их последнего успокоения тоже бывает море. Не много мужчин захоронено на погостах поморских деревень. Все больше женщины. Брат Виктора прошлой весной тоже едва не отправился на дно моря. Ехали мужики на тракторе и провалились под лед. Вчетвером, а спасся только он один, хоть и в кабине сидел. Топором прорубил брезентовую крышу и вынырнул на поверхность.

Наконец-то мы трогаемся.

Море качает, швыряет наш катерок, он зарывается в волну, таща за кормой моторную лодку.

К берегу все же пристать не удается — сюда еще не пришла «большая вода». Бросаем якорь, перекладываем вещи в моторку, перебираемся сами, и тарахтящий моторчик гонит нас к берегу. Но вскоре винт начинает цеплять грунт, за нами тянется мутный хвост воды, смешанной с илом и песком. Пытаемся пройти на шестах, но тяжело нагруженную лодку не сдвинуть с места. Придется лезть в воду. Вода темная, до берега еще добрый километр, и не очень-то приятно прыгать за борт, но ничего по поделаешь. Расправив длинные голенища резиновых сапог, держась за лодку, мы шаг за шагом продвигаемся вперед. Иногда дно уходит из-под ног, и в сапоги натекает холодная, просто ледяная вода. Мы поспешно карабкаемся в лодку, но спустя минуту снова вываливаемся из нее, снова бредем по отмели до новой ямы. Ноги ломит, а до берега все еще далеко. Наконец попадаем на глубокое место. Это — устье реки Вежмы, и уже не нужно брести по воде. Тут же, возле устья, стоит одинокая изба, возле которой мы причаливаем.

Таких избушек много разбросано по Онежскому полуострову. Изредка в них поселяются косари или рыбаки, но большую часть года они пустуют, никто в них не живет, и они грустно глядят на море своими подслеповатыми окошками, словно дожидаясь возвращения хозяев.

Прямо за избушкой начинается густая стена тайги.

Внутри — широченные полати, присыпанные сеном. В углу — печь (не легко было доставить сюда кирпич), а посреди комнаты, упираясь одним концом в подоконник, раскорячился длинный дощатый стол. Столешница выскоблена добела, только в щелях между досками чернеют остатки пищи живших здесь когда-то людей.

Теперь здесь будем жить мы.

И почему-то мне кажется, что именно тут, в этой одинокой, заблудившейся в безлюдье избушке, я и услышу волшебное слово, которое делает жизнь прекрасной, точно в сказке со счастливым концом.

* * *

Часы нам здесь почти не нужны. Режим дня определяется дыханием моря — приливами и отливами. Сперва мы не придали этому должного значения и вскоре были наказаны. Воду для питья, для чая и приготовления пищи черпаем из Вежмы. Вкусная, чистая вода. И вдруг однажды вкус у чая такой, будто вместо сахара туда насыпали соли. Все ясно: воду брали во время прилива. С того раза ходим по воду только при отливе — не раньше, чем напротив избушки вынырнет из реки небольшой островок. Каждые шесть часов течение реки меняет направление. Утром Вежма течет в море, ее невысокие берега растут, из-под воды выступают островки и мели. А перед обедом, смотришь, Вежма повернула вспять, снова заливает островки, наступает на берега. В то же время река — и наш ориентир. Блуждая в тайге, мы стараемся слишком далеко от нее не отходить. Но если не знать часов прилива и отлива, то можно бог весть куда уйти от дома.

По вечерам, на закате, мы садимся в лодку, переправляемся на другой берег реки и по заливным лугам бредем к взморью — охотиться на птиц.

На лужайке выстроились стога сена. Они не такие, как в наших краях. Напоминают островерхие домики, покоящиеся на своеобразных вешалах. Лето было дождливое — лило и лило, — и теперь, в середине сентября, люди еще косят, потом укладывают мокрое сено на эти вешала, уверяя нас, что высохнет на ветру.

Морской берег здесь отлогий, и во время прилива заливает большую площадь. Из-под воды торчат лишь поросшие камышом высотки, но и там хлюпает под ногами.

Захватив охапку сучьев и клок сена, я отправляюсь на песчаную косу, которая узкой лентой уходит в серое море. Бросил сучья на землю, сверху кладу сено, а затем ложусь сам. Жду птиц. Днем они собираются где-то в море гигантскими стаями. За много километров слышно, как гогочут вдали невидимые гуси, пищат, свистят полчища куликов. То ли вспугнутые кем, то ли пробуя силы перед большой дорогой, птицы иногда взлетают, и кажется, кто-то бросил в небо живую сеть, которая плывет над горизонтом, то явственно чернея, то почти совсем исчезая из глаз. Столько

птиц я никогда и нигде не видал. Зайдет солнце, и в сумерках они полетят к берегу в поисках пищи. Но солнце еще не село.

Я лежу, жду.

Начинается прилив. Тонут клочья травы, еще недавно торчавшей над водой, земля фырчит, сопит, как подошедшее тесто. Это вода заливает луг и выжимает из почвы воздух. Море дышит. Так оно дышало испокон веков и будет дышать так до скончания века.

Недалеко от берега из воды высовывается какой-то черный предмет. Я не сразу понимаю, что это голова тюленя. Морской зверь уходит под воду, исчезает, однако через несколько минут опять выглядывает, на сей раз ближе ко мне, и я отчетливо вижу не только усатую морду, но и маленькие кружочки глаз. Ружье у меня заряжено птичьей дробью, я вовсе не собираюсь стрелять в зверя, наблюдаю, как он, отфыркиваясь, плывет, ныряет, выныривает, а потом уходит в воду и больше не показывается.

По всему краю моря разбегается кругами рябь. Это идет камбала. Ее тут неисчислимое множество, и ловится она легко. Любители ловят ее закидушкой (у нас эту снасть называют переметом) со множеством крючков, на которые наживляются морские черви — большие, ярко-красные; рыбаки выкапывают их из морского дна во время отлива, нарезают кусочками и насаживают на крючки. Вчера к нам в избушку приплыл лесник. В полдень поставил в море закидушки, а к вечеру вытащил облепленные камбалой. Целую корзину набрал. Разделал и засолил в объемистом целлофановом мешке. Неразговорчивый, замкнутый лесник не частый гость в нашей избушке. Не знаю, где он пропадает, но никогда не возвращается с пустыми руками. Я его вижу только за едой или во время разделки добычи. Стоит по колено в воде у своей моторки, сует в целлофановые мешки рыбу, тут же потрошит, солит и прячет в мешки лесную птицу, горстями ссыпает крупнющую клюкву. Мне кажется, что этот человек делает вид, будто знает таинственное волшебное слово, недаром у него на лице вечно играет усмешка превосходства. Возвращаясь с богатой добычей, он никогда не хвастается, спокойно выслушивает удивленные восклицания, не участвует в спорах о том, где и в какое время ходит рыба или жирует птица. И все та же усмешка не сходит с лица. Нет, не знает он волшебное слово, которое делает жизнь прекрасной. Не знает и, наверно, никогда не будет знать, потому что рыбы и птицы говорить не умеют, а с людьми наш лесник не разговаривает. А может, когда-то разговаривал и с людьми? Может, услыхал от них то волшебное слово, живет по нему и не пускается ни с кем в разговоры, бережет свою тайну…

Над моей головой, рассекая крыльями воздух, пронеслись утки. Стая коричневоголовых крякв пролетела так быстро, что, погруженный в свои мысли, я не успел и выстрелить.

Темнеет. Птицы начинают тянуть к берегу.

Огромными станицами они подымаются откуда-то с моря, описывая круг за кругом, взвиваются под облака и, выбрав направление, улетают вдаль. Самое странное, что не все летят на юг. Одни сворачивают к заходящему солнцу, а другие берут курс прямо на север, хотя им пора искать более теплые края. Что они оставили там, на севере? Может, это прощание с родиной? Не знаю. Кричат, гогочут в небе полчища птиц, словно люди, которые с песнями покидают родные пенаты и отправляются на чужбину в поисках счастья. Много дней и ночей они будут в пути, а весной вернутся. Не нынешней и не прошлой осенью они начали эти ежегодные перелеты, а мы до сих пор не знаем, как отыскивают дорогу крылатые дети земли, какие локаторы ведут их в теплые страны, а потом обратно, в те места, где они вылупились из яйца и впервые увидели солнечный свет. Этот секрет пернатых меня особенно занимает, я часто думаю, что многие люди могли бы поучиться у птиц привязанности к родным местам.

Стемнело. В небе загорелись первые звезды.

Я собираю подстреленных птиц и привязываю к поясу.

Выбраться обратно не просто. Темно, прибывшая вода залила луга, доверху наполнила все канавки, протоки, впадины. Порой нога оступается, и в сапоги попадает ледяная вода. Тогда уже не разбираешь дороги — бредешь прямо на огонек, который чуть заметно мерцает в окне избушки.

Неразговорчивый лесник уже дома. Сидит за добела выскобленным столом, подкрепляется, работает крепкими челюстями, то и дело выуживая что-то из стеклянной банки. Только приглядевшись как следует, я вижу, что банка набита мелко нарезанным птичьим мясом. Лесник уминает за обе щеки, обсасывает каждую косточку, а на лице неизменная усмешка. Можно подумать, ему и впрямь известно тайное слово. Только, по-моему, ничего ему не известно. Он лишь прикидывается, как и многие люди, которые вслух, конечно, не говорят, но втихомолку думают, что земля вращается вокруг них.

* * *

В нашей избушке живут еще несколько человек. Косари. Светлый редковолосый Северьян — их бригадир, маленькая, с

мелкими чертами лица, его жена Шура, еще одна пожилая женщина и мешковатый Егорка. Над Егоркой постоянно пошучивают, сватают ему невесту, уговаривают поскорей жениться, а Егорка, довольный, ржет, показывая крупные, как у лошади, зубы. Все свободное время он валяется на полатях и слушает, о чем говорят в избе. Его равнодушное лицо оживает только в те минуты, когда из транзистора доносится разухабистая русская частушка. Тут Егоркины глаза загораются, рот расплывается до ушей, на лице блаженство. Этому детинушке, разумеется, нет дела до каких бы то ни было волшебных слов. Он спокоен. И засыпает раньше всех. Не сумерничают и пожилая женщина с женой Северьяна. Бабы намаются за день, таская сырое сено, раскладывая по вешалам, и не успеют положить голову на подушку, как тут же из их угла раздается спокойное дыхание спящих. Один Северьян не спешит на боковую. Он долго сидит при свете керосиновой лампы над своими бумажками, подсчитывает, что сделано за день — сколько сена убрано, сколько еще осталось. Наконец и он задувает лампу, развешивает у горячей печи одежду, и я слышу впотьмах, как стонут, скрипят под ним полати. Я всегда жду этой минуты: значит, Северьян не спит, сейчас он заведет разговор. За окном гуляет осенний ветер, длинные пальцы дождя барабанят по стеклу, а в избе тепло, даже душно: комната наполнена запахами сохнущей одежды.

Я говорю Северьяну, что видел тюленя.

— Их еще мало, — отзывается он. — Вот как похолодает, тогда во множестве придут.

— Как придут?

— За навагой. Та нереститься идет, а они следом. Знают, кого есть, — вкусная рыбка навага. Иной раз столько ее загонят на мелководье, что хоть черпаком греби…

— Ну уж, черпаком? — не верю я.

— Истинная правда. Выйдешь на лодке, попадешь в косяк — точно в каше густой увяз. Известное дело, не простым черпаком ее берешь, а специально из сети сшитым. Наполнил лодку рыбой — и к берегу.

— А сетями ловите?

— Непременно! Осенние месяцы — самые рыбные. Море с незапамятных времен нас, поморов, и кормит, и одевает, и обувает.

— Что с рыбой делаете?

— Продаем. Колхозные рыбаки ловят, а из Пертоминского рыбкомбината приходят суда и увозят свежую навагу.

— Почему же ее в магазинах не видно?

— Не знаю. Говорят, ресторанам дают, в Москву отправляют.

Редкая и вкусная рыба наша навага.

Что верно, то верно. Эта небольшая рыбка вкусна, мясиста и не костлява.

— А куда деваете рыбу, когда залив замерзает и суда из Пертоминска не ходят?

— Морозим. Расчистим площадку на льду и сваливаем туда, граблями ворошим, чтобы вся промерзла. Ну, а потом на сушу везем. Вездеход собственный у нас имеется.

— Ну, а тюленей бьете?

— А как же! Наши отцы и деды искони этим промышляли, и мы не забываем. Вот скоро уже можно начинать охоту. К середине октября тюлень столько жира набирает, что убьешь — и в воде не тонет. В эту пору у него и шкура хороша, и жиру много. Но главная охота в конце зимы. В иной год наша артель добывает по четырнадцать тысяч штук…

И Северьян медленно, негромко рассказывает об охоте на тюленей, которая действительно очень интересна и своеобычна. Первым делом охотники снаряжают специальные суденышки, сделанные только из дерева, без единого гвоздя. Дело в том, что железные гвозди от морской воды ржавеют, ломаются, и на таких судах опасно пускаться в дальние походы среди плавающих льдов. Поморы сшивают суда, предназначенные для охоты на тюленя, корнями деревьев. Корни разбухают в воде и наглухо затыкают отверстия, не пропуская ни капли влаги. Такие суда легки — охотники не один километр тащат их но льду в поисках новых лежбищ. Попадаются льдины, на которых скапливаются тысячные стада — матки с детенышами, самцы. Детеныши особенно ценятся за дорогую белую шкурку, и убивают их обыкновенной дубинкой. Матки не отходят от детенышей, иногда, защищая их, даже бросаются на охотников, но где им, бедным, справиться с человеком… За охотниками идут люди, которые сдирают блестящие тюленьи шкуры, а потом уже вступают в дело сборщики жира, которые заготавливают сотни бочек ворвани. Случается, что морские течения уносят охотников вместе с льдиной далеко от берега, они оказываются за тысячи километров от дома, а бывает, и совсем не возвращаются.

— Любишь свою работу? — спрашиваю Северьяна.

— Смешной вопрос. Не любил бы — разве работал бы? От века мы, поморы, с морем срослись… — Мне кажется, что Северьян наверняка знает волшебное слово и жизнь для него прекрасна, как в сказке…

Ветер бушует за окном, завывает в трубе, а у нас тут тепло и хорошо, и не смолкает ровный, спокойный голос Северьяна:

— Прошлой осенью кит попал сюда. Не знаю, как его на

банку занесло, — может, косатки загнали, может, сам ненароком наскочил, но так и остался на мели, не сумел сняться, хоть и прилив был. А потом, когда отлив начался, он почти целиком из воды вылез, издалека был виден, как остров. Там ему и конец настал. Часть мяса колхозники скоту скормили, потом морозы ударили, но еще долго туда медведи пировать ходили.

— А тебе доводилось с медведем встречаться?

— Восемь раз.

— И ничего?

— А что? Человек своим путем, медведь — своим. Я ему поперек дороги не становлюсь, и он мне тоже, — спокойно отвечает Северьян, и в его голосе такая уверенность в истинности «своего пути», что я невольно начинаю думать, будто Северьяну действительно все на свете ясно; видимо, он не знает окольных дорожек, а единственно «свой путь», которым так и пройдет до последнего вздоха. Счастливый человек.

* * *

С самого утра меня охватило странное смятение. Не было никакой конкретной причины для беспокойства, но я ходил сам не свой. Решил пройтись по тайге с ружьем, поохотиться на рябчиков. Я уже был в дверях, но почему-то вернулся, чтобы захватить картечи и жакан, хотя вчера и позавчера ходил по тайге без них, с ружьем, заряженным только птичьей дробью.

Кажется, вся земля окутана изморосью. Мелкие пылинки дождя висят в воздухе, садятся на мшистые деревья, порыжелую траву, и лес похож на гигантскую, пропитанную влагой губку.

Я двинулся по песчаной тропинке к озеру, откуда мы иногда брали воду, если ветер с моря даже во время отлива гнал в реку соленую воду. Умылся холодной пресной водой, и вроде легче стало.

Я долго шел по песчаной тропке, прислушиваясь к звукам леса, останавливаясь, провожая глазами вспугнутую птицу. Я крался, как зверь, но было такое чувство, будто не я подглядываю жизнь тайги, а кто-то сам подглядывает за мной. И чем глубже забирался я в тайгу, тем сильнее становилось это неприятное ощущение. Бывает так: где-либо в людской толчее почуешь чей-то взгляд, обернешься — так и есть, на тебя уставились знакомые или, напротив, незнакомые глаза. Однако здесь, в глухой тайге, не было и не могло быть человека. И все же я, как никогда прежде, ощущал чей-то преследующий взгляд, и от этого моя тревога росла, я уже не мог спокойно наблюдать природу, не

волновали меня и рябчики. Охотникам, которые по неделям скитаются в бескрайних лесах, вдали от человеческого жилья, хорошо знакомо это чувство.

Я решил схитрить. Свернул туда, где лес пореже, к краю болота, поросшего невысокими, чахлыми сосенками. Я ступал по мягкому мху и возвращался на тропинку… Стало накрапывать сильней, а вскоре зарядил унылый осенний дождь. Я забрался в чащу, нашел разлапистую ель и уселся под нею, прислонясь к сучковатому, грубому стволу. Закурил. Жадно затягиваясь, озирался по сторонам, оборачивался назад, но тайга словно вымерла. Только унылый осенний дождь шелестел в деревьях, тяжелые капли стекали на одежду с еловых лап. Уже который день льет без передышки, картонные гильзы разбухли, с трудом входят и еще трудней выходят из ружья. Сидя под развесистой елью, я подумал, что надо бы на всякий случай перекалибровать патроны. Мало ли что! И принялся за работу. Покончив с этим делом, облегченно вздохнул, выкурил еще сигарету и встал.

Где-то вдали татакал лодочный мотор, медленно приближалась его песня — однообразная, монотонная, как этот дождь, и было хорошо, что кроме тебя здесь есть и другие живые люди. Внезапно кто-то метнулся через поляну и скрылся за разросшимся можжевеловым кустом. Мне пришло в голову, что это волк: вчера вечером мы слыхали, как они воют недалеко от нашей избушки, а сегодня на мокром песке тропинки я наткнулся на свежий волчий след. Как хорошо, что я перекалибровал патроны, загнав в один ствол картечь, а в другой — жакан.

Я сделал несколько шагов в сторону, чтобы обойти можжевеловый куст, да так и обомлел. За можжевельником, повернувшись ко мне боком, а мордой к речке, стоял медведь. Большой, со слишком светлой, как бы седоватой шкурой. Он не видел меня. Все его внимание было сосредоточено на реке, откуда несся мерный рокот мотора. Ветер дул в мою сторону, и зверь не чуял, что за сосед у него под боком. Склонив голову набок, выставив ухо, точно дряхлый старик, мишка прислушивался к приближающемуся непонятному звуку. Я взял медведя на мушку, но вдруг подумал, что у меня единственный жакан. Если с первого выстрела не уложу зверя, дело может обернуться худо, так как даже с пробитым насквозь сердцем медведь может сделать несколько десятков прыжков, а раненый он особенно опасен — всегда нападает на врага. Мне осталось бы положиться на картечь и нож. Я вынул из ножен большой охотничий нож и воткнул его в ствол дерева перед собой, чтобы в любой момент был под рукою. Зверь, должно быть, услышал это, повернул голову. Я отчетливо видел его кривые лапы, острую

морду, маленькие удивленные глазки и небольшие уши торчком. Мы стояли друг против друга не шевелясь. Теперь я уже не думал стрелять. «Лучше нам расстаться подобру-поздорову… Поглядели друг на друга и пойдем, каждый своей дорогой… Но если ты думаешь иначе…» Вдруг я почувствовал, что зверь трусит больше, чем я, и тут же созрело решение: «Нет, милый, мы так просто не разойдемся…»

Грохнул выстрел, и медведь, глухо рявкнув, в несколько прыжков скрылся в чаще. Я слышал, как трещат, ломаются сучья, как шум все удаляется. Руки дрожали, когда я торопливо перезаряжал ружье. Растяпа! От волнения выстрелил не из того ствола. Вместо жакана послал картечь, которую приготовил для охоты на косуль и которая с такого расстояния, разумеется, лишь пощекотала медвежью шкуру. Упустил косолапого. По собственной дурости прозевал. А может, оно и лучше? Может, мне повезло, что этим кончилось и у меня в стволе остался жакан?

Я не решился идти по следам медведя, наслушавшись рассказов о его хитрости и коварстве. Нередко охотник платит головой за то, что взялся преследовать раненого медведя, так как, сделав круг, зверь возвращается на свой след и, хорошенько спрятавшись, уже сам подкарауливает преследователя. Встреча бывает столь внезапной, что охотник не всегда успевает выстрелить, хоть и крадется с ружьем наготове.

После обеда мы втроем вернулись на это место, но без толку, потому что непрекращавшийся дождь смыл следы. А поздно вечером Северьян, вернувшись с рыбалки, сообщил, что слышал в тайге отчаянно ревущего медведя.

Ночью я спал плохо. Снова, и снова вставали перед взором подробности встречи с хозяином тайги. Мне вспоминались и безотчетная тревога, и неприятное ощущение, будто кто-то подглядывает за мной, когда я почти физически чувствовал на себе чей-то тяжелый, преследующий взгляд. Чем объяснить все это? Неужто человек наделен таким сильным предчувствием?

А когда рассвело, я снова вернулся к вчерашнему месту, прихватив запас жаканов и картечи.

Я прочесал, обошел зигзагом все болото, непролазные завалы, поросшие густой щетиной елочек, описывал круг за кругом по тайге, пока не напал наконец на след медведя. Ствол толстой ели был истерзан когтями громадного зверя, ремни свежесодранной коры свисали до земли. Таежники уверяют, что так медведь отмечает свои владенья, дабы устрашить врагов, показать, какой он сильный. Еще говорят, что это зверь «меряет» свой рост. Так или иначе, но медведище был и впрямь здоровенный. Он так

высоко зацепил когтями еловую кору, что я не мог дотянуться до верха. Подтащив к ели толстый обломок дерева, я взобрался на него и охотничьим ножом сделал несколько зарубок выше меток, оставленных медведем, — пускай топтыгин поломает голову! Затем соскочил на землю и огляделся — не видел ли кто, как я занимаюсь чепухой. А что не чепуха? Ведь и желание убить медведя вызвано тщеславием, и только. «Я убил медведя!» Ну и что? Чепуха. Ерунда на постном масле. У каждого своя дорога. У человека и у зверя.

Рассуждая подобным образом, я услышал посвист синичек. Поведение этих малых лесных пташек заставило меня насторожиться. Стайка синиц перелетала с дерева на дерево с той стороны, откуда я пришел несколько минут назад. Они пищали не умолкая и все приближаясь, — значит, кто-то их спугнул. Этот кто-то, видимо, шел по моим следам, которые глубоко отпечатались на влажном мху. У меня забилось сердце: я знал, что людей поблизости быть не может — обитатели избушки ушли в противоположную сторону. Я притаился за деревом, стиснув в руках ружье и пристально вглядываясь в тайгу. Вот синички вспорхнули, просвистели над головой и пищат уже где-то за моей спиной. Потом они опять вспорхнули, и я услышал, как кто-то громоздкий ломится через чащу прямо на меня. Трещит под ногами валежник, хлюпает сырой мох, шуршат раздвигаемые туловищем ветви. Вот что-то мелькнуло в чаще, расходятся в стороны елочки. Я медленно подымаю к плечу ружье. Двадцать шагов, пятнадцать, десять, и вдруг из еловой завесы выбирается человек со старой берданкой в руке. Меня бросило в жар. Я смотрел на молодого парня, глазеющего, разинув рот, на верхушки деревьев, и не мог выговорить ни слова. Да и боязно было, — чего доброго, еще пальнет с перепугу. На всякий случай я спрятался за дерево и сладким голосом спросил:

— Как дела?

Паренька так и подбросило кверху, а лицо вдруг изменилось, будто он босиком наступил на хвост гадюки. Ружье выставил вперед, голову в плечи втянул, съежился и знай таращится по сторонам. Я невольно вспомнил слова Хемингуэя о том, что самая потрясающая из всех охот — охота на человека, когда охотник знает, что охотятся и за ним.

Познакомились. Оказывается, паренек — механик, отремонтировал лесорубам трактор и решил поискать рябчиков. Это его везли вчера на моторке, тарахтенье которой привлекло внимание хозяина тайги. Ничего я не сказал парнишке. Промолчал и о том, что нынче он был на волосок от смерти.

* * *

Нынче у Северьяна день рождения. Жена еще третьего дня отправилась на лодке домой, а он плывет сегодня и приглашает меня с собой.

Окошко нашей избы выходит на Вежму. Вода в реке подымается, течет вспять, но мы не торопимся, долго прихлебываем чай и трогаемся в путь не раньше, чем островок перед избушкой уходит под воду.

Беспрепятственно выплываем из реки в море, находим поставленные Северьяном мережи и вытряхиваем из них дары моря — целую кошелку белопузой камбалы и мясистой наваги — к праздничному столу. В сетку попались также несколько медуз. Северьян вываливает их вместе с рыбой в кошелку. Рыба трепыхается, ворочается, бьет хвостом, и медузы мгновенно опадают.

— Пока эти водятся — много рыбы не жди, — говорит Северьян, выуживая из кошелки студенистую массу.

— Почему?

— Тепло, значит, — объясняет он.

Родина Северьяна — деревенька Луда, расположенная на морском берегу. Мы приплыли «по большой воде», и кажется, что некоторые избы оторвались от берега и забрели в воду. Дома стоят у самой воды по берегам двух речек — Луды и Уны, которые здесь заменяют улицы. По ним осуществляется все движение, тем более что в деревне только один мост. Люди доставляют по воде картошку, сено, дрова, ездят по воду, на работу и с работы, плавают к соседям в гости. Настоящая северная Венеция. Не хватает только гондол да влюбленных парочек с гитарами и мандолинами. Впрочем, и гитар и мандолин в деревне достаточно, однако северяне — народ сдержанный и свои интимные чувства публично не проявляют. Неизвестно, что тут больше оказывается — то ли месяцами длящийся летом день с белыми ночами, то ли зимние месяцы, когда солнце едва показывается над горизонтом?

Изба Северьяна тоже жмется к воде. Недавно въехал в нее. До этого жил у матери и только на исходе четвертого десятка женился. Дескать, раньше недосуг было свататься — все в море и в море, дома как молодой месяц появлялся. Год назад женился и купил эту избу. Добрая изба. Большая, сложенная из крупных бревен, внутри светло, просторно, вволю места для всякой клади. И, как везде на Севере, образцовая чистота. Печь белехонькая, полы крашеные, устланы домотканными дорожками, стены оштукатурены и оклеены со вкусом подобранными, не режущими

глаз обоями. Спрашиваю, сам ли выбирал обои.

— Братан прислал. Из Архангельска.

Я задал этот вопрос потому, что заметил склонность северян к ярким цветам. Женщины здесь одеваются просто, без претензий, работа такая, что в нарядном платье не пощеголяешь. Однако чего-чего, а пестроты их одежде не занимать. Косынка такая, блузка этакая, кофта опять же другого цвета, юбка — тоже. И все яркое. Видимо, человеческий глаз скучает по игре красок, которых здесь, на Севере, не много — серое море, серое небо, почти черный ковер леса. Только осень золотит редкие березы да ярким багрецом красит такие же редкие осины и рябины. И под ногами все больше серый мох, серое дно моря, обнажившееся в часы отлива.

Именно по такому серому морскому дну я и шагаю сейчас, покинув хлопочущего по дому Северьяна, с мыслью добыть к сегодняшнему столу утку или гуся. Под ногами чавкает мокрый песок, всюду полно быстроногих куликов, бекасов, которые собирают на морском дне свой хлеб насущный. Этой дичи можно настрелять сколько угодно, так как она почти не боится человека. Но я не стреляю, потому что местные жители подымут на смех такого охотника. Иду, распугивая куликов, и думаю о Северьяне, о его жизни, о таинственном волшебном слове, узнав которое человек становится счастливым, каждый день для него — праздник, и он ловит в море простую рыбку, даже не мечтая о золотой… А ведь правда, что человеку для счастья вовсе не нужна золотая рыбка, если только он знает, как жить. Мне нравится Северьян, кажется, он знает, как ему жить, и, должно быть, не ломает голову над неразрешимыми проблемами, его не донимают неосуществимые мечты и надежды. Человек, похоже, нарочно все упростил, как бы очистил от кожуры, оставив ядро, которое называется суть жизни. И все-таки я еще колеблюсь, не берусь утверждать, что Северьян знает таинственное слово. По-моему, он ходит где-то вокруг да около, то иногда случайно приближаясь, почти касаясь этого слова, то снова удаляясь, — словно играет в жмурки.

Когда вода уходит, на мокром песке остается множество медуз. Бессильно опавшие, они лежат, распластавшись на земле, без признака жизни, утратив своеобразную прелесть и пробуждая не жалость, а какое-то неприятное чувство, похожее на гадливость. А ведь там, в морской воде, работая своим зонтиком и пускай незначительно, но все же перемещаясь вперед, медузы по-своему красивы. Интересно, воскреснут ли те, что остались на суше, когда снова придет «большая вода»? Может, этот отлив для них последний? Надо будет обязательно проверить.

Я прячусь в кустах на берегу, дожидаясь, когда стемнеет и потянут птицы, но не проходит и получаса, как у моих ног уже семь уток. Куда же больше? Связываю их веревочкой и возвращаюсь к Северьяновой избе.

Хозяин в хлеву — кормит корову. Моему удивлению нет границ, когда я вижу, что́ он дает скотине. Рыбу! Да, вареную соленую рыбу, смешанную с лишайником, который обычно едят олени. Так вот, этот лишайник Северьян мешает с вареной соленой рыбой и дает корове. Животное охотно ест.

— Море всех нас кормит, — говорит Северьян. — Рыба — главная наша пища.

— А почему свиней не держите?

— Не привыкли люди к свиньям, смеются над такой скотиной. Хотя раньше, старики сказывают, держали. Тут одна баба привезла поросенка, так его, беднягу, коровы забодали в овраге. Отродясь такого зверя не видывали.

Странно. Очень странно, что не держат люди свиней, в то время как мелкой или не идущей на продажу рыбы просто девать некуда. Может быть, Северьян и знает таинственное волшебное слово, но достаточно ли только этого? Кроме волшебного слова надо и еще кое-что знать. Одним только волшебным словом не проживешь.

* * *

На пузатой рыбацкой барке мы добрались до Пертоминска, откуда завтра выйдет пароход в Архангельск. Видимо, один из последних рейсов, так как уже вчера и сегодня падают большие хлопья мокрого снега.

В дороге познакомились с группой молодых москвичей. Они инженеры и уже не первый отпуск проводят на Севере, на Онежском полуострове. Они же и уговорили нас переночевать вместе с ними у знакомой женщины, где они всегда останавливаются. В компании, дескать, и веселей, и рано утром вместе на пароход… Мы вспомнили про бабушку Васильевну, ее одиночество после того, как потеряла сына, просьбу не забывать, навестить, когда снова будем в Пертоминске. Вспомнили и свои обещания, Вспомнили, поторговались с совестью и все-таки пошли за новыми друзьями к их знакомой. Женщина жила в довольно тесном доме, но приняла нас радушно. Вообще северяне гостю всегда рады, и я заметил, что сосед даже как-то завидует соседу, если у того гости.

Сидим, пьем чай, едим жареную навагу и толкуем о пароходе,

который уже должен быть здесь, а его все нет.

— Может, кто из вас в патефоне понимает? — вдруг спросила хозяйка. — Что-то испортился. Не играет. А то мы с подружкой от скуки, бывало, слушаем вечерами, пластинки крутим.

Она показала старый, вышедший из моды патефон. Умелые руки вскоре вернули звук этой почтенной старине, и тесную комнатушку заполнила песня о солдатах, идущих «по степи опаленной».

— Что-то моей подружки долго нет сегодня, — не то спросила, не то подумала вслух хозяйка.

Потом она принесла все свое имущество, чтобы как-то разместить нас, выбирала, что постелить на пол, что сунуть под голову. В это время кто-то постучал в дверь.

Невыразимый стыд охватил меня — у порога стояла бабушка Васильевна.

— Куда же ты запропала нынче? — кинулась к ней хозяйка.

— Гостей ждала… Как раз должны были приехать, — сказала старушка и, увидев нас, смутилась, смолкла.

Выходит, весь этот долгий осенний вечер она ждала нас.

Патефон пропел еще несколько старых песен, все стали собираться ко сну, и старая Васильевна ушла, не успев посидеть в гостях, послушать патефон.

Я долго не мог заснуть. Закрыв глаза, видел двух старушек, слушающих старую песню о солдатах, шагающих по выжженной степи. Не мог заснуть и думал о дружбе двух одиноких пожилых женщин, которая и грусть наводила, и лучилась теплом. Две старые, одинокие женщины и старый, вышедший из моды патефон…

Ночью меня разбудил сиплый, одинокий гудок парохода. Он кричал и кричал, и никто ему не отозвался. Очень плохо, подумал я, когда никто не откликается на зов. И еще я подумал, что на море, должно быть, туман и одинокий пароход не находит своей гавани.

Утром глянул в окно и ахнул: на земле, на штакетнике забора, на крышах и кронах сосен лежало белое, пушистое, искрящееся на солнце снежное покрывало, а ведь сегодня только двадцать пятое сентября.

И хозяйка дома, и старая Васильевна провожали нас к пароходу. Со стороны можно было подумать, что две бабушки провожают в дальний путь группу ребят. Старая Васильевна держалась поближе к нам, будто желая что-то сказать. Но мне не хотелось отделяться от веселой, шумливой компании, почему-то я избегал взгляда синих глаз Васильевны.

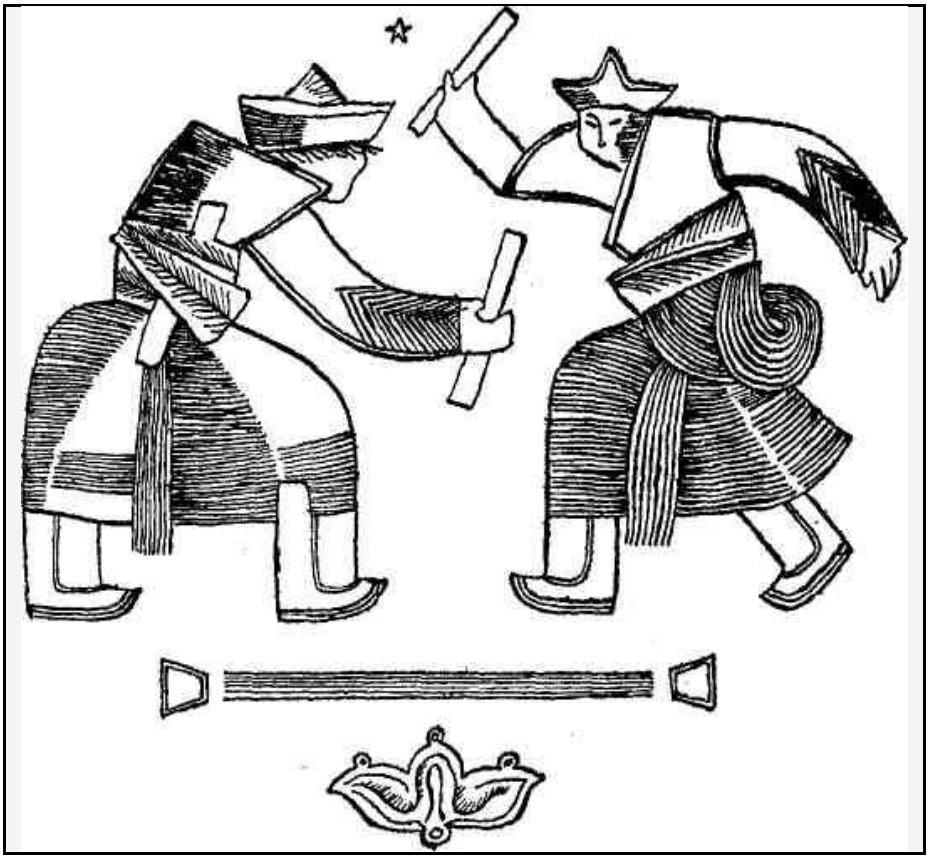
Это наш пароход гудел ночью. Только под утро он причалил к

пристани, и теперь матросы торопились очистить его трюмы. Из них, как из бездонных колодцев, подъемные краны вытаскивали и вытаскивали сложенные в веревочные корзины ящики водки. Я насчитал шестьсот ящиков. Стоял в толпе матросов, отплывающих и провожающих и считал ящики, как будто меня кто приставил к этому делу. А старая Васильевна все крутилась вокруг, словно выбирая случай сказать мне что-то очень важное, тайное, чего не надобно слышать другим.

Наконец, слава богу, пароход дал гудок, матросы убрали трап, вытащили из воды толстые стальные тросы, и между нами и деревянной пристанью стала шириться, расти непроходимая полоса воды. Именно в эту минуту мне в голову пришли две очень важные мысли. Я вспомнил, что так и не выяснил, что же происходит с медузами, которые во время отлива остаются на берегу. И еще я подумал, что так и не узнал таинственного волшебного слова, которое делает человеческую жизнь прекрасной, как в сказке. А может, старая Васильевна знала это волшебное слово и хотела тайком его мне шепнуть, но я притворился, будто мне крайне важно сосчитать, сколько ящиков водки оставит пароход в этом далеком северном поселке.

1966

НЕТ У МЕНЯ ДРУГОЙ ПЕЧАЛИ…



1

Я уж и не помню хорошенько, когда последний раз ездил верхом. Кажется, еще до войны. Поэтому теперь, глядя на горячего жеребца, я все хожу вокруг и не спешу поставить ногу в стремя — не хочется осрамиться: дело в том, что тувинцы тесным кольцом окружили меня и лошадь и не упускают ни одного моего движения. Конь стрижет ушами и косится большим глазом в ярких прожилках. Я тоже поглядываю на него искоса — стараюсь угадать, какую штуку он собирается выкинуть. Однако сколько можно топтаться вокруг лошади и коситься на нее? Пора решаться.

Тщетная попытка перекинуть ногу через седло вызывает в кругу тувинцев дружный смех. Я краснею, снова подпрыгиваю и

все-таки оказываюсь в седле. Круг размыкается, люди отскакивают в стороны, но мне уже некогда взглянуть на них, я только смотрю, как бы удержать бегущего рысью коня и не плюхнуться на землю. В душе я проклинаю эту глупую затею, которая кончится, кажется, тем, что я останусь без зубов и отобью себе все внутренности. Однако спустя минуту мы ныряем под гору, и деревня исчезает. Мой проводник Кара-оол, взглянув на меня и снисходительно улыбнувшись, придерживает своего коня. Лошади переходят на спокойный шаг.

Безжалостно печет солнце. Еще утром термометр в тени показывал тридцать один градус. И хотя белые облака бойко плывут по синему небу, здесь, на земле, не чувствуется ни малейшего дуновения. Мы едем по глубокой лощине, которая то сужается и становится похожей на ущелье, то снова превращается в широкую долину. С обеих сторон горы. У их подножья растут жалкие кусты дикой акации да сухая, выжженная зноем трава, по склонам карабкаются лиственницы и сосны, а над ними голые скалы сияют ослепительными снежными заплатами. Гребни гор врезаются в небо, как ледоломы: набегающие облака разбиваются о них, расступаются и плывут дальше, к следующим вершинам, Безжалостно, неуемно печет солнце, и напрасно глаз ищет тени — кругом голая, серая равнина. Время от времени пересекаем мертвую речку с пересохшим руслом и потрескавшимся дном. Осенью, когда начнутся дожди, реки оживут, но, если осень выдастся сухая, придется им ждать вешних талых вод. Местами в самой долине выпирают из-под земли серые скалы, словно напоминая, что здесь — их царство и все живое должно отступить, поникнуть. Однако жизнь есть и тут. То и дело из-под самых лошадиных копыт испуганно шарахаются крупные разноцветные кузнечики. Я невольно вздрагиваю, потому что взлетают они с таким шумом и треском, как будто крылья у них деревянные. А вот и еще один признак жизни — большие, скользящие по поверхности земли тени. Это, высматривая добычу, описывают в небе круги степные орлы и ястребы. Что можно найти на этой угрюмой, истерзанной зноем земле? Но птицы, вероятно, кружат не зря. Громадный коршун камнем падает вниз и подымается уже с сусликом в когтях. Мелькает серо-коричневая шкурка, которую не сумел уберечь ее владелец. Теперь я уже внимательней оглядываюсь по сторонам и вскоре замечаю еще одного суслика. Он сидит на задних лапках, а в передних держит что-то, точно белка, грызущая орехи. Увидев нас, зверек вытягивает шею, какое-то мгновенье смотрит, а затем со свистом пускается бежать, смешно виляя хвостом. Секунда — и он исчезает в норе, скрытой среди кустиков рыжей травы.

Кажется, что и меня солнце в конце концов превратит в нечто подобное этой траве. Я едва сдерживаюсь, чтобы вслух не обругать свой характер и всю эту затею — отправиться в путешествие верхом. Пока я не сел на лошадь, такое предприятие казалось мне необыкновенно романтичным. Быть может, оно и романтично, но сейчас я почему-то не чувствую этого, зато чувствую невероятную усталость во всем теле и — что еще хуже — страшную жажду. У меня не осталось никаких чаяний и мыслей, кроме единственного желания — как можно скорее развязать притороченный к седлу кожаный мех. В нем — вода. Пускай не ключевая и не холодная, неважно, что она фиолетового цвета и попахивает лекарствами (от марганцовки), но вода. Однако прикоснуться к ней я не смею, потому что свято поклялся своему спутнику и проводнику Кара-оолу неукоснительно выполнять все его приказания и условия, а первое из условий — пить не чаще, чем раз в час. Реже можно. Пожалуйста, не пей хоть целый день, но чаще — нельзя. А мне кажется, что я так бы и скакал, не отрывая меха с водой от губ. Пил бы без передышки, большими глотками, пил бы сколько влезет…

— Трудно? — спрашивает Кара-оол, будто видит меня насквозь.

Я и не пытаюсь изобразить из себя героя, откровенно признаюсь:

— Очень.

— Потерпи, — говорит он добродушно, но мне за этот совет хочется послать его к черту или еще куда-нибудь подальше.

Легко сказать — потерпи. Видно, недаром у нас, у литовцев, есть поговорка: «Своя слеза солона, чужая — водица».

Однако я сдерживаюсь и ничего ему не отвечаю. Жажды словами, даже самыми злыми, не утолишь, и к тому же я вовсе не желаю ссориться с проводником. Без Кара-оола я наверняка бы пропал.

Молчу, как суслик в своей норе, и стараюсь отогнать мысли от бурдюка с водой.

Безжалостно печет солнце. Время, кажется, остановилось.

Глухо стучат копыта, трещат вспархивающие кузнечики, монотонная поступь лошадей укачивает, убаюкивает, и я начинаю дремать в седле.

— Пей, — будит меня Кара-оол.

Вода теплая и вонючая. Я долго держу глоток во рту, полощу пересохшее горло.

И снова убаюкивающая поступь лошадей. Кажется, с незапамятных времен я сижу в седле и никогда этому не будет конца. В голове вертятся слова: «Моя жизнь — в седле, страна

моя — в седле и любовь — в седле, потому что и сам я родился в седле…» Это — старинная якутская песня. Точно испорченная патефонная пластинка, все снова и снова звучат эти слова в моей памяти. Якутская песня в долинах Тувы? Откуда? Почему? Десятки, сотни раз возвращается одна и та же фраза. Я силюсь разжать слипающиеся ресницы и почти не видящими от солнца глазами всматриваюсь в широкую долину.

Мы подъезжаем к темной полосе кустарника, которая широкими петлями пересекает долину, однако речка и здесь пересохла. Ни капли воды. Только рассохшееся, потрескавшееся русло, усеянное мелкими камнями.

— Плохо, — говорит Кара-оол и хлопает свою лошадь по шее, точно эта ласка может заменить животному воду.

Хотя Кара-оол излагает свои мысли вслух, но это вовсе не означает, что он советуется со мной, — такая уж у него манера думать. Он решает подняться из долины выше в горы, к лесам. Там мы сумеем найти какой-нибудь родник или речку, несущую ледяные воды тающих в горах снегов.

Теперь мы гоним лошадей рысью.

Выжженная солнцем долина остается внизу, мы едем среди холмов, дышать становится легче, потому что вершины гор все чаще заслоняют склоняющееся к закату солнце.

Кара-оол вдруг останавливает коня, соскакивает на землю и поднимает камень величиной с капустный кочан. С камнем в руках он снова взбирается в седло и гонит лошадь к самой вершине холма. Меня разбирает любопытство, так и подмывает спросить, зачем он тащит этот камень.

На вершине холма высится аккуратно уложенная груда камней. Над нею торчит кол, по-видимому вбитый в землю. Не приходится сомневаться, что эта своеобразная пирамида — творение рук человеческих. Мой проводник соскакивает с лошади и водружает свой камень поверх остальных. Долго и внимательно выбирает он место, где его камень ляжет твердо и надолго, чтобы никакие ветры не могли его скинуть. Потом Кара-оол вырывает несколько волосков из конской гривы и привязывает их к колу.

— Зачем это? — не выдержав, спрашиваю я.

— Чтобы дорога наша была удачной, — отвечает Кара-оол.

— Традиция такая, что ли?

— Может, традиция, может, поверье.

— И камень обязательно тащить снизу?

— Души умерших требуют жертв. А что за жертва, если положишь камень без труда?

— Ты веришь в такие приметы?

Кара-оол не ответил. Он удивленно посмотрел на меня и

пожал плечами. Мне показалось, что никогда раньше ни он сам, ни другие ему этого вопроса не задавали, а потому и случая не было задуматься. А мне очень хотелось узнать, откуда взялась эта традиция или, правильнее сказать, суеверие. Два века (с начала восемнадцатого столетия до начала двадцатого — когда Тува была под властью Маньчжурии) в этом краю безраздельно господствовала буддийская религия, но, разумеется, такие суеверия не имеют ничего общего с буддизмом. Может быть, этот обычай сохранился с более давних времен, времен язычества?..

— Видишь? — перебивает мои мысли Кара-оол. Он указывает на торчащую поодаль каменную глыбу.

— Давай посмотрим, — прошу я и подгоняю лошадь.

Мы подъезжаем к одному из тех каменных изваяний, которыми так щедро усеяна земля Тувы. Думаю, что по количеству каменных статуй и идолов Тува, пожалуй, может соперничать с островом Пасхи. В Кызыле, столице Тувинской Автономной Республики, я познакомился в гостинице с группой археологов, которые уже не первый год исследуют эти памятники глубокой древности. Созданы они в период с шестого по одиннадцатый век и установлены главным образом в память полководцев, государственных мужей. Почти все статуи испещрены знаками и письменами. Некоторые надписи почти стерты временем, другие еще можно разобрать. Вот одна из них:

> «С печалью покинули мы своих младших и старших братьев, с печалью… С печалью оставили жен своих во дворцах… Вот в чем моя печаль: с печалью расстались мы с близкими и друзьями, сын мой… С печалью, мой сын, с печалью…»

И другая:

> «Я обитаю ныне в голубом небе. Я рожден был потомком Хана. Из моей страны пять раз я пускался в походы, во имя славы героя. Я жил для страны. За вас, моя страна, хан мой, я рад…»

Статуя, к которой мы с Кара-оолом подъехали, также была испещрена знаками-письменами. Время сумело стереть часть из них, но и сохранившиеся были нам непонятны. О каких трагедиях рассказывают эти древние знаки?

— Ты умеешь читать их? — спросил я Кара-оола.

— Нет, — ответил мой проводник, — но я знаю, что здесь написано.

Он немного помолчал, а потом, отчетливо выговаривая

каждое слово, перевел:

— Нет у меня другой печали, как печаль о судьбах моей страны.

Мы долго ехали молча, погрузившись в свои мысли. Не знаю, о чем думал Кара-оол, но в моей голове вертелись мысли о времени и человеке, о личности и эпохе, которая ее формирует. Слова старой якутской песни о седле, преследовавшие меня весь день, исчезли, и вместо них стало звучать:

«Нет у меня другой печали, как печаль о судьбах моей страны».

Когда наши усталые лошади, мотая головами, взобрались на вершину крутого холма, мы увидели белый столб дыма.

— Скоро отдых, — обрадовался Кара-оол. — Это юрты чабанов, там найдем и ночлег и воду.

— А сколько езды до них? — спросил я, вспомнив, как часто обманывается непривычный глаз, определяя расстояние в таких местах, как это.

— Километров пять… Самое большее — шесть.

— А может, переночуем прямо здесь, под открытым небом?

— Лошади хотят пить, — возразил Кара-оол, и я понял, что хочешь не хочешь, а придется сегодня одолеть эти шесть километров, хотя тело разламывается от усталости и хочется только одного: упасть на землю, вытянуться и не шевелиться.

— Скажи мне, Кара-оол, как перевести твое имя? Оно что-то значит?

— Да. Кара — черный, оол — мальчик. Черный мальчик.

— Слушай, Черный мальчик, ты уверен, что там нас кто-нибудь ждет?

— Дверь любой юрты открыта для путника, — сказал он, подгоняя лошадь. — Если в юрте тесно и всем не хватает места — хозяин пойдет спать на улицу, лишь бы у гостя был кров. Так уж у нас, у тувинцев, принято.

Может, лошади понимают и не все, что творится на этом свете, но некоторые вещи они улавливают отлично. Почуяв запах далекой юрты, они прибавили шагу, будто поняв, что мы говорим о ночлеге, отдыхе.

Я уже признавался, что пропал бы без Кара-оола. Когда мы подъехали к юрте, я смог убедиться в этом еще раз: хозяин ни слова не говорил по-русски, как и большинство тувинцев, живущих в отдаленных местах, вдали от больших городов и дорог. Я нарочно попросил Кара-оола, чтобы он помолчал и позволил мне попытаться договориться самому. Согнувшись, переступил я порог юрты и поздоровался с хозяином, который сидел на полу, поджав под себя ноги, и потягивал длинную

трубку. Он кивнул головой, что-то непонятное буркнул и снова стал посасывать украшенный серебром чубук. Я по-русски спросил, можем ли мы переночевать под его кровом, но хозяин ничего не ответил и даже не подал виду, что слышал меня. Тогда я присел напротив него и повторил вопрос, зачем-то ужасно коверкая русские слова, как будто бы от этого они станут более понятными. Хозяин смотрел на меня узкими щелками глаз, и в его взгляде я уловил тревогу. Я еще раз повторил свой вопрос. Хозяин вздрогнул, осмотрелся, точно ища помощи, а потом встал и налил две пиалы чаю. Тогда заговорил Кара-оол.

Они долго толковали о чем-то по-своему, а я сидел, скрестив ноги, прихлебывал чай и осматривал юрту. Конусообразный остов, составленный из деревянных шестов, покрыт войлоком из чистой овечьей шерсти. Такой же войлок, только узорчатый, покрывает пол. Посредине юрты — железная печка, труба которой выведена наружу через оставленное в крыше отверстие. Печка — результат цивилизации, так же как и железные кровати, прижавшиеся у стен и поблескивающие никелированными спинками. Прежде не было ни кроватей, ни печек. Готовили на сложенном из камней очаге, а спали на овечьих шкурах.

Тувинский чай не имеет ничего общего с тем, который мы пьем. Во-первых, он не сладкий, а соленый, вместо сахара в него кладут соль. Если в соленую воду бросить щепотку заварки, долить сливок и положить ложку масла, то получится самый настоящий тувинский чай. Ради него не обязательно отправляться в сердце Азии. Можно приготовить и дома.

Наконец мой проводник вспомнил обо мне:

— Хозяин предлагает нам свой кров.

— Спасибо, — оказал я, а Кара-оол перевел это слово, хотя мне казалось, что приложенная рука и низкий поклон достаточно красноречивы и без перевода.

Хозяина зовут Чулдым. Он интересуется, кто я, откуда, зачем приехал сюда, с какой целью. Кара-оол честно переводит все мои ответы, однако чем дальше, тем больше я замечаю недоверие в глазах хозяина.

— Спрашивает, почему ты верхом, ведь писателей на машинах возят, — переводит мне Кара-оол.

— Не всех, — отвечаю я.

Такое объяснение, по-видимому, не удовлетворяет хозяина, он даже не улыбается и смотрит все так же подозрительно. Что он обо мне думает, за кого принимает, — один бог знает. Но не могу же я вынуть свое сердце, положить на ладонь и показать хозяину. Если не верит моим словам, пусть думает что угодно. Меня волнует совсем другое: как он живет, как трудится, какие радости

и заботы сопутствуют жизни овцеводов, проводящих свой век в одиночестве, вдали от людей. Я принимаюсь расспрашивать:

— Колхозных овец пасете?

— Колхозных.

— Сколько?

— Почти тысяча… Девятьсот восемьдесят.

— Какого колхоза?

— Нашего колхоза.

— А как ваш колхоз называется?

— «Большевик».

— Это все овцы колхоза?

— Нет. Еще у других пастухов есть.

— Сколько же всего овец в колхозе?

— Много. Не знаю точно, но много. Может, шесть тысяч.

— Что получаете на трудодень?

— Нам деньгами платят.

— По сколько выходит?

— В месяц по сто десять, сто двадцать рублей.

— Каждый месяц платят?

— Каждый.

От такого диалога устаешь, пожалуй, не меньше, чем от езды верхом. Я думаю, каким образом расшевелить этого человека, как добиться, чтобы из его глаз исчезло недоверие. Не знаю, что ему сказать, о чем опросить. Сижу поджав ноги, прихлебываю соленый чай, а хозяин тем временем о чем-то осведомляется, нагнувшись к Кара-оолу.

— Спрашивает, какие в Литве деньги? — улыбнувшись, переводит Кара-оол.

— Обыкновенные, — отвечаю я и, достав из кармана рубль, добавляю: — Такие же, как во всем Союзе.

Хозяин кивает головой, но я чувствую, что он все равно не верит мне.

— Сколько держите своих овец? — опрашиваю я, лишь бы только прервать эту гнетущую тишину.

Хозяина будто кто подменил. Лицо его светлеет, и он начинает что-то быстро и весело говорить на своем языке. Кара-оол едва успевает переводить:

— Он говорит, надо было сразу сказать, что вы — финансовый инспектор. Говорит, нечего скрывать, потому что он и сам понял, что мы из финотдела…

— Почему он так думает?

— А зачем же интересуетесь его овцами?

— Хочу знать, зажиточно ли живут тувинцы?

Хозяин снова пронизывает меня испытующим взглядом,

встает и вытаскивает на середину юрты большой бидон. Достает из тумбочки миску с холодной бараниной, нарезанной крупными кусками, и груду жареных лепешек.

— Тридцать овец, две коровы и две телки держу, — отвечает он наконец на мой вопрос и снова усаживается.

— И у всех столько скота?

— Не знаю, сколько у других, не считал. Своих хватает, на чужое не зарюсь. — В этих словах чувствуется уже явное недружелюбие.

В бидоне оказывается не молоко, как я было подумал, а домашняя водка — арака. Правда, гонят ее здесь не из зерна и не из сахара, а из молока. Из обычного коровьего молока, которое предварительно заквашивают особым способом.

Хозяин налил полную пиалу и знаком предложил нам пить, а сам обмакнул в водку кончики пальцев, побрызгал во все стороны, шепча какие-то непонятные слова, а потом поднес пиалу к губам и одним духом опустошил, хотя в ней было не меньше литра.

Самогон из молока оказался водянистого цвета и по вкусу немного напоминал сухое вино, особой крепости в нем тоже не было, однако помещалось его в бидоне столько, что даже будь нас тут не трое, а шестеро, и то мы легко могли бы дойти до того состояния, в котором начинают петь песни.

Хозяин поднялся и зачем-то вышел из юрты. Воспользовавшись его отсутствием, я опросил Кара-оола:

— Отчего все-таки он нам не верит?

Кара-оол только пожал плечами, но я почувствовал, что странное поведение хозяина угнетает моего проводника не меньше, чем меня самого. И это после бесконечных рассказов о гостеприимстве и приветливости тувинцев. Было от чего загрустить моему товарищу по путешествию. Я даже попытался утешить его: дескать, что переживать — в семье не без урода.

Хозяин между тем вернулся и сказал что-то Кара-оолу.

— Говорит, чтобы мы тут сами угощались, а потом укладывались на кроватях, а ему пора к овцам.

— Ночью? Что он там собирается делать?

— Сторожить. Не ровен час, волк набредет.

Я бесконечно устал, все тело разламывало, болели мускулы и, кажется, даже самые кости, но, не удержавшись, я попросился вместе с хозяином в ночное. Очень уж обидным показалось мне терять такой случай. Ведь я потом себя поедом съем, если продрыхну ночь на кровати, вместо того чтобы провести ее у костра. У костра в ночном! Ведь об этом только в книге можно прочесть или от стариков услышать — отошли у нас в прошлое и

волки и костры. А здесь все осталось так, как было сто, тысячу лет назад.

Хозяин, услышав мою просьбу, никакой радости не выказал. Но Кара-оол не отступал и продолжал упрашивать его.

Наконец тот сдался:

— Возьму, но только с одним условием.

— Каким?

— Ружья оставить в юрте.

— А если волки?

— С волками справлюсь. — Он указал на свой карабин.

Я вздохнул. Что за удовольствие поджидать волков без ружья? Мое желание идти в ночное почти пропало, но и отказаться теперь было неловко. Этот странный человек, услышав, что без оружия я с ним не пойду, может подумать бог весть что.

Пришлось согласиться.

Отара блеяла рядом, на альпийском лугу.

Хозяин выдал нам с Кара-оолом по куску войлока из овечьей шерсти. От такой подстилки двойная польза: и тепло, и никакая змея не страшна. А змей тут много. Ночами они выходят на охоту, но на такой войлок никогда не заползут — не любят запаха овечьей шерсти. Хозяин устроил нас на ночь, а сам пошел на другой конец луга. На прощанье предупредил нас:

— Ночью не бродите, а то приму в темноте за волка. Долго ли до беды… А уж если пойдете куда — дайте знать.

Ночное потеряло в моих глазах всю прелесть, но деваться было уже некуда. Я расстелил войлок, улегся, поджал ноги и долго молча смотрел на снежные вершины, освещенные последними лучами солнца. Вспомнилось, как летел из Москвы в Красноярск. Там, в воздушном лайнере, тоже попался мне недоверчивый, — правда, тот был в другом роде. Когда стюардесса стала разносить по салону подносы с ужином, мой сосед, молодой паренек, отказался от еды. Я поинтересовался, почему он не ест.

— Знаем мы их! — Парень хитро ухмыльнулся и, нагнувшись к моему уху, зашептал: — Дадут всего ничего, а потом сдерут втридорога.

Я стал его уверять, что питание входит в стоимость билета, но парня сбить было не просто:

— Не хочу есть, и все тут.

Увидев, что стюардесса приближается к нам, он предложил мне:

— А вы берите, ешьте мою порцию.

Я отказался, мне и своей было вполне достаточно.

— Ешьте, я правда не буду, — настаивал паренек.

И действительно отказался от ужина. Только попросил стюардессу принести «простой холодной воды». Она подала лимонад, но он опять отказался, заявив, что у него «от сладкого внутри нехорошо». Не стал он и завтракать. Снова усиленно предлагал свою порцию мне, не спуская с меня испытующего взгляда. Я осведомился, куда и по каким делам он летит. Оказалось, паренек родом со Смоленщины, завербовался на работу в один из леспромхозов Красноярского края, слышал, «там можно здорово закалымить». До сих пор ни разу не отлучался из родной деревни, разве только в районный центр — «какую-нибудь тряпку отхватить…». Самолет приземлился в Красноярске, мы спустились по трапу, и я увидел, что паренек ни на шаг не отстает от меня, следует за мной точно тень. Так, словно сиамские близнецы, протиснулись мы в автобус, потом вышли из него, получили свой багаж. Наконец я стал прощаться.

— А и вправду, выходит, не взяли денег, — сказал он растерянно.

— Я же говорил вам…

— Говорили! Мало кто что скажет, так каждому и верить? Я специально уступил вам свою порцию. Думал, если даром, так ведь только дурак откажется. Вижу, вы не берете, — значит, фигушки даром! Вот тебе и на… Выходит, я сам дурак… А жрать-то как хотелось!..

Вспомнил я эту историю и невольно подумал о недоверии вообще. Когда впервые возникло оно меж людьми? Должно быть, после того, как один человек обманул другого. Интересно, как он это сделал и каков был тот первый на земле обман? Мужчина решился обхитрить своего ближнего или женщина?

Незаметно я заснул. Вдруг почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо, услышал мужские голоса и открыл глаза. Высоко в небе мерцали большие и яркие звезды. Подле себя я различил силуэты трех вооруженных мужчин. Поскольку я глядел на них снизу, они показались мне необыкновенно высокими, а дула их ружей упирались в самые звезды. Кара-оол тряс меня за плечо и все твердил что-то, но я спросонья ничего не соображал. Наконец я пришел в себя и понял, что требуют показать документы.

Я показал.

Вооруженные великаны долго вертели в руках мой паспорт и командировочное удостоверение, освещая их фонариком. Присмотревшись, я узнал среди них нашего хозяина. Вернув мне документы, незнакомцы накинулись на хозяина. Хоть я и не понимал ни слова, но по тону можно было догадаться, что хозяину пришлось не сладко. «Так ему и надо», — подумал я.

Потом один из прибывших по-русски извинился передо мной и пригласил зайти в юрту. По дороге Кара-оол успел мне все объяснить. Оказывается, хозяин еще с вечера отправил жену верхом сообщить соседям, что к нему в юрту забрели два подозрительных типа. Наверное, шпионы. (Особое подозрение вызвали у него моя одежда, кожаный бумажник и большой блок кубинских сигарет «Лигера» с непонятными, чужими буквами на них.) Соседи схватили оружие, оседлали лошадей и поспешили на помощь другу.

Выслушав все это, я не на шутку разозлился.

— Какой идиотизм!

— Почему? — возразил Кара-оол. — Этого человека не трудно понять. За этими горами — граница. Зато теперь понятно, почему нас так встретили, а то я все время думал: что это случилось — тувинец гостя по-человечески принять не умеет. А если ошибся человек, так это не страшно. На границе люди на все смотрят по-государственному…

Я вспомнил услышанные накануне слова: нет у меня другой печали, как печаль о судьбах моей страны. Однако вслух сказал:

— Больше доверять людям надо.

При этих словах Кара-оол усмехнулся и остановился.

— Доверять, говорите, надо… Они-то на границе живут, а вот вы…

— Что я?

— Да прошлой ночью, помните, когда мы в деревне ночевали, вы свой свитер под подушку сунули. Нет разве?

— Ну, сунул, чтобы повыше было.

— Да нет уж… — вздохнул Кара-оол и, помолчав, добавил: — Деньги у вас в свитере, вот почему…

Меня будто мокрой тряпкой по лицу хлестнули. Я радовался, что кругом темно и Кара-оол не может видеть моего вспыхнувшего лица. Вся злость тотчас остыла.

Хозяин постарался, чтобы мы поскорее забыли о происшедшем недоразумении, и устроил настоящий пир. Теперь и он сам, и соседи, и Кара-оол добродушно посмеивались над рассеявшимися подозрениями. Хозяева все подливали в наши пиалы араку, подкладывали на тарелки различные яства, и кажется, уже в сотый раз хозяин извинялся за свою ошибку. Я старался поддерживать непринужденный разговор и смеялся вместе со всеми, но на душе кошки скребли. У меня почему-то совсем пропало желание философствовать на тему — как, где, когда и почему человек перестал доверять человеку. Наверно, важнее призадуматься о собственных поступках, чем размышлять о том, как вели себя мои далекие предки. Снова всплыла в памяти

побитая ветрами и дождями надпись: «Нет у меня другой печали, как печаль о судьбах моей страны». И вдруг по-новому открылся мне смысл этих слов. Словно они были высечены не тысячу лет назад, а сегодня, сейчас, специально для меня.

Хозяин не отпустил нас и на следующий день. Он и слышать не хотел о том, чтобы мы уехали, и все твердил, какой большой праздник для них наше посещение. Мы не сомневались, что он говорит это от чистого сердца. Его вообще невозможно было узнать — совсем не тот человек, что вчера. Подозрения его рассеялись, и он искренне радовался тому, что у него в юрте гости. Традиции гостеприимства сложились у тувинцев в незапамятные времена и свято сохраняются до наших дней. Условия жизни в этом краю, отделенном горными хребтами от всего мира, не дают им угаснуть. Люди круглый год кочуют с овечьими отарами по степи, целыми неделями, а то и месяцами не встречая живого человека. Как тут не назвать счастливым тот день, когда путник переступает порог твоей юрты! Здесь, как и на Крайнем Севере, умеют ценить дружбу и добрые отношения между людьми…

2

Кара-оол едет впереди, за ним, привязанная к его седлу, шагает лошадь с поклажей, а я замыкаю нашу небольшую кавалькаду. Часами не вижу я ничего, кроме хвоста идущей впереди лошади. Четвертый день мы пробираемся сквозь горную тайгу и ни разу за все это время не встретили ни человека, ни селения. Нет даже никакого намека на то, что здесь когда-нибудь побывал человек, — кругом тайга, нетронутая, нехоженая тайга. На каждом шагу дорогу преграждают стволы поваленных деревьев. Поросшие высокой травой, лежат на земле столетние кедры, лиственницы, сибирские ели. Одни выворочены ураганами, другие повержены временем. Некоторые совсем истлели и рассыпаются, как гнилушки, под копытом лошади, а есть и такие, у которых даже хвоя не успела потемнеть, так недавно они упали. Кто сказал, что деревья умирают стоя? Я вижу кругом себя умирающие деревья, они бессильно вытянулись на земле и тщетно пытаются ухватиться за нее корнями. А на освободившемся месте уже пробиваются новые ростки, молодые побеги тянутся к солнцу и заслоняют свет погибающим на земле старикам.

Время от времени громко захлопает сильными крыльями лесной отшельник глухарь или вспорхнет семейство испуганных

рябчиков. Далеко они не улетают, опустятся на соседнее дерево и затаятся. Мы успеваем подстрелить одного-двух, а остальные перелетают дальше. Мы больше не преследуем их, ужин нам обеспечен. Впрочем, говорить «мы» не совсем правильно, потому что охотится в основном один Кара-оол. Я весь распух за эти дни, глаза превратились в узкие щелки, а часы пришлось спрятать в карман — руки мои настолько разбухли, что ремешок не сходится на запястье. Так меня преобразили комары и москиты. Их здесь — великое множество. Мы захватили с собой бутылку репудина — специальной жидкости, запах которой должен предохранять от гнуса, однако и репудин почти не помогает — жара и духота стоят невероятные, так что пот моментально смывает весь наш репудин, а когда, стекая, он попадает в нос или, не дай бог, в глаза, начинается такая резь и жжение, что кажется, вот-вот ослепнешь. Теперь мы с Кара-оолом уже ученые, намазываем репудином одежду, шапку, шею, руки, но только не лицо. Кара-оол едет впереди, окруженный ореолом из мошкары. Силуэт человека еле виден сквозь густое облако, образованное этими тварями. Такое же облако сопровождает и меня, но я лишен возможности полюбоваться на себя со стороны. Днем мы еще умудряемся кое-как бороться с этим «бичом божьим», но ночью комары берут реванш. Спим мы под открытым небом, разложив костер из толстых стволов. Измученные дорогой и дневной жарой, мгновенно засыпаем. Репудин, которым мы мажемся перед сном, вскоре испаряется, и тут уж комары могут пить нашу кровь сколько угодно.

Мы едем по глубокому ущелью. Когда-то здесь бежала горная речка, теперь она высохла, осталось только русло, устланное гравием и галькой. Там, где уходящие в небо отвесные скалы стискивают ущелье с обеих сторон, шаги лошадей начинают звучать как выстрелы, и эхо этих выстрелов долго блуждает в горах.

Богата осенняя тайга. Поляны сплошь покрыты красной и черной смородиной, брусникой, ветви кедров унизаны шишками, полными вкусных орехов. Всю дорогу нас сопровождает резкий пронзительный крик кедровок. Птицы трудятся, вылущивают из шишек орешки, чтобы сделать запасы на зиму. Мы тоже по возможности пользуемся благами тайги. Не слезая с лошади, на ходу отламываем облепленную ягодами ветку смородины и утоляем жажду, той же веткой стараясь отогнать от себя и лошадей кровопийц-комаров. Не надо только жадничать. Помню, в первый день, как мы въехали в тайгу, я набросился на ягоды. Кисленькие, сочные, они приятно освежали, так что я за весь день ни разу не приложился к меху с водой. Вечером мы

расположились на ночлег, и Кара-оол зажарил на костре двух рябчиков. И тут вдруг выяснилось, что я не в состоянии откусить ни малейшего кусочка не то что мяса, но даже и мягкой лепешки — так отчаянно болели у меня все зубы. Впечатление было такое, будто кусаешь не зубами, а деснами, с которых содрана кожа. Ягоды оказались крайне коварными. Потом я выяснил, что по-русски они называются «кислица». Весь следующий день я тоже ничего не мог откусить. Кара-оолу пришлось сварить бульон из рябчика, чтобы хоть чем-то поддержать мои силы. Так я поплатился за свою жадность.

После полудня въезжаем в долину, которую не назовешь иначе как преисподней. Буйные травы, по пояс всаднику. Душно, все пропитано запахом гнили и застоялой воды, черная туча комаров заслоняет солнце. Добрый час пробиваемся сквозь эти своеобразные джунгли, пока наконец начинаем снова подыматься в гору. Кажется, самое тяжкое осталось позади. И вдруг ни с того ни с сего падает лошадь, навьюченная поклажей. Я вижу, как у нее подкашиваются ноги, как, попытавшись встать, она теряет равновесие и валится на бок. Несчастное животное бьет копытами по воздуху, тщетно силится встать. В огромных выпученных глазах отражается ужас. Мне становится не по себе, я чувствую, как по моей спине пробегают мурашки. Бедная лошадь храпит и судорожно роет копытами землю. Все это происходит в одну секунду. Пока Кара-оол успевает соскочить на землю и подбежать к попавшей в беду лошади, та уже лежит недвижно. Я вижу, как дымная пелена затягивает огромный остановившийся глаз и прямо на роговицу, прорезанную яркими жилками, садятся, толкаясь, сотни комаров. Садятся на открытый, ничем не защищенный глаз. Из всего, что произошло, это показалось мне самым ужасным.

— Помоги, — зовет Кара-оол.

Сам он хлопочет возле лошадиной морды. Засовывает пальцы в ноздри, вытаскивает оттуда какую-то темную, липкую массу. Я не сразу понял, что это — комары, каша из комаров. Мы еще пытались спасти лошадь, но было поздно.

— Задохнулась, — сказал Кара-оол.

Оказывается, такое случается здесь, особенно если лето, как нынче, жаркое. Лошадь втягивает в себя комаров вместе с воздухом, и в конце концов они плотно забивают дыхательные пути. Жуткая смерть. Кажется, наши лошади всё поняли и думают о том же, что и мы, косясь на своего павшего собрата.

Мы распустили ремни, сняли с мертвой лошади поклажу и, поделив поровну, приторочили к своим седлам. Пока мы занимались всем этим, по земле заскользила громадная тень. Я

поднял голову и остолбенел. В небе кружили две огромные птицы. Распластав крылья, они спускались все ниже и ниже. Я не ошибся. Это были грифы. Всю дорогу я задирал голову и окидывал взглядом вершины гор, напрасно надеясь увидеть этих птиц. По правде сказать, я даже усомнился в словах Кара-оола, который утверждал, что грифы водятся в этих местах. Поэтому я и был так поражен, увидев их. Меня поразило, как эти хищники моментально учуяли добычу — не успел еще затихнуть храп умирающей лошади, а грифы уже парили в небе, точно кто-то дал им знать.

Грифы спускались. Все ниже и ниже, описывая круг за кругом, почти цепляя концами крыльев за выступы скал. Отчетливо были видны совершенно голые, лишенные перьев, жадно вытянутые шеи и страшные, загнутые клювы.

Не дай бог, если путник, путешествуя по этим местам, попадет в беду — вывихнет или сломает ногу, заблудится или ослабеет от голода… Что должен пережить человек, выбившийся из сил, но еще не потерявший сознания, видя, как над его головой описывают круги эти отвратительные птицы, и зная, что они никогда не ошибаются, не покидают напрасно свои пристанища на гребнях скал?

На закате мы остановились. Решили сделать привал под гигантским кедром, который вытеснил все живое вокруг и один царил на лесной поляне. Поблизости от ствола, который едва охватят четверо мужчин, не растет даже трава. Хвоя устлала землю таким толстым слоем, что ноги пружинят, словно идешь по губке. Хорошо живется такому эгоисту, и простора, и солнечного света, и живительных соков для корней — всего ему хватает. И все за счет других.

Пока закипел чайник, стемнело. Первое время я не мог пить этот чай. Слишком было противно. Только нальешь воду в кружку, не успеешь глотка сделать, а там уже столько комаров — словно пенка на остывающем какао. Потрескивают на зубах, как песок. Однако выход был найден. Мы с Кара-оолом стали отрывать по листу лопуха и прикрывать чашки. Так и пьем, не снимая этой крышки. Комары все равно трещат на зубах, но в меньшем количестве.

— Немало мы их уже поели, — говорю я, а Кара-оол откликается:

— Не волнуйтесь, на завтра останется.

— Разве мы и завтра еще не доберемся до Молочного озера?

— Как знать, — Кара-оол пожимает плечами.

А меня уже начинает донимать тоска — чувство, которое не раз приходилось испытать во время путешествий. Я убедился, что

нет на земле ничего тяжелее этой тоски. Человек все может вынести — зной, холод, голод, физическую боль, может привыкнуть к самым плохим условиям, но никогда не в силах побороть эту тоску, самую страшную болезнь, название которой — ностальгия. Не раз побывал я в ее лапах и по опыту знаю, что есть от нее только два лекарства — либо работа, отгоняющая прочь все мысли, либо сон. Сейчас ночь, никакой работы не придумаешь, да и сил нету. Остается спать. Я терпеливо расстилаю овечью шкуру, мажусь репудином, ложусь и пытаюсь заснуть под колыбельную комаров. Однако сон не идет, мысли упрямо возвращаются к Литве…

Каждый раз, когда я отправляюсь в дальнюю дорогу и прощаюсь с Литвой, мне вспоминается война. Только начинаю собирать дорожный мешок, и тут же мысль о войне. Это у меня как рефлекс. Может, и впрямь рефлекс, ведь первая моя разлука с Литвой была вызвана именно войной. И теперь каждое расставание с родными местами бередит старые раны, и я снова без конца твержу про себя строки вашего литовского соловья — Саломеи Нерис:

> Я к тебе бреду по бездорожью
> Через голод, холод и беду…

Стоит мне очутиться вдали от родины, как мной овладевает страх потерять ее навсегда. У каждого человека есть в жизни много дорогого, любая потеря бывает болезненна и часто надолго лишает покоя. Однако самая страшная, ни с чем не сравнимая потеря — лишиться родины. Эта рана никогда не заживает; сколько бы ни прожил человек на чужбине, она остается открытой, кровоточит до конца дней. Тот, кто потерял родину, напоминает мне полувывороченное ветром дерево. Оно еще стоит, удерживается частью корней, впитывает земные соки, но у него нет будущего, оно еще существует, старается оттянуть физическую смерть, но участь его решена.

Наука пока не в состоянии ответить на многие вопросы, интересующие человечество. Никто до сих пор не может точно сказать, откуда пришли к берегам Балтики мы, литовцы, какой путь проделали наши предки, какие континенты пересекли, пока наконец добрались до Литвы. Правда, ученые отмечают, что когда-то литовцы жили гораздо восточнее, об этом свидетельствуют сохранившиеся в некоторых местностях географические названия с балтийскими корнями. Где то место на земле, в котором впервые появились литовцы? Неизвестно. Пока что никто на этот вопрос не может точно ответить. Остается

только строить догадки и гипотезы. Я не претендую на то, чтобы заполнить пробелы в науке. Я вообще не смею что-либо утверждать или оспаривать, просто я часто думаю о пути, пройденном моими предками, и мне кажется, что этот путь был бесконечно долгим, они обошли много земель, прежде чем нашли ту, о которой мечтали. В одном месте безжалостно пекло солнце, под его жарким дыханьем гибло все живое, в другом — землетрясения или наводнения обращали в прах творения их рук. Только возле Балтийского моря они нашли то, что искали. Здесь леса предлагали людям свои дары, здесь тучные пастбища готовы были принять стада и табуны, здесь ласково грело солнце и никогда не пересыхали русла рек. Плавно, без всяких потрясений сменяли друг друга времена года, и после тяжкого труда наступал сладкий отдых. Кажется, в этом краю природа собрала по крупице все, чем земля богата: синеву неба, сияние радуги, кипучее цветенье весны, сочные плоды, золото осени, белизну снега, туманы и дожди, зыбучие пески и жирный чернозем — всего понемногу, без излишеств и крайностей…

Не могу заснуть. Лежу с закрытыми глазами и вижу Литву. «Я к тебе бреду по бездорожью через голод, холод и беду…»

Я вожу с собою талисман — маленькую сову-свистульку из обожженной глины. Мне подарила ее дочь. «Папа, если тебе будет очень грустно, — сказала она, — ты посвисти». Мне сейчас действительно очень грустно, я достаю глиняную сову и начинаю свистеть. Без всякой мелодии, просто так свищу и свищу. Кара-оол поднимает голову и заспанным голосом спрашивает:

— Что это?

Я не отвечаю, продолжаю дуть, не выпуская совы из губ. Кара-оол подымается и, наклонившись надо мной, трясет за плечо:

— Что с тобой?

Не знаю, что ему ответить.

— Что случилось?

Надо что-то ответить, но так не хочется вдаваться в объяснения, которые к тому же, вероятно, покажутся ему сентиментальными и непонятными. Я говорю:

— Нет у меня другой печали, как печаль о судьбах моей страны.

Кара-оол понимающе кивает головой. Он поправляет костер, ложится на место, и вдруг я слышу странные звуки. Сначала я решил, что это галлюцинация или просто звенит в ушах, привыкших за день к жужжанию комаров. Но тут же догадываюсь, что слышу своеобразнейшее в мире пение. Так поют только в Туве. Кажется, будто поет не один, а сразу три человека — один ведет низким басом, второй берет выше, а голос третьего журчит,

как флейта. Медленная, несложная, наполненная какой-то грустью мелодия плывет, словно река, петляет, вьется, то широко разливаясь в долинах, то сужаясь и грозно шумя в ущельях. Порою чудится гул органа, а порою — флейта или рожок, и все это непрестанно, без каких бы то ни было усилий льется и льется с губ одного человека. Я сравнил бы пение Кара-оола с трелями гастролировавшей в Вильнюсе индианки Имы Сумак, хотя все здесь оригинально, неповторимо, выросло из глубоких певческих традиций тувинского народа, и услышать это можно только в Туве.

— Как называется эта песня? — спросил я, когда Кара-оол умолк.

— Хомей, — сказал он и в свою очередь спросил: — А твоя?

— Что — моя?

— Как называется твоя песня?

Очевидно, он принял глиняную свистульку за какой-то наш народный инструмент, на котором я исполнял литовскую песню.

— Ильгесис[1], — не найдя другого слова, ответил я, и Кара-оол несколько раз повторил литовское слово, как бы желая запомнить его.

Мы еще долго не спали. Кара-оол говорил, как никогда. Может быть, он хотел излить все свои тревоги и сомнения, может, поверяя мне свои горести, сам искал ответ на многие вопросы, а может, рассчитывал услышать его от меня.

По собственным словам, он — человек пропащий, непутевый. Если бы можно было сделать из него двоих, оба вышли бы хорошими, возможно, даже прекрасными людьми, а один вот — никуда не годится, безнадежно испорченный человек, и все тут. Жаль, но ничего не попишешь, — видно, каждая новая эпоха, говорит он, дает таких никудышных людей. Почему никудышных? А потому. Одной ногой они в прошлом, а другой — в будущем. Как это понимать? Очень просто. Человеку, который родился и вырос в горах, чье детство и юность прошли в седле, кто целыми месяцами кочевал за стадом или охотился, — такому человеку очень трудно привыкнуть к новой жизни. А привыкать надо. Обязательное восьмилетнее обучение, средняя школа, цивилизация, грандиозные перемены в жизни не проходят бесследно для человека. Разумом он понимает это и говорит, что будущее за новой жизнью и за теми, кто идет с нею в ногу. Вот и он, Кара-оол, окончив среднюю школу, поехал учиться дальше в Москву. Год проучился в университете имени Ломоносова (теперь понятно, откуда он так хорошо говорит по-русски!), изучал историю. А по ночам ему мерещились тувинские горы и тайга. На каникулы возвратился домой. И чем ближе был день отъезда, тем

сильнее одолевало его беспокойство. Но все это как рукой сняло, стоило лишь ему твердо решить, что никуда он больше не уедет, останется там, где испокон веков жили деды и прадеды. И никуда не поехал. Три года снова пас овец, охотился, свободный, как горный ветер, но настоящее счастье так и не вернулось. Тесное знакомство с цивилизацией, появившийся вкус к учебе сделали свое — человек уже не довольствовался тем, что прежде казалось идеальной жизнью. Нынешней осенью Кара-оол снова покинет родные места. Поступает в Кызылский педагогический институт.

— Выдержишь?

— Не знаю, — откровенно признается он. — Если предки не позовут обратно.

Да, действительно, в Кара-ооле живут сразу два человека. Оба они по-своему хороши. И каждый тянет в свою сторону. Думаю, это происходит не только с Кара-оолом. Республика только в 1944 году вошла в семью советских народов. Мы часто говорим в Литве о нашей новой интеллигенции, о том, что подавляющее большинство ее — первое поколение от плуга. Между тем здесь, в Туве, иной интеллигенции вообще не существует. Все люди, занятые умственным трудом, это дети охотников, овцеводов, оленеводов, земледельцев, получившие за годы советской власти новые профессии, о которых в старой Туве никто и не слышал. Впрочем, это особая тема, и к ней мы еще вернемся. На сегодня достаточно, всего хватит на сегодня: и усталости, и радости путешествия, и грусти — всего-всего. Не хватает только одного — сна. Я съеживаюсь, поворачиваюсь спиной к костру и пытаюсь заснуть.

— Спишь? — негромко спрашивает Кара-оол.

Я думаю, что лучше не отзываться, иначе разговорам конца не будет. Но Кара-оол повторяет вопрос, и я вынужден откликнуться.

— Угадай, кто мой любимый поэт? — спрашивает Кара-оол, а меня разбирает досада — вздумал, видите ли, среди ночи викторину устраивать!

— Много поэтов на земле, — говорю я довольно кислым голосом.

— Из современных.

— Не знаю, — вздыхаю я.

— Межелайтис.

— Кто? — переспрашиваю я, будто не расслышав.

— Межелайтис, — повторяет он. — Ваш Межелайтис.

Сна ни в одном глазу. Я сижу и всматриваюсь в Кара-оола. По правде сказать, я не верю ему. Как-то очень уж не вяжется обстановка последних дней с этими словами, слишком далеко

находимся мы от Литвы…

— Что ты читал Межелайтиса? — вопрошаю я.

Кара-оол, должно быть, чувствует в моем голосе следовательскую нотку, понимает, что я «ловлю» его. Видно, поэтому и не начинает с «Человека», а перечисляет сперва другие книги поэта, переведенные на русский язык.

Откровенно говоря, этого я не ожидал. Думал, слышал человек фамилию, может, и читал что-либо, зная, что Межелайтис — лауреат Ленинской премии… (Есть ведь немало людей, которые запоминают фамилии, названия произведений и манипулируют ими не хуже всякого эрудита, а на поверку даже в руках не держали их.) И вот тебе на!

— В Туве любят вашего Межелайтиса, — говорит Кара-оол, как бы угадав мои сомнения. — Особенно молодежь.

Вот и ответ тем, кто устанавливает жесткие критерии, в соответствии с которыми решает потом, какого поэта читатель примет, а какого нет. Разговор с Кара-оолом лишний раз доказал мне, что не существует читателя, скроенного и сшитого по единому образцу, строго соответствующему требованиям стандарта.

— Кто переводил Межелайтиса на тувинский язык? — спрашиваю я.

— Не переводили.

— Откуда же люди знают его стихи?

— Молодежь знает, те, кто говорит по-русски. В основном студенты. А это — главное. Разъедутся студенты во время каникул по всей Туве, и многие самостоятельно пытаются перевести то или иное стихотворение.

Меня по-настоящему взволновали слова Кара-оола. Хорошее чувство оттеснило ностальгию и как бы приблизило Литву. Я уже не чувствую себя таким одиноким, не думаю, что зря тащился на край света.

Теперь можно и уснуть спокойно.

3

Второй день живем мы в юрте у Молочного озера. Тувинские названия очень красивы, оригинальны, опираются на сказания и легенды. Я был на горе Желтых Дров и на другой, под названием Стреляный Пень. А теперь вот живу на берегу Молочного озера. Красная тайга: на северном склоне гор вздымаются голые розоватые скалы, а южная часть заросла непроходимой тайгой. Вода в озере удивительно чистая, прозрачно-голубая, но, когда

солнце находится в зените и печет макушку, озеро вдруг становится похожим на молоко. Возможно, это объясняется тем, что его со всех сторон окружают белоснежные вершины, а может, на дне имеются залежи известняка или гипса.

Вокруг озера, на альпийских лугах, пасутся тысячные отары овец, которых сгоняют сюда в летние месяцы пастухи окрестных колхозов. Там и сям над озером поднимается дым — в юртах живут семьи овцеводов.

Мы с Кара-оолом следуем за Комбу — пожилым чабаном, опытным охотником, который обещал показать нам редкое, во многих местах уже исчезнувшее животное — архара, горного барана. Комбу сказал, что подстрелить архара вряд ли удастся, но увидеть наверняка придется, так как чабану известны места, где обитает небольшое стадо горных баранов. Мы взбираемся в гору, иногда карабкаемся на четвереньках, цепляясь за камни, скалы, огибая обрывы. Время от времени из-под ног срывается камень и с ужасным шумом катится вниз. В такие минуты Комбу оборачивается и смотрит на нас с упреком. Он сам не уронил ни одного камня, взбирается быстро и ловко, не хуже архара.

Никогда я не был альпинистом. Не привык к горам. Мне здесь не хватает воздуха, немного кружится голова, и все время клонит ко сну. Подъем в горах напоминает жизненный путь человека. Вот взбираешься, пыхтишь, не спуская глаз со своей цели — острого, точно костельная башня, пика, мечтаешь как можно скорей достичь его, перевести дух. А когда достигнешь — видишь, что впереди высятся другие вершины, которые еще предстоит одолеть, и твоя гора — лишь малая часть всего пути. Как в жизни, так и здесь: хочешь не хочешь — приходится иной раз спускаться вниз, к подножью нового подъема, если не желаешь вечно торчать на своей горе, а стремишься к новым вершинам. И так же, как в жизни, здесь необходима последовательность. Не начнешь ведь взбираться с середины. От самого подножья до вершины надо проделать весь путь своими ногами, своими силами. И разумеется, здесь также многое решает подготовленность. Один возвращается с полдороги, а у другого хватает и сил, и воли, и он взбирается с одной вершины на другую, хотя порой бывает чертовски трудно. И мне кажется, что всегда, во все времена, жизненный путь человека будет похож на подъем в горах, и не нужно ни у себя, ни у будущих поколений создавать иллюзию, что, мол, наступит такое время, когда больше никому не понадобится преодолевать свои горы, потому что их не будет, а на пути человека останутся лишь цветущие долины, ни подъемов, ни падений… Нет. Всегда будет существовать большой горный хребет, который предстоит преодолеть каждому поколению.

Называется этот хребет — Человеческое Совершенство.

Альпийские луга давно уже кончились, остались где-то внизу. Мы карабкаемся по голым скалам, выискивая надежную опору для ноги. Изредка останавливаемся передохнуть, и тогда я не могу оторвать глаз от Молочного озера, которое ярко синеет далеко внизу, как одинокий, глядящий в небо глаз какого-то великана.

От сигарет у меня в кармане одна труха — пачка лопнула, и теперь мы пользуемся длинной трубкой Комбу. Я достаю из кармана щепотку табаку, набиваю отделанную серебром трубку, затягиваюсь и слушаю, как ветер шепчется о чем-то с горами, жду пушистое облако, медленно приближающееся к нам. Когда летишь самолетом над облаками, всматриваешься в бескрайнюю белоснежную ширь, хочется надеть лыжи и бежать, бежать по этим просторам — такими они кажутся прочными и надежными. Вот и сейчас приближающееся облако похоже на плотную глыбу льда и снега, которая раздавит нас, прижмет к скале или столкнет в пропасть, если не успеешь уцепиться, взобраться на нее и, оседлав, отправиться в небесное кочевье. Но облако редеет, расступается, превращаясь в туман, оно не толкает нас в бездну, не давит, а только обдает лицо прохладным дыханием и плывет своей дорогой.

Комбу оставляет нас и спускается к подножью следующей вершины. Оттуда он снова будет карабкаться вверх, может быть, спугнет горных баранов, погонит их в нашу сторону, и, быть может, нам удастся убить одного архара. Все это лишь — может быть. Но и одно это «может быть» будоражит нас, заставляет быстрее течь кровь по жилам, стесняет дыхание, заставляя прислушиваться к малейшему шороху. Я глубоко убежден: чтобы познать живую природу, надо стать охотником, хоть немножко похожим на наших предков. Есть, разумеется, и другой путь для достижения этой цели — можно изучать естественные науки, годами рыться в книгах, слушать лекции и в конце концов узнать все тайны природы, которые успело разгадать человечество. Однако между двумя этими способами есть одна существенная разница. Наши предки-охотники кормились самой природой, а во втором случае человека кормит наука о природе. Так что это — два разных способа познания, и цена им тоже разная. Много есть тяжелых, неблагодарных профессий. Но профессия охотника, на мой взгляд, резко отличается от всех, ибо за тысячи лет почти не изменилась. В других профессиях люди ввели много новшеств, облегчающих труд, зачастую вместо собственных мускулов впрягают в работу машины. У охотников же за это время почти все осталось по-старому, только вместо копий, дротиков и стрел

появились ружья, что несколько удлинило и укрепило руку охотника. Однако суть, главное осталось таким же, каким было и в глубине веков: либо ты обманешь зверя, либо зверь обманет тебя. Более того. За последние десятилетия охота стала, так сказать, профессией отшельников. Если в древности на охоту выходили всей семьей или родом, то современный охотник-профессионал — это одинокий человек, целыми месяцами живущий в глухой тайге, вдали от семьи, отрезанный от мира, от элементарнейших достижений цивилизации. Профессия охотника трудна, требует бесконечной выдержки, а также физических и духовных сил. А главное, никогда нет гарантии в успехе, потому что далеко не все зависит от самого охотника. Не удивительно поэтому, что все меньше и меньше остается людей, избравших это тяжкое ремесло. Я знаю, что многие области Сибири жалуются на нехватку охотников-профессионалов, приглашают людей из других мест, предлагают им богатые зверем участки, но призывы эти чаще всего остаются тщетными. Такое положение создалось в тех краях, где охота считалась когда-то и теперь еще считается самым важным промыслом. Это весьма характерный признак, свидетельствующий об огромных изменениях даже в отдаленнейших уголках нашей страны. По нему можно судить, что у людей теперь есть более легкие способы добывать хлеб насущный, чем охота. На заводе, фабрике, в учреждении, отчасти даже в колхозе существует нормированный рабочий день, один или два выходных в неделю, множество других преимуществ, в том числе и то, что человек трудится среди людей. А у охотника нет ни досуга, ни твердо установленного рабочего времени. Это и заставляет многих расстаться с древней, едва ли не самой древней на земле, профессией в поисках более легкого хлеба. А найти его не так уж трудно. Рабочие руки везде нужны.

Мы лежим с Кара-оолом на горной площадке и следим за удаляющимся Комбу. Когда-то он тоже занимался только охотой, но уже пять лет работает чабаном в колхозе. И лучше, и надежнее, и есть время полюбоваться на своих детей… По всему видать, что Комбу — опытный охотник, не один год существовавший этим промыслом. Он идет спорым, легким шагом, весь будто напружиненный. Кажется, без всякой усталости, без усилий взлетает на преградивший дорогу камень, перемахивает через рытвины, бесплотной тенью скользит по оставленным лавиной обломкам скал. Он удаляется очень быстро, и я уже в бинокль наблюдаю за каждым его шагом.

Внезапно Комбу останавливается и, задрав голову, смотрит вверх. Что он там увидел? Я направляю бинокль в ту сторону, поднимаю выше, выше и вдруг на краю отвесной скалы замечаю

горного барана. Он застыл, как каменное изваяние, огромные загнутые рога, сильные передние ноги уперлись в край бездны, тело напряжено, как в прыжке, а голова опущена, — очевидно, он смотрит вниз, на Комбу. Да, они видят друг друга, и оба стоят не шевелясь. Карабин по-прежнему висит на плече Комбу — стрелять на таком расстоянии бесполезно. Я отчетливо вижу в бинокле не только фигуру Комбу, но и прищуренные глаза, руку, крепко сжимающую ремень карабина, вижу, как он облизывает запекшиеся губы. Затем начинается что-то совершенно непонятное. Комбу сбрасывает карабин с плеча и кладет на землю, стягивает свою охотничью куртку и надевает ее на обломок скалы, как бы желая согреть этот камень. Я вижу, как он, присев, тянет руку к большому камню, долго и упорно пытается раскачать его, выдрать из горы, а когда наконец это удается — с трудом поднимает его и ставит на скалу, покрытую курткой. Придерживая камень одной рукой, он в то же время другой нащупывает мелкие обломки и подпирает ими это странное сооружение, затем снимает шапку и нахлобучивает ее сверху. Теперь кажется, что там не один, а два человека. Комбу снова берет в руки карабин и, прячась за скалами и камнями, начинает ползти в сторону.

Баран все так же стоит над краем пропасти, уставясь вниз. Влекомый каким-то любопытством, он делает еще шаг вперед и, кажется, только чудом удерживается на краю обрыва. Между тем Комбу подползает к подножью отвесной скалы и встает, убедившись, что архар не видит его. Выждав немного, разувается, аккуратно прижимает голенища сапог камнями. Уж не думает ли он взобраться наверх? Скала почти отвесная, голая, метров пятьдесят высотой, там негде ногу поставить, уцепиться не за что. И все же Комбу подходит именно к этой отвесной стене. Неужели он сошел с ума — лезет прямо в лапы смерти? Перекинув через плечо карабин, Комбу становится босыми ногами на узкий карниз, лицом и всем телом прижавшись к отвесной скале, и вершок за вершком боком продвигается вдоль стены. Просто мороз по коже подирает, глядя, как человек движется над пропастью. Кажется, что этот путь никогда не кончится…

А баран все стоит. По-прежнему смотрит вниз, на оставленное Комбу чучело. Наконец охотник скрывается за поворотом. Еще некоторое время я вижу одинокую руку, прилипшую к скале, а затем исчезает и она. Тянутся долгие минуты неизвестности.

И вдруг грянул гром. Нет, не гром, это грохнул выстрел, но я не могу найти более точного сравнения — только гром, с его бесчисленным повторением раскатов эха, может дать

представление о выстреле в горах… Я не видел, когда упал баран. Я успел лишь заметить, как он стремительно летит в пропасть головой вниз. Вот он ударился о выступ скалы, подскочил, словно резиновый, перевернулся и покатился вниз, пронесся мимо оставленного Комбу чучела, скрылся из глаз.

С грохотом выстрела точно камень свалился у меня с груди. Облегченно вздохнул и Кара-оол. Спустя некоторое время мы увидели и самого Комбу. Он стоял там, откуда несколько минут назад сорвался вниз баран. Сгубило беднягу любопытство. Обычно архары довольно пугливы и осторожны, к ним трудно подобраться на выстрел, и преследовать их в горах — пустая трата времени. Но есть у них слабость — хоть издали поглазеть на такую диковинку, какой является в этих местах человек. Дорого обходится им любопытство…

Хороши рога архара. Огромные, сильные, свернутые чуть ли не спиралью, они служат животному не только оружием. Попав в затруднительное положение, припертый хищным зверем или охотником к отвесному обрыву, откуда, казалось бы, невозможно спуститься, архар прыгает вниз головой, даже если высота достигает двадцати метров и под ним не пуховая постель, а жесткая скала. Он летит, как прыгун с трамплина в воду, ударяется рогами о скалу, подскакивает, как туго надутый мяч, да только его и видели.

Спускаться было ничуть не легче, а может быть, даже и труднее, чем взбираться. Тяжелая добыча тащила нас, бросала в стороны, вынуждала искать более удобные проходы, делать большие петли, и поэтому мы достигли лагеря у Молочного озера, когда уже смеркалось.

При свете костров мужчины содрали с барана шкуру, осторожно, не пролив ни капли, спустили в большое блюдо кровь, разделали тушу.

— Будет хан, — сказал Комбу.

— Какой хан? — удивился я.

— Настоящий, — не пускаясь в объяснения, ответил он.

Женщины очистили бараньи кишки и наполнили их кровью, смешанной со сливками и всевозможными приправами. (Кстати, приправы здесь не покупают, а собирают в тайге и в горах. Тут есть и дикий чеснок, и дикий лук, и разные другие пахучие травы, названия которых я не знаю, но которые вполне заменяют петрушку или лавровый лист. Сейчас, в конце лета, у каждой юрты на расстеленных полотнищах сушатся на солнце эти таежные приправы. На зиму. Здесь сушат и ягоды: красную и черную смородину, а также многие другие, которые, говорят, очень вкусны со сливками.) Наполнив кишку, ее завязывают и

опускают в кипящий котел.

Через несколько минут хан готов. Вместе с ханом появляется и бидон араки. Налитая до краев пиала, украшенная орнаментом, переходит по кругу из рук в руки, и каждый, принимая ее, говорит о счастье, желает удачи и здоровья тебе, твоей семье и всему твоему народу. Горячий хан, дымящийся, обжигающий руки, исчезает с большого подноса. По вкусу он напоминает нашу кровяную колбасу.

К пиршеству присоединяются и женщины. Они ютятся под боком у своих мужей и молча слушают мужские разговоры о жизни, о прежних и нынешних временах. Это целые истории. Одни из них веселые, другие — грустные, третьи — драматические и даже трагические. Последние относятся к старым временам. И хотя старина эта очень относительна: лет двадцать — тридцать тому назад, — рассказы мужчин переносят тебя, кажется, в средневековье, в эпоху феодального строя, со всеми его жестокостями и бесправием простого человека. Мы, литовцы, знаем историю своего народа, знаем, что нес нашим предкам феодализм: насилие, произвол, страшные физические наказания, абсолютное бесправие, когда человеку жилось хуже, чем собаке. То же было и здесь, в Туве. Однако особенно потрясли меня сами рассказчики — живые свидетели или участники этих жутких историй. И рассказывают они обо всем не сухим языком учебника, а дрожащим от волнения голосом, и во время рассказа пожилые женщины нередко опускают глаза и отходят от костра, пряча в темноте свои слезы. И у меня мелькает мысль, что, может быть, двенадцатилетняя девочка, которая из-за невыносимой нужды и голода была отдана в лапы богатого феодала, это и есть та самая Шолбан[2], которая только что встала от костра и ушла в темноту, потому что не в силах слушать рассказ о той страшной ночи, когда ее, двенадцатилетнюю, изнасиловали, как топтали ее ногами, точно шелудивую собаку, и заставляли целовать ноги своего повелителя… И сам рассказчик, по-моему, не кто иной, как тот самый бедный юноша Дандак, который впоследствии связал свою жизнь с несчастной Шолбан, иначе почему у него во время рассказа дрожит голос, почему дергаются мускулы лица и друзья-чабаны услужливо подносят ему полную пиалу араки, а он жадно, большими глотками пьет, словно стараясь погасить разгоревшийся внутри огонь, а потом сидит молча, не отрывая глаз от раскаленных угольев? Больше всего, должно быть, потрясает в рассказах эта непосредственность, когда видишь людей, пришедших в социализм из феодализма, а они еще ничуть не похожи на дряхлых стариков.

Потрескивают лиственничные поленья в костре, пиала делает

круг за кругом, безостановочно переходя из рук в руки, и так же безостановочно течет рассказ о навеки канувших в прошлое временах, о страшных обычаях, некогда процветавших в этом крае, ни происхождения, ни смысла которых уже не могут объяснить мои собеседники. Они лишь пожимают плечами, сами удивляясь тому, что такое могло быть на самом деле. Особенно тяжела была доля женщины, и начиналась она в ранней юности, часто в том возрасте, когда девушке снятся еще детские сны. Плохим отцом считался тот, кто не мог поставить своей дочери-подростку отдельной юрты. Позор и стыд падали не только на него, но и на весь род. И родители на последние средства ставили подрастающим дочерям юрты, чтобы они жили там отдельно. А по ночам в такие юрты забредали мужчины — и местные, и из окрестных селений… И так длилось до тех пор, пока кто-нибудь из них не возьмет девушку в жены.

Мы встаем от костра перед зарей.

Хозяева стелют нам в юрте, а сами идут спать в другое место. Перед уходом хозяин ставит у меня в головах «Спидолу». Я включаю транзистор и тут же ловлю сочный голос диктора московского радио. Передают последние известия. Здесь светает, а там, в Москве, еще вечер прошлого дня…

Диктор говорит о Вьетнаме, о разрушенных плотинах, затопленных рисовых полях, о гибели ни в чем не повинных женщин и детей.

С постели Кара-оола доносится вздох.

— Что с тобой, Кара-оол? — спрашиваю я.

Он не отвечает.

Диктор продолжает рассказывать о Вьетнаме, об американских солдатах, которых в этой стране все больше и больше и которые отлично умеют сжигать затерянные в джунглях деревушки, меткими пулями убивают беззащитных женщин…

Опять женщины! Какой далекий и в то же время близкий мост перекинут от феодализма к сегодняшним событиям во Вьетнаме…

Кара-оол снова тяжело вздыхает.

— Ты что, плохо себя чувствуешь, Кара-оол?

— Нет у меня другой печали, как печаль о судьбах моей планеты, — откликается он, как бы шутя.

За эти дни мы с Кара-оолом настолько сблизились, что понимаем друг друга с полуслова и без долгих объяснений догадываемся, что творится в сердце друга, о чем он думает. И я понимаю, почему он вместо слова «страна» сказал «планета». Видимо, настало такое время, когда человек не может мыслить меньшими категориями. Кара-оол думает о судьбах всей планеты,

ибо уже нет на старушке Земле таких событий, которые в той или иной степени не касались бы всех нас — белых, черных, желтых, краснокожих.

4

Вот и пришел час расставания. Весь этот день Кара-оол был сам не свой. С утра ходил неразговорчивый, отвечал на вопросы одним-двумя словами. Несколько раз я случайно перехватывал его взгляд, устремленный на меня. Кажется, он хотел и не смел о чем-то спросить или сказать мне что-то важное.

После полудня мы подъехали к Чадану — одному из крупных районных центров Тувы. Городок небольшой, в основном застроен деревянными домами, сложенными на русский лад. И это не удивительно, потому что у тувинцев жилых домов раньше не было, нет и традиций в этой области. На ровных, широких улицах много деревьев. Особенно тополей. Между улицей и тротуаром проложены арыки — оросительные каналы. При въезде в город нас встречает протянутое через всю улицу красное полотнище с четкими белыми буквами: «Хулиган и пьяница — враг народа!»

Гостиница расположена в двухэтажном кирпичном здании. Перед фасадом — небольшая асфальтированная площадь. Мы смотрим, куда бы привязать лошадей, и находим им место во дворе.

Комнату я получаю без труда, выполняю все формальности, и мы с Кара-оолом спускаемся на первый этаж, в закусочную. Еще в дороге мы часто говорили о том, что на прощанье разопьем бутылку шампанского, и вот эта минута наступила.

Кара-оол и здесь, за столом, мрачен и неразговорчив. Я без обиняков спрашиваю, что его гнетет.

— Лошадь, — говорит Кара-оол и добавляет: — Та несчастная лошадь, которая пала в дороге. Не знаю, что я им там скажу и чем все кончится…

Я понимаю, что Кара-оол не все говорит мне, что он волнуется о том, как будет отчитываться за погибшую лошадь.

— Сколько стоит такая лошадь? — спрашиваю его.

— Около ста рублей.

Я прикидываю в уме: если уплачу за лошадь, мне придется туго, не хватит даже на обратный билет, а знакомых здесь никого. С другой стороны, как-то расплатиться надо, потому что лошадей нанимал я и обязан отвечать за них.

— Ты здесь ни при чем, — возражает мне Кара-оол. — Это моя вина… Я должен был знать, что лошадь в такой комариной

каше не выдержит.

— Так-то так, но ведь не тебе, а мне понадобилась эта поездка. Если б не я, ты не брал бы лошадей и не знал этой беды, — настаиваю я.

— Может быть, и так, но раз уж я согласился провожать тебя, значит, мне и отвечать.

Мы еще долго по-рыцарски присваиваем ответственность и в конце концов решаем разделить пополам стоимость этой несчастной лошади. Я отсчитываю Кара-оолу свою часть, и мы прощаемся, как братья.

Едва успеваю переодеться и лечь, как в дверь моей комнаты кто-то стучится. Держа в руке нагайку, входит Кара-оол. Садится к столу и говорит:

— Послушай, ты можешь написать мне справку?

— Какую справку?

— Про эту лошадь: дескать, было так-то и так-то.

— Могу, конечно.

— Видишь, так будет спокойнее, — объясняет он и достает из кармана моего пиджака записную книжку, авторучку.

Я пишу довольно грустную справку о смерти бедного животного, и мы с Кара-оолом прощаемся еще раз.

Просыпаюсь в темноте, не понимая, что сейчас — утро или вечер. В открытое окошко с улицы доносятся звуки аккордеона, какое-то шарканье, голоса. Я подхожу к окну. Первое мгновение не могу поверить своим глазам: внизу, на асфальтированной площадке перед гостиницей, молодежь танцует твист. Площадь освещена электрическим фонарем, прикрепленным у входа в гостиницу. В его тусклом свете двигаются, изгибаются, темпераментно работают руками, ногами, всем телом девушки в вечерних платьях и в простой дорожной одежде, юноши в черных костюмах, танцуют несколько человек и в рабочих комбинезонах, в тяжелых сапогах. Ночь теплая, безветренная, на черном небосводе сверкают, мерцают крупные звезды, и кажется, что вот-вот услышишь голоса цикад, настолько вся обстановка напоминает южные курорты Черноморского побережья. А в особенности эта нарядная молодежь, танцующая твист. Все было так неожиданно, так невероятно, что я загорелся желанием узнать, кто эти люди и что за карнавал внизу.

Хозяйка гостиницы объяснила мне:

— Молодежь едет по назначению. Уже который вечер так, — и с улыбкой добавила: — Что-то нам на писателей везти стало. То годами не было ни одного, а сегодня еще двое приехали.

— Кто такие?

Хозяйка не знает.

— Они стучались к вам, но вы спали… Сказали, потом зайдут. Познакомиться хотят.

Я выхожу во двор. Затесавшись в гущу молодежи, смотрю на танцующих, слушаю обрывки разговоров и приятно удивляюсь, что не видно ни одного пьяного, не слышно ни ссор, ни грязной ругани. Присмотревшись к группе молодежи, я подхожу и вступаю в разговор. Оказывается, трое из них учителя, четверо остальных — библиотекари. Все из соседнего Красноярского края, закончили там институты, культпросветтехникумы и по назначению приехали в Туву. Вот уже третий день ждут, пока районные власти доставят их в отдаленные селения. Все они русские. Тувинского языка не знают, хотя и полны решимости года за два изучить. Последнее обстоятельство несколько озадачивает меня, и я спрашиваю, как они будут преподавать в школах или работать в Домах культуры и библиотеках, если в такой глухомани тувинское население ни слова не понимает по-русски. Кто-кто, а уж я-то имел возможность на своей шкуре почувствовать, в каком незавидном положении оказывается человек, когда не может объясниться с собеседником. Это относится к самым элементарным, самым простым бытовым вопросам, уже не говоря о преподавании или каких-либо лекциях. Однако молодые люди успокоили меня.

— Будем работать через переводчиков, — говорит один из них, к которому я почему-то сразу почувствовал антипатию. Меня раздражает его чересчур свободная, независимая манера держаться, педантичная аккуратность и даже то, как он танцует — отшлифованные, видимо, не раз отрепетированные перед зеркалом движения.

— Через переводчиков?

— Да. Не мы первые, не мы последние. С переводчиками в Туве работают многие учителя, особенно в захолустье.

— А откуда берутся переводчики? Они работают на общественных началах или получают зарплату?

— Разумеется, это не самодеятельность. Государство платит им жалованье, как и всем педагогам.

— А в библиотеках, Домах культуры?

— То же самое.

Ребята говорили об этом как о самом заурядном, встречающемся на каждом шагу явлении и не видели никаких причин удивляться. Я подумал: где еще в мире увидишь такое, какая из стран того, капиталистического, мира может продемонстрировать нечто подобное, хоть они и во все горло кричат о человечности и гуманизме. Я смотрел на этого юношу, и вдруг у меня прошло, исчезло недавнее чувство враждебности.

Теперь я уже совсем не возмущался его аккуратностью и отрепетированными движениями твиста, ибо понял, что не только твист везут они в отдаленнейшие уголки этой горной страны, а что-то гораздо более важное и значительное, хотя и твист, как таковой, вещь неплохая. И чем больше мы разговаривали, тем больше нравилась мне эта молодежь — образованная, думающая, обладающая чувством юмора. Никто из них, если не считать полной светловолосой девушки, чем-то напоминающей пышку, не сетовал, что на их долю выпало работать в этой редко населенной стране, где нет дорог, не летают самолеты, где холодные, вьюжные зимы и горячее, знойное лето. Все они шутили, веселились, танцевали, словно отмечая какой-то особенно дорогой праздник. И только светловолосая «пышка» вздыхала, жаловалась, что неизвестно, как выдержит эти два злополучных года. Она даже не танцевала. Стояла, опершись о деревянный забор, и грубо отказывала парню, осмелившемуся пригласить ее на танец.

— Плохо твое дело, — заметила подруга.

— Почему?

— Плюешь в колодец, из которого пить придется, — сказала ей подруга и сама пригласила отвергнутого.

Рядом с дверью гостиницы была еще одна — в закусочную. Она была открыта. Я забежал на минутку в свою комнату, потому что все деньги оставил в пиджаке, сунул руку в карман, где обычно держал мелочь, и удивился, вытащив крупные банкноты. Первая мысль — кто-то рылся у меня в карманах, пока меня не было в комнате. Но дверь была заперта, а ключ я брал с собой… Ага, должно быть, я сунул деньги не в тот карман еще днем, когда мы с Кара-оолом подводили счет. Однако не та сумма — не хватает денег. Я сунул руку во внутренний карман пиджака и окончательно опешил: мои деньги лежали нетронутыми. Так откуда же взялись эти? И вдруг я все понял. Ах этот Кара-оол! Очевидно, справка о гибели лошади была нужна ему, как мертвому припарки. Это было лишь предлогом, чтобы вернуться и тайком сунуть обратно мои деньги.

Так, с деньгами в руках, меня и застали гости.

Познакомились.

Пожилой человек с сединой в волосах и типичным тувинским лицом представился:

— Олег Саган-оол, председатель Союза тувинских писателей.

Второй гость был гораздо моложе, средних лет, широкие скулы, узкий разрез глаз, черные как вороново крыло волосы.

— Леонид Попов, якутский поэт, — сказал он, пожимая мою руку, и тут же добавил, показывая глазами на деньги, которые я

все еще сжимал в другой руке: — Что собираетесь купить?

Я признался, что собирался пойти поужинать, но мои гости и слушать не пожелали: пригласили в свою комнату, где, мол, ждет на столе и ужин, и «все прочее». Они и сами, дескать, проголодались, но ждали, пока я проснусь, а теперь хозяйка гостиницы дала им знать, и они меня уже не отпустят.

В Туве я ни разу не видел селедку, здесь ее заменяет хариус. Эта рыба из семейства лососевых водится и в Литве в некоторых быстрых речках с чистой водой, но у нас ее не часто встретишь. А здесь, в бассейне Енисея, хариуса очень много, ловят его и на удочку и сетью, поэтому соленый хариус тут не редкость не только в закусочной, но и в магазине. Он заменяет здесь селедку. И, я бы сказал, весьма удачно, потому что мясо соленого хариуса похоже на лососину.

Так вот, стол в комнате Олега Саган-оола был заставлен соленым, жареным, вареным хариусом, свежими и солеными огурцами и конечно же неизменной в этих краях бараниной.

Засиделись до поздней ночи. Это напоминало вечер вопросов и ответов: что, как, когда, почему, сколько… Мои новые друзья очень интересовались Литвой, и самому мне спрашивать почти не довелось. Разумеется, много говорили о литературе, и я убедился, что Кара-оол в ту ночь, у таежного костра, говорил правду. Это подтвердил Олег Саган-оол.

— Тувинцы знают ваших поэтов — Саломею Нерис, Юстинаса Марцинкявичюса, его поэму «Кровь и пепел», но самый популярный Межелайтис. Знаете, у нас даже есть его последователи.

— Как это понимать?

— Некоторые наши поэты, особенно молодые, явно подражают ему и не скрывают, что Межелайтис для них — эталон.

— И как же у них получается?

— Знаете, подражание всегда бледнее… И по содержанию, и по форме.

Я ничего не сказал, хотя мог бы подтвердить, что это святая правда и таких примеров мы знаем достаточно и у нас, в Литве. А про себя подумал о молодых людях, которые все еще танцевали на площадке перед гостиницей, о том, что они будут вести уроки и работать в библиотеках с переводчиками…

Мы, вернее сказать, наша литература, тоже говорим с читателями многих народов через переводчика — русский язык.

Прощаясь, Олег Саган-оол предложил:

— Заедем к моим родным.

— А где это?

— В пятидесяти километрах… Едем!

Я сказал, что похож, как видно, на старую цирковую лошадь, которая, заслышав звуки марша, подымается на задние ноги и готова пуститься вскачь вокруг арены. Стоит мне услышать слово «поедем», и я уже не могу устоять, руки сами тянутся к дорожному мешку.

Мои друзья всласть посмеялись над этой «лошадиной» шуткой и обрадовались, что меня не пришлось долго «обрабатывать».

5

Шеми, родина Саган-оола, — большая деревня, вытянувшаяся вдоль низкого берега реки. Если бы не горы, подпирающие горизонт, можно было бы подумать, что ты где-то на Украине: многие дома, выстроившиеся вдоль длинной деревенской улицы, сияют беленными известью стенами. Улица обсажена акациями и тополями, в огородах желтеют подсолнухи — настоящая Украина. О ней напоминают и поля здешнего колхоза. По дороге мы любовались густой пшеницей, высокой кукурузой, крупноколосым ячменем, посевами проса… Земледелие в этой горной стране не имеет таких древних традиций, как на Украине (оно получило здесь более широкий размах в советские, годы), однако урожаи, пожалуй, нисколько не уступают украинским. Здесь, в широкой долине Енисея, земля хорошая. Краснозем.

Шеми — деревня нового типа. Без юрт. С просторной школой, новенькой больницей, клубом и магазином, библиотекой и детским садом. Деревня опутана электрическими проводами. Что ж, вряд ли стоит этому удивляться, жизнь идет вперед, цивилизация даже в самых отдаленных уголках пускает все более глубокие корни. И все-таки тувинский пейзаж без юрт удивляет меня, потому что я привык к ним за время путешествия с Кара-оолом — много дней и ночей они были для нас единственным кровом. Когда я сказал об этом Саган-оолу, он только улыбнулся и поведал мне историю деревни Шеми.

Еще не так давно и здесь были юрты. О возрасте деревни можно судить по зеленым насаждениям — акациям и тополям, которые только-только сравнялись с крышами домов, а некоторые еще и не достигли их. Деревья сажали в тот же год, когда начали строить новую деревню. Поставили избы, и часть юрт исчезла. Но каково же было удивление колхозных руководителей, когда, явившись проведать новоселов, они увидели, что в избах стоят войлочные юрты и люди живут по-старому. Кое-как объяснили

людям, что к чему, те разобрали юрты, вынесли из избы и поставили их на дворе. Снова живут в них, не заходят в деревянные избы, хранят там лишь предметы домашнего обихода. Так продолжалось довольно долго, и всего несколько лет назад юрты окончательно вывелись.

Сколь сильна привычка, мы убедились, едва переступив порог дома Ёндара Былдый-оола. Сложенный из круглых бревен дом внутри оштукатурен, в нем всего одна комната. Правда, большая, просторная. Стены увешаны войлочными коврами домашней работы, на полах тоже войлок, но больше всего напоминает юрту большой очаг, установленный прямо посреди комнаты. Интерьер настоящей юрты.

Хозяин дома — высокий костлявый старик, двоюродный брат Олега Саган-оола, — встретил нас у калитки своего двора. По всему было видно, что хозяин ждал гостей: на заборе висела свежесодранная баранья шкура, весь двор пропах запахом вареного и жареного. Ничего не скажешь — сытно живут тувинцы. Взять хотя бы и хозяина двора. Вчера съездил на пастбище, где вместе с колхозным стадом пасутся и овцы колхозников. Одного барана пригнал (это его, бедняги, шкура болтается на заборе), а еще двадцать девять осталось. По двору слоняется старый одноглазый козел, недовольно ворча на коз, которых я насчитал семь штук. Есть еще в хозяйстве две коровы и три телки. Думаю, что жить можно.

Ну и не жалеют люди ни себе, ни гостю. Едят, как говорится, до отвала. Вообще тувинцы питаются довольно странно, хоть и живут, можно сказать, по соседству с китайцами, у которых родилось поучение: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». Здесь, в Туве, все наоборот: на завтрак тувинец пьет соленый чай, заправленный молоком, и съедает лепешку, на обед — чашка молока и несколько кусков домашнего сыра. Ну, а вечером едят как следует — и суп, и мясо. И не по тарелочке, не по котлетке или кусочку мяса, а сколько влезет — килограмм, полтора, а добрый едок и все два умнет, да еще вдобавок полную миску жирного супа. И не мучают его ни кошмары, ни дурные сны, наоборот, спит крепко, точно принял люминала, и от души сочувствует тем, кто избегает плотного ужина.

— Какой сон голодному? Всю ночь бараньи ребра будут сниться, — говорит хозяин, подкладывая мне половину бараньей ляжки.

Своеобразен домашний сыр тувинцев, так называемый пыштак, который делают из коровьего молока. Пыштак мягкий и тягучий, как замешенное для пирогов тесто; его нарезают

длинными языками, у него почти нет запаха и остроты — настоящее блюдо для диетиков.

И еще одна особенность здешней кухни — тувинцы никогда не разогревают вареное мясо. Пускай хоть полбарана останется со вчерашнего дня, его не поставят в печь, а нарежут ломтиками, положат в пиалу и зальют традиционным тувинским чаем.

Гостеприимные хозяева не хотели нас отпускать, но время торопило, особенно меня, и волей-неволей им пришлось уступить. Надавали нам в дорогу массу еды — баранину, огурцы, пыштак, лепешки, — этого нам хватило бы почти на неделю. И напрасно мы отнекивались, отказывались. Потом, когда мы уже сидели в машине, Олег Саган-оол объяснил, что обычай этот сохранился с тех времен, когда люди добирались от селения до селения не только днями, но и целыми неделями по абсолютно нежилым местам. А когда приходилось ездить в столицу Кызыл, то вели с собой и еду — живого барана. Теперь же «Волга» домчит до Кызыла за восемь часов. Несколько лет назад проложено асфальтированное шоссе, но старая традиция осталась жить, и тувинец никогда не отпустит гостя в дорогу, не нагрузив его запасами съестного.

Дорога действительно хороша. Асфальтированная, прямая как стрела, она летит по долине Енисея, почти безлюдной, хотя следы деятельности человека встречаются довольно часто — убегающий вдаль строй электрических столбов, участок распаханной земли, кое-где посевы. Долина широкая, ничто не мешает взгляду, пока он не упрется в высокие горы на горизонте, которые то приближаются, то снова удаляются, окутанные дымкой.

Хорошо коротать дорогу с Олегом Саган-оолом. Тувинский писатель прекрасно знает свой край, его историю, настоящее и будущее. Отличный гид Саган-оол, хоть он и далеко не безупречно говорит по-русски: иногда приходится по нескольку раз переспрашивать.

Оказывается, на территории Тувы могут разместиться Голландия, Бельгия, Дания, Швейцария и еще останется свободное место. Здесь находятся богатые залежи железной руды, меди, свинца и цинка. Бесценные клады. Золото, каменный уголь, каменная соль и многие другие полезные ископаемые, хотя ископаемыми их можно называть только условно, так как некоторые из них лежат прямо на поверхности земли. Неподалеку от Чадана мы видели издали шахты. Запасы каменного угля здесь в миллиарды тонн!

— Удивительная страна! — говорит сидящий рядом со мной якутский поэт Леонид Попов и со вздохом добавляет: — Не

понимаю, почему мои предки ушли отсюда?

— Они не ушли, их выгнали, — оборачивается с переднего сиденья Олег Саган-оол.

— Кто выгнал? — спрашивает Леонид.

— Тувинцы.

В самом деле, история Тувы — цепь войн за независимость.

С середины восемнадцатого века она была под пятой маньчжурских захватчиков, которые продержались здесь до второго десятилетия нашего века. Страшный, почти невообразимый гнет насилия, эксплуатация, продолжавшиеся все эти полтораста лет, не сломили тувинский народ. В историю вошло знаменитое восстание Шестидесяти Богатырей, длившееся с 1883 по 1885 год. Горстка патриотов вооружилась и ушла в горы, откуда совершала смелые набеги, сжигая юрты феодалов, мстя за кровь и слезы народа, призывая людей к борьбе. Однако силы были слишком неравные. Восстание было жестоко подавлено. Головы всех шестидесяти воинов были отрублены и выставлены на придорожных столбах, огороженных деревянными клетками от хищных птиц, чтобы устрашать тех, кто попытается последовать примеру повстанцев и подымется на борьбу с тиранией.

— Ни один строй не может держаться на отрубленных головах, — как бы между прочим вставляет Леонид и, глядя из окна машины на подпирающие небо горы, снова вздыхает: — Все-таки поистине чудесный край. Здесь курорты строить надо.

— Есть и курорты, — говорит Саган-оол. — Приезжайте, полечим от ревматизма.

И он рассказал о знаменитом Аржане, где из-под земли бьют минеральные источники. Люди в давние времена случайно узнали про целебную силу этих источников. Больные пригоняли своих овец и жили там все лето, а осенью возвращались уже здоровыми, не чувствуя больше болей в суставах, помолодевшие, снова деятельные и неутомимые. Теперь в Аржане оборудованы прекрасные санатории, лечебницы обеспечены специалистами.

— Мы непременно вернемся сюда, — говорит Леонид.

— Доброму гостю всегда рады, — посмеивается Саган-оол. Они с Леонидом близкие друзья и, хотя подтрунивают друг над другом, не обижаются.

— Знаешь, Олег, одно мне в Туве особенно нравится.

— Что именно?

— Понимаешь ли, все время, где бы я ни был, смотрю на ноги девушек…

— На это ты горазд…

— Смотрю на девичьи ноги и радуюсь: прямые, стройные, —

ни следа того, что был рахит. То же и у парней. А вам, тувинцам, как и нам, якутам, известно, что за штука эта социальная болезнь, болезнь людей, вечно живущих в нужде, в дурных условиях. О многом говорят, Олег, ноги молодых тувинок!

— А якуток?

— Тоже.

— Хорошо тебе хвастаться, а на самом-то деле никто не знает, потому что якуты, говорят, круглый год в унтах ходят — попробуй разгляди, какие у них там ноги.

— Неправда. Бывает, Олег, и у нас жаркое лето. Достаточно солнца и в Якутии.

Наконец мы подъехали к какому-то поселку.

— Шагонар, — говорит Олег.

Между белостенными домиками поблескивает синяя полоса воды — Енисей. Этой весной он наделал много бед. Зима была необычайно снежной, и, когда начался весенний разлив, река вырвалась из берегов, сметая все, что попадалось на пути. Пострадал и Шагонар. Часть поселка была залита водой, паводок унес несколько десятков домов, до сих пор заметно, где они стояли. Однако новых домов никто не строит, потому что скоро вообще не останется следа от нынешнего Шагонара. Когда в Саянах вырастет плотина Шушенской гидроэлектростанции, уровень воды резко повысится и поселок окажется на дне будущего Саянского моря. Поэтому и не отстраивают Шагонар, а кое-что даже сносят и перетаскивают на высокое место, где вырастет новый городок.

Я удивляюсь, что так далеко разольются воды будущего Саянского моря, но удивляться, оказывается, нечего, потому что это будет самая большая в мире гидроэлектростанция, высота которой достигнет двухсот тридцати шести метров. Если на строительство Красноярской электростанции израсходовано пять с половиной миллионов кубометров бетона, то для Шушенской электростанции понадобится уже девять миллионов, и ее мощность превысит шесть миллионов киловатт.

— Нет, в самом деле, зря мои предки покинули этот край. Надо будет нам вернуться сюда, — снова пытается Леонид поддеть своего друга, но Саган-оол не теряется.

— Пожалуйста, приезжайте, — приглашает он, — на строительстве Шушенской гидроэлектростанции понадобится более тридцати тысяч человек, а у нас нехватка рабочих рук.

В Кызыл мы приехали под вечер.

Мне отвели в гостинице роскошный номер, я поспешно смыл с себя дорожную пыль, и мы вместе с Леонидом Поповым отправились посмотреть город.

Еще лет двадцать тому назад Кызыл был большой деревней. Сейчас в нем около пятидесяти тысяч жителей, каменные дома, широкие асфальтированные улицы, утопающие в зелени, — словом, растет новый город в самом сердце азиатского континента. Да, здесь — центр Азии. На берегу Енисея установлен островерхий обелиск, на котором так и написано — центр Азии.

Я долго стоял на берегу и не отрываясь глядел на широкий, могучий поток, в котором слились в единое русло воды Большого и Малого Енисея. У места слияния высится огромная гора, а на ее вершине, видной из любой части города, четко выведено: «МИРУ — МИР». Гигантские белые буквы кажутся высеченными в скале. Словно какой-то великан продолбил верхний слой, и под серой каменной оболочкой проступила белая сердцевина горы. Глядя на эту надпись, я вспомнил Кара-оола, вспомнил каменную статую с высеченным на ней изречением: «Нет у меня другой печали, как печаль о судьбах моей страны…» Потом Кара-оол перефразировал его. Теперь мне хотелось перефразировать эту мысль еще раз:

«У человечества нет иной печали, как печаль о судьбах своей планеты».

Над горой бледно мерцает первая звезда. Енисей с шумом несет свои воды. Из века в век сверкали звезды и так же шумели воды реки, но для человека каждая встреча с ними — всегда нова, каждую ночь человек подымает голову к небу, ища звезды, и тихо радуется, если видит их, если тучи не заслоняют неба. Человек хочет каждый день видеть зажигающиеся звезды и поэтому высекает на горных кручах или выкладывает белыми камнями два очень важных слова. Пожалуй, самые главные слова нашего века.

6

Мне повезло. Капитан мощного речного буксира согласился взять меня в очередной рейс к верховьям Енисея. Других дорог туда нет. Можно, правда, нанять специальный вертолет, но такая роскошь мне не по карману. Пассажирские суда из Кызыла не ходят: ни вверх, ни вниз. Их вообще здесь нет. Слишком опасны и трудны пороги Енисея. Мне поистине повезло. Буксир идет к самым верховьям Енисея, где должен взять плоты, чтобы доставить их в Кызыл. Для строек.

Все места в каютах заняты. Экипажу буксира надо отдохнуть, хорошенько выспаться, и капитан принял меня на борт с условием, что я не буду предъявлять каких-либо претензий по

поводу неудобств. Я согласился без колебаний. Места на палубе достаточно. Только бы не зарядил дождь, потому что уже много дней подряд небо чистое, ни облачка, и жара, как в хлебной печи. Кстати, в Туве солнечных дней в году не меньше, чем в Ялте.

Капитан судна Петр Кириллов еще молод. Высокий, худощавый, неразговорчивый, как большинство коренных сибиряков. Еще до отплытия он познакомил меня с судовым коком, которого все называют дядей Колей, так как он по возрасту старше всех. Мы с коком должны были решить проблему моего питания, потому что плыть предстоит в местах совершенно безлюдных.

— Блокнот есть? — спросил дядя Коля.

Я кивнул.

— Бери карандаш и ниши. Первое — семь буханок хлеба…

— Я же не с семьей еду, — пытался я пошутить, мысленно прикинув, что семи буханок мне не только что за пять суток, но и за целый месяц не съесть. Но кок был не расположен к шуткам.

— Ежли с семьей, так было бы не семь, а может, и все двадцать… Второе — килограмм масла и литр подсолнечного, — сказал он, загибая второй палец и вопросительно глядя на меня, будто ожидая возражений и, видимо, заранее готовый их отвести.

Но я молчал.

— Третье — пять кило огурцов…

— Ну знаете, — только и успел я сказать, а «дядя» вытащил у меня из рук карандаш и пошел себе прочь, даже не оборачиваясь, — маленький, кругленький.

Я догнал его, снова взял карандаш и послушно повторил:

— Так, пять кило огурцов.

— Десять банок мясных консервов, — продолжал как ни в чем не бывало дядя Коля.

Я поднял на него глаза, наши взгляды встретились, но я молчал.

— Полтора кило сахара…

— Так.

— Три пачки чаю.

— Так.

— Кило макарон и кило крупы.

— Так.

— Хорошо бы еще ведро картошки, — сказал он, но, встретив мой умоляющий взгляд, вздохнул: — Да где ее возьмешь? Вместо картошки возьми-ка ты лучше помидоров — что ни говори, овощ. Я видал на базаре.

У меня во рту пересохло. Я тоже видел на базаре помидоры и своими ушами слышал, сколько просили за них торговки. Однако

я ничего не возразил и еще набрался мужества спросить:

— Сколько? Ведро?

— Нет. Хватит и половины.

— Все?

Дядя Коля степенно кивнул и, забрав свой карандаш, покатился, как мячик, по направлению к камбузу. Однако напоследок обернулся и добавил:

— Забыл сказать, чтобы взял еще для аппетита что-нибудь.

— Сколько? Ведро? — меня начал раздражать этот откровенный грабеж.

— Сколько хочешь, столько и бери, однако ежели капля и дяде Коле перепадет, — он ткнул большим пальцем в свое брюшко, — так все, что я тебе велел, дели надвое и тащи только первую половину.

— Идет, — согласился я.

Через два часа, навьюченный как верблюд, я вернулся на судно и все покупки, кроме одной, передал из рук в руки дяде Коле. Он все осмотрел, принял, однако продолжал озираться, словно что-то потеряв, а затем поднял на меня вопросительные, не на шутку опечаленные глаза. Я понял все без слов.

— Есть и для аппетита, дядя Коля.

— Я знал, что ты настоящий мужчина, а не какая-нибудь, извини за выражение, сухопутная серенада…

Собирались и остальные члены экипажа. Пришел медленный, флегматичный механик Федор Солдатов. Не спеша, по-хозяйски снял костюм, повесил в шкафчик, надел рабочую робу и скрылся в машинном отделении.

Вприпрыжку пробежал юнга Саша. Он — тувинец. Совсем еще молодой паренек, первый год на судне. Мечтает стать капитаном, освоить профессию речника, новую для его земляков. Вообще в Кызыле приходилось видеть много молодых тувинцев, которые полны решимости овладеть техникой, все обильнее плывущей сюда из братских республик.

Последним, как и положено, на палубе появился капитан. Он встал к штурвалу, взревели двигатели, юнга убрал деревянный трап, мы отчалили, и наш буксир, зарываясь тупым носом в енисейскую воду, пыхтя поплыл вверх по Большому Енисею.

Многие называют верховья Енисея Сибирской Швейцарией. Мне в Швейцарии быть не довелось. Я не знаком с ее природой. Видел тамошние пейзажи только в кино да на открытках. Слов нет, красиво. Не буду спорить. Однако есть в этом швейцарском пейзаже что-то чересчур идиллическое, приторное. Не знаю, чем это объяснить. То ли виноваты красивые домики и виллы, то ли еще что-либо, но только и природа там кажется какой-то

искусственной, отшлифованной, «приукрашенной» человеческими руками. Не берусь судить — хорошо это или плохо. Дело вкуса. Но на меня верховья Енисея произвели гораздо более глубокое, я бы даже сказал, потрясающее впечатление. Здесь не увидишь не только красивых, но и вообще никаких домиков. Высокие, розоватые скалы с обеих сторон стискивают реку, которая с бешеной скоростью несет свои воды, будто стремясь как можно скорее вырваться из каменных тисков на степной простор. Везде, где только дерево может пустить корни, — вечная, нетронутая тайга: лиственница, кедры, сосны, сибирская ель, а по берегам — черемуха, береза, непролазный кустарник, горные осыпи, набросавшие в реку огромные каменные глыбы, через которые, пенясь, перекатывается вода.

Наш буксир пыхтит от зари до сумерек. Меняются вахтенные у штурвала, а дизельный двигатель работает без передышки. С трудом преодолевая частые пороги, мы упорно продвигаемся вверх по течению. Местами река несется по столь крутому руслу, что кажется, будто мы плывем прямо в небо.

Я сижу на носу судна и весь день гляжу на берега. Иногда ко мне подсаживается кто-нибудь из членов экипажа. Чаще всего это бывает дядя Коля. Стараясь перекричать шум двигателя, он рассказывает мне были и небылицы о войне, на которой он командовал взводом разведчиков. Обычно все начинается примерно так: дядя Коля садится рядом, смахивает пот, выступивший, пока он возился с кастрюлями, закуривает мою сигарету «Лигера» и вместе с дымом выдыхает:

— Да-а-а… Когда-то и я ходил в начальниках.

И начинается: авантюрнейшие подвиги вперемежку с детективной интригой, невероятные муки, безвыходные ситуации, и повсюду главный герой — он, дядя Коля, и все кончается хорошо, счастливо, и генерал (непременно генерал!) пожимает ему руку, благодарит. Убедительности ради дядя Коля закатывает штанину и показывает шрам подозрительного происхождения. Посидев с минуту молча, как бы окунувшись в воспоминания, дядя Коля вдруг поворачивается ко мне, вздыхает и робким, тихим голосом спрашивает:

— Еще капельки не найдется? Что-то аппетит пропал.

Я в первый же день раскусил все эти истории — дядя Коля, не моргнув глазом, выкладывал мне отрывки из разных приключенческих романов. Бывало так, что на самом интересном месте я, вспомнив когда-то прочитанную книгу, сам пересказывал развязку. Тогда кок без тени смущения заявлял:

— Я уже рассказывал тебе? Проклятый склероз! Ну как там, осталась еще капелька?

Капитан, между прочим, рассказал мне, что дяде Коле не довелось понюхать пороха — всю войну он просидел в тылу. Зачем же пожилому человеку понадобилось пересказывать все эти были и небылицы, вычитанные из книг, но выдаваемые за собственные приключения? Очевидно, дядя Коля один из тех людей, которые не замечают окружающей их обстановки, живут мечтами о подвигах, а когда подходит старость и уже нет надежды совершить подвиги, они выдумывают, будто совершили их раньше. Не хочет человек пройти свой путь, не оставив за собой героического следа. Это естественно и понятно. Только зачем же дяде Коле присваивать вычитанные в книгах подвиги? Ведь его повседневный труд уже сам по себе напоминает подвиг, хотя дядя Коля и служит простым коком. С весны, как только на Енисее открывается навигация, он, как и другие речники, почти не бывает дома. Плаванье к верховьям и обратно длится почти неделю, но, едва вернувшись, иной раз даже не переночевав дома, приходится снова идти в рейс. Если вахтенные у штурвала сменяют друг друга, то у дяди Коли нет ни сменщиков, ни помощников. Он раньше всех встает и позже всех ложится. День-деньской парится в тесном камбузе, где от жары нечем дышать. Это ли не героизм? Однако дяде Коле этого мало. К слову сказать, не ему одному. И капитан Петр Кириллов мечтает о морях, и механику Федору снятся бури где-то в Индийском океане… Один только Саша пока что ни о чем не мечтает: первая навигация — все еще свежо, в новинку, а сколько радости, когда старшие товарищи доверяют ему штурвал и он может поспорить с диким, необузданным течением.

Наш буксир подошел к знаменитому Хутинскому порогу, и повеяло реальной опасностью. Еще на подступах к порогу капитан приказал всем надеть спасательные пояса — широкие и легкие пробковые ремни. Как перед воздушным налетом, взвыла судовая сирена, предупреждая команду, дежурившую у порога. И хотя двигатели работали без передышки, я еще издали услышал глухой шум, перекрывающий все другие звуки. Мы обогнули высокую скалу у излучины реки, и впереди вынырнул покрытый белой пеной конец порога — несущаяся с бешеной скоростью вниз масса воды. Двигатели работали с предельным напряжением, судно дрожало мелкой дрожью, но мы почти не двигались с места. Мимо с головокружительной скоростью мчалась река, и, глядя на нее, казалось, что наш буксир, отчаянно вибрируя, летит вперед, но достаточно было бросить взгляд на берег, как иллюзия тут же пропадала: отвесная скала была по-прежнему перед нами, хотя прошло уже немало минут. У штурвала — капитан. Зажав в зубах папиросу, он смотрит вперед

по носу судна и не замечает, что пепел сыплется ему на грудь, папироса давно погасла и почти вся изжевана. Кажется, мы никогда не сдвинемся с мертвой точки. Но это только кажется. В действительности мы все-таки продвигаемся вперед, однако так медленно, что глаз не замечает этого, как не замечает и движения часовой стрелки.

Левая ладонь капитана еще не зажила. В позапрошлом рейсе на этом пороге так повернуло судно, с такой силой бросило его в сторону, что вырвало штурвал из рук капитана и, когда Петр пытался его схватить, словно теркой содрало с ладони кожу вместе с мясом. Зато теперь капитан более осторожен, не дает судну отклониться в сторону, направляет его прямо навстречу волнам, которые обрушиваются на палубу. Понемногу приближаемся к берегу. Там, за скалами, течение слабее, но есть опасность напороться на камни. Вдоль берега, чуть ли не цепляясь за отвесные скалы, вершок за вершком добираемся мы до излучины, а затем снова бросаемся к другому берегу, теряя с таким трудом завоеванные метры. Однако на другом берегу мы опять отвоевываем их и еще продвигаемся вперед. Новый поворот реки. Теперь перед нами открывается весь горб порога. Едва взглянув на этот горб, я понимаю, что своими силами нам его не одолеть. Так и есть. Судно причаливает к берегу, где стоит длинная металлическая баржа. Матросы стальными канатами привязывают эту баржу к носу буксира. Неужели мы еще и этот балласт будем толкать в то время, как сами не можем перебраться через порог?

— Это — чтобы нас не перевернуло, — объясняет капитан и посылает меня вместе с другими членами экипажа за каким-то тросом.

Выскочив на берег, мы переваливаем через гребень скалы. Там, уже выше порога, стоит огромная баржа. Матросы с нее дают нам стальной конец, который мы закидываем на плечи и тащим, как бурлаки, к своему буксиру. Привязываем трос, пронзительно завывает сирена (не знаю, слышат ли ее на барже, потому что вокруг такой шум, что, даже приложив ухо к губам собеседника, сговориться невозможно), и мы трогаемся: осторожно крадемся вдоль берега и вдруг выскакиваем из-за скалы на самую быстрину. Трехметровые волны перекатываются через идущую впереди баржу, но мы ползем, карабкаемся вперед. На самом горбу несколько минут стоим на месте, как бы повиснув в состоянии невесомости, а затем береговые скалы снова медленно ползут вниз. Выбрались.

Капитан дает команду отцепить трос. И тут происходит непредвиденное. На какую-то долю секунды двигатели опоздали

включиться на полную мощность, и мы очутились опять на горбу порога. Безнадежно пытаемся зацепиться, но поздно — мощная грудь реки уже толкнула нас вниз, повернула и несет, заливая палубу, запрокидывая набок и нас, и прикрепленную баржу…

Снова приходится все начинать сначала.

— Как в жизни, — говорит капитан, очевидно желая поднять настроение команды. Он кричит в мегафон, мы напряженно вслушиваемся, ожидая какой-то команды, а он философствует: — У каждого свой порог, который раньше или позже надо преодолеть.

Мы снова тащим но берегу трос. На сей раз нам везет.

Порог остается где-то за горой, наш буксир снова ползет вперед, снова ритмично поют двигатели, матросы сбрасывают спасательные пояса, и капитан передает штурвал юному Саше. Сам же спускается на палубу и протягивает руку к пачке моих крепких сигарет «Лигера». Рука заметно дрожит. Жадно затянувшись, Петр Кириллов говорит:

— Много, бестия, жизней унес… А имущества сколько поглотил!

Вскоре мы забываем о пороге, недавнее напряжение спадает, и на судне снова воцаряются серые будни, снова дядя Коля «травит баланду», выдавая чьи-то подвиги за свои, а я думаю о том, что же такое настоящий подвиг — кратковременное напряжение воли и физических сил в какой-то важный момент или способность сохранить душевное равновесие в серой повседневности, делая простую, порой до скуки однообразную и не оставляющую следов работу, как, например, работа дяди Коли?

На правом берегу Енисея стоят Семь Братьев — семь горных хребтов, подпирающих блестящими снежными вершинами небо. Потом проплываем Черный яр — высокий, сточенный рекой, обнажившей вечную мерзлоту; от него почти каждую секунду отрываются пласты земли и с громким шумом обрушиваются в речной водоворот, вздымая серебряные брызги. А над обрывом растет лес. Некоторые деревья повисли вверх тормашками — корни еще цепляются за почву, а вершина почти касается воды.

Я с грустью смотрю на лесных гигантов, вырванных с корнями из земли и выброшенных на многочисленные мели. Они бессильно выставили к небу свои мертвые корни, а в то же время гибкие, тонкие кусты, которые густо стелются по самому берегу, словно смеются над этими великанами, постоянно сгибаясь, не противясь дикой силе реки. Вот и посуди, кому лучше — вывороченному с корнем великану или по-прежнему зеленеющему гибкому кусту?..

Это место у речников зовется «Сорок Енисеев». Здесь мы и увидели одинокую заимку — первое человеческое жилье за все время нашего пути от Кызыла. Интересно, сколько мы прошли километров?

— Двести с лишком, — говорит капитан.

На заимке живут речники, которые из «Сорока Енисеев» должны выбрать самую лучшую, наиболее подходящую для прохода судов и плотов протоку. Работают они днем и ночью, потому что река часто меняет свое русло даже после небольшого дождя, прихотливо выбирая для своих вод тот или иной рукав, а люди должны вовремя заметить это и установить соответствующие знаки — иначе не избежать беды. Мы видели много выкрашенных в красные и белые полосы шестов, очутившихся на суше, посреди усеянных камнями больших мелей.

На исходе дня достигли цели путешествия — поселка Ырбан. Здесь мы возьмем плоты и двинемся обратно.

Поселок новый, заложен всего несколько лет назад, все дома еще пахнут смолой. Лесорубам пришлось стать пионерами этого края. Обычно лесорубы приходят, валят деревья и перебираются на другое место. В Ырбане эта традиция нарушена. Поселок строился навсегда, с добротными домами, магазином, клубом, амбулаторией. С каждым годом он расширяется, растет и станет как бы опорным пунктом для покорения этих отдаленных, нежилых мест.

Мне кажется, что труд людей, которые здесь живут, можно без преувеличения назвать подвигом, хотя им самим он кажется серыми буднями. Видимо, настоящий подвиг и состоит в преодолении повседневности, а случающиеся порой опасности лишь в той или иной степени разнообразят эту серую повседневность.

7

В Ырбане к нашему буксиру причалила моторка, в которой сидел человек с окладистой черной бородой. (Здесь, в верховьях Енисея, большинство мужчин носит бороду.) Так вот, на дне этой моторки я увидел большую рыбу с розовыми пятнами по бокам и оранжевыми плавниками. Это царь енисейских вод — таймень. В общем, эта рыба мне была известна, однако ловить ее никогда не приходилось, потому что на европейском континенте тайменей нет, это обитатели холодных, быстрых и кристально чистых сибирских рек. Правда, реки и здесь не всегда бывают хрустальными. Как всякая горная река, Енисей очень быстро

поднимается и мутится даже от слабого дождя. По этой причине мне до сих пор и не довелось попытать счастья, хотя мы, останавливаясь на ночевку, использовали несколько свободных часов для ловли хариуса в мелких притоках Енисея, где вода гораздо чище.

Капитан буксира, видя, что я не свожу глаз с лежащего в моторке тайменя, спросил:

— Волнует?

— Как тут не волновать!

— Бери мой спиннинг и попытай счастья.

— А сам?

— Я пойду навестить родных.

Оказывается, в Ырбане живет брат капитана, тоже речник — капитан катера.

Чернобородый хозяин моторной лодки Иннокентий (в Сибири едва ли не каждый третий мужчина — Иннокентий), как и все здешние старожилы добродушный, предупредительный, гостеприимный человек, вызвался показать места, где водится таймень. Дважды просить меня не требовалось. Я мигом очутился в лодке Иннокентия, и мы отправились к одной из многих проток.

Солнце еще не село, и Иннокентий сказал:

— Рановато для тайменя, хотя иногда он и днем берет. Половим пока что на блесну ленка.

Ленок — тоже рыба из семейства лососевых, встречающаяся только в Сибири, по виду и вкусу напоминает нашу речную форель.

В течение часа я вытащил спиннингом пять отличных ленков. Правда, особенно больших не было — от пятисот граммов до полутора килограммов. А по словам Иннокентия, здесь попадаются на крючок ленки весом в пять килограммов и больше.

Пока он говорил, я вдруг почувствовал резкий и сильный удар, словно кто-то сильной рукой схватил под водой конец лески и дернул, пытаясь выхватить спиннинг. Когда я смотал леску и осмотрел блесну, выяснилось, что все концы тройного крючка обломаны.

— Его работа, — сказал Иннокентий и объяснил: — Он, брат, не такие крючки ломает, как спички…

Почему-то Иннокентий перешел на шепот, избегая называть рыбу ее настоящим именем, вместо слова «таймень» употребляя таинственное местоимение «он». Его тревога и волнение заразили и меня.

— Пора, — шепнул Иннокентий и, запустив двигатель, двинулся к главному руслу Енисея. Вышли на берег. Вместо блесны я поспешно приладил «мышь» — изобретение сибиряков,

которым больше нигде не пользуются. «Мышь» делается из пробки, обмотанной слоем поролоновой губки, а сверху обтягивается темно-серым, коричневым или даже черным плюшем, хотя некоторые вместо плюша используют мех белки или бурундука. К такой «мыши» прикрепляются три крючка: один тройной — на конце и два двойных — по бокам, там, где условно должна быть шея «мыши». Никакого грузила не требуется, потому что плюш и губка, пропитавшись водой, становятся достаточно тяжелыми, и «мышь» пролетает около сорока метров. Конечно, она не тонет и держится на поверхности, а когда вращаешь катушку, слегка выступает над водой, и впрямь напоминая мышь или какого-то другого зверька, который плывет по реке, барахтается, борется с быстрым течением.

Обычно тайменя найти не трудно, потому что он выдает себя громким всплеском, охотясь на хариуса. Но это в сентябре, когда вода бывает действительно кристальной, когда из малых речушек «таймень катится вниз, в Енисей, держится на мысах отмелей», как говорит Иннокентий. Теперь же август, еще недавно в горах прошел ливень, и вода не совсем прозрачная, но попытка не пытка.

Я спускаюсь вниз по течению и усердно закидываю «мышь». Некогда даже отмахиваться от комаров, лезущих в глаза, нос и рот, жалящих лицо, шею, руки. Раз пятьдесят или больше посылал я «мышь» в реку, и она все время возвращалась пустой. Вот уже и солнце село, сгущаются сумерки, я теряю последние крохи надежды, как вдруг — шлеп кто-то там, где только что упала моя «мышь»; в следующее мгновенье сильный удар рвет у меня из рук спиннинг. Я чувствую, что там, в глубине, бьется, сопротивляется крупная рыба. Включаю тормоз, кручу катушку, с трудом тащу неподдающуюся добычу и во все горло зову на помощь Иннокентия.

— Я уж думал, на тебя медведь насел, — говорит подбежавший Иннокентий, но мне совсем не хочется шутить, потому что там, в глубине, бьется, трепещет моя мечта. Удилище спиннинга изогнулось, леска со звоном рассекает воду. Внезапно на миг показывается светлое брюхо рыбы, и вода закипает. Какое-то время таймень тянет леску на себя, мечется, бросается в стороны, кувыркается так, что вода бурлит, а я упираюсь, тащу к себе и не сразу понимаю, что кричит Иннокентий:

— Пусти! Отпускай, язви тебя в душу! Разве жеребца такого удержишь?!

Я отпускаю, и рыба бросается против течения, снова разматывая леску, которую я с таким трудом отвоевал.

— Прижми пальцем, олух царя небесного! — кричит мне в

самое ухо Иннокентий.

Я притормаживаю катушку пальцем, и таймень сразу начинает плыть гораздо медленнее.

— Пускай его попашет, пускай, — уже спокойнее говорит Иннокентий.

Рыба еще несколько метров тянет против течения, потом останавливается, и я снова кручу катушку, подтаскиваю добычу к берегу. И снова вижу белеющее неподалеку брюхо, новый всплеск, и на этот раз таймень бросается вниз по течению, но я уже взял себя в руки и без подсказки Иннокентия делаю все как надо: останавливаю рыбу, тащу назад, несколько раз вывожу на поверхность, даю наглотаться воздуха, а потом уже тащу прямо на берег. Иннокентий хватает громадную рыбину за жабры и бежит с нею подальше от воды. А мне все чудится, что таймень еще выкинет какую-нибудь штуку. Не полагаясь больше на Иннокентия, я хватаю попавшуюся под руку палку и, замахнувшись ею, ломлюсь через кусты, чем не на шутку перепугал своего нового знакомого.

Потом мы сидим на берегу и хохочем до изнеможения.

— Я уж думал, ты меня тюкнуть хочешь за то, что я тебя олухом обозвал, — сквозь слезы говорит Иннокентий, а мне хочется поцеловать этого бородача, но я только хлопаю его по плечу, жму руку и сотрясаюсь в новом приступе смеха.

— Килограммов восемь потянет, — говорит Иннокентий, глядя на лежащего на траве тайменя. — А бывают такие жеребцы, что и пятьдесят с гаком весят. Вот тогда-то уж попляшешь «казачка». Семь потов сойдет, а у кого сердце слабое, так и вовсе на тот свет отправиться можно.

Перестав смеяться, я дрожащими руками хватаю спиннинг. И откуда у человека такая жадность? Видите ли, не хватает ему восьмикилограммового, подавай ему трехпудового! А может быть, это вовсе не жадность, а просто несбыточная мечта — болезнь, знакомая каждому рыбаку? Так или иначе, но я прилежно тружусь и спустя пятнадцать минут вытаскиваю второго тайменя, чуть побольше. Все повторяется, как и с первым, только уже без «олуха» и без судорожно стиснутой дубинки, занесенной над головой товарища.

Такова рыбалка в верховьях Енисея.

8

Как и почему человек стал заискивать перед другим человеком? В каких формах проявлялось подхалимство в

глубокой древности, когда человек жил еще в пещере? Такие мысли занимали меня на обратном пути из верховья Енисея.

Коллектив нашего буксира невелик — четыре человека и я, полуматрос-полунаблюдатель. Обязанности и работа здесь строго распределены, каждый знает свое место, что должен делать, за что отвечает: капитан Петр Кириллов руководит всем экипажем и добросовестно несет вахту у штурвала, механик Федор Солдатов отвечает за работу двигателей и механизмов и также отстаивает свои часы у штурвала, судовой кок дядя Коля должен вовремя приготовить завтрак, обед и ужин, а юнга Саша делает все, что ему велят, — моет палубу, колет дрова на кухне, спускает и убирает трап, закрепляет трос, когда швартуемся, радуется, когда ему дают подержать штурвал, а также исполняет множество других мелких дел. И надо сказать, что все безупречно справляются с порученной им работой. Кажется, все просто и ясно. Однако и в этом небольшом коллективе есть еще и другая, едва приметная жизнь, напоминающая подводные течения.

Есть садимся все одновременно, устраиваясь вокруг небольшого стола на корме, под натянутым брезентом. Дядя Коля сам подает на стол, каждому отдельно наливая суп и накладывая кашу. В миске капитана неизменно торчит большая мясистая кость, и дядя Коля, ставя еду перед своим непосредственным начальством, приговаривает:

— Ты ведь любишь косточку…

Проговорит это нежным голоском, а затем окинет всех каким-то странным взглядом, точно извиняясь.

— И я люблю, — сказал однажды молчаливый механик Федор.

Дядя Коля развел руками:

— Нету больше.

На следующий день дядя Коля опять ставит перед капитаном миску, приговаривая:

— Ты ведь любишь косточку… — И тут же добавляет: — Была одна, дай, думаю, тебе оставлю.

Капитан предлагает:

— Хочешь, Федор?

— Да нет… Сам ешь. Ты ведь любишь, — отмахивается Федор, а еще вчера он жаловался мне, что терпеть не может угодничества кока и только поэтому покушается на несчастную кость. Сейчас он отказывается, трясет головой и неожиданно краснеет до корней волос — видимо, вспомнил вчерашний разговор.

Капитан держится степенно. Это действительно хороший человек, понапрасну не гоняющий команду, не придирающийся к

подчиненным, отлично знающий свое дело. Но и он заразился этой болезнью после одного из сеансов радиосвязи с руководством в Кызыле. Начальник эксплуатационного участка Сергеев, видимо, случайно проговорился. Мы с ним решили, что меня возьмут на буксир в качестве обыкновенного туриста, пожелавшего увидать верховья Енисея и при случае попытать счастья в ловле тайменя. Я думал, что так будет гораздо удобнее и спокойнее. И вот Сергеев проговорился, спросив: «Как там корреспондент?» Отношение капитана ко мне изменилось, он стал другим и с подчиненными. Был хороший человек, отличный капитан и вдруг заделался мелочно-придирчивым, излишне требовательным. Теперь он в свободное от вахты время подсаживался ко мне и старался вызвать на разговор, удивляя дядю Колю, который, высунувшись из тесного камбуза, находил свое место занятым. Бросались в глаза и другие перемены. Матросы почти целую неделю не брились. Так уж тут повелось: всю дорогу не бреются и только на обратном пути, уже недалеко от дома, сбривают щетину, принимают душ, переодеваются. Теперь же матросы ходят чисто выбритые, причесанные, и от них несет таким ароматом, будто они работают на парфюмерной фабрике. Дядя Коля даже передник надел, которого отродясь не повязывал. Не удивился я и на следующий день, когда за обедом увидел в своей миске традиционную мясистую кость.

— Может, любишь погрызть, — сказал дядя Коля, ставя передо мной миску со злополучной костью.

Буду откровенен до концах Говорю абсолютно искренне: никогда я не любил грызть кости, никогда они меня не волновали, а тут вдруг захотелось косточку. Да так захотелось, что нету сил отказаться, смотрю на нее, не решаясь ни взять, ни отодвинуть, хотя разум подсказывает, что надо просто-напросто переложить ее на свободную тарелку и пускай она там лежит, если не найдется любителя. Разум разумом, а какой-то червячок зашевелился, так и соблазняет: «Бери, не зевай… сам ведь понимаешь, что не в кости суть…» Не знаю, правда, не знаю, как бы я поступил, не вмешайся тут капитан с механиком. Как сговорившись, оба в один голос:

— Ешьте, ешьте!

И что вы думаете? Червячок победил. Голыми руками схватил я кость и, как последний вандал, стал «разделывать» ее, перемазав не только губы, но даже подбородок и щеки, мысленно повторяя двустишие Саломеи:

…О могучий соблазн —
И святой искусится…

А после обеда капитан снова удивил меня. Солнце было высоко, мы могли плыть еще несколько часов, а он направил судно к берегу, и матросы поставили плоты в спокойной заводи, стальным тросом причалив их к толстенному кедру.

— Порыбачим, — сказал капитан.

Я понял, что это делается только ради меня, и рыбалка стала уже не мила мне.

На другой день мы спускались через грозный Хутинский порог. Нам помогал дежурный катер, который следил, чтобы течением не занесло плоты на скалы, не выбросило их на берег. Когда мы благополучно миновали порог, тот же катер догнал нас. Один человек перебрался к нам на буксир и сказал капитану:

— Петр, я хочу к тебе пару пассажиров посадить.

— Кто такие?

— Бабы наши, Михаил вчера их сюда забросил, а сегодня с ягодами и рыбой хочу домой отправить.

Капитан немного помолчал, а затем, покосившись на меня, сказал:

— Нельзя. Сам знаешь, что нельзя, а просишь.

Человек с катера только хмыкнул и посмотрел на меня.

Буксирам строго запрещается брать на борт каких бы то ни было пассажиров, а тем более рыбаков или ягодников, потому что иначе суда, идущие в верховья, были бы набиты битком. Ягод в тайге неисчислимое множество, и рыбы в реке не меньше.

— Возьмите женщин, Петр, куда же им теперь деваться? — попросил я, и лицо капитана сразу просияло.

Две женщины с многочисленными ведрами, бочонками и фанерными ящиками тут же были переброшены к нам…

Только юный Саша был и остался таким, как раньше. Я думаю, не только по молодости лет, но и оттого, что вырос в юрте, в горах, где не к кому подлизываться, нет спроса на подхалимов.

Все это я вспомнил уже по возвращении в Кызыл, разбирая свои записи. Вспомнил и задумался. Почему люди, живущие среди суровой природы, неизменно остаются искренними, гостеприимными, почему они дорожат настоящей дружбой, совсем или почти совсем не умеют угодничать? Это присуще не только тувинцам, но и многим народам Крайнего Севера, живущим вдали от цивилизованного мира. Это люди, которые все делают только по велению сердца, без каких бы то ни было мудрствований и расчета, без малейшей примеси подхалимства. И если уж не понравишься или обидишь их, то ничего хорошего и

не жди, будь ты хоть царь или сам господь бог.

Задумался я и не нашел ответа.

За окном смеркается. Подходит к концу последний день моего пребывания в Туве.

Время собираться в путь.

Складываю в рюкзак свои небогатые пожитки и по пустынным улицам Кызыла шагаю к автобусной станции.

Роскошный, с белыми чехлами на сиденьях «Икар» трогается. Все места заняты. В основном едут тувинцы. Молодежь. На учебу. В Минусинск, Красноярск, а некоторые и еще дальше — в Москву и Ленинград.

Проезжаем новый мост через Енисей. Мост упирается в новую дорогу, которая пересекает Саяны и спускается с гор уже в Красноярском крае. В некоторых странах порты называют окнами в мир. Эту дорогу через Саяны можно смело назвать дверью Тувы в мир, потому что это пока единственная дорога, идущая за пределы республики. Разумеется, если не считать воздушных дорог.

На перевале шофер остановил автобус, и мы на минутку вышли.

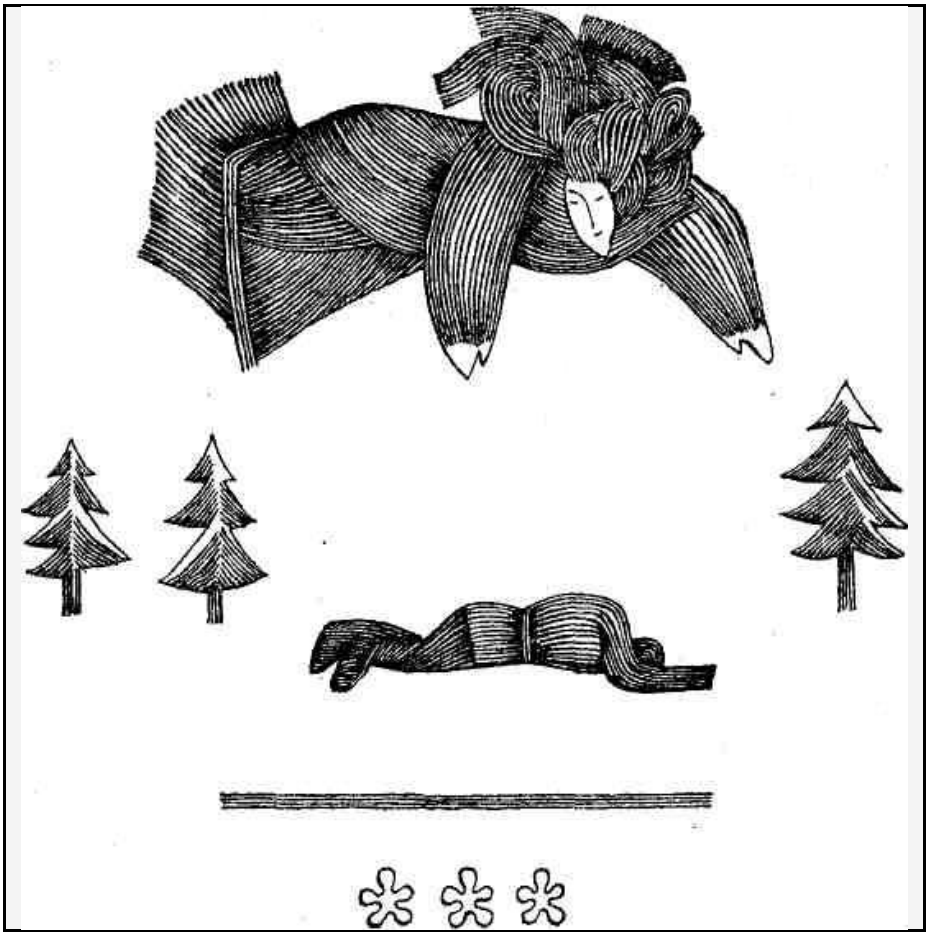
Была светлая ночь, залитая мягким лунным светом. На фоне усеянного звездами неба чернели острые силуэты вершин и зубчатые макушки леса. В звенящей тишине я сделал несколько шагов назад, как путник, который уже было вышел из дому, но вернулся к калитке, чтобы сказать слова прощанья:

— Нет у меня другой печали…

Потом мы ехали всю ночь по Саянам, а когда рассвело, я открыл глаза, увидел огромное конопляное поле и почувствовал, как от этой «конопли зеленой в отцовом садочке» на меня повеяло несказанно милым теплом далекого дома.

1966

ТОФАЛАРСКИЕ ВСТРЕЧИ



…Далеко-далеко внизу петляет речка. Я стою на высокой скале. Крутая, будто стесанная, она высится над рекой, и я вижу, как там, внизу, скачет по камням белоснежный поток. Похоже, что это не река несется, а лавина белых овец, которые прыгают, озорничают, разбрасывая по сторонам клочья шерсти. Оступившись, я тщетно пытаюсь схватиться за ближайшую лиственницу — ее ветка ломается, и я, стиснув в руке обломок, стремглав лечу в пропасть, туда, где пляшут неистовые белорунные овцы. Я падаю, падаю… Падаю слишком долго. У меня захватывает дух, ветер свистит в ушах, но белые овцы все так же далеки, и кажется, я никогда не достигну их, вовек не кончится это паденье.

Я проснулся. Лежу на раскладушке, крепко, до боли, вцепившись в ее металлическую раму — «обломок лиственницы». За окнами свистит ветер. За окнами серебрится лунный свет. За окнами тишина. Ни звука — только свист ветра да серебристо-звонкое сиянье. Луна заглядывает в окна, освещая крутую, будто стесанную, скалу, с которой я только что сорвался. Скала упирается в небо. Столетние кедры и лиственницы на ее вершине кажутся спичками, редкой щетиной на макушке каменного великана. Я еще не взбирался туда. Говорят, никто не может подойти к обрыву и посмотреть вниз, на пенистые воды Уды. Говорят, даже самые отчаянные храбрецы берутся лишь подползти к краю скалы на четвереньках и так же на четвереньках ползут обратно. Почему же мне снятся подобные кошмары, если я никогда там не был? Самолет? Наверно. Я видел с самолета голубовато-зеленую ленту Уды и белорунных овец, несущихся по ее руслу… Но почему захватывало дух? Рефлекс? Нет. Я чувствовал, что задыхаюсь по-настоящему. Видимо, нехватка кислорода. Здесь, в горах, воздух разрежен. Надо будет узнать, на какой высоте находится Алыгджер — старая тофаларская деревня. Собственно, даже не старая. Дома здесь выросли всего тридцать лет назад, когда тофы покончили с кочевой жизнью. Алыгджер — Широкое место, точнее Широкая падь. Здесь живут тофы. Здесь и еще в двух селениях. Верхней Гутаре и Нерхе. Три небольшие деревни. Три едва заметные на карте точки, где живут тофалары — старейшие хозяева Саянских гор. Больше нигде на земле не встретишь тофа, только здесь — в Восточных Саянах, где испокон веков жили их отцы и праотцы. Я безуспешно пытался выяснить, сколько тофаларов всего. Никто не мог назвать точной цифры. Одни говорили, будто осталось триста шестьдесят восемь тофов, другие — что четыре сотни, третьи накидывали еще два-три десятка. Но никто не превышал этого числа. Приблизительно четыреста. Четыреста тофаларов. Сами себя они называют тофы. Тоф — человек. Когда-то их звали карагасами. Кара — черный, гас — гусь. Черный гусь. Но сами они всегда называли себя тофами. Тоф — человек. Я узнал об этом раньше, когда еще не видел ни этой крутой скалы, ни этого серебристо-звонкого лунного света. Я узнал об этом, и мне захотелось во что бы то ни стало побывать в Тофаларии, где национальность человека — человек. Тоф — человек.

Где-то на околице деревни залаяла собака. К ней тут же присоединяется другая, третья, десятая. Своеобразная эстафета голосов приближается, разрывая серебряное молчание ночи, как будто и в собачьи сны забредают кошмары, как будто собаки лаем гонят прочь из деревни недобрые сны. Под моим окном тоже

раздается лай. Пес даже не лает, а воет. Не очень-то уютно слушать в ночи этот жалобный, протяжный вой. Я вскакиваю с постели и подхожу к окну. Пес сидит посередине улочки и воет, задрав голову к печальному лику луны. К нему подбегает еще пара кудлатых псов; гавкнув раз-другой, они садятся в круг, смотрят на луну, и серебряную тишь снова раздирает жалобный, так и пронимающий страхом вой. Никогда я не видал такого множества собак, как здесь, в Алыгджере. Их немало бродит по ненецким, эвенкийским селениям, но такой прорвы нигде не встретишь. Там, на Дальнем Севере, из собачьих шкур шьют обувь, шубы, спальные мешки. Тофалары этого не делают. Ума не приложу, зачем им это сонмище. Об этом узна́ю позже. Через несколько дней. Пока я ничего еще не знаю. Смотрю на воющих на луну собак и чувствую, как изо всех закоулков комнаты выползают, крадутся давно забытые суеверия… По ком воет за окном пес? В Нижнеудинске я видел седоголового человека, который приехал за тысячи километров из Куйбышева в Тофаларию, потому что здесь, в Тофаларии, пропал его сын. Без вести. Без следа. Две экспедиции организовал отец, дважды ходил с ними по саянским ущельям, бродил по берегам бурных речек, но так и не нашел сына. У старика нет сил уехать из Нижнеудинска, ибо уехать — значит примириться с мыслью, которую он гонит прочь, которой не хочет верить. Просто нет сил уехать. Сидит в Нижнеудинске и ждет чуда. Он не желает примириться с мыслью, что никогда, никогда больше не увидит сына. Сидит в гостинице и ждет чуда. Может, это по его сыну воют псы, задрав головы к луне? Говорят, они очень жалобно выли и в тот день, когда нашли парня, которого я видел вчера на аэродроме. Вернее, видел не самого парня, а оцинкованный жестяной гроб, в котором лежал парень из Ангарска. В конце лета шестеро молодых людей пытались на плоту спуститься из верховьев Уды. Речка разнесла плот в щепки. Парень из Ангарска и еще одна девушка канули в воду. Не «как в воду канули», а просто канули в воду, безо всяких «как». Накануне моего прилета нашли тело парня из Ангарска. Чуть, ли не целый месяц искали его по нежилой тайге, а нашли рядом, возле деревушки Алыгджер, на берегу Уды, выброшенного на мель и занесенного песком. Собаки нашли тело парня из Ангарска, выкопали его из-под песка и, говорят, очень долго и очень жалобно выли, задрав головы в синее небо Тофаларии. Говорят, Саяны почти всегда возвращают свою жертву, как бы в подтверждение того, что это сделали именно они, Саяны. Парня из Ангарска выкопали собаки, а девушку до сих пор не могут найти. И седоволосый отец до сих пор ничего не знает о своем сыне. Саяны не подтвердили, не

вернули своей жертвы. Значит, еще можно ждать, надеяться, не терять какой-то капли надежды — раз Саяны не сказали решающего слова. Последнего. Не подлежащего ни обжалованию, ни отмене. В нынешнем году они вынесли двадцать три таких приговора. Двадцать три человека этим летом сложили головы в Саянах. Вернее, не во всех Саянах, а только здесь, в Тофаларии. Об этом рассказал мне в Нижнеудинске председатель райисполкома Щёкин. Он не хотел, чтобы я ехал в Тофаларию, и без его разрешения не продадут билет на самолет. А другого пути нет. Только самолетом. Правда, в середине зимы, когда морозы скуют мятежную Уду, можно на санях или машиной добраться по льду, но сейчас лишь середина октября, и Уда по-прежнему бурлит, бьет грудью в отвесные скалы берегов, перекатывает громадные камни. Щёкин не хотел, чтобы я ехал в Тофаларию, и долго рассказывал о несчастных двадцати трех, которые не вернулись оттуда. Он, должно быть, для того и рассказывал, чтобы отговорить меня. Однако я его успокоил. Я — не турист, который ищет острые ощущения или необычайные приключения; я никогда не вздумаю на плоту спуститься по Уде или какой бы то ни было горной речке; я никогда не пойду в горы один, без надежного проводника; я буду послушно делать то, что скажут тофалары, которых я непременно должен увидеть и узнать. Мои клятвы успокоили Щёкина, и он дал разрешение, но перед этим познакомил с седоголовым отцом, сидевшим в гостинице и ждавшим чуда. Так по ком же воют за окном псы, задравши морды к тофаларскому небу, которое и в серебряном свете луны не теряет своей голубизны? По ком? Из всех закоулков комнаты ко мне ползут, крадутся давно забытые суеверия и утренний холодок. Ветер выстудил помещение. С вечера я натопил железную печурку докрасна, но ветер выдул тепло. Вместе с холодком приходит и чувство одиночества. О, как знаком мне этот незваный гость! Он только и ждет такой минуты. Самое удобное время для его визита. Войдет через запертую дверь, влезет в закрытое окно, если я еще немного постою здесь, глядя на воющих собак. Я не зажигаю лампы. Много ли даст керосиновая лампа, когда во все окна льется серебряный свет луны. Нащепав лучины, я зажигаю спичку. Лучина сперва коптит, дымится, а затем вспыхивает, начинает трещать, и все непрошеное отступает, прячется в самые темные уголки комнаты. И я уже не спрашиваю себя — по ком воют псы за окном? Успокоительно трещат дрова в печурке, уютно поет чайник, вкусно пахнет открытая банка консервированной говядины. Я спокойно думаю о тех двадцати трех. Что привело их сюда? И почему так бессмысленно, глупо все закончилось? Кто они?

Туристы? За последние годы Тофалария превратилась в своего рода Мекку туристов. Манит красота Тофаларии. Дикая красота. Первозданная — без дорог и без гостиниц, без заезжих домов. Только изредка разбросаны в горах отделенные друг от друга сотнями километров немногочисленные селенья да одинокие охотничьи заимки, двери которых все лето подперты поленом, потому что летом в них никто не живет, — не зайдешь, не спросишь дороги, если сбился с пути, не дозовешься помощи, даже если она нужнее хлеба. Эта дикая красота — снеговые шапки гор, необузданные реки, непроходимая тайга — влечет, манит человека с его вечно голодной, ненасытной мечтой познания. И люди идут в Саяны. Всякие люди. Одни — привычные, опытные, хорошо снаряженные, другие — желторотые юнцы, не имеющие никакого или же весьма туманное представление об опасности. Последнее даже хуже, потому что притупляет осторожность. И гибнут, как правило, именно такие. Гибнут в стремительных горных речках. Заблудившись в тайге. Попав под снежную или каменную лавину. Но все же главным образом — в ледяной стремнине горных речек, которая самые прочные плоты разносит в щепки, ломает, как спичечные коробки. И все равно люди идут в Саяны. Каждое лето идут, и каждое лето кто-то из них навеки остается здесь либо отправляется в обратный путь в цинковом гробу, как тот парень из Ангарска. Бессмысленно, казалось бы, и глупо по собственной охоте, без какого бы то ни было принуждения тащиться в эти дебри, чтобы найти здесь свой конец. Бессмысленный конец. И все равно люди идут в Саяны. И в этом чисто человеческом упрямстве таится своеобразная прелесть. Прелесть человеческого беспокойства и вечного поиска. Не приносит она, как не принесла и этим двадцати трем, ни богатства, ни славы, но люди идут в Саяны. И я восхищаюсь такими людьми, хоть и сомневаюсь, готов ли сам пойти их путем. Нет, я не стану спускаться по бурным речкам. Мне нужно только одно — познакомиться с тофаларами. Побродить вместе с ними по тайге, поночевать у одного костра под открытым небом или под крышей юрты, поесть, как говорится, из одного котла — узнать этот немногочисленный народ, имя которого — человек. Тоф — человек.

Железная печурка щедро отдает тепло, и кабинет председателя сельсовета наполняется жилым духом. Домашним духом. Рассвет еще не скоро, целая вереница тяжелых, как вериги, часов отделяет меня от зари, и каждый, надо будет, как четки, пропустить через свои чувства. Надо попытаться уснуть. Обязательно уснуть, потому что иначе эти вериги обовьют и удушат тебя своими звеньями. Я по собственному опыту знаю, что

акклиматизация бывает двух видов. Когда просыпаешься так, как проснулся недавно я, — это простая физическая акклиматизация. Она донимает кошмарами, гнетет, душит, перехватывает дыхание, потому что здесь, в горах, воздух разреженный, не такой, как у нас в Литве, где глотаешь воздух густой, как мед, собранный в равнинном покое наших лугов, в долинах наших задумчивых рек или в смолистых, звонких сосняках. Но если кошмары начинают мучить не во сне, а наяву, значит, происходит духовная акклиматизация. Иначе, пожалуй, и не назовешь это состояние. Духовная акклиматизация. Да. И она несравненно сложней и тяжелей физической. Бывают мгновения, когда она становится просто невыносимой. Хочется все оставить, бросить и мчаться домой. Неважно, если не сделал того, что должен был сделать, неважно, если придется возвращать командировочные, неважно, если приятели станут подтрунивать над тобой, да и сам, возможно, возненавидишь себя потом за этот шаг, — хочется все оставить, бросить и мчаться домой. Кому приходилось подолгу путешествовать, тот знает это чувство. Особенно когда очутишься один где-то далеко-далеко, без близкого человека, словно в изгнании. Мне хорошо знакомо это чувство, эта духовная акклиматизация, и я вижу, что бороться с ним становится все труднее — с каждой новой поездкой оно все болезненней, мучительней, все более гнетуще. Мне кажется, что прежде я не так остро ощущал духовную акклиматизацию. Очевидно, это приходит с возрастом. А может, и раньше было так же, только забылось, поблекло в памяти? Человек обладает чудесным свойством — забывать. В самом деле, чудеснейшее свойство. Не все нужно и можно забыть, но есть вещи, не забыв которых человек не смог бы жить. Был бы не в силах. Как не в силах уехать седоголовый отец: сидит в гостинице, ждет чуда, сам не чувствуя, не подозревая того, что сложная и запутанная сигнальная система уже сработала и безжалостный процесс забывания начался, пускай даже против его воли, пускай сам он все еще надеется на чудо.

Надо заснуть. Обязательно заснуть.

Я поворачиваюсь спиной к окну, за которым — звенящий лунный свет и тоскливые голоса собак. Зажмурившись, я бегу назад. В Литву. Бегу в небольшую дзукийскую[3] деревушку. У каждого из нас есть место на земле, которое нам часто снится. Я убегаю в свое. Это испытанный метод. И я еще раз хватаюсь за него, как за лекарство. . . . . .

Поезд останавливается на полустанке. Отсюда до моей деревни семь километров. Песчаная белая дорога ведет в лес, где

пасутся теплые весенние ветры, где в гуще подлеска еще сохранились дырявые лоскутья снега, усеянные опавшей хвоей, где со всех сторон несет сыростью — последними вздохами зимы. Семь километров. Я прохожу их легко, упиваясь густым, настоянным на лесных запахах воздухом, с вожделением думая об одинокой березе на краю деревни, о глиняном кувшине, который кожаным ремешком привязан к ее шершавому стволу. Много лет, много весен я пью из этого кувшина земную влагу — сладковатый березовый сок. Вот и сейчас я пью большими глотками, а сок льется через край кувшина, стекает на мою одежду, осыпает грудь блестящими на солнце бусинками. Я пью, пока хватает дыхания. Отрываю губы от кувшина, жадно хватаю воздух, смотрю на родную деревушку, на сбежавшуюся к реке черемуху, которую весна забросала творожными хлопьями, и снова приникаю к кувшину.

. . . . . .

Так и заснул.

За окном уже нет серебряного света. Молчат и собаки. Занимается новый день. Светает. Я встаю. Не хочу, чтобы председатель сельсовета застал меня в постели. А он вот-вот должен прийти. Я спешу растопить печурку, ставлю чайник и бегу умываться. Ночью, похоже, был морозец, потому что по самой Уде с шумом плывет мелкая ледяная каша, или, как ее называют, шуга, а узкую протоку успело затянуть ледяной коркой. Я пробиваю ее, чтобы умыться. А когда возвращаюсь, председатель сельсовета Иван Унгуштаев уже сидит за старым письменным столом. Так же стар и сам Унгуштаев. Кожа на лице сбежалась множеством складок, морщин и напоминает мне горы. Саянские горы. Каждая морщина — пересохшее русло горной речушки. Так выглядят Саяны с самолета. Старику уже седьмой десяток. У него острые скулы, и желтоватая кожа на них натянута так сильно, что кажется, будто лицо старика вылеплено из воска, кажется, что оно должно просвечивать, если сзади поставить сильную лампу. Мы с ним пойдем в тайгу. Он, я и одна тофаларокая семья, которая должна сегодня вернуться из тайги и привести оленей. Мы сидим, пьем горячий чай, разговариваем.

— Зовут меня Иван, но при рождении мне дали другое имя, — говорит он.

— Как другое?

— Очень просто. Тофы раньше называли детей своими именами. Родился я не совсем здоровый. С вывернутой стопой, не такой, как все. И назвали меня Кривая Нога, хоть в паспорте записано Иван.

Никто по сей день не знает в точности истории тофаларов.

Одни полагают, что тофы пришли в эти места из Монголии, другие утверждают, что тофы — отколовшееся племя тувинцев.

Имеются свидетельства, что когда-то, в старину, тофаларов было около десяти тысяч. Теперь осталось всего четыреста человек.

Кто-то нащупывает бренчащую дверную ручку. Спустя минуту на пороге появляется высокий костлявый старик. Унгуштаев встает и почтительно идет ему навстречу, усаживает на стул, предлагает чаю. Я смотрю на них и думаю, что поистине все в мире относительно. Еще за минуту до этого Унгуштаев казался мне очень старым, а теперь, в сравнении с посетителем, он выглядит всего лишь пожилым человеком.

— Егор Андалаев, — говорит старик, пожимая мне руку.

Мне хочется спросить, узнать, какое тофаларское имя дали ему, когда он родился на свет, но я молчу и слушаю, как они оживленно переговариваются о чем-то на своем языке. Молчу, так как знаю, что тофы не любят чересчур любопытных.

— Человек жаловаться пришел, — через некоторое время говорит Унгуштаев. — Хочет белковать старик, а ему не дают оленей. Стар, говорят, пенсию получаешь, сиди на печи, пей чай, нечего тебе делать в тайге.

Теперь я понимаю, почему старик сердито отодвинул стакан чая, который тофалары обычно обожают, могут пить часами и в фантастических количествах.

Старик, степенный и прямой, будто аршин проглотил, встает и идет за дверь, а на его место уже входит другой посетитель — разве у людей мало дел в сельсовете? Тем более что он тут — единственная власть. Нет в Алыгджере другой власти. Даже ни одного милиционера нет. Я понимаю, что нечего мне тут болтаться, мешать Унгуштаеву. Одеваюсь и выхожу за дверь.

Небо голубое-голубое, без единого пятнышка.

Алыгджер со всех сторон окружен горами. Там, на вершинах, уже белеет снежный убор. Можно увидеть снег и здесь, в долине, в тенистых местах, где спины гор заслоняют солнце. Эти клочья снега напоминают скорей весну, чем осень. В Литве только весной можно увидеть сохранившиеся там и сям клочки снега на темной одежде земли. Утром земля была скована морозом, а сейчас солнце отогрело ее, и песчаная улица деревушки покрылась темными пятнами, словно рубаха на плечах усталого работника. Земля потеет. И самое интересное, что она так и останется всю зиму черной, без белой своей фаты, хотя кругом в горах навалит полно снега. Всю зиму самолеты в Алыгджере будут садиться не на лыжах, а на колесах, потому что снега здесь не бывает. Его сдувают жестокие ветры. Сильные и неистовые,

они не прекращаются целыми неделями, мешают небо с землей, и люди проклинают их, потому что песок засыпает глаза, набивается в оконные рамы, скрипит на зубах, преследует на каждом шагу. Это зимой. А сейчас — поздняя осень, светит ослепительное солнце, небо синее-синее и — ни ветерка. Ни малейшего дуновения. Зато с самого утра уже ревут в небе моторы. Летчики из Нижнеудинска спешат. Неизвестно, сколько еще простоит погода, а Алыгджеру требуются мука и спички, капуста и картошка, крупа и селедка, стекло и гвозди — да мало ли что требуется одинокой деревушке, отрезанной от всего мира?! Но особенно много требуется горючего для деревенской электростанции. И все это не привезешь ни поездом, ни на грузовиках, не доставишь баржами — все приходится переправлять по воздуху. Потому-то с самого утра и сотрясает окна рев самолетов.

Торопятся не только летчики. Какая-то лихорадка охватила всю деревню, каждый дом. Люди куда-то спешат, бегут, что-то несут, словно деревня ждет наводнения, горной лавины или еще какой беды, к которой надо заранее готовиться. Один я никуда не спешу, слоняюсь по деревне, не могу найти себе какого-либо занятия. Долго стою возле кучки мужчин, подковывающих лошадей. Низкорослая монгольская лошадка, зажатая меж четырех столбов, висит на широких ремнях, как в операционной; мужчины одну за другой набивают на ее копыта новенькие подковы, и мне вспоминаются слова старинной литовской сказки: «Сносишь эту обувку — и домой пойдешь». Но у нас, в Литве, самые тяжелые дни наступают для лошадей весной, с песней жаворонка. А тут — наоборот. Только сейчас, поздней осенью, в начале зимы, у них начинается страда. В переносном и в прямом смысле этого слова. Низкорослые монгольские лошадки потащат на себе в тайгу и самих охотников, и вьюки со всем охотничьим снаряжением: продуктами, постелью, патронами, посудой — всем, что необходимо человеку, который уходит в нежилую тайгу не на день и не на неделю, а на долгие месяцы. Правда, тофалары не пользуются лошадьми. С незапамятных времен они держат для этого оленей — и сами ездят на них, и весь скарб везут.

Лихорадка волнами катится по деревне. Золотая лихорадка. Мягкое золото! Все только о нем и говорят. Второй год подряд в тайге хороший урожай кедровых орехов. А коли есть орехи, значит, есть и белка, и соболь, и медведь. Всех кедр кормит. И человеку хватает его плодов, и зверью остается. Несколько лет назад в тайге было трудно увидеть белку, еще труднее — соболя, а медведи, можно сказать, повывелись. Не родились в те годы кедровые орехи. И только в прошлом году все снова оживилось. А

нынче кедры еще обильнее облеплены шишками, и белки (ходят слухи) кишмя кишит. Эти слухи раззадоривают, распаляют старых охотников. Мужчины только об этом и говорят. У слухов быстрые ноги, они обходят всех, не минуя ни одной избы, и всех заражают лихорадкой.

В тесной, тепло натопленной комнате кооперативно-охотничьего хозяйства целый день народ. Люди плотно обступили столы бухгалтерии, толпятся в коридоре, заполнили кабинет председателя Жернакова. Охотники заключают договоры. В этом году хозяйство наметило добыть в тайге тридцать тысяч беличьих шкурок. Тридцать тысяч! Не шуточки. Каждый должен подумать. Сколько белок добудет он? Какую цифру писать в договоре? На какой срок собираться в тайгу? На месяц? На два? А то и на три или четыре? Мужчины чешут в затылках, вслух рассуждают, спорят. Только тофы держатся спокойно. Присев подле стен, сосут цигарки из дешевого табака, смотрят на заслеженный пол и молчат. Грустно тофам. Не привыкли они так: собрался, погрузился и бегом в тайгу. Без праздника, без песни, без пиршества, в котором участвуют все охотники. С незапамятных времен тут было заведено: перед тем как рассыпаться по тайге, тофалары собирались все вместе и пировали, праздновали… И это напоминало прощанье, проводы. Тайга большая. Бескрайняя. Много опасностей поджидает охотников в тайге. Может, не все вернутся домой… Еще и прошлой осенью алыгджерские охотники пировали, прежде чем уйти в тайгу, расстаться с семьями. Но то было в прошлом году. Нынче вместо колхоза организовано кооперативно-охотничье хозяйство. Председатель Жернаков говорит: «Пировать будем, когда из тайги вернемся. Все сначала работают, а потом пируют. Будем и мы пировать после работы». Тофалары сидят вдоль стен, посасывают самокрутки из дешевого табака и молчат.

В магазине с утра до вечера сутолока, давка, нередко и ругань можно услышать, но чаще — веселый смех. Он гремит, распирает стены магазина, вздымает крышу. Продавщицы трудятся в поте лица. Охотники всё берут мешками. Набивают мешки хлебом, сухарями, солью, сахаром, сухим молоком и обычной ржаной мукой, из которой будут готовить болтушку для собак, в отдельные мешочки ссыпают крупу, макароны, чай. Всё берут. Без денег. В счет аванса. Привезут из тайги мешки мягкого золота, тогда и сочтутся, подведут итог. Гляжу, и мой знакомый пробивается к прилавку. Молодой охотник. Живет в Иркутске. Взял отпуск и приехал на родину. Мы вместе летели в самолете. Он мне сверху показывал свои охотничьи угодья. Я сказал: «Хорошие места. Главное — недалеко от деревни». Мой попутчик

ничего не ответил. Не иначе, побоялся, что напрошусь в компанию, в артель. Таких артелей создается много. По два, три, четыре человека. Все берут поровну продуктов, боеприпасов и поровну делят добычу. Может быть, мой попутчик все еще опасается, что я стану проситься к нему в артель (какой там из меня компаньон!), потому и не замечает меня. Напрасно.

Опять выхожу наружу, не спеша бреду по деревне. Только я да телочки никуда не спешим. Они свободно шатаются по улице, нюхают порыжелую мертвую траву под заборами и печальными глазами долго смотрят на покрытые снегом горы. Кажется, они о чем-то думают. О чем-то грустном и жалобном.

Деревушка Алыгджер сгрудилась на берегу Уды, окруженная со всех сторон горами. Горизонт здесь невелик, не разогнаться взгляду. И восход и закат — высоко в горах. Может быть, телки смотрят печальными глазами на горы и думают: «Господи, что же там, за горами, заслонившими свет?»

Я бреду по деревенской улочке, глазею по сторонам. Дома сложены из лиственничных бревен, необтесанных, почерневших от времени и непогоды. Небольшие окошки выходят на быструю Уду. Кое-где у домов, на огородах, видны островерхие юрты. Говорят, сердце тофалара время от времени наполняется тоской, и он из жилого дома перебирается в юрту. Хотя бы на неделю, на две. Потому все еще и стоят они рядом с домами, готовые в любое время принять тофа.

А лихорадка катится по деревне — не всем хватает оленей. Их дают только очень хорошим охотникам, чьи участки в ста пятидесяти — двухстах километрах от деревушки. Такое расстояние могли бы преодолеть и лошади, но чем их кормить в дороге, если там, в горах, уже выпал снег, глубоко похоронив задубевшую, высохшую траву, а сена в тайге никто не заготовил. Правда, можно взять с собой овса, но его потребуется так много, что уже ничего другого не навьючишь на лошадь, только овес. К тому же лошадей пришлось бы сразу гнать обратно — не могут же они там оставаться без корма. Потому-то все охотники и добиваются оленей, каждый хочет получить этих замечательных животных, которых не надо кормить, потому что они сами выкапывают из-под снега мох, а жажду утоляют снегом. Живи в тайге сколько хочешь и не будешь знать никаких хлопот из-за оленя. Он не только сам прокормится, но и будет незаменимым помощником человека. Там, где лошадь беспомощна, олень несет на своей спине охотника либо его снаряжение. Самые крутые склоны, самую густую чащу и каменистые завалы олень преодолеет без труда, и его нога нигде не оступится, он нигде не свалится в пропасть. И нести способен не меньше, чем лошадь. А

если нет съедобного мха, олень может и по трое суток не есть, но все равно сделает все, что потребуется человеку. Поэтому мы и ждем оленей. И не только поэтому. Большинство охотников будет жить в тайге в специально срубленных домиках, мы же будем охотиться, кочуя с места на место, как испокон веков делали тофалары. Я давно мечтал познакомиться с этим маленьким народом и не случайно выбрал время охоты на белку. В этот период тофалары начинают жить так, как жили их отцы и праотцы десять и сто лет назад, — снова превращаются в вольных кочевников.

Наконец-то дождались и мы своих компаньонов. Они приехали на оленях из тайги и пригнали еще четырех оленей. Оба — чистокровные тофы. Муж и жена. Варвара и Василий Киштеевы. Оба невысокие, как и большинство тофов. Маленькие, как у подростков, руки, почти детские стопы крохотных ног, темные глаза, узкие и раскосые, приплюснутые носы, толстые, выпяченные губы, как будто человек дует, студит горячую похлебку. Оба разменяли шестой десяток. Иван Унгуштаев свел нас, познакомил, сказал, что я хочу отправиться с ними в тайгу. Муж и жена переглянулись. Особенной радости на их лицах я не заметил. Скорее наоборот. Сидят, молчат, о чем-то думают.

— Пошли обедать к нам.

Я хотел было уже поблагодарить, объяснить, что недавно умял банку консервов, но почему-то промолчал, даже ради вежливости не стал отнекиваться. Сам не знаю, почему я так поступил. Вот-вот уже хотел было отказаться, но в эту секунду как бы что-то заткнуло мне рот. Взгляд Василия? Возможно. Как-то странно блеснули его глаза, когда он предложил пойти к ним обедать. В чем дело? А, да что там ломать голову! Я направляюсь в угол, где стоит мой большущий чемодан, достаю из него бутылку спирта, засовываю в карман, а вторую прячу как можно глубже на дно чемодана — магазины в Алыгджере чисты, и кто знает, когда доставят это «чертово зелье».

Домик у Киштеевых небольшой. Тесная кухонька и две такие же тесные комнатки, разделенные дощатой перегородкой. Мебели почти нет. На кухне стоят лавка и сколоченный из досок шкафчик. В одной из комнат — кровать, но, мне кажется, она служит больше для украшения комнаты, чем для спанья, так как вторая комната сплошь устлана оленьими шкурами, и, видимо, спят на них, а не на этих железных, поблескивающих никелированными шишками кроватях.

Усаживаемся на кухне. Варвара наливает миску густого супа и ставит передо мной. Я достаю бутылку спирта, а сам хватаю ложку и храбро зачерпываю этот суп-пюре, который отдает каким-

то незнакомым запахом и оставляет во рту своеобразный, совершенно незнакомый вкус.

— Что за мясо? — спрашиваю я.

— Кабарга, — отвечает хозяин.

Я знаю, что кабарга — это горная косуля. Небольшая. Величиной со среднюю собаку. Мясо кабарги жестковатое, темное и на вид не очень привлекательно, однако я уплетаю за обе щеки и краем глаза вижу, как тофы следят за мной взглядом, подталкивают друг друга локтем, улыбаются. Когда я подымаю голову от пустой миски, меня встречают дружелюбно сияющие лица. Хозяйка что-то говорит Василию, он переводит:

— Нам нравятся люди, которые едят за нашим столом.

Теперь я все понимаю. И как же мне раньше не пришла в голову эта простая мысль! Ведь там, в тайге, нам придется есть, как говорится, из одного котла, поэтому Киштеев и пригласил меня сейчас. На пробу. Сможем ли мы жить одной семьей, сумею ли я привыкнуть, приспособиться к их вкусу, потому что они к моему, разумеется, никогда не станут приноравливаться, да и делать это им нет никакого смысла. В этом было их основное сомнение, и они решили испытать меня. Теперь оба улыбаются, похлопывают меня по плечу — приняли в свою семью.

Потом хозяин выводит меня во двор и показывает собак: три небольших, совсем еще молодых щенка.

— Разве можно с такими в тайгу идти? — спрашивает Василий.

Каждому ясно, что нельзя. Я так и говорю, а Василий в ответ:

— Одолжи денег. Куплю собаку.

Спрашиваю, сколько ему нужно, отсчитываю. Он прячет деньги в карман и продолжает:

— Дочка хочет в Иркутск ехать. Учиться. Одолжи еще.

Спрашиваю, сколько нужно.

— Пятьдесят.

Не знаю, что делать. Если отдам, то будет не на что купить обратный билет. Так и говорю, а Василий снова:

— Одолжи. Придем из тайги — отдам.

Уж не испытывает ли он меня? Существует неписаный закон: если идешь с товарищем в тайгу — верь ему, как самому себе, а коли сомневаешься — не ходи. Достаю хрустящие десятки и вручаю Василию, а сам думаю, что завтра надо будет телеграфировать в Вильнюс друзьям, чтобы перевели деньжат. На всякий случай.

На прощанье договариваемся, что Василий с женой закупят продукты, позаботятся обо всем необходимом, и завтра в полдень можем двигаться в путь.

Я опять без дела, опять брожу по деревне, и это вынужденное безделье обостряет духовную акклиматизацию, все как бы теряет свой цвет и запах, остается лишь густой синий цвет тоски и запах дома, родной запах.

Возле какой-то избы — скандал. Высокая костлявая женщина в блузке с коротким рукавом, выбежав из дому, ругательски ругает тщедушного мужичка, который держит на обрывке веревки пса. Руки женщины с выступающими узлами вен и сухожильями напоминают корни сухого дерева. Она размахивает ими, тычет костлявым кулаком мужу под нос и орет:

— Убить тебя мало! Этакую коровку, антихрист, сгубил!

— Без собаки я в тайгу не пойду, — упорствует, не сдается тщедушный супруг, а собравшиеся вокруг зрители поддерживают его, им любо поглазеть на этот спектакль, разнообразящий серую повседневность.

— Какой охотник — без собаки?

— Не серчай, хозяйка, привезет муж мешки белки, соболя — не одну, а две коровы купишь.

— Известно, привезу, — говорит муж и подтаскивает пса на веревке к себе поближе, словно опасаясь, как бы жена в сердцах не вытурила барбоса, за которого хозяин не пожалел коровы.

— Не видать мне этой белки как своих ушей. Ишь, охотник выискался! Горе ты мое, а не охотник. Такую корову!

— Хорошую собаку дешевле не достанешь. Сезон, — говорит муж и оглядывается на толпу в поисках поддержки.

— За хорошую собаку, хозяйка, ничего отдать не жалко…

— Какой же охотник без собаки?

— Да тебе и кошки хватит, дурья башка!..

Разумеется, женщина ничего уже не добьется. Сделка заключена, ударили по рукам, одному досталась собака, а другому корова, и ничего теперь не изменишь, хоть убейся. Хорошо, если собака опытная. За хорошего пса в такую пору платят действительно большие деньги: она не только отработает их, но и принесет хозяину большой доход. В эти дни цена на собак резко подскочила. И с каждым часом их в деревне остается все меньше — уходят с охотниками в тайгу.

На другой день, еще до обеда, мы окончательно собрались: все сложено и навьючено на оленей, можно отправляться в путь, но куда-то пропала Варвара. Василий принимает решение: Унгуштаев и я выходим сейчас, потому что верховых оленей для нас все равно не хватит, а чета Киштеевых нагонит нас верхом. Старый Иван, которого мне очень хочется называть Кривая Нога, берет собаку за поводок, мы закидываем за плечи ружья и направляемся к горе, которая подымается сразу за огородами. Тут

же начинается и тайга. У подножья горы много берез, но выше они редеют, почти исчезают, уступая место лиственницам и кедрам. Лиственницы стоят, сбросив свою хвою, голые, почерневшие. Кедры по-прежнему зелены. Они будут зеленеть всю зиму, как сосны, как сибирская ель. Идти трудно. Иван с собаками шагает впереди, я плетусь сзади. Иду, ни о чем не думая. Вернее, стараясь не думать о дороге, о долгих и трудных километрах, которые предстоит пройти. Я думаю о человеке, носящем красивую и осмысленную фамилию — Любомудров. Смотрю на согбенные толстоствольные березы и думаю об этом человеке. Никогда бы не поверил, что снег может изувечить деревья. Такие большие, в обхват, березы. Их стволы согнулись дугой, и голые ветви упираются в землю. Только несколько берез стоят прямо, а остальные сломанным стволом или ветвями припали к самой земле, словно какой-то великан поставил белые березы на колени и велел целовать ему ноги. В конце июня выпал большой снег, и он покалечил лес. Особенно пострадали березы. Кто мог подумать, что среди лета выпадет такой снег? Никто не думал, не ждал, не предполагал… Они пошли в тайгу налегке, потому что на дворе стояла жара. Вышли в одних рубахах. И три дня собирали кедровые орехи, осенью упавшие наземь и перезимовавшие под снежным пологом. Три дня собирали орехи. Много набрали. И это были хорошие орехи. Хорошие деньги. И ребята радовались. Сергей и Валерий. Обоим по семнадцать. Радовались самостоятельности, так как с нее, должно быть, и начинается человек… Лето было в самом разгаре, и дни стояли удушливо-знойные. А затем пошел снег. Сперва несмело, легкими пушинками. И тут к ним пришел Любомудров — их бывший учитель. Он сказал, что надо идти домой. А они хотели переждать, пока сойдет слякоть, потому что до дома несколько десятков километров. Неужто они испугались такой дороги, спросил Любомудров — бывший их учитель. Они утратили недавно обретенную самостоятельность и пошли за бывшим своим учителем в Алыгджер, до которого было несколько десятков километров. Шли, стиснув зубы, промокшие до последней нитки, а снег валил и валил, и с надсадным треском ломались толстые стволы берез, не выдержав тонны снега, осевшего на ветвях… Все имеет свое начало и свой конец. Выдержка человека — тоже. Ребята не могли идти дальше. Они просили своего бывшего учителя: «Остановимся, разведем большой костер и будем ждать. Ведь всему бывает конец. Наступит конец и слякоти». Любомудров не слушал их. У него еще были силы. Он оставил ребят и пошел в Алыгджер. Один. Их бывший учитель… Ушел. Любомудров — красивая, осмысленная

фамилия… А ночью в Алыгджер приполз Сергей. Семнадцатилетний Сергей приполз в деревню и целый час не мог выговорить ни слова. Он пытался что-то сказать, мычал, как немой, но никто его не понял. И тогда парень заплакал. Он плакал, мычал, и люди думали, что он повредился в уме. Его поили горячим чаем, растирали все тело спиртом, а он все мычал что-то непонятное, и крупные слезы катились по его щекам. Спустя час он выговорил первые слова. Вернее, он повторял эти слова все время, но никто не мог их понять. То были простые слова. Сергей сказал, что в тайге остался Валерий. Без костра. Один. Без огня, без спичек. В рубашке. Люди всю ночь блуждали по тайге. Мокрый снег успел засыпать следы Сергея, и люди искали вслепую, полагаясь на такое же слепое счастье. Валерия нашли уже на рассвете. Он был мертв. Сидел, прислонившись к лиственнице, скорчившись и уронив на колени неживую голову… Если бы Любомудров не покинул их или, придя в деревню, сказал людям, — Валерий не сидел бы под лиственницей, уронив на колени неживую голову. Однако бывший учитель Валерия пришел и никому ничего не сказал. А на другой день было уже поздно, потому что рано утром люди нашли Валерия мертвым. Любомудров собрался уезжать из Алыгджера. Он понял, что здесь ему нет места. Он хотел уехать и делал все, чтобы как можно быстрее покинуть Алыгджер. Однако кто-то встал у него на пути. Кто-то стрелял в него. Два раза. Одна пуля прошла навылет в нескольких пальцах от сердца. Мертвецы не стреляют. Мертвый может ходить за тобой по пятам, ни днем, ни ночью не оставляя тебя одного, он может приходить в твои сны, может смеяться или плакать у твоего изголовья, но стрелять ему уже не дано. Стреляют живые. И эти две пули послал живой… Любомудров уехал. Его доставили самолетом в Нижнеудинск. Он долго лежал в больнице и выздоровел, но в Алыгджер не вернулся. В Алыгджер прилетел следователь. Кое-кто принял меня за следователя. Но я не следователь. Он приехал днем позже.

— Сядем, подождем их, — вдруг говорит идущий впереди меня Унгуштаев. Он устраивается под ветвистым кедром, садится на переплетенные, выступающие из земли корявые корни дерева и привязывает собак — черного Таракана и светлошерстую Роську. Собаки совсем еще молодые, ни разу не бывавшие на охоте, никто не водил их в тайгу, и они с удивлением смотрят на своего хозяина, с любопытством глядят по сторонам, наставив уши, прислушиваются к каждому шороху, и на мордах у них выражение крайней озабоченности. Не меньше их озабочен и Унгуштаев. Он курит и старается не показать виду, но и его выдает лицо, и он прислушивается к каждому звуку. Я понимаю

его. Скоро ночь, мы очутились далеко от деревни, без спальных мешков, без теплой одежды, так как вся поклажа на оленях, а их все нет и нет. Забираться глубже в тайгу рискованно — ночи сейчас холодные и долгие. Отсюда еще можно вернуться, если не дождемся товарищей. Пускай даже за полночь придем домой, но спать будем в тепле. Думаю, что такие мысли бродят в голове старого Унгуштаева, потому что проходит полчаса, час, а мы по-прежнему сидим, ждем. Наконец-то! Светлошерстая Роська и черный Таракан ощетинились, залаяли, и мы увидели мелькающих за деревьями серых оленей. Впереди ехал Василий, за ним — Варвара, сзади — четыре тяжело навьюченных оленя, а в хвосте каравана, держа на поводке собаку, вышагивал высокий тоф. Унгуштаев что-то сказал им по-своему, но кавалькада не остановилась. Мы двинулись следом. Я шел замыкающим и лишь время от времени замечал, что происходит в голове процессии. Оттуда доносились какие-то возгласы. Похоже было, что Василий ругается с женой, потому что она несколько раз пыталась повернуть своего оленя назад, но муж удерживал ее. И старый Унгуштаев что-то кричал женщине, но я, конечно, ничего не мог понять. Только высокий тоф шел молча, не вмешиваясь, время от времени подгоняя вьючного оленя, когда тот начинал отставать. Где-то я уже встречал этого человека. Где? Когда? В Алыгджере? Разумеется, в Алыгджере. Но где и при каких обстоятельствах? Где я видел эти сутуловатые плечи, эту переваливающуюся походку? И вдруг, случайно взглянув на его руку, которая держала собачий поводок, я все вспомнил, потому что на руке не хватало одного пальца. Вместо указательного пальца бугрился корявый шрам. Эта рука стучала по столу бухгалтера охотничьего хозяйства.

— Зачем платишь за голую бумагу! — кричал высокий тоф.

— Что ты хочешь? — ничего не мог понять бухгалтер.

— Я ничего не хочу. Но почему ты платишь за голую бумагу?

— Это квитанция, — сказал бухгалтер.

— Она голая. Орехов нет. Голая квитанция, понимаешь?

Все смеялись. Как бумага может быть голой! Бумага есть бумага. Никто ей шубы не шьет. Смешно звучит — голая квитанция. Потому все и смеются. А высокий тоф пошел объясняться с директором Жернаковым: почему хозяйство оплачивает голую квитанцию, за которой не прячется ни одного орешка. Он так и сказал — не прячется. А может, директор заодно с теми, кто сует к оплате голые квитанции? Лицо Жернакова побагровело. Оно всегда красное, но в ту минуту так и налилось кровью. Что за чушь?! А после выяснилось, что не чушь, а чистая правда. Квитанция в самом деле была «голой». Дело в том, что на

время сбора орехов хозяйство приглашает людей и со стороны, заключает с ними договоры, отправляет в тайгу. Сколько соберет человек — столько ему и заплатят. Чаще всего орехи остаются в тайге. Сборщики оставляют их там, получают квитанцию и возвращаются в деревню, где берут расчет. А на сей раз хотели смошенничать. Они взяли и квитанцию и орехи. Орехи сдали в потребкооперацию, а квитанцию понесли в бухгалтерию охотничьего хозяйства. Для оплаты. Дескать, орехи в тайге остались, вы их вывезете, а нам оплатите, что положено. Чуть ли не тонна орехов! По семьдесят копеек за килограмм. Сумма!

Там, во главе отряда, опять задержка. Олени остановились. Я огляделся. Мы находимся в ущелье. Где-то неподалеку журчит, бормочет, о чем-то шепчет родник. По обе стороны возвышаются хребты, поросшие вечнозелеными кедрами. Затишье. Ни малейший ветерок не проникает сюда, не нарушает застывший покой леса. За редкими деревьями видны сложенные островерхими пирамидами шесты — остовы когда-то стоявших здесь юрт. Очевидно, люди любят эту поляну, часто выбирают ее для ночлега. Тофалары расседлывают оленей, сгружают скарб, а я беру ведро и иду туда, откуда слышится неумолчный лепет источника. В Саянах родники не такие, как у нас, здесь они как бы небольшие речушки. Где-то в горах выбивается на поверхность земли ключ и катится вниз, с каждым шагом расширяясь, набирая новые силы. В низовьях такие речки сбивают с ног человека, пенясь, катятся через камни. В летнюю жару в этих источниках водится рыба. Особенно много бывает хариуса, и нередко люди ловят его руками. Но сейчас не лето. Края журчащего источника уже подернулись белой ледяной коркой. Я набираю ведро хрустальной воды и возвращаюсь в лагерь. А тут шум, гам. Василий что-то сердито выговаривает жене. Старый Унгуштаев устраивает «выволочку» черному Таракану. Оказывается, Варвара распаковала вьюк и положила все на землю, а Таракан подкрался к банке с топленым маслом и сожрал часть. Теперь старый Унгуштаев «учит» Таракана. Он подтаскивает собаку за холку к банке, тычет носом в масло, а затем лупит и приговаривает:

— Будешь знать, что нельзя.

Высокий тофалар советует:

— Ты его морду подольше в масле держи, а то даже лизнуть не успевает. Он, бедняга, думает: бей, лупи меня, только морду из масла не вытаскивай.

Старый Унгуштаев понимает, что над ним подтрунивают, но продолжает свое дело до тех пор, пока Таракан не начинает упираться всеми четырьмя лапами, когда его тащат к банке, визжит, воет, вырывается из цепких рук хозяина, словно в банке

не масло, а горячие уголья. Затем старый Унгуштаев привязывает собаку к дереву, и я вижу, как трясутся руки старика. У него очень доброе сердце, так что экзекуция, должно быть, стоила ему не меньше, чем Таракану. И всем неприятно смотреть на побитую, скорчившуюся клубком, дрожащую собачонку. Одной Варваре весело. Она без умолку тараторит что-то по-тофски, пытается даже петь, но муж одергивает ее. Только тут я понимаю, что женщина под хмельком. Вот почему они так долго нас догоняли, вот почему Василий все время воевал с женой. Ему и теперь не по себе, неловко глядеть на суетящуюся у костра и не совсем твердо держащуюся на ногах Варвару. Он, конечно, любит жену и старается по возможности сгладить ее выходки. И грустно и смешно смотреть на них.

— Значит, доставил самолет чертово зелье? — спрашиваю я, как бы валя всю вину на авиацию, которая подкинула спиртное и сбила Варвару с истинного пути.

— Нет, — хмуро отвечает Василий.

— А-а-а, — тяну я, и он, прочитав мои мысли, тут же начинает рыться в вещах и вынимает бутылку спирта, которую я вручил ему утром, когда навьючивали оленей.

— Как же так?..

— Потому и ругаю дуру, — вздыхает Василий. — Где голова у бабы — пить духи? И еще какие — «Красную Москву»?! Пять двадцать бутылка… Какая там бутылка! Пузырек. Два глотка, и пяти рублей как не бывало. Еще рубль прибавить, и литр водки…

— А где ее взять?! — прерывает мужа Варвара.

Мне и смешно, и грустно, и досадно.

Досадует и старый Унгуштаев. Ведь там, в районном центре, знают, что от века у тофов такая традиция: уходишь белковать — отпраздную, знают, что в деревне спиртного нет уже несколько месяцев и в таких случаях люди не брезгуют одеколоном, хватают духи, пьют всякую дрянь, которая хоть немного пьянит, придает хоть каплю тепла и веселости. Всё знают в районном центре, но ничего не делают. Этак они, видите ли, с алкоголизмом борются. Он, старый Унгуштаев, председатель сельсовета, не раз доказывал, что нехорошо, неправильно поступают там, в районном центре. Так не отучишь от питья, когда все склады завалены одеколоном и духами. Ого, сколько Алыгджер потребляет этого товара! На приличный город хватит. Можно подумать, что в заброшенной деревушке живут сплошь франты и щеголихи, — столько уходит парфюмерии.

Высокий тофалар не вмешивается в разговор. Он неразговорчив. Сидит, поджав под себя ноги, подбрасывает хворост в костер и молчит. Неизвестно, слышит ли вообще, о чем

мы говорим. Кажется, он весь ушел в свои мысли, которые витают где-то далеко…

— Мой брат Петр, — говорит Василий.

Мы пожимаем руки.

— С нами пойдете? — спрашиваю я.

— Нет.

— Он только до оленьего стада с нами. А там возьмет оленей и поедет своей дорогой, — объясняет Василий за брата.

— Один?

— Я всю жизнь один, — говорит Петр, и от его слов веет холодом. С какой-то особенной интонацией сказал он «всю жизнь один», словно каждое слово топором отрубая или выдалбливая резцом на камне. Тяжелые, каменные слова.

Вдруг начинают лаять собаки. Их много в нашем таборе. Пять. Роська и Таракан старого Унгуштаева, Тобик Петра и Саян да Верный Василия. Кстати, Верный, который куплен на мои деньги, никакой особой верности мне не выказывает. Ее ровно столько, сколько хлеба в моем кармане. Кончается хлеб, кончается и его верность. Теперь вся эта свора лает, раздирая лесную тишь. Не отстает и Таракан, очевидно уже очухавшийся после выволочки. Вскоре на нашу поляну выбегают две лохматые собаки, а за ними появляются и люди, ведя в поводу груженых оленей. Впереди, опираясь на палку, вышагивает тот самый старик, который жаловался Унгуштаеву, что ему не дают оленей, не пускают охотиться на белку. Егор Андалаев. Он идет неспешным шагом, прямой, подтянутый. Серый капюшон плаща сполз на плечи, открыл белоснежную голову старика. Белая голова, длиннополый плащ и сучковатая палка, на которую опирается старый Егор, — все это производит странное впечатление, как будто он явился из сказки, где водился с колдунами и лешими. Старика сопровождают молодая женщина и мужчина, вовсе не похожий на тофа.

— Зять, — говорит Унгуштаев, видя мой вопросительный взгляд. Оказывается, он — русский. А жена — дочь старика — тофаларка. Прибывшие здороваются с нами и устраиваются поблизости, собираясь здесь ночевать. Старик сидит на вьюке, а молодые таскают воду, дрова, разжигают костер. Через несколько минут опять лают собаки, и новая вереница выходит из лесу. Мужчина и две женщины. Все тофы. Эти также располагаются рядом с нами. Вспыхивает еще один костер. Наши рассыпались по стоянкам пришельцев. Только мы с Петром сидим у своего костра. Он, кажется, не видит их. Сидит, все такой же неразговорчивый, замкнутый, словно обособившийся от всех, не отрывая глаз от огня, который лижет трескучие сучья

лиственницы.

— Сколько лет старику? — спрашиваю я, желая расшевелить Петра.

— Восемьдесят.

— И собрался охотиться?

Петр молчит, не отвечает на мой вопрос, как бы говоря своим молчанием: «Зачем спрашивать о том, что ясно и без вопросов?» Именно так я понимаю его молчание и пытаюсь подъехать с другого бока:

— Далеко его охотничьи угодья?

— Четыре дня пути, — говорит Петр и снова молчит.

Разговор явно не клеится. Несмотря на мои старанья, он напоминает костер, сложенный из мокрых дров: пока дуешь — они тлеют, время от времени взметнется огонек, но перестанешь дуть — и опять все гаснет, подергивается пеплом. Так и сидим мы с ним у костра, смотрим на огонь, молчим. Я чувствую себя чужим, совершенно чужим среди этих людей, с которыми меня не связывает ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, я даже приблизительно не могу угадать, о чем они там, у соседнего костра, беседуют, о чем думает сидящий рядом со мной Петр, глядя прищуренными глазами на огонь. И хотя я понимаю, что иначе не может быть (в слишком разных условиях мы выросли, слишком разными интересами живем), однако эта отчужденность угнетает меня, как будто я сам в том виноват, не все сделал, чтобы она, проклятая эта отчужденность, растаяла.

Стемнело. Ночь накрыла поляну в ущелье, и только свет костра вырывает небольшой круг, за которым глухая, непроглядная стена. Самые темные, самые черные часы. Потом выйдет луна, разольет свое белесое серебро, а сейчас — самые черные, самые темные часы. Все собираются у нашего костра, на который Василий кладет три толстых лиственничных бревна, — они будут гореть почти всю ночь. Старого Андалаева усаживают на оленьих шкурах. Все называют его дедушкой. Тофалары чтят седину. Когда старик говорит, все почтительно слушают, никто не прервет его, не встанет со своего места, не отойдет прочь. Со старика и начинает путь металлическая кружка с разбавленным спиртом. Даже Варвара притихла при виде старика, стала сдержанней, а может, просто протрезвела. Старик говорит, что и нынче будет охотиться там, где искони охотились он сам, и его отец, и дед. Тофалары всегда строго придерживались своих охотничьих угодий, которые передавались по наследству из поколения в поколение. Отчасти и поныне сохранился этот освященный временем обычай: мы тоже направляемся на участок, некогда принадлежавший родителям и дедам Василия и Петра.

Петр чем-то занят. Сооружает из струганых палочек нечто вроде алтаря, увешивает его разноцветными матерчатыми лоскутками, крохотными лентами, кладет на дощечку кусочек дерна и разжигает на нем миниатюрный костер. Когда кружка со спиртом доходит до Петра, он стряхивает несколько капель на свой алтарь, туда же кладет кусочек хлеба, щепотку соли, крошит говяжьи консервы. Потом выпивает спирт и говорит мне:

— Так делали наши отцы… Так делали все тофалары, прося у добрых духов удачной охоты.

Затем он, раскачиваясь взад-вперед, начинает длинную речь, которая напоминает мне молитву, так как в ней часто повторяется одно и то же слово. Выяснилось, однако, что это вовсе не «духовное», а самое обыкновенное слово — «дай». Петр просит дать ему много белок, дать соболей, дать благородных оленей, дать кабаргу, дать горностаев и дать куниц, дать лесных птиц и дать медведей. Он просит всего, а добрый дух выслушает и решит, чего и сколько дать этому охотнику, который его не забывает. Я смотрю на Петра и не могу понять, то ли он от чистого сердца исполняет этот обряд, то ли просто демонстрирует мне старинный тофаларский обычай. Однако в его движениях, в выражении его лица, в скрипучем, простуженном голосе столько экстаза и таинственного волнения, что невольно начинает казаться, будто за пределами освещенного костром круга, в ночной тьме, собрались лесные духи, которые желают охотнику не только добра. Коль скоро существуют добрые, значит, должны быть и злые духи, иначе добрым будет не с кем бороться и невозможно доказать, что они действительно добрые духи. Там, за кругом света, в черной ночи, кажется, реет сонмище духов, и, разумеется, далеко не все из них добрые, не все… Петр говорит с ними, а мы прислушиваемся к его словам, похожим на молитву. Слушает и седой старик, протянув ладони к теплому костру, поджав под себя ноги. Еще четыре дня предстоит ему ковылять по тайге, опираясь на палку. Четыре дня пути до охотничьих угодий и много дней кочевой жизни там, а старику уже восемьдесят. Многие говорят Егору: «Зачем идешь? Сиди дома». Не понимают они старика. Ничего не понимают. Им не понять даже такой простой вещи, что как раз домой-то и пошел старик. Его дом — тайга. Вовсе не деревня, как думают многие, а тайга его настоящий дом. Деревня — временное пристанище. Он живет там, по многу дней живет в деревушке, но каждый день скучает о своем родном доме. Все они скучают по тайге, только она — их настоящий дом, которого не заменит никакая деревня, никакая, пусть даже самая прекрасная изба. Они скучают не по какому-либо роднику или одному, строго очерченному месту, а

ждут встречи сразу со всеми родниками, речками, со всеми хребтами и ущельями, со всей неизмеримой, бескрайней тайгой. У них нет привязанности к определенному месту, обнесенному изгородью из длинных шестов. Они не знают этого чувства. Только их детям знакома эта болезнь оседлости и тоска по дому с четырьмя стенами, с окнами и крышей, которая заслоняет звезды. Они, старые тофалары, томятся в четырех стенах, потому что там, говорят они, не видно звезд, когда спишь… Спишь и не видишь звезд… Я лежу в спальном мешке, смотрю в усеянное звездами небо, на вершины хребтов, залитые серебряным светом луны, и думаю о человеке и природе. Человек и природа. Общение человека с природой, их близость. Последнее время об этом немало говорят, пишут. И в этом хоре голосов слышатся грустные, горькие интонации: отдалясь от природы, человечество утеряло нечто дорогое, очень нужное, ничем не заменимое и не восполнимое. Очевидно, это так, но мы уже бессильны что-либо изменить на этом пути отчуждения человека и природы, потому что цивилизация и природа — два непримиримых врага. Люди понимают это и ищут пути для нового сближения с матерью-природой. Удастся ли это нам, людям цивилизованного века? Не знаю. Тем более что даже здесь, в Саянах, идет все тот же неумолимый процесс отчуждения, пусть и не столь заметно, как в иных местах. Увы, молодое поколение тофаларов скучает уже не по тайге, а по отапливаемому дому, для них уже не имеет значения то, что они «спят и не видят звезд», и в своем настоящем доме — природе — они всего лишь беззаботные гости… Я лежу в спальном мешке, смотрю в звездное небо, слушаю, как общается с добрыми духами Петр, вижу, как тянет руки к костру седоголовый Андалаев, как все они, будто зачарованные, не в силах оторвать взгляда от играющего пламени… Пройдет время, и опять будет белкованье, и опять будут гореть в тайге костры, но все это будет иным… Совсем иным. А пройдет еще какое-то время, и здесь, в Тофаларии, должно быть, тоже появятся плакаты, призывающие любить природу, разъясняющие, что природа — друг человека… Зажмурившись, я вижу Литву, шумят у меня в ушах деревья Лабаноро-Баранавских лесов, я слышу их скрипучие, жалобные голоса и, кажется, снова иду по берегу быстрой, извилистой Пяршокшны. . . . . .

В лесу еще лежит снег. Вдоль дороги текут, бегут талые воды, большак давно уже потемнел, и бесчисленные его горбины успели высохнуть, но отойди на шаг в сторону — и очутишься в снегу по колено. Еще много снега в лесу. Еще держатся ледяные оковы озер. Они продержатся еще и неделю, и две. Лишь Пяршокшна

поет весело и беспечно. Вот мы и направляемся к этой звонкой речке, где на быстрине и в темных омутах молнией мелькает форель. Вытащишь ее, бросишь на ноздреватый снег, а она играет всеми цветами радуги, переворачивается с боку на бок, и тобой овладевает странное чувство… Рыба на снегу. Пестрая форель на белом снегу… Потом мы заходим на одинокий хутор на берегу Пяршокшны. Усадьба, а рядом с ней — высокое дерево с водруженным на него колесом, где ранней весной трещат клювами аисты. Хозяин всегда встречает нас как своих. Не как гостей — с распростертыми объятиями, а как своих — тихо, сдержанно, и только глаза говорят, как он рад, что миновала еще одна зима, что мы все дождались весны. И как своим показывает он улов — радужных форелей, лежащих в старом корыте. Затем ведет нас в избу, где мы пьем парное молоко, беседуем с его домашними, а хозяин приносит с сеновала душистое сено, сохранившее запах прошлогоднего лета, бросает на пол и укладывает нас. А наутро мы уходим, удаляемся по берегу Пяршокшны, и старый крестьянин провожает нас грустным взглядом, зная, что встретимся не скоро, только будущей весной, когда из теплых стран вернутся аисты. Так было много весен подряд, и мы привыкли к этому празднику. Но однажды весной застали старика одного. Все домочадцы перебрались в город, «поближе к людям». Остались только сам старик, собачонка да живущий за печкой уж, выползавший на середину глиняного пола, чтобы полакать молочка. А следующей весной мы не нашли усадьбы. Остался только фундамент и гнездо аистов на высоком дереве. Пустое гнездо. Мы ночевали под открытым небом на месте бывшей усадьбы, и неизвестно, то ли весенние заморозки, то ли печальные сны заставляли нас ворочаться с боку на бок… Мне снился один из последних могикан литовских пущ, побежденный городом. . . . . .

Утром наш лагерь распался, все разошлись по едва заметным тропинкам, стежкам. Опять мы с Иваном Унгуштаевым первыми покидаем стоянку. Наш путь лежит по берегу бурного ручья, все вверх и вверх. Трудный путь. Чем выше мы подымаемся, тем больше снега. Ноги скользят, проваливаются, и, когда падаешь, будто угодив в капкан, стараешься упасть как можно мягче. Но камень, хоть и покрытый снегом, остается камнем. Болят сбитые колени, изодранные руки. Медленно, упорно завоевываем метр за метром, пока не достигаем вершины хребта, а затем, с таким же упорством сохраняя добытую высоту, долго идем до следующего хребта или нового источника, откуда все начинается сначала: опять метр за метром карабкаемся вверх. В темноте подходим к слиянию двух ручьев и останавливаемся на ночь. Голова

кружится, ноги будто свинцовые, руки тоже отяжелели, стали сонными, равнодушными даже к теплу костра. Все внутри, кажется, выгорело, спеклось, и жажде не будет конца, мне никогда ее не утолить, хотя пью уже пятую или шестую кружку крепкого, душистого чая. Распивая чаи, мы не сразу хватились, что пропали наши собаки. Нет ни Таракана, ни Роськи, ни Саяна. Только рыжий Тобик Петра лежит рядом, облизывая сбитые лапы, да жадно следят за нами голодные глаза Верного. Старый Унгуштаев отходит от костра и кричит:

— Роська! Роська!.. Таракан, Таракан… — Десятки раз кличет он, но тайга поглотила их, нет собак. А без собак нет охоты. Горе, а не охота без собак. Больше проешь и одежды сносишь, чем заработаешь, потому что в тайге без собаки белку трудно найти, а соболя и вовсе не увидишь.

— Роська! Таракан! — тщетно взывает старый Унгуштаев.

Тщетно. Он и сам это понимает. Если собака сразу не прибежала на зов, значит, и не прибежит уже. Видно, собаки махнули хвостом на охоту за белками, на трудную, скудную жизнь в тайге и вернулись в цивилизованный мир, где они выросли, где им полюбился свой угол, где все привычно и ясно, где работа начинается и кончается лаем и никто не станет тебя ругать, что не к месту или не вовремя гавкнул. Наоборот. Похвалят — хороший, мол, сторож дома. Молодые псы. В них еще не проснулась природа. А может, так и не проснется? Ну что ж, им же хуже. Таких собак тофалары не держат. Такие собаки сами себе выносят смертный приговор. Таких собак просто-напросто стреляют. И все.

— Поеду, — говорит старый Унгуштаев и седлает оленя. Мы знаем, куда он собирается. Домой. Если собаки вернулись, возьмет их и снова поведет в тайгу, еще раз попробует разбудить их дикую природу. И перед уходом накажет домашним, чтобы те, ничего не дожидаясь, делали свое дело, буде собаки опять вернутся, бросив хозяина в тайге и не уразумев, что жизнь дана не только для того, чтобы бегать задрав хвост, сладко дремать на солнцепеке да глодать кости. Есть еще в жизни такое слово — работа. Если они этого не поймут — пусть домашние делают свое дело…

Все это старый Унгуштаев говорит, седлая оленя и ни на кого не глядя. Голос у него при этом злой, чужой какой-то. И впрямь чужим голосом говорит старый Унгуштаев, потому что сам он — человек добрый, мягкий. Однажды я случайно застал его за тем, как он ласково гладит собак и разговаривает с ними своим певучим, мягким голосом. Помню, старый Унгуштаев тогда смутился и грубо толкнул, погнал прочь своих четвероногих

друзей, видимо побаиваясь, что такое обращение с собаками может вызвать насмешки. Ведь настоящий таежник должен быть человеком жестким, не признающим никаких сантиментов. Таким, как Петр. Мрачный, неразговорчивый, замкнутый. Потому-то старый Унгуштаев и строит из себя сурового, угрюмого человека. Потому он и пнул сегодня утром Роську, которая была чересчур назойлива — лезла к костру. Пнул потому, что вокруг были люди. А потом я видел, как он переживает и какая неизбывная печаль у него в глазах. Потому он сейчас и едет в Алыгджер, что чувствует себя виноватым. А признаться в этом стыдится. Прикидывается грозным. Я смотрю на него и думаю, почему люди часто делают вид, что они хуже, чем есть на самом деле? И не только в обращении с собаками, но и в тех случаях, когда имеют дело с человеком. Другим человеком… Почему?

Старый Унгуштаев уезжает. Он рассчитывает ночью быть в Алыгджере, а завтра после обеда вернуться. Верхом, может, и управится.

— Возьми ружье! — кричит Петр.

— Зачем?

— Медвежий след видел. Пора спать им, а этот бродит. Возьми ружье.

Старый Унгуштаев закидывает ружье за плечи и верхом на олене скрывается в густеющих сумерках.

— Где вы видели след? — обращаюсь я к Петру.

— Далеко.

— Интересно, почему же он не спит, если им пора?

— Может, голодный, может, раненый, — глядя в костер, бормочет Петр и умолкает. Снова уходит, как улитка, в свою непроницаемую раковину.

— Может, ваш? — пытается разговорить брата Василий, но тот лишь пожимает плечами и молчит.

Меня так и подмывает спросить, что это за «ваш» медведь, но я молчу, не желая показаться излишне любопытным, надоедливым человеком. Тофалары таких не любят. Особенно Петру, кажется, не по душе такие. Но тут мне на выручку приходит Василий. Словно угадав мое желание, он сам начинает:

— Петр собирал в тайге орехи. Не один. Несколько человек их было. Всего неделя, как вернулись. Ну, собирают они орехи, работают, вдруг откуда ни возьмись — медведь! Подошел косолапый, взвалил мешок с орехами на плечи и заковылял в тайгу. Люди так и остались стоять разинув рты. На другой день — снова. Только начали сбивать орехи…

— А как их сбивают? — спросил я и заметил, что Петр покосился на меня, как на неисправимо любопытного человека.

— Просто. Вырезают из дерева кувалду и колотят ею по стволу кедра. Шишки осенью слабо держатся и падают… Ну, сбивают они орехи, стараются, а медведь снова тут как тут: взвалил на спину второй мешок и даже спасибо не сказал! На третий день опять то же самое, на четвертый — снова… Мужики разозлились. Ну, думают, приди еще раз, мы тебе покажем. Утром двое шишки сбивают, а третий с ружьем караулит. Приготовился. Только мишка вылез, он и бахнул. Да не убил. Ранил только…

— Старый патрон был, — не шелохнувшись, вставляет Петр.

— Вот я и говорю, может, тот самый шатается. Раненый в берлогу не ляжет. Опасны такие, злые очень, — закончил Василий.

Мы сидим вокруг костра и молчим. А впереди — длинная ночь. И как я ни устал за день, как ни вымотался, долгая ночь все равно пугает, потому что знаю: проснусь через несколько часов и буду лежать, глядя на звезды, и всякие мысли будут бередить душу, и снова подступит тоска, а вместе с ней и ностальгия. Должно быть, нет тяжелее этих бессонных часов, когда тоска протягивает лапу, а ты лежишь, беспомощный, не в силах что-либо изменить в этом, казалось бы, впустую текущем времени. Так что я, несмотря на усталость, с радостью принимаю приглашение Василия наведаться в гости к леснику, чья заимка стоит в нескольких километрах отсюда, у слияния двух других ручьев. Мы долго бредем по спящей тайге, переходим вброд бормочущие спросонья ручейки, пока не слышим собачий лай. Я уже не удивляюсь, что в кромешной тьме Василий шагает уверенно, не колеблясь, как будто ведет меня по освещенным улицам хорошо знакомого города. Так оно, собственно, и есть. Тайга для него то же самое, что для меня Вильнюс.

Лесник обрадовался нам. Очевидно, и ему не сладко в эти долгие ночные часы. Думаю, и Василий выбрался в гости по той же причине. Все мы люди. У всех у нас есть свои заботы и тревоги, которые не дают покоя в часы бессонницы. Лесник — старый человек. Долгие месяцы живет в тесной избушке, оставив семью в Алыгджере. Мне непонятно, что делать леснику в такой глуши, чем он тут занимается, если лес здесь не требуется охранять, если здесь в открытую, не таясь, рубят для костра громадные деревья. Да и что может он один, если его участок раскинулся более чем на полмиллиона гектаров! Полмиллиона гектаров! А сколько же тогда занимает лесничество? Много. Почти три миллиона гектаров леса входят в тофаларское лесничество. Что же все-таки он делает? Отпускает лесоматериалы, собирает семена. Больше всего работы со сбором семян.

— Так и живем, — говорит он и угощает нас чаем, просит остаться на ночь. Избушка хоть и невелика, но места хватит, все уместимся. Однако мы должны уходить. Я снимаю высохшие портянки, тянусь за кирзовыми сапогами, которые исходят паром перед железной печкой. Мокрые. Лесник смотрит на них и сочувственно качает головой. Дескать, беда с такой обувкой в тайге. Потом нагибается и достает из-под нар совсем еще новые, видно собственной работы, охотничьи сапоги из лосиной кожи, с длинными брезентовыми голенищами. Сапоги легкие, мягкие, в таких можно красться неслышно, как кошка.

— На, носи, — говорит лесник, протягивая их мне. И добавляет, показывая на мои: — В этих пропадешь.

Я от души благодарю старого лесника, а он достает из-под нар какие-то железки, похожие на подковы, только не так изогнуты и с тремя довольно длинными острыми шипами. Он протягивает их мне со словами:

— Бери. Когда будет скользко — привяжешь к сапогам и сможешь лазать по горам, как кошка.

Перед уходом я спрашиваю у старого лесника:

— Что вы делаете один по вечерам?

— А что мне делать? Приберу в избе да сижу у печки. В молодости, бывало, мечтаешь, когда один останешься, а по нынешним годам уже и мечтать-то не о чем. Старость. Все в прошлом. Вот сижу и вспоминаю прошлое.

Мы прощаемся с лесником, снова бредем по спящей тайге. И вдруг Василий говорит:

— Это потому, что у него детей нет.

Я не сразу догадываюсь, что Василий говорит о леснике, о последних его словах. И еще догадываюсь, что Василия гнетут тяжелые мысли. Он немногим моложе лесника, но он мечтает. Ему есть о чем мечтать, потому что у него есть дети. И, видно, мечты помогают ему жить. На его месте, наверно, всякий бы мечтал: Светлана — дочь Василия — душевнобольная. Только чудо может сделать ее полноценным человеком. О таком чуде, должно быть, и мечтает Василий. Несчастная Светлана — главная забота отца, его главная печаль и самая главная мечта. Я видел эту невысокую девушку с блестящими черными глазами, видел, как она, раскрыв старый журнал, целыми часами рассматривает одну и ту же картинку, и отец время от времени подымает на нее глаза, в которых борются отчаяние и надежда.

— Что со Светланой? — спрашиваю я, пробираясь по спящему лесу.

Василий идет впереди, согнувшись, словно несет на ссутуленных плечах свое горе.

— Не знаю, — говорит он и останавливается, поджидая меня. Подточенный диск луны уже поднялся над хребтами и льет холодное серебро. В лунном свете лицо у Василия недоброе. Какое-то мертвенное лицо. — Не знаем. Думали, что менингит… думали, что она еще совсем маленькая менингитом болела, а затем…

— Понимаю, — говорю я.

— Да. Мы-то думали, менингит, а может быть, совсем и другое.

— Что другое?

— Совсем другое, — говорит Василий и, повернувшись, снова идет вперед, неся на ссутуленных плечах свое горе. Я подумал, он так и уйдет, унесет его, не поделившись со мной, но Василий останавливается и говорит: — Боюсь, что это только наша, тофаларская беда. Ни вы, ни русские, ни грузины или узбеки этого не знаете и, наверно, никогда не будете знать.

Больше ничего не сказал. Пошел. Я надеялся, что он снова остановится, скажет что-нибудь еще, но он шел не оборачиваясь, унося на ссутуленных плечах и свою тайну, и беду, словно боясь заразить меня.

Я иду за Василием, стараюсь не отставать, а из головы не идут слова: «Не знаете и, наверно, никогда не будете знать». Чего это мы не знаем и не будем знать? Они, тофалары, знают, а мы, другие народы, никогда не будем знать… И хорошо это или плохо, что не будем знать? Менингит мы знаем, чахотку тоже… Увы, знаем и рак, и инфаркт, и множество других бичей рода человеческого. Так чего ж мы еще не знаем? Какая еще напасть, которую тофы знают и о которой, судя по тону Василия, лучше ничего не знать?

Варвара уже спала. Петр сидел на том же месте, где мы его оставили, и по-прежнему смотрел на костер. Не шелохнулся, не поднял головы, и у меня мелькнула мысль, что, пожалуй, он совсем не нуждался в нашем обществе, даже не заметил нашего отсутствия. О чем он думает, часами глядя, как пламя костра пожирает сухие лиственничные стволы?

— Петр, все тофалары уходят в тайгу с женщинами, у всех жены — охотницы, а ты почему один? — спрашиваю я, желая вызвать его на разговор, хотя бы через узкую щелочку заглянуть в душу этого человека, немножко узнать его. И опять ничего не получается.

— Я всегда один, — говорит он и умолкает, и опять веет холодом от этих слов, словно топором отрубленных или выдолбленных на камне. Тяжелых, каменных слов.

А утром мы с Петром отправляемся охотиться на белок. Иван

Унгуштаев еще не вернулся из Алыгджера. Он приедет после обеда. А без него мы не можем двигаться дальше. Надо ждать старика. Вчера лесник разрешил нам поохотиться в его владениях, и мы с Петром, захватив рыжего Тобика, покидаем лагерь.

И сегодня светит солнце, и сегодня небо голубое и чистое, будто ночью искупалось в лунном роднике. Тепло. По горным склонам лежит снег, берега ручья подернуты ледяной коркой, зима вот-вот покажет свои зубы, но солнце делает свое, и к полудню приходится прятать в рюкзак варежки, вязаную фуфайку и шапку-ушанку. Я иду в одной рубахе, с непокрытой головой и все-таки задыхаюсь от жары. Загонял меня рыжий Тобик. Добрый пес. За такого пса настоящий охотник не только телочку-двухлетку, но и двух коров не пожалеет. Но Петр и не думает с ним расстаться. Потому и не думает, что Тобик — отличный работник. Не успели спустить его с поводка — Тобик скрылся в чаще, а спустя несколько минут мы услыхали хриплый и мощный лай. Бежим. Бежим задыхаясь, не разбирая дороги, спотыкаясь о корни, ветви, падаем, ругаемся, снова вскакиваем и бежим с одной мыслью: только бы успеть, только бы Тобику не надоело нас ждать, только бы не бросил белку и не пустился на поиски другой. Часто бывает, что и хорошую собаку сам охотник портит, не поспевая вовремя на ее лай. Собака думает, что хозяину не нужен этот зверек, и, оставив его, бросается на поиски другого. Несколько таких оплошностей — и нет собаки. Останется сбитый с толку, ни на что не годный пес, которого остается только пристрелить, потому что охотиться с таким невозможно — он лишь подымет белок, распугает их, а ты и не заметишь, на каком дереве они попрятались. Потому-то мы и летим как на пожар, потому и торопимся. Собака должна знать, что хозяин с нетерпением ждет ее голоса и тут же поспешит на помощь, где бы ни был он в эту минуту. И если собака убедится, что охотник всегда следует за ней, — ни за что не бросит загнанного на дерево зверька, хоть целый день придется просидеть под ним.

Запыхавшиеся, мокрые от пота, мы карабкаемся в гору, оступаемся, ползем на четвереньках, снова встаем, пока наконец под высоким кедром не замечаем Тобика. Он сидит в нескольких метрах от дерева и лает, задрав морду. На сухой ветке сидит белка и с любопытством смотрит на собаку. На нас она не обращает ни малейшего внимания. Петр снимает с плеча мелкокалиберку, стреляет. Пуля врезается в дерево рядом с белкой, и я вижу, как отлетает кусочек коры. Белка скачет с ветки на ветку, быстро сбегает по стволу дерева, соскакивает на снег и через мгновение оказывается на другом дереве. Тобик чуть было

не схватил ее за хвост на земле. Я даже слышал, как клацнули зубы пса. Теперь он снова стоит задрав голову и лает. Снова выстрел. И снова мимо. Теперь белка скачет по верхушкам деревьев. Тобик бежит, не спуская с нее глаз, и лает страстно, яростно. Я смотрю, как Петр перезаряжает винтовку, и не выдерживаю:

— Дай-ка я… У меня дробовик…

— Нет, — говорит Петр. — Надо еще ее попугать, чтобы Тобик привык преследовать.

Я не верю ему. Мне кажется, он и сам не верит в свои слова. Промазал, а теперь выдумывает оправдания. Он, должно быть, догадывается, о чем я думаю, потому что смотрит на меня и криво усмехается. Чувствую, что и мое лицо перекосилось в неискренней усмешке. Петр отворачивается и говорит:

— Стреляю в глаз.

Хлопает выстрел, и я вижу, как белка беспомощным пушистым комочком падает вниз, цепляясь за колючие ветви кедра, раздвигая их, ударяясь о них, пока наконец не плюхается в снег. Тобик бросается к ней, но сердитый голос хозяина останавливает собаку:

— Нельзя.

Петр подходит к белке, подымает ее за пушистый хвост, и я вижу — пуля действительно попала в глаз и вышла с другого боку. Петр не обращает на меня внимания, не хвастается метким выстрелом, он дует на беличий мех, разглядывая, успел ли зверек окончательно сбросить летнюю и надеть зимнюю шубу.

— Годится, — говорит он и продевает в пустую глазницу жестяной наконечник кожаного шнурка, нанизывает на него белку, как ребятишки нанизывают на шпагатик рыбу.

А где-то на верху крутого откоса снова раздается лай Тобика. И мы снова бросаемся вперед, хотя я еще не успел отдышаться, сердце колотится после бешеной гонки и, кажется, готово выскочить из груди.

Тобик снова задрал морду к вершине кедра, время от времени гавкает, однако мы, как ни стараемся, не видим белки. Обходим вокруг кедра, со всех сторон осматриваем дерево, не пропуская ни одной ветки, но белки и следа нет. Зимняя шкурка у здешних белок темно-серая, почти что черная, с чуть заметным синеватым отливом, и если зверек притаился где-нибудь среди ветвей, увидеть его трудно. Я слыхал, что в таких случаях охотники берут длинный шест, прижимают один конец у основания дерева, а затем всем шестом бьют по стволу плашмя. Говорят, помогает. Я так и хочу сделать, но Петр машет рукой:

— Не надо. Мы ее по-другому выкурим. — Он подходит к

дереву и предупреждает меня: — Ты смотри!

Я смотрю. Вижу, как Петр грубыми ногтями впивается в кору дерева, как будто хочет сам взобраться на кедр. Он медленно перебирает руками вверх по стволу, скребет кору, и, если прислушаться, похоже, что какое-то живое существо лезет на дерево. Я вижу, как шевелятся ветви и белка стрелой взлетает на самую верхушку — не выдержали нервы у бедняжки: кто его знает, что там за страшилище карабкается! Петр отступает на несколько шагов, вскидывает винтовку, и спустя мгновенье к моим ногам падает мертвая белка. Пуля вошла рядом с глазом. Петр морщится. Он недоволен выстрелом. На спичечную головку от глаза, а он морщится.

А Тобика уже нет. Убежал, умчался, задравши хвост и вывесив длинный язык. Через несколько минут мы снова слышим его голос. Далековато. Чуть ли не под горой. Загоняет он нас до смерти. Но ничего не поделаешь. Такая уж это работа. Спотыкаясь, катимся вниз, съезжаем на заду, хватаемся за кустарники, придерживаемся за деревья и во весь дух несемся на лай, царапая руки, обдирая одежду и только оберегая глаза. Не успел я прийти в себя, еще хватаю воздух разинутым ртом, а Тобик уже зовет опять наверх. Зовет страстно, упорно, и мы, как зачарованные этим голосом, снова карабкаемся вверх, перекатываемся через поваленные деревья, а где не перелезть — проползаем снизу на животе, бежим в обход. Щелкает выстрел, похожий на хлопок бича, и все начинается сначала. Через несколько часов возникает ощущение, что меня пропустили через молотилку. Я не в силах больше гоняться за неустанным псом, не хочу видеть ни его, ни белок, ни кого бы то ни было. За какие грехи я должен это терпеть? Довольно. Набегался по горло. Хватит.

Я сажусь на вывороченное с корнем замшелое дерево и дышу, как рыба, вытащенная из воды. Вижу карабкающегося по склону Петра и окликаю его по имени, чтобы сказать, пусть он меня не ждет, не ищет, потому что с меня хватит — я иду в лагерь. Однако Петр не оборачивается. Я кричу громче, но он и тут не смотрит в мою сторону. Остановился и ждет, видно думает, что я подойду. Я опять кричу, но он как оглох — не шелохнется. Ору во всю глотку, а он не слышит или не отзывается нарочно.. Скорее всего, нарочно. Потому что, когда он снова начинает карабкаться в гору, я отчетливо слышу, как хрустят ветки у него под ногами. Он не может не слышать меня. Ну и черт с ним! Я кричу, что возвращаюсь в лагерь, и провожаю Петра глазами, пока он не скрывается в чаще. Чудак. Попробуй пойми его. Не знаешь, что он чувствует, о чем думает. Действительно чудак.

У костра застаю Варвару, Василия и только что вернувшегося из Алыгджера старого Унгуштаева, утоляющего дорожную жажду душистым чаем. Привязанные к дереву, лежат собаки старика — Роська и Таракан. Старик распекает их, грозится пристрелить, но в глазах у него светится любовь к четвероногим негодникам. Любовь и привязанность.

К вечеру, когда солнце садилось за гребнем горы и казалось громадным золотым куполом, вернулся Петр, увешанный белками. Я спросил, почему он не откликался на зов.

— Когда?

— Когда я звал тебя. Ты слышал, но не отозвался.

Петр сделал вид, будто очень старается, но никак не может вспомнить, когда это было и было ли вообще что-нибудь подобное. Играет. Явно играет. Не может, видите ли, вспомнить! Сдержав досаду, я полушутя рассказываю всем, как драл глотку, орал до посинения, а Петр постоял, постоял да, так ни разу не обернувшись, не откликнувшись, и побрел в чащу. Старый Унгуштаев усмехнулся и уже было открыл рот, желая что-то сказать, но столкнулся со взглядом Петра и осекся, только с лица так и не сошла ехидная улыбка. Я пристал к старику с расспросами, зная, что он скорее язык откусит, чем солжет. Почему Петр молчал? Ведь он действительно слышал меня и не откликнулся. Почему? Я видел, что старик ерзает как на иголках, крутит головой, поглядывает то на меня, то на Петра, а на лице все та же насмешливая улыбочка. Вижу, старик чувствует себя между молотом и наковальней. Трудно старику. Но я не отступаю, жму на него, припираю к стенке своими вопросами, и наконец Унгуштаев сдался. Как бы извиняясь, посмотрел на Петра и сказал:

— Нельзя отзываться.

— Почему?

— Дух.

— Какой дух?

— Злой. Добрый дух никогда не окликнет человека. Только злой. Сидит где-нибудь у тебя на плече или на шапке и орет в ухо, ждет, пока откликнешься. Ты рот разинешь, а он — шмыг в тебя, и кончено. Только и ждет, чтобы ты рот разинул. Он хитрый.

— А что потом?

— Влезет, и все.

— Ну, а после того, как влезет?

— Тогда уж известно что: мучает человека.

Все это старик рассказывает уже почти серьезно. И насмешливая улыбочка постепенно сходит с его лица, уступая место какой-то смущенной, неопределенной гримасе. И Петр

сидит потупя взор, и у него лицо смущенное, будто он — ребенок, который нашалил и ждет строгого наказания, но вдруг сообразил, что наказания не будет, потому что судьи сами чего-то избегают или боятся.

— Чепуха! — говорит Василий. — Помню, я был подростком, мы кочевали с родителями и родителями родителей, охотились и один раз услыхали человека, зовущего на помощь. Бабушка запретила нам отзываться, а родителей рядом не было. Мы все боялись, но любопытство жгло меня, и я пошел на голос. Нашел человека. Заблудившегося охотника. Он уже целую неделю бродил, голодный, оборванный, замерзший. Не подойди я — пропал бы человек.

— Но ты не откликнулся, когда он звал? — спросил Петр.

— Нет. Не откликнулся. Пошел и привел его к нашему стану.

— Вот видишь, — говорит Петр, то ли оправдывая свое молчание, то ли одобряя поступок брата, который спас заблудившегося, но так и не откликнулся на зов, не раскрыл рта…

Стемнело. Вокруг нашего костра собрались духи. Злые и добрые духи, обитающие в этих горах и родниках. Мы переговариваемся негромко, приглушенными голосами. И кажется, я слышу, как общается с духами тофаларский шаман. Его одежда украшена бубенцами, которые звенят при каждом движении шамана, в руках — бубен, который рокочет глухо, как отдаленный гром, и рассыпает мелкую дробь, похожую на клацанье зубов замерзшего человека. Шаман общается с духами. Он ищет союзников среди добрых духов, которые помогут выгнать злого духа, забравшегося в больного, когда тот разинул рот, чтобы отозваться своим детям… И день, и два общается с духами шаман, но злой дух не выходит наружу, не покидает больного, мучает человека, потому что не может ужиться с добрым духом. Наконец выходит. И дети покойника спешат проститься с кормильцем. Один за другим подходят они к отцу и пинают его пяткой в живот, пониже груди, чтобы отца не терзали мысли об осиротевших детях, чтобы отдыхал спокойно, без забот… Затем раздается предсмертный храп любимого оленя покойного, и я, кажется, чувствую сладковатый запах теплой крови, слышу, как стучат топоры, сооружая последнюю домовину для того, кто лежит в гробу, вытесанном топором гробу. Всю жизнь не было дома у покойника, а теперь будет. Топоры сбили его из толстых бревен и поставили на высоких пнях — подальше от земли, по которой бродят звери, хищные, жадные. Закрывают гроб и ставят в бревенчатый домик. Кладут туда и оленину, и седло, и упряжь. Я жду, когда положат в домик и ружье с патронами. Но они не торопятся. Не кладут ни ружья, ни патронов. Видно, забыли. Надо напомнить. И я говорю:

— А ружье?

Они слышат, но ни ружья, ни патронов все равно не кладут. Говорят — не нужно. Как же так: седло, упряжь — нужны, а ружье с патронами не нужно? Не нужно, отвечают они и сами спрашивают меня:

— Ты когда-нибудь стрелял во сне? Вот идешь по лесу, напал на тебя медведь, надо защищаться… Подымешь ружье, а выстрелить не успеешь, потому что проснешься. Да?

Не знаю. Мне не снятся такие сны. Но я понимаю: покойник спит, он будет спать все время, и ему не нужно ружье, потому что спящие не стреляют. Так я понимаю. Не понимаю лишь, зачем спящему седло, упряжь, пища. Это — совсем другое дело, говорят

они. Человеку ведь снится, что он запрягает оленя, седлает, едет верхом, ест? Снится. Ну вот. А когда приходится стрелять, защищаться, когда речь идет о жизни и смерти, — человек просыпается. Так зачем ему ружье? Не нужно ему ни ружья, ни патронов, говорят они, и забивают отверстие водруженного на четырех пнях домика. Потом все присутствующие берут в руки по палочке и трижды обходят вокруг домика, двигаясь против солнца и постукивая по стенам. Так надо. Почему? Надо, и все… Потом разбирают юрты, грузят на оленей свое имущество и покидают это место навеки. Они больше никогда сюда не вернутся, никогда не поставят здесь юрты, не разведут костер, никто никогда не навестит этого домика на пнях, а если ненароком попадет в это место — немедля убирается прочь. Как можно дальше от этого одинокого бревенчатого домика. Живым тут нечего делать. У живых нет никаких дел с мертвыми. Живым надо жить, охотиться, ловить рыбу, и поэтому они никогда сюда не забредут.

Мы сидим у костра, молчим. Мои друзья сидят скрестив ноги и погрузившись в свои мысли, которым я не хочу мешать. Мало ли близких они оставили в таких домиках? Родители, деды и прадеды, братья, сестры… И сейчас они, должно быть, мысленно беседуют с ними. Не следует им мешать. Не надо. Я забираюсь в спальный мешок и смотрю сквозь узкую щелку в небо, густо усеянное яркими звездами…

Не знаю, сколько я спал, но когда проснулся, опять увидел мерцающие звезды. Все спали. Костер тлел, пригасший, дымящийся. Где-то в ночи, за пределами освещенного круга, хрустнула ветка, и я беспокойно поднял голову. Петр. Видно, по дрова ходил: несет охапку сушняка. Стало быть, сейчас около четырех часов утра. Петр всегда в это время просыпается, пьет чай, а затем снова ложится. Однако сегодня чайник кипит, захлебываясь паром, а Петр не спешит приниматься за чаепитие, с чем-то возится у костра. Я, не выдержав, поворачиваюсь на бок и вижу, что Петр нанизал на вертел несколько беличьих тушек и жарит их на огне. Заметив, что я не сплю, он говорит, как бы оправдываясь:

— Мое любимое блюдо.

Поворачивает вертел над пламенем, затем снимает пару белок и кладет их на брезент.

— Дай-ка попробовать, — говорю я.

Узкие глаза Петра расширяются от удивления, и в голосе тоже звучат недоверчивые нотки, когда он спрашивает:

— Будешь есть?

— А почему бы и нет? — говорю я.

Белка обжигает пальцы, и я роняю ее на спальный мешок, дую, стужу, а затем выворачиваю лапку и откусываю. Откусываю, как бы прислушиваясь, и жую, прислушиваясь. Должно быть, каждому приходилось видеть такого едока, который пробует незнакомое блюдо и как бы прислушивается, наставив уши. Вот так, наверно, выгляжу и я сейчас. Впрочем, ничего опасного «не слышу». Мясо белое и напоминает кроличье. Чуть-чуть сластит. И что-то еще, чего не могу разобрать с первого куска. Откусываю еще раз и сразу понимаю, что жаркое отдает кедровыми орехами, словно вымоченное в специальном соусе. Ясно, что ничего подобного Петр не делал. Белка всю осень питается орехами, отсюда и запах. Вкусно. В самом деле вкусно. Я уже смело кусаю и жую, ни к чему не прислушиваясь. Петр смотрит на меня и улыбается. Доволен.

— Чертовски вкусно, — говорю я. — Объеденье!

Лицо Петра похоже на смазанную жиром сковородку, — такая широкая на нем расплывается, блестит улыбка.

— Моя любимая еда, — повторяет он и еще шире улыбается.

— Дай-ка еще.

— Бери, — говорит Петр, сам не свой от радости, что я не погнушался его любимым блюдом, не побрезгал, уплетаю за обе щеки. Совсем другой человек передо мной. Куда-то исчез, испарился холод, которым постоянно веяло от его слов, от обращения. Растаяла невидимая ледяная стена, разделявшая нас все эти дни. Она, эта стена, томила меня, я неизменно чувствовал ее, тщетно выискивая брешь, через которую мы могли бы сблизиться, и, по правде сказать, уже было потерял надежду. И вдруг все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Петр со своими жареными белками перебирается поближе, чтобы я, не вылезая из спального мешка, мог дотянуться и до них, и до насыпанной на клочке бумаги соли. Сидим, почти прижавшись друг к другу, хрустим косточками и разговариваем, как никогда прежде. Точнее, говорит Петр. Он рассказывает, что не слишком далеко отсюда течет ручей, у которого он пятьдесят с лишним лет назад родился. Много было в семье детей, да не многие выросли. Смерть косила их, даже не дав им подрасти. Петр рассказывает, сколько раньше в этих местах водилось зверя, как их семья охотилась, как проводила долгие студеные зимы. Вот и нынче он идет в родные места. Возьмет оленей и отправится к тому ручью, у которого родился, вдоль которого от века тянулись охотничьи угодья их семьи.

— Почему ты один? — спрашиваю я.

— Я всю жизнь один, — снова отвечает Петр, но теперь в его словах нет того холода, что был раньше. Теперь мне уже не

кажется, будто это тяжелые, каменные слова, отрубленные топором или выдолбленные на камне. Теперь я чувствую в них простую человеческую тоску.

— Почему ты не взял жену, Петр?

— Жену?

— Да.

Он перестает жевать и молчит. Я вижу, как меняется его лицо, гаснет, словно подернувшись серым пеплом. Напрасно я затронул эту тему, если она так резко меняет лицо человека, гонит прочь улыбку и накладывает тяжелый, серый налет горя.

— А что такое кровосмешение, ты знаешь? — не подымая головы, тихо спрашивает Петр.

Да, я знаю. Точнее говоря, слыхал, что значит слово «кровосмешение». Мне не приходилось с этим сталкиваться, и я не могу утверждать, что знаю. Мы все не внаем. Это знают только они, тофалары. Четыре сотни тофаларов живут на земле, и они знают, что такое кровосмешение, потому что оно висит над ними, как дамоклов меч. Ты любишь девушку, но не можешь на ней жениться. Никто не запрещает — женись, пожалуйста, но ты все равно не женишься, потому что в жилах и у тебя и у твоей избранницы течет кровь одних и тех же предков. В старину было пять родов. Пять родов тофаларов. Время перемешало их. Время прореживало тофов, как землистые руки огородника прореживают ростки, оставляя самые сильные. Время принесло угрозу кровосмешения. Отыщется ли хоть один человек на земле, который захочет жениться, заранее зная, что от этого брака могут родиться на свет несчастные инвалиды? Теперь я понимаю, что имел в виду Василий, когда, пробираясь ночью через спящий лес, сказал: «Вы никогда этого не знали и, наверно, не будете знать». Человечество знает много хороших вещей, оно далеко ушло по пути цивилизации, у него есть лекарства, которые приносят сон и заглушают боль, но перед кровосмешением оно бессильно.

— Так ты из-за этого, Петр? — спрашиваю я.

Он долго молчит. Так долго и тяжело молчит, что эта тишина становится невыносимой.

— Да, — наконец говорит он и, помолчав, добавляет: — Из-за этого. Есть и другие причины… Все бывает. Но главное — из-за этого.

Он встает и отходит от костра, исчезает в непроглядной тьме, а затем я слышу, как сердито трещит хворост. Может быть, и не хворост даже, а маленькие сухие лиственницы, которые ломаются с треском выстрелов. Вернувшись, Петр подбрасывает в костер охапку сушняка и говорит:

— Так плохо и этак нехорошо. И без того не много тофов

осталось, а я пустоцветом прожил, не оставил потомства. А взял бы жену другой нации — все равно бы дети тофами не выросли. Кем угодно, только не тофами…

Я утешаю его, говорю, что не вижу такой опасности, потому что у многих тофаларов растет здоровое, многочисленное потомство, что дети вырастут и продлят тофаларский род, а после — дети их детей, так что не следует особенно расстраиваться. Но все это слова. Они не в состоянии развеселить Петра, развеять его мрачные мысли, а тем более изменить что-либо в этом неравном поединке тофаларов с временем. Не лучше ли помолчать? Не лучше ли помолчать, вместо того чтобы лицемерить?

— Пойду, может, изюбра подкараулю, — говорит Петр. — Днем за белкой охотился и видел след большого самца. Может, придет на зов.

Петр берет карабин, горсть патронов и длинный деревянный манок, обмотанный лентами бересты. Этим манком подзывают изюбра — восточносибирского оленя. Я не раз слыхал о такой охоте. Хотелось бы и самому попытать счастья: услышать, как этот могиканин Тофаларии будет зазывать зверя, подражая его реву, увидеть своими глазами лесного красавца, который покидает чащу, чтобы встретиться с соперником, отбить у него самку. Говорят, эти сражения за право на любовь бывают кровавы и безжалостны. Нередко схватка заканчивается смертью одного из соперников, а иной раз погибают оба, сцепившись намертво ветвистыми рогами и не в силах разъединиться. Умирают голодной смертью. Мне очень хочется пойти с Петром, но он не зовет меня, и я не смею напрашиваться, понимая, что он не столько на охоту рвется, сколько хочет побыть наедине. Иначе сам бы меня позвал. Но он уходит, закинув за плечо карабин. Ночь смыкается за ним, а я сижу в своем спальном мешке и знаю, что уже не смогу заснуть, до утра буду ворочаться с боку на бок, не в силах отогнать печальные мысли. Я и не гоню их. Думаю об одиночестве Петра и о дочери Василия Светлане, девушке с блестящими черными глазами, о старом Унгуштаеве, который мирно спит рядом со мной, а пятеро его детей разбрелись по свету, покинули Тофаларию в поисках иной жизни и, может быть, подходящих для этой жизни друзей и подруг… И еще я думаю о Литве, об исчезнувших пруссах и ятвягах, о селонах. И радуюсь, что не пять родов, а жемайтийцы и аукштайтийцы, дзуки и сувалкийцы живут в моем крае, на моей маленькой и в то же время большой, дышащей полной грудью земле. О многом думаю я, глядя на искрящийся жар костра, как вдруг в лунном свете возникает резкий, тоскливый голос. Если бы я не знал, куда и

зачем пошел Петр, я бы не колеблясь решил, что это ревет стосковавшийся по любви изюбр. Но я знаю, куда пошел Петр, и знаю, что это его манок пронизал серебристую тишину. Пронзительный и мощный крик с болью прорезал ночь, прокатился по горам, волнами пробежал по зубчатым верхушкам тайги. Еще раз и еще, еще… Он пробирает меня насквозь, я уже не думаю о звере. Мне кажется, это кричит сам Петр, его боль раздирает ночь. И вместе с тоской, вместе с безнадежным зовом в этом звуке нетрудно уловить гордые, вызывающие ноты, словно два противоречивых чувства — безнадежная тоска и гордость — борются друг с другом, как сцепившиеся рогами звери.

— А? — подымает голову Василий. Его разбудил этот зов, от которого мурашки бегут по телу.

— Петр, — объясняю я.

Василий прислушивается, заспанно чмокает губами и снова говорит:

— Не находит себе места, шатун. Какие сейчас изюбры? Отпели свое.

И я знаю, что это не изюбр. И я знаю, что они уже отпраздновали свои свадьбы. И знаю, что Петр никого не убьет сейчас, ибо то, за чем он пошел, не убить никакой пулей.

А утром, во время завтрака, Василий посмеивается над братом — какой, дескать, он охотник, ежели в такую пору норовит подманить изюбра. Петр не отвечает, даже не пытается возразить. Сидит скрестив ноги, прихлебывает горячий чай и смотрит в костер, как бы ничего не слыша. Это снова тот же Петр, который был для меня загадкой, произносил каменные слова — я всю жизнь один.

Потом начались дни, похожие друг на друга, как оголенные, оставшиеся без хвои лиственницы. Мы бродили по тайге, делали ежедневно десятки километров, гоняясь за белками, ночевали у костра под открытым небом, пока не пришли к слиянию двух ручьев, где стояла избушка из неотесанных бревен. Правда, в ней не было печки, и мы поставили юрту, в которой день и ночь горел огонь. Здесь, на высоте почти двух тысяч метров, постоянно бушевали ветры, и мы воткнули в землю десяток длинных шестов и обтянули их брезентом, оставив вверху отверстие для дыма. Недалеко от нашей стоянки бродили прирученные олени. Они часто подходили к юрте, и мы угощали их солью. Были среди них молодые олешки-первогодки, никогда не видевшие собаки. Они были не в меру любопытны и совали свои влажные, бархатные морды куда надо и не надо, но больше всего интересовались собаками. Приходил и старый, больной олень. В конце лета он работал в тайге, таскал мешки с орехами, и люди, видно,

перестарались, заморили оленя. Передвигался он медленно, вздрагивая, словно боясь чего-то. Особенно трудно ему было ложиться и вставать. Он подолгу выбирал себе место, вздыхал, точно человек, пытался опуститься на колени, но подгибавшиеся ноги дрожали, он весь шатался и, не выдержав собственного веса, как подкошенный падал наземь. Петр смотрел на оленя и тоже вздыхал.

Жили мы сытно. Мяса — вволю. И нам, и всем собакам хватало, потому что каждый день охотились. Все рассыпались по тайге и возвращались в сумерках, принося по двадцать, тридцать, а то и сорок белок. Непревзойденным стрелком был Петр. Ни разу не принес меньше тридцати белок. Я же охотился неподалеку от лагеря, беря в помощники Таракана. Частыми подачками я приручил его, да и сам привязался к этому четвероногому созданию. И был очень рад, когда он довольно быстро понял, чего от него хотят, стал прекрасно работать, даже не подозревая, что его жизнь висела на волоске. Теперь, конечно, Таракана никто не убьет. Таракан — работник. Не то что Верный, которому это имя пристало как корове седло. Василий брал его на охоту, надеялся сделать из него настоящего охотничьего пса, а он оставлял хозяина в тайге и мчался обратно в лагерь, все вынюхивая кругом, рассчитывая урвать кусок полакомее. Варвара кричала на него, грозила палкой, гнала в тайгу к хозяину, но Верный был верен себе — он сторожил горшки. Варвара не выдержала и пристрелила пса.

— Так и не понял, дурень, зачем живет, — сказала она, как о человеке.

Обычно я возвращался с охоты раньше других, брал топор и отправлялся на поиски смолистого сушняка. Щепал охапки лучины, и весь долгий вечер нам было светло. А вечера, как и дни, были похожи друг на друга. Охотники ели, отдыхали, выкуривали по самокрутке и принимались сдирать беличьи шкурки. Разрежут шкурку меж задних ног, оголят их, потом закусят зубами, а руками возьмутся за шкурку и одним махом стянут ее, как чулок, до самой головы. Потом кожицу скоблят, очищают от жира, а тушку бросают в угол, где вырастает большая груда. И хотя я видел это изо дня в день, но так и не мог привыкнуть. Каждый раз при виде этой груды у меня возникали гнетущие ассоциации. Мне не приходилось бывать ни в Освенциме, ни в Бухенвальде, я никогда не видел человеческие трупы, сваленные в кучи, но, когда я смотрел на ободранных белок, мне всегда становилось не по себе. За полночь, а то и позже сдирались последние шкурки и, нанизанные на ремешки, сохли по стенам юрты.

Наконец наступил день, когда мне надо было возвращаться в Алыгджер, а Петру отправляться в глубь тайги. Он с утра оседлал оленя, навьючил на двух других свой нехитрый скарб и уехал. Прощаясь, я спросил его, не нужно ли ему чего-нибудь, не могу ли я быть чем-либо ему полезен и прислать по почте то, чего нельзя достать в Алыгджере. Василий просил батарейный фонарик и лампочку, старый Унгуштаев — яблок, а чего хотел бы он, Петр?

— Рому. Никогда не пробовал ром, — помедлив, сказал он и уехал.

Однако через несколько часов Петр вернулся. Оказывается, старый больной олень увязался за ним. Петр вначале не мог догадаться, что происходит, — он понукает, гонит своего оленя, бьет каблуками по брюху, но тот сделает несколько шагов и останавливается, поворачивает морду назад, будто хочет своими печальными бархатными глазами поглядеть на человека, сидящего у него на спине. А потом Петр увидел больного оленя и все понял: тот тащился сзади, весь дрожа, не поспевая за всеми на своих трясущихся бессильных ногах, и олени останавливались, поджидали дряхлое животное, не бросали его. При такой скорости далеко не уедешь. Вот Петр и вернулся, привел обратно в стадо больного старика.

Мы слушали рассказ Петра и молча глядели на обессиленного, жалко дрожащего оленя, который вздыхал, как человек, и смотрел, куда бы лечь. Он так осторожно ставил больные ноги, что казалось, малейшее движение причиняет ему невероятную боль, казалось, еще немного, и он застонет по-человечьи. Не знаю, о чем думали Василий, Варвара, Унгуштаев, глядя на оленя. Все они — люди немолодые, вырастившие детей, и, должно быть, им было о чем подумать. А я вспомнил человека с красивой, осмысленной фамилией — Любомудров, человека, который оставил в тайге двух парнишек, бывших своих учеников, оставил под снегом, выбившихся из сил, уже не способных даже разжечь костер. Я думал о нем, о двух пулях, которые кто-то всадил в Любомудрова, о следователе, который прилетел после меня, и о том, удалось ли ему выяснить, кто стрелял, из чьего ружья были посланы эти две пули…

Василий отвел старого больного оленя в стадо, которое паслось там, где кончается лес и летом цветет альпийский луг, а сейчас простирается лишь белый снежный полог.

Уехал Петр.

Мы еще раз простились. На душе было грустно. Особенно тяжело было смотреть на лицо Петра. Говорят, есть лица, отмеченные печатью смерти. Отмеченные печатью смерти лица. Я

таких не видел. Не знаю, правда или нет, что смерть заранее накладывает свой отпечаток, метит лица избранных ею людей. Однако лицо Петра действительно было отмеченным. То была печать не смерти, но одиночества. А может, мне все мерещилось, потому что я знал о большом горе Петра? И знал, что это одиночество, эта неизбывная печаль будут сопутствовать ему до конца жизни, потому что Петр никогда уже не найдет себе невесты, никогда не суждено ему сажать на колени своих детей, а только чужих, для которых он будет добрым, но чудаковатым дядей. Я долго стоял, провожая глазами сидящего на олене Петра, ссутуленного, точно согнутого невидимой ношей, все удалявшегося и удалявшегося, пока вовсе не исчезнувшего за стволами кедров и лиственниц. И думал: почему этот человек не боится физического одиночества? Он будет еще два или три месяца бродить по бескрайней тайге, делясь мыслями лишь со своим верным Тобиком, разговаривая с могучими кедрами или белками, убитыми белками, с которых будет сдирать нежные длинношерстые шкурки и нанизывать на вертел пропитанные ореховым запахом тушки. Один, совсем один целые месяцы. А если несчастье? Если болезнь? Даже глоток воды будет некому подать. И я понял: Петр не боится физического одиночества, так как знает иное одиночество, несравненно более страшное.

А вечером пошел снег. Он падал без малейшего ветерка, тихо, спокойно, мелкими, легкими пушинками. Так без передышки сыпало всю ночь напролет, а когда утром я выбрался из юрты, пушистые, ослепительно белые шапки покрывали головы кедров и лиственниц, повсюду виднелись белые шубы — даже собаки и те, свернувшись клубком, лежали занесенные снежным пологом. А с неба все сыпало, сыпало, сыпало. Тайга, казалось, вымерла. Бывало, встанешь утром и, не вылезая из спального мешка, слышишь, как пронзительно орут голосистые сойки, переругиваются охрипшими голосами клесты, где-то вдали цокает на кого-то разозлившаяся или кем-то испуганная белка. И вдруг ни звука, ни шелеста, ни вздоха. Последний день октября. За одну ночь пришла глубокая зима. Я бреду по колено в снегу и не могу надивиться — до чего же он пушист! Совершенно не остается следов. Вернее, не отпечатывается нога человека — снег такой рыхлый, что ссыпается, стекает, как вода, и остается только взъерошенная дорожка, словно судно прошло по белой воде, оставив за собой взбаламученную винтом пенную полосу. Повсюду, куда ни бросишь взгляд, простираются эти нетронутые белые воды. Никаких следов. Ни птичьих, ни звериных. Все забились по своим убежищам и лежат не шевелясь, боясь оставить какой-либо знак своего присутствия, так как это равносильно

смерти. Не только человек читает оставленные следы. В тайге идет своего рода цепная реакция: прыгнет белка, соблазнившись кедровой шишкой, оставит отпечаток на гладком снегу, придут соболь или куница, прочтут, выследят белку и настигнут в ее собственном доме, и капнут на белый снег алые ягодки крови. Этот белый, неприкосновенный полог вызывает страх. Лучше переждать. Лучше перетерпеть голод, чем первым оставить свой след. И сидят. Ждут. В гнездах, дуплах, норах, под вывороченными деревьями, среди переплетшихся корней, в непроходимых дебрях, в непролазной, недоступной чащобе. Выждать — значит уцелеть. Только человек не ждет. Он ищет тех, у кого недостает терпения ждать. И находит. Находит их везде. Даже с верхушек кедров достает, потому что ружье сделало человеческие руки очень длинными. Человек теперь — властелин тайги.

Весь день с неба падает и падает белый пух. Ни малейшего ветерка. И кажется, этому не будет конца — и нашу юрту, и собак, и все вокруг завалит, похоронит в пушистой постели. И если в самом деле нависла бы над нами такая опасность, никто, должно быть, не стал бы противиться, метаться, сходить с ума — все так же сидели бы, поджав ноги и не отрываясь от костра, в котором трепещет живое пламя. Этот нескончаемый снегопад, эта невозмутимая тишина действуют, как своего рода наркоз, окутывая все меланхолией, апатией; не хочется никуда идти, ничего не хочется делать, даже приготовить еду, а только сидеть вот так, неподвижно, на мягкой оленьей шкуре и часами глядеть, как пламя костра пожирает дерево.

Старый Унгуштаев сидит сгорбившись, держит в руках обгорелую палку и время от времени, словно пробудившись от сна или вернувшись в юрту откуда-то издалека, из каких-то туманных далей, тычет концом палки в огонь, поправляет обуглившиеся головни, и тогда рои искр взлетают кверху, устремляются в отверстие, загораживая путь снежинкам, которые исчезают, тают прямо в воздухе, не успев осесть на пол юрты. Милый, добрый Унгуштаев. За последние дни он совсем сбился с ног — глаза ввалились, носа почти не видно, скулы так обострились, что кажется, желтоватая пергаментная кожа порвется, лопнет от неосторожного прикосновения.

Я заговариваю со стариком, прошу, чтобы он рассказал о прошлом тофаларов. Ведь он отлично помнит те времена, когда тофы небольшими кучками — по три-четыре семьи — кочевали по Саянам. Как они тогда жили — был ли у них общий вождь, или каждая семья промышляла как придется?

— Был Большая Голова, — говорит старик.

— Кто это?

— Главный вождь всех тофаларских племен.

— Он, должно быть, давно умер?

Унгуштаев смотрит на меня и улыбается. Я уже знаю эту усмешку. Он всегда так усмехается, когда мой вопрос представляется ему наивным, когда я выдаю, что ничего не смыслю в их тофаларских делах. Смотрит и улыбается, как бы говоря: «Ну как я объясню тебе, если все надо начинать с азбуки, словно малышу какому-нибудь».

— Человек может умереть, но имя не умирает, — говорит он.

— Значит, все тофские вожди носили это имя?

— Да.

— Вождь умирает, а сын принимает по наследству имя Большой Головы и возглавляет все тофаларские роды? Так?

— Нет, не так. Во-первых, это имя и обязанности никто не получает по наследству. А во-вторых, не обязательно было умереть, чтобы потерять это звание.

— Стало быть, вождей выбирали?

— Да.

— Как же вы это делали, если все роды кочевали по горам, по бескрайней тайге?

— Время и место все знали заранее, еще с прошлых выборов. И съезжались в то место в установленное время. У каждого рода была своя кандидатура, которую и предлагали выбрать Большой Головой. Ну, а там уже выбирали самого подходящего.

— А один и тот же человек мог быть избран два раза подряд?

— Если хороший, умный, толковый человек, так почему его не выбрать и второй раз? Если не подвел людей, почему не выбрать?

— Ясно, — говорю я. — Ну, а как выбирали? Голосованием?

— Да. Голосовали.

— Тайным голосованием?

— Нет. Открытым. Тайное голосование портит людей.

— Почему?

— Очень просто: приучает человека не говорить правду в глаза. Это как у деревенских кумушек получается. Друг дружке в глаза ничего не говорят, обнимаются, любезничают, золотыми языками друг дружку гладят, а за глаза плюются, друг друга с навозом мешают.

— Значит, голосование было открытое?

— Только открытое. Либо подымешь руку, либо не подымешь. Но и в том и в другом случае надо было сказать, почему ты так делаешь. И еще давали наказы вновь избранному Большой Голове.

— Какие?

— Чаще всего один наказ: «Не возноси до неба богачей и не дави к земле бедняков».

— Ну и как? Соблюдался этот наказ? — спросил я и невольно улыбнулся, подумав о вечном стремлении человека к совершенной справедливости. Однако моя улыбка, видимо, обидела Унгуштаева, он заметно потускнел. Желая объяснить свою улыбку, я сказал: — Наверно, не очень-то соблюдался этот наказ. Важно, пока выберут, а там… — я махнул рукой.

— Ничего подобного, — говорит Унгуштаев. — Правда, были и такие, что мало соблюдали, но такой не долго и держался. Чаще все-таки соблюдали. Да и как не соблюдать, если через год или два будешь отчитываться перед людьми. Если, конечно, ты хочешь остаться Большой Головой. А кроме того, говорю, люди знали, кого выбирают. Не каждому доверяли это почетное звание — Большая Голова.

Старый Унгуштаев смолкает, закуривает, и по его прищуренным векам, по всему лицу видно, что старик опять как бы покинул юрту и кочует где-то в подернутых дымкой далях. Может, молодость вспомнил. Может, ходит сейчас по тропинкам юности, греется отсветами первой любви, а может, вспоминает тех, кто давно уже расстался с миром живых… И я погружаюсь в свои мысли. Только избегаю думать о Литве, о самых близких мне людях — берегу для ночи. Когда подступит долгая ночь, я вдоволь наговорюсь с ними, успокоюсь сам и их успокою, вволю нахожусь по родным рощам, борам, лугам и приозерьям… А сейчас я думаю об очень простых вещах. Пора возвращаться из тайги в Алыгджер. Хлеба у нас уже нет. Обходимся сухарями. Серыми, жесткими, как кость, сухарями, от которых болят десны. Кончается чай, почти весь сахар, опустели мешочки с макаронами, сушеным картофелем и крупой. Время возвращаться в Алыгджер. Одним беличьим мясом не прокормишься. Самое время уходить. Согласно уговору, еще два дня надо тут пробыть. Однако этот непрестанно падающий снег спутал все карты. И Киштеевы, и старый Унгуштаев рассчитывали эти дни поохотиться, добыть еще по нескольку десятков белок, но снег спутал все карты. Теперь белки дня два не вылезут из своих гнезд, «не дадут следа», и никакой собаке их не найти. А если собака и почует, то все равно охотник не увидит зверька, потому что все скрывает снег, копнами лежащий на ветвях деревьев. Надо ждать, когда подуют ветры и сдуют, сбросят на землю эти белые копны. А ждать нет смысла. Самое время убираться из тайги, но как заговорить об этом? Подумают, что я не выдержал. Пожил несколько дней без хлеба и сдался. Негоже мне намекать им,

торопить домой. Как сами решат — так и будет.

Однако все решилось само собой.

Вечерние сумерки сгустились в юрте, когда снаружи залаяла собака. По голосу я узнал Таракана. Я встал посмотреть, чего он там лает, что не дает ему покоя. Но тут же залаяли и остальные собаки. Неужто какой-нибудь зверь забрел? На всякий случай беру ружье, отбрасываю брезентовый полог юрты и выбираюсь наружу. По-прежнему идет снег. Собаки стоят, повернувшись мордами к белой тайге, и лают лениво, нехотя, словно исполняя тяжелую, неприятную обязанность. Среди серых стволов мелькают белые тени. Я смотрю и не верю своим глазам. Белые кони! Белые кони бредут по белому снегу. И впрямь похоже на галлюцинацию или мираж. Белые кони на белом снегу. Бредут по колено в белом, нетронутом снегу, оставляя за собой явственно синеватую борозду. Откуда здесь кони? Уж не мерещится ли мне? Нет. Таракан и остальные собаки тоже видят их, лают, выставив морды. Кони какие-то странные, похожи на верблюдов. Сроду не видел таких странных коней. А вот и люди. Двое мужчин. Бредут но проложенной лошадьми тропе, закинув ружья за плечи, опираясь на палку. Они направляются к нашей юрте, а когда подходят ближе, я вижу, что лошади как лошади, только навьючены поклажей, которая покрыта снегом, и поэтому показались похожими на белых верблюдов. Я узнаю и шагающего впереди мужчину. Это высокий, широкоплечий тофалар, отец того самого Сергея, который полуживым приполз в деревню и сообщил об оставшемся в тайге товарище. Это чуть ли не единственный тоф, который женат на русской. Живут они ладно и детей воспитывают хорошо. Большие уже дети. И красивые, как все метисы. Больше я таких семей не видел. Тофаларки довольно часто вступают в смешанные браки, но мужчинам-тофам редко достается в жены женщина или девушка другой национальности. Не знаю, чем это объяснить. Может быть, приезжие женщины избегают связывать свою судьбу с человеком, в жилах которого струится кровь вольных кочевников, вечно зовущая в тайгу, в долгие, длящиеся месяцами отлучки. Может, именно это отпугивает приезжих невест, которые все в большей или меньшей степени ищут оседлой, спокойной жизни и желают воспитывать своих детей так, как воспитывали их самих.

Второй человек — незнакомец, я ни разу не встречал его в Алыгджере. На его лице какое-то подчеркнутое упорство, если даже не упрямство. Не знаю почему, но я подумал, что это — следователь, который прилетел искать человека, покушавшегося на жизнь Любомудрова.

Мужчины поздоровались, привязали к деревьям лошадей,

сняли поклажу и понесли ее в заимку. Незнакомец вышел оттуда в растерянности.

— Печки нет? — спросил он.

— Нет, — ответил я. — Потому и живем в юрте. Его лицо совсем омрачилось.

— А мне говорили, что есть домик и печка, — проговорил он, точно обиженный ребенок.

Мы все ввалились в юрту, повесили над костром чайник, разговорились. Оказывается, незнакомец вовсе не следователь. Это один из тех, что сами себя называют «малость чокнутыми». В самом деле, многие к ним так и относятся: «чокнутые», и все. Есть в этом своя логика и своя правда, основанная на устоявшемся за долгие годы образе жизни. Местные жители просто не понимают этих «чокнутых», которые берут отпуск поздно осенью и спешат не на курорт, а черт знает в какую глушь, в болота или топи, в непроходимую тайгу, где ведут примитивное, первобытное существование, довольствуясь тем, что посылает им к столу мать-природа. Наш новый знакомец живет в Новосибирске, работает в Академии наук. Взял очередной отпуск и махнул в Тофаларию, наслышавшись о красоте ее природы и богатой охоте. Привез с собой и собаку. От Новосибирска до Нижнеудинска ехал поездом, но не так, как все люди, а в тамбуре, расстелив на полу спальный мешок, — в вагон с собакой не пустили. Приходилось ежедневно по нескольку раз мокрой тряпкой мыть пол тамбура, как требовал проводник вагона, отбиваться от настырных любопытствующих, выслушивать насмешки, на которые не скупятся люди при виде человека, который живет и поступает по-своему, не так, как все. В Алыгджере «чокнутому» подсунули охотничий договор, согласно которому он должен добыть несколько сот белок, десяток куниц, несколько десятков рябчиков, одного изюбра. И старый добродушный Унгуштаев, и отец Сергея, приведший этого чудака, и я открыто смеемся, так как знаем, что за месяц человеку, незнакомому со здешними местами, ни в коем случае не удастся выполнить всех пунктов договора.

— А что же оставалось, если на других условиях мне не давали лошадей, чтобы я мог доставить сюда свои вещи? — новичок разводит руками, вызывая еще больший смех.

Только Василий не смеется. Он сидит, понуро уставясь в землю, ничего не слышит, не видит. Я понимаю, какая забота гнетет его, какие невеселые мысли роятся в голове. Во-первых, он и сам еще нынче не успел как следует поохотиться. Все рассчитывал проводить меня обратно в Алыгджер, потом вернуться в тайгу и тогда уже приняться за охоту всерьез. А тут директор кооператива Жернаков прислал на его голову этого

чудака. Места в юрте хватит. В конце концов, можно поставить печку и поселиться всем в избушке. Но как разместиться на одних и тех же охотничьих угодьях? До Нового года — самая лучшая охота: что добудешь, то и получишь. Можно неплохо заработать, тем более что он берег эти угодья, старался охотиться как можно дальше отсюда, километров за десять. Я тоже ущерба не принес. Убитые мною белки — капля в море. Василий надеялся серьезно взяться за охоту… И вот тебе на! Не просто так человек явился, а с договором в кармане. Будет бить белку почем зря. Да еще изюбра обязался добыть. Как он возьмет изюбра, если даже не знает, где его искать? Ясно, придется Василию сопровождать его, показывать места и потерять целую неделю, а то и больше дорогого времени. Кто возместит? А кроме того, тяжелую ответственность взвалил на его плечи Жернаков. Не дай бог, случится что-нибудь: заблудится приезжий, покалечится или еще что-либо, — придется отвечать, потому что, как бы там ни было, этот чудак поручен его опеке. Мало ли что в тайге может стрястись. Потому и мрачен Василий. Все это ему нужно как собаке пятая нога. Зато для нас, Унгуштаева и меня, нежданные гости — просто счастье: не придется брести по снегу, на лошадях поедем в Алыгджер. Ведь тут нет ни клочка сена. Чем лошадей кормить? Надо гнать их обратно в Алыгджер. Отец Сергея собирается захватить здесь несколько оленей, с которыми отправится в тайгу охотиться. Он просто умоляет, чтобы мы согласились верхом на лошадях поехать в Алыгджер. Мысленно я даже рад, что все так легко и неожиданно разрешилось. Однако Унгуштаев особенной радости не проявляет.

— Овес-то есть?

— Мало, — сообщает отец Сергея.

Мы выходим из юрты, смотрим, как он находит полупустой мешочек, из которого набираем четырнадцать пригоршней овса. По семь пригоршней на лошадь.

— Все? — спрашивает Унгуштаев.

— Еще столько же у лесника оставили. Думал, на обратном пути пригодится. На чердак закинул. Найдете.

— Кто знает, дотащатся ли они до Алыгджера? — говорит Унгуштаев, и никто не уверяет, не пытается доказывать или убеждать, что все, мол, будет хорошо. Видно, всех беспокоит этот вопрос. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра бедные лошади не получали и не получат сена. Перебиваются горсточкой овса. А если и впрямь не выдержат, если падут в дороге? Кто будет отвечать?

— Рискнем? — спрашивает Унгуштаев, глядя на меня.

— Как вы, так и я.

У всех подавленное настроение.

Наш новый знакомый по специальности геолог, работает научным сотрудником. Всякое повидал. Человек с головой. Ему не надо объяснять, что во всем виноват он. Вернее, та страсть, которая погнала его сюда, за тысячи километров от семьи, от благоустроенного жилья. Он все прекрасно понимает. И то, что невольно стал обузой для других, и что нужно каким-то образом искать пути к сердцу людей, которым он свалился на голову, как этот внезапный снег. И геолог прибегает к старинному, не раз испытанному средству: вынимает из рюкзака четырехугольный пластмассовый бачок, в котором уместится литра два. Бачок почти полон.

— Спирт, — говорит геолог и ставит флягу в середину круга.

Этот жест в первую очередь производит впечатление на Варвару. Как рукой сняло всю ее сонливость. Женщина мгновенно оживает, бросается искать закуску. Все мы давно не пробовали чертова зелья. Всем хочется заморить червячка, который вдруг зашевелился под сердцем при виде четырехугольного бачка. Однако мужчины держатся степенно. Трудно понять, то ли не хотят откровенно показать свою радость, не хотят «продешевить», то ли их действительно все еще одолевают заботы, мрачные мысли и сомнения. Но кружка идет по кругу, и тают ледяные маски мужчин. А когда она делает и второй круг — развязываются языки. Ну, а после третьего и четвертого в юрте не остается ни следа от всех бед и забот, которые только что витали над нашими головами. Какие там, черт побери, заботы! Белок — полная тайга. Никуда они не денутся. Добудем этих глупых белок сколько душе угодно. Хоть завались шкурками. Пускай они там, в Алыгджере, не думают, что мы лыком шиты. А изюбров этих можем не одного, а сразу несколько убить, если им так уж хочется. Пожалуйста! Сколько пожелаете, столько их и будет, этих изюбров. Кушайте на здоровье! Еще и кабаргу в придачу… Лошади? Ни черта им не сделается. Не такое видали, а тут, видите ли, Алыгджером пугают! Дойдут как миленькие. Галопом поскачут, овсом заправившись. Как на параде будут вышагивать, словно балерины, перебирать ногами… Давай лучше споем, чем про этих лошадей думать. У них свои головы, вон какие большущие, пусть сами думают, как ноги до дому дотащить… Ежели не хотят, чтобы звери их косточки по тайге растаскали. Будем здоровы!..

Наутро я проснулся с головной болью. То один, то другой из мужчин стонал сквозь сон, чмокал губами — возможно, видел во сне, что пьет воду из родника и никак не может напиться.

Сквозь волок просвечивало белесое небо. Солнце еще не

взошло. Я вылез из спального мешка, осторожно, стараясь не разбудить остальных, выбрался из юрты. Уже не сыпало с неба и слегка подмораживало. Привязанные к кедрам, стоя спали лошади, опустив к земле большие и какие-то грустные головы. Снег вокруг был вытоптан. Видно, бедные животные пытались раскопать его копытами, надеясь добыть из-под снега хотя бы клочок мертвой травы. Однако нашли там только скованный морозом задубелый лишайник, пытались хватать его своими толстыми губами, да ничего из этого не вышло.

Меня со всех сторон окружили псы, жадно заглядывая мне в руки, но там было пусто. Таракан жался к моим ногам и ревниво ворчал, когда какая-нибудь из собак, вытянув морду, издали нюхала мои руки. Таракан теперь считал меня своей собственностью и, как всякий собственник, эгоистично следил, чтобы я принадлежал только ему и ни один кусочек из моих рук не достался кому-нибудь другому.

Я наскоро нарубил сушняка, развел в юрте огонь, повесил над ним чайник, потому что мы с Унгуштаевым собирались двинуться в путь с восходом солнца. Неизвестно, удастся ли наш замысел, но вчера мы решили выехать чуть свет и в один переход проделать весь путь до Алыгджера.

Остановимся на минуту только у заимки лесника, где на чердаке оставлено немного овса.

Так и сделали. День еще только занимался, в лесу стояла ленивая предрассветная мгла, когда мы с Унгуштаевым подогнали по росту стремена, оседлали лошадей, на всякий случай перекинули поверх седел спальные мешки, так как не знали, что нас ждет в пути, — может, придется заночевать под открытым небом. Отсыпали в рюкзаки по нескольку горстей сухарей, по щепотке чая, сахара, захватили небольшой котелок и кружки. На всякий случай Унгуштаев берет и ружье. Я свое оставляю. Мы оставляем почти все свое имущество, чтобы не перегружать и без того ослабевших, голодных лошадей. Все это доставят в Алыгджер Василий с женой. Они выедут в полдень. Олень идет быстрее самой сильной лошади, и если с нами в дороге что-нибудь случится, то сегодня вечером или завтра Василий нагонит нас. Так что мы не слишком рискуем.

День выдался чудесный. Небо чистое-чистое, ни облачка, и такое лазурное, что смотришь на него и петь хочется. Блестящий, невиданной белизны снег, залитый ослепительным солнцем, пушистым пологом устлал землю, повис большими копнами на деревьях. Лошади вязнут до колен, фыркают, мотают головами и стараются схватить губами торчащие из-под снега ветки кустарника. Больно смотреть, как они с треском жуют

обезвоженные ветки, а ты ничем не можешь помочь. Нелегко и собакам. Они буквально утопают в рыхлом снегу. Вначале еще пытаются к чему-то принюхиваться, искать звериный след, но вскоре выбиваются из сил и, высунув языки, плетутся по оставленной лошадьми борозде. Время от времени забегают вперед, почуяв только им доступные запахи, но тут же останавливаются, поджидают нас, повернув тяжело дышащие морды с подрагивающими, вываленными языками. И все-таки собакам легче, чем лошадям. Собаки сыты. Они нажрались бельчатины, нахлебались пойла. А лошади теребят трещащие ветки, перемалывают их зубами, да и те не всегда успевают схватить, потому что мы торопимся, опасаясь и за них и за себя. Там, где дорога под уклон, мы слезаем и бредем за лошадьми, давая им возможность немножко отдохнуть. А перед новым подъемом снова садимся верхом, и я снова чувствую, как ходят подо мной лошадиные ребра, как легкие со свистом вдыхают воздух. Разные мысли приходят в голову, когда долгими часами не вылезаешь из седла. Эти монгольские лошаденки приучены к путешествию в горах — ногу ставят уверенно, почти не оступаются, походка ровная и спокойная, как будто они несут на спине какое-то необычайно хрупкое и дорогое существо. Я думаю, что лошадь — самое благородное из всех животных, одомашненных человеком. Было время, и люди относились к нему благородно. Даже в одну могилу клали человека и его верного коня. Теперь же человек утратил это благородство. У меня навсегда останется в памяти картина, которую я наблюдал несколько лет назад на ферме черно-бурых лис недалеко от Каунаса. Была весна. Отцвели сады и черемуха над речкой, пробилась молодая, сочно-зеленая трава. Мы переходили от клетки к клетке, видели хищные морды лис, голодные, кровожадные глазки, видели, как, поджав дорогие, нарядные хвосты, они острыми зубами раздирали мясо и глотали его большими кусками, торопясь, давясь, словно боялись, что человек, который дал им это мясо, может передумать и отнять его. На обратном пути мы встретили на подсохшем большаке табун лошадей. Их было около десятка. Самой разной масти. Их гнал человек. Мы заговорили с ним. Как только погонщик остановился, лошади тоже застыли на дороге, печально глядя на зеленеющие поля. Я сроду не видел ничего печальнее тех лошадиных глаз, тоскливо глядящих на сочную, молодую зелень. И сроду не видел более истощенных тварей: крупные, как тычины плетня, едва обтянутые кожей ребра, давно не чесанные, свалявшиеся гривы. Из-за ужасной худобы головы и копыта лошадей казались неестественно большими, словно

принадлежали каким-то иным, огромным существам. Всю свою жизнь они честно служили человеку — пахали землю, возили, таскали на себе все, что велит хозяин. А теперь их гонят на звероферму, где стальной косой перережут усталое горло, остригут гриву, сдерут шкуру и отдадут иссякшие, жилистые мышцы хищным зубам лис… Это было похоже на человеческую трагедию. Неважно, что на большаке стояли не люди, а изможденные, весь век добросовестно работавшие лошади, — история их была в чем-то человечьей и по-человечески трагичной. Когда я высказал это вслух, один из экскурсантов сказал, что я глупо сентиментален. Я не ответил ему. Только подумал, что даже в самую тяжелую годину не стал бы искать у этого человека ни помощи, ни сочувствия: ведь он так же, как и я, видел тех изможденных животных, которые всю долгую зиму мечтали о весенних лугах, а теперь стояли на большаке и смотрели на такую зеленую, такую сочную, такую молодую траву…

Я вспоминаю обо всем этом, покачиваясь в седле, и вдруг мне в голову приходит странная мысль. Я понимаю, что она глупа, абсурдна, но не могу от нее отделаться: что было бы, появись на нашей планете невиданные существа, которые стали бы охотиться за людьми. Человек за человеком уже не раз охотился и охотится. Но что, если бы это были не люди, а какие-то страшные, жестокие существа, которые ходят по земле и охотятся за человеком. Представляю, как бы они обрадовались, наткнувшись на такое множество непуганых людей, за которыми никто никогда не охотился… Наши гигантские города казались бы им восхитительным Эльдорадо. Не приведи господь! Да не превратятся никогда в реальность эти бредни, ведь и без того у человечества немало бед…

Мы на полчаса задержались у заимки лесника, скормили лошадям жалкие остатки овса, напились чаю, я оставил одолженные у лесника сапоги, черкнул несколько благодарных слов на клочке бумаги, и мы двинулись дальше. Весь день без передышки гнали лошадей. Стемнело, но мы не останавливались. Старый Унгуштаев сказал:

— Боюсь, если заночуем, то утром уже не поднимем этих бедняг. Пока держатся на ногах — будем ехать.

Похоже, что и лошади думали так же. Без понуканий шли и шли все тем же ровным шагом, а если и останавливались, то неспроста. Взобравшись на гору, моя лошадка оборачивала морду, глядела на меня, как бы желая сказать: «Смотри, человек, сейчас будет ровное место, а потом — спуск, и ты сможешь пойти пешком». Я скатывался на землю и шагал за этим умным и благородным другом человека. Лошадь останавливалась также

возле замерзшего ручья или источника. Слышно было, как подо льдом журчит вода, как лошадь фыркает, нюхает, ищет, куда поставить ногу, а потом осторожно ступает, ломая ледяную корку, и рывком выносит на другой берег. Иногда она останавливалась, казалось, без всякой причины. Вернее говоря, причина была, только я не знал ее. Протягивал в кромешной тьме руки и, как правило, натыкался на висящее над тропой бревно или цепкие и острые сучья, которые наверняка бы вышибли меня из седла, сделай лошадь еще несколько шагов. Я уже давно выпустил из рук поводья. Привязал их к седлу и не трогал, целиком положившись на лошадь. Она сама выбирала путь, сама обходила опасные места и ни разу не сплоховала. Мне никогда не забыть эту ночь. Нервы напряжены и, кажется, гудят как струны, а ты бессилен что-либо изменить или сделать, полностью доверившись благородному животному.

В Алыгджер мы въехали уже за полночь, и ни одна собака не залаяла нам навстречу. Это было странно и непривычно. Нигде не горел огонь. Даже у складов, обычно всю ночь освещенных фонарями, было темно. И ни одной собаки. Казалось, что деревня вымерла. Невольно подступали тревожные мысли: может быть, случилось что-то? Может, пока мы бродили по горам да по тайге, охотились на белок и смотрели ночами сквозь волок юрты на мерцающие звезды, здесь стряслось нечто ужасное, непоправимое? Словно какие-то злые силы пронеслись над Алыгджером и погасили жизнь. Не только свет, но и все живое. Долгие недели мы жили в тайге, совершенно отрезанные от людей, от цивилизованного мира, и неизвестно, что он, цивилизованный мир, за это время устроил, какую еще штуку он учудил. Невольно лезут в голову такие мысли, когда едешь через тихую, утонувшую во тьме деревушку, не слышишь лая собак и все накрыто черной тишиной, как крылом гигантской фантастической птицы. Но я знаю, знаю, что ничего страшного не произошло. Просто спит деревушка. А что у складов темно — подводит снабжение. Не завезли небось горючего для движка. Очевидно, пока с неба без устали сыпал снег, самолеты не летали. А что собак не слыхать — так этому тем более не стоит удивляться. Такое время. Все собаки в тайге. Вернее, не все, а часть их в тайге, остальные же уплыли с бурными водами Уды или зарыты в землю… Те, что так и не поняли, для чего дается собаке жизнь. Как Верный, которого Василий купил на одолженные у меня деньги и которого Варвара пристрелила. Человек ускоряет естественный отбор, рассчитывая на то, что уцелевшие собаки дадут полноценных потомков, которые в раннем возрасте поймут, для чего собаке дается жизнь. Не

осталось больше в деревушке собак, поэтому она и кажется вымершей. Но в каждом доме, за толстыми стенами из неотесанных бревен, за небольшими темными окнами, в тяжелых снах мечутся, стонут женщины. Старые и молодые. Каждый год они, будто в наказание за некий грех, долгие месяцы маются в одиночестве, дожидаясь, когда воротятся из тайги мужья, отцы, сыновья, братья. К одиночеству не привыкают, как не привыкают к боли. И не все выдерживают это одиночество бесконечных ночей на опустевшем и внезапно ставшем широким ложе. Но горе той, кто, убегая от одиночества, разделит это ставшее вдруг слишком широким ложе с кем-либо из мужчин, оставшихся в деревне, не ушедших в тайгу. Обычно это и не охотник, а человек, который круглый год сидит в какой-нибудь конторе, на складе или еще где-либо. Охотник на такое никогда не пойдет, потому что он, как никто другой, понимает всю подлость «деления ложа», равного предательству, знает все горе и боль, которые оно несет. К тому же охотник знает и то, что в тайге, долгие месяцы отрезанный от всего мира, может выдержать лишь тот, чья душа спокойна, мысли прозрачны и чисты, кто твердо верит, что в деревне есть дом, где свято ждут его возвращения. Каждому человеку необходим такой дом, где его кто-то ждет, куда он рано или поздно вернется. Без этого очень и очень трудно жить. Как Петру. Однако еще труднее, когда есть дом, в котором делят не хлеб, а ложе. Поэтому настоящий охотник никогда не пойдет на такую подлость…

Деревушка спала.

Мы остановились у ворот небольшой усадьбы. Старый Унгуштаев долго тарабанил в маленькое оконце, пока мы не услышали приглушенную возню. Разбуженный среди ночи конюх стоял на пороге, слушал старого тофалара и все еще сонно чмокал губами, почесывая бока.

— Заходите, пожалуйста, — пригласил меня конюх и объяснил: — Унгуштаев живет на другом конце деревни, за аэродромом. Куда вы сейчас пойдете? Переночуете у меня.

Я с благодарностью согласился.

Они вместе поставили в конюшне лошадей, а я рухнул на указанную мне постель и заснул как убитый.

Проснулся оттого, что кто-то сильно и настойчиво тряс меня за плечо. Я все чувствовал, понимал, что это не сон и не кошмар, но еще долго не мог очухаться, вернуться на землю из мира снов.

— Баня остынет, — дошел до меня голос конюха. Я открыл глаза и увидел согнувшегося надо мной парня. Почему-то ночью он мне показался гораздо старше, почти стариком. — Баня остынет, — повторил он, как бы извиняясь за то, что потревожил

мой сон.

В небольшое окошко врывался ослепительный свет солнца. Я взглянул на часы. Полдень. Ах, какие добрые, милые люди. И баню истопили, и разбудили, чтобы не проспал. Я торопливо оделся, выбежал во двор да так и обомлел — на снегу, неподалеку от двери, свернувшись клубочком, лежал Таракан. Увидев меня, он радостно вскочил, потянулся, а потом положил передние лапы мне на грудь, стараясь лизнуть в лицо и непрестанно размахивая своим лохматым, как у лисы, хвостом.

— Этот пес ночью у наших дверей лежал, — сказал хозяин. — Я пришел из конюшни и нашел его. А утром, гляжу, опять лежит.

И мне все стало ясно. Таракан ходил на охоту только со мной. Я всегда кормил его. Пес, видно, все это объяснил по-своему: принял меня за нового своего хозяина, от которого нельзя отрекаться, болтаясь бог весть где. Такая привязанность растрогала и в то же время напугала меня, потому что Таракан мог поплатиться за нее жизнью. Кому нужна собака, которая не идет домой, а таскается за каким-то приезжим?

Нет, таких собак тофалары причисляют к тем, что не могут понять, зачем собаке дается жизнь. Поэтому я не вынес Таракану еды, а отвел к дому Унгуштаева. Старый тофалар впервые за долгие недели накормил его из своих рук, и Таракан благодарно и, кажется, виновато лизнул их. Все встало на свое место.

Словно заново родившись после бани, я пошел в сельсовет, где нашел Ивана Унгуштаева за старым своим столом, перелистывающим газеты и бумаги, которых за это время набралась куча. В углу по-прежнему стояли мой чемодан, раскладушка и постель, на железной печурке шипел чайник, — кажется, я никуда не уходил отсюда, не было ни долгих недель бродячей жизни, ни белок, ни одиноких костров, ни накинувшего белоснежную фату леса. Кажется, я только что прилетел сюда и опять улетаю. Однако старый Унгуштаев, положив телефонную трубку, сказал:

— Сегодня самолета уже не будет. Только завтра. — И, немного помолчав, добавил: — Если погода не испортится.

Как раскаленный вертел, вонзилось в меня острие тоски, однако я ничего не сказал, не выдал себя, боясь обидеть этого доброго человека. Тофалары никогда не приглашают гостя. Он сам приходит, когда ему вздумается, сам же и уходит. Это старый, должно быть, еще кочевой обычай. Но ведь и Унгуштаев не молод — в нем еще живы прежние обычаи. Гостю и впрямь не пристало рассуждать о том, как соскучился по своему дому. Что ни говори, это попахивает неуважением к хозяину и к его крову. Поэтому я и промолчал, как ни хотелось хоть одним словечком

помянуть родной дом, излить хоть капельку этой отчаянной тоски.

Унгуштаев налил в стакан чаю, мы сидели за его письменным столом, пили чай и разговаривали, как старые, добрые друзья. В этом идиллическом настроении и застала нас молодая, привлекательная женщина.

— Вы меня звали? — спросила она от двери.

— Будем рассматривать вашу жалобу, — сказал Унгуштаев, налил еще один стакан, и теперь мы чаевничали уже втроем.

Спустя минуту дверь снова отворилась, и в кабинет вошла пожилая женщина. Новая посетительница глянула на меня, на Унгуштаева, а молодую женщину, казалось, не заметила. Лицо ее было увядшее, словно измученное болезнью. Глаза беспокойно бегали по комнате. Женщина развязала теплую шаль и громко спросила:

— Звал?

Унгуштаев кивнул и подвинул ей стакан чаю, но женщина отказалась, отодвинула стакан и все так же громко, режущим слух голосом спросила:

— Чего хотел?

Унгуштаев взял убористо исписанный лист бумаги и почти прокричал:

— Жалобу на тебя получили. Обсуждать будем.

— Обсуждай, обсуждай! — крикнула женщина в ответ, зло косясь на меня карими глазами, как будто я на нее пожаловался.

Унгуштаев вместе со стулом придвинулся поближе к ней, нагнулся чуть не к самому уху и кричащим голосом стал зачитывать жалобу. Только тут я понял, что женщина сильно туга на ухо, почти не слышит.

Молодая же оказалась учительницей. Она жаловалась, что однажды на уроке эта пожилая женщина ворвалась в класс, чуть ли не силой вытащила из-за парты своего сына и на глазах у ребят последними словами обругала учительницу. Теперь та требовала призвать скандалистку к порядку и грозила передать дело в суд, если подобные вещи повторятся. Я подумал, что это будет не так-то просто, потому что ближайший суд находится в Нижнеудинске, а тут, в Алыгджере, нет даже милиционера. Вся власть принадлежит сельсовету в лице его председателя, старого Унгуштаева.

— Ты почему так сделала? — прокричал в самое ухо женщине Унгуштаев.

— Я ее не ругала… Я сына бранила, почему из школы долго не приходит, — сказала женщина.

Учительница покраснела.

— Есть свидетели, товарищ председатель. Неужели я стану выдумывать? Видите, она хочет меня еще и лгуньей выставить.

Пожилая беспокойно следила за губами учительницы, пытаясь по их движениям прочесть слова, но, видимо ничего не поняв, обернулась к Унгуштаеву, вопросительно уставилась на него.

— Есть свидетели, — кричал председатель. — Почему ты так поступила?

— Она знает почему, — сказала женщина.

Унгуштаев посмотрел на учительницу, та снова густо покраснела и сказала:

— Она по всей деревне распустила сплетню, что я соблазняю ее мужа. Вы, товарищ председатель, знаете, что это чушь собачья. Ее муж ведь давно в тайге. Если б я и хотела его соблазнить, это невозможно. Вы же знаете, что все это выдумки. Первый раз, что ли? Когда она по деревне треплет, еще куда ни шло, но когда при учениках такое болтает, тут уж я не могу молчать! Как ребята будут на меня смотреть после всего этого?

— А что же она говорит? — спросил Унгуштаев.

— Мелет языком, что, дескать, двадцать девятого октября ее муженек тайком воротился из тайги, провел у меня ночь, а утром снова ушел в тайгу.

Жена охотника старалась угадать по движению губ слова, но, видно, не сумела и тревожно переводила глаза с председателя на учительницу.

Унгуштаев придвинулся еще ближе к ней и долго кричал в ухо, что так не годится, нельзя так делать, за такие вещи судят и, если еще раз повторится, придется дело передать в суд, который, как известно, по головке не гладит. Чтобы это было в последний раз, а теперь можете идти обе.

Женщина надела шаль и хотела уже идти, но Унгуштаев тронул ее за руку, снова наклонился к уху.

— Кстати, тебе привет от мужа, — сказал он.

Глаза женщины расширились, она с минуту смотрела на Унгуштаева, видимо привыкнув не доверять своим ушам. Однако по глазам, по всему переменившемуся лицу было видно, что она расслышала, но то ли сомневалась, то ли хотела услышать еще раз.

— Что ты сказал?

— Муж привет тебе передавал, — повторил Унгуштаев и, показывая на меня, объяснил: — Вот мы с ним были у него на заимке. Чай пили. Ночевали.

Я сперва подумал, что он говорит о леснике. Но у того я был не с Унгуштаевым, а с Василием Киштеевым. И вовсе мы там не

ночевали. А больше никакой другой охотничьей заимки на нашем кочевом пути не встретилось.

— Когда видели его? — спросила женщина, глянув на меня, а затем снова впившись глазами в Унгуштаева.

— Так я пойду, — учительница встала.

Унгуштаев кивнул ей, а потом возвел очи горе, будто пытаясь вспомнить.

— Точно не скажу, — проговорил он через некоторое время, — но было это в конце октября. Двадцать восьмого или двадцать девятого. Два дня мы у него ночевали и вместе на белку охотились.

Мне все стало ясно. Ах этот добряк Унгуштаев! На что только он не пойдет, лишь бы принести людям благо! Тут уж поистине цель оправдывает средства. Женщина мучается, днем и ночью думает о приближающейся старости, а муж еще сравнительно молод, как говорится, в самом соку. Кажется, нет лекарства от ревности, этой страшной болезни, присущей только человеческому роду, но старый добрый Унгуштаев нашел его. Я вижу, как радостью и любопытством горят глаза женщины. Лицо помолодело, будто сбросив сердитую маску. Она вся сияет, расспрашивая Унгуштаева про мужа: здоров ли, все ли у него есть, как в этом году с белкой, а может, уже и соболь попадается… Я потихоньку встаю и выхожу за дверь. Пускай уж Унгуштаев выкручивается как знает. Сам заварил кашу — пусть сам и расхлебывает. Я тут ничем не могу помочь. Могу только все испортить, застигнутый, врасплох каким-нибудь вопросом, потому что никогда не видел мужа этой женщины и, разумеется, вряд ли когда-нибудь увижу.

Я иду по единственной алыгджерской улице и вижу, как изменилась деревушка. По обеим сторонам улицы стоят те же почерневшие от времени дома из неотесанных бревен, ничего нового никто не строил, и все-таки изменился Алыгджер, стал почти неузнаваем. Когда мы уходили в тайгу, это была живая, бойкая деревня, наполненная людским гомоном, а сейчас улица пустынна, кругом тишина. Только любопытные глаза следят за мной из окон домов. Почти в каждом окне женские лица, они прижимаются к стеклу, сплющиваются, искажаются, словно искривленные болью или горем. Эти плоские лица провожают меня по всей деревне, как немой упрек.

Обоих Киштеевых — Василия и Варвару — я застаю у них во дворе. Они приехали в деревню утром, так и не догнав нас с Унгуштаевым. Муж и жена заняты делом. Срезают оленьи рога. В эту пору рога у оленей большие, крепкие, горделиво возвышаются над головой животного. Однако такое украшение не годится для

верховых или вьючных оленей. Узкие таежные тропки часто петляют в непроходимой чаще, ныряют под наклонившиеся или вывороченные с корнем деревья, и олень цепляет за них рогами, устает. Поэтому тофалары и срезают ветвистые оленьи рога.

Кожаным ремешком Василий привязывает к изгороди оленя, стараясь нагнуть его голову как можно ниже, и кажется, что человек хочет заставить животное целовать землю. Олень вырывается, пытается поднять голову, его большие глаза наливаются кровью, но сыромятный ремешок крепко держит зверя, не отпускает. Тем временем Василий берет ножовку, хватается одной рукой за олений рог, а другой пилит, и я вижу, как на землю сыплются мелкие, чуть заметные опилки. И еще я вижу, как при каждом движении пилы по шкуре этого красавца животного пробегает судорога. Но вот падает на землю один, а за ним и другой рог. Они лежат возле морды оленя, словно безлистые ветви дерева, а из жалких остатков сочится густая кровь. Несколько капель стекают на оленью морду, медленно катятся по блестящей шерсти, и кажется, что животное плачет кровавыми слезами… Василий смазывает чем-то раны, обвязывает тряпицей и переходит к следующему оленю.

— А им не больно? — спрашиваю я.

— Не знаю, — говорит Василий и, помолчав, добавляет: — Может, немножко больно, но, видать, не очень. В это время рога уже костенеют. Было бы больно — он не выдержал бы, оторвал ремешок вместе со всем забором.

Так или иначе, но зрелище мало приятное. Я беру свои вещи, доставленные на оленях из тайги, и собираюсь уходить.

— Приходите попозже, — говорит Василий. — Мы по дороге кабаргу убили — поедите. Может, больше никогда не доведется попробовать.

Я обещаю прийти.

Как долог день, когда у человека нет какого-либо серьезного занятия. Слоняешься из угла в угол, то и дело поглядывая на часы, стрелки которых, кажется, застряли и не движутся.

Я захожу в магазин, зная, что ничего не куплю, потому что выбор товаров невелик, да, кроме того, мне ничего и не нужно. И тут тоже мое внимание привлекают оленьи рога. Я нарочно прошу продавщицу показать их. Оказывается, это рога изюбра, и стоят они восемьдесят рублей. Это не простые рога. Собственно, рога-то простые, от самого обыкновенного изюбра, но изюбр убит в такое время, когда в его рогах собираются очень ценные лекарственные вещества. Такие рога называются пантами. Они словно бархатные, покрыты нежнейшим пухом. В начале июня десятки охотников рыщут по тайге в поисках этих рогов. Местные

жители хорошо знают места, где водится изюбр. Особенно любит он солончаки, которых довольно много в Саянах. Животное приходит ночью в такое место и лижет, грызет просоленную землю. Бывалые охотники иногда специально доставляют в горы мешок соли, щедро пропитывая рассолом землю, а спустя некоторое время тут и подстерегают изюбра, так как рано или поздно зверь обнаруживает такое место и привыкает к нему. Правда, в таких местах охотникам приходится встречаться и с медведем, который тоже не прочь полакомиться солененьким. Панты исстари пользуются огромным спросом, и нигде их не добывают в таком количестве, как здесь, в Саянах. Разве только в горах Алтая… Я держу в руках панты, рассматриваю их, ощупываю нежную оболочку, а сам думаю об оставшемся в тайге Петре. Не идет он у меня из головы. Где бы я ни был, что бы ни делал, мысли все время возвращаются к нему. Вот и сейчас панты напомнили мне ту ночь, когда мы с Петром ели жареных белок и он говорил о своем одиночестве, а потом отправился в глубь тайги и деревянным манком долго звал то, чего не дозваться…

— Берете? — спросила продавщица, видимо потеряв терпение.

— Нет, — сказал я и увидел высокого юношу в очках, который стоял у другого конца прилавка и внимательно разглядывал меня. За стеклами очков поблескивали огромные глаза, большая меховая шапка съезжала на лоб, и казалось, только уши молодого человека мешали ей закрыть все лицо. Я уже встречал его раньше, до ухода в тайгу. Видел его на улице. Он шел, сунув под мышку буханку хлеба и банку консервов. Еще в тот раз я обратил внимание на эти огромные глаза, видящие какую-то далекую, только ему одному известную цель.

Мы познакомились.

Владимир Егоров — директор Алыгджерской средней школы. Парень недавно окончил Иркутский педагогический институт и сам попросился в Тофаларию. Комиссия по распределению охотно удовлетворила его просьбу, потому что и с огнем трудно найти чудаков, которые сами рвутся в этот забытый богом и людьми медвежий угол. Все хотят осесть в больших городах. А Владимир и сам приехал сюда, и еще друга, Михаила Кляшкова, уговорил, который теперь стал завучем. Не легко здесь работать. Правда, учеников собрать легче, чем на Крайнем Севере, в Ненецком или, скажем, в Эвенкийском национальном округе, где оленеводы круглый год кочуют по необозримой тундре. Тофалары, как я уже говорил, живут в трех разбросанных по горам селениях: Алыгджере, Нерхе и Верхнем Гутаре. В конце лета всех учащихся на самолетах доставляют сюда, в Алыгджер,

где имеется интернат. Обучение и воспитание тофаларских детей государство берет на себя. Родителям не нужно беспокоиться ни об одежде, ни о книгах, ни о питании, ни о плате за интернат — обо всем заботится государство. Тофаларский ребенок с рождения и до окончания высшего образования (если он стремится к этому) находится на попечении государства. Кажется, чего еще, где найдешь большую гуманность и лучшие условия? Однако учителям здесь особенно трудно работать. Может быть, потому, что ученье так доступно. И поэтому не ценится. Особенно родителями. Старые тофалары свято уверены, что учеба только портит ребят. И очень неохотно отпускают детей в школу. Зато производственная практика проходит как по маслу — ведь это охота на белок, соболей, куниц, горностаев. И сами ребята рвутся на практику, и родители не без оснований считают, что их дети будут кормиться не грамотой, а охотой, как кормятся они сами, как кормились их отцы, деды и прадеды. Во время производственной практики школьники уходят со своим руководителем в тайгу и две недели живут там, как испокон веков жили тофалары. А учатся не слишком прилежно. Ходят в школу, отсиживают на уроках, но один бог знает, где их мысли, о чем они думают, потому что порой не слышат учителя.

— Я думал, все будет проще и легче, — вздыхает Владимир. — Просто не знаю, как добиться перелома. Кое-кто здесь обижается на нас за это, — дескать, и так уж слишком круто взялись, двоек понаставили столько, сколько не было за всю историю школы. Некоторые даже угрожают. Но я не сдамся! Мы своего добьемся. Покончим с кочевыми привычками.

Ах эта горячность юности! Я хорошо понимаю Владимира, его страстное желание как можно быстрей переделать мир. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Честно говоря, я не знаю, хорошо это или плохо. Ясно одно: в жилах тофаларов еще течет кровь недавних кочевников, благодаря чему эта маленькая народность сохранила свой оригинальный образ жизни, особое мироощущение и неповторимый духовный облик своего народа, не растворилась в суматохе двадцатого столетия, где человек зачастую нивелируется, где машины и чудеса техники нередко заслоняют самого человека.

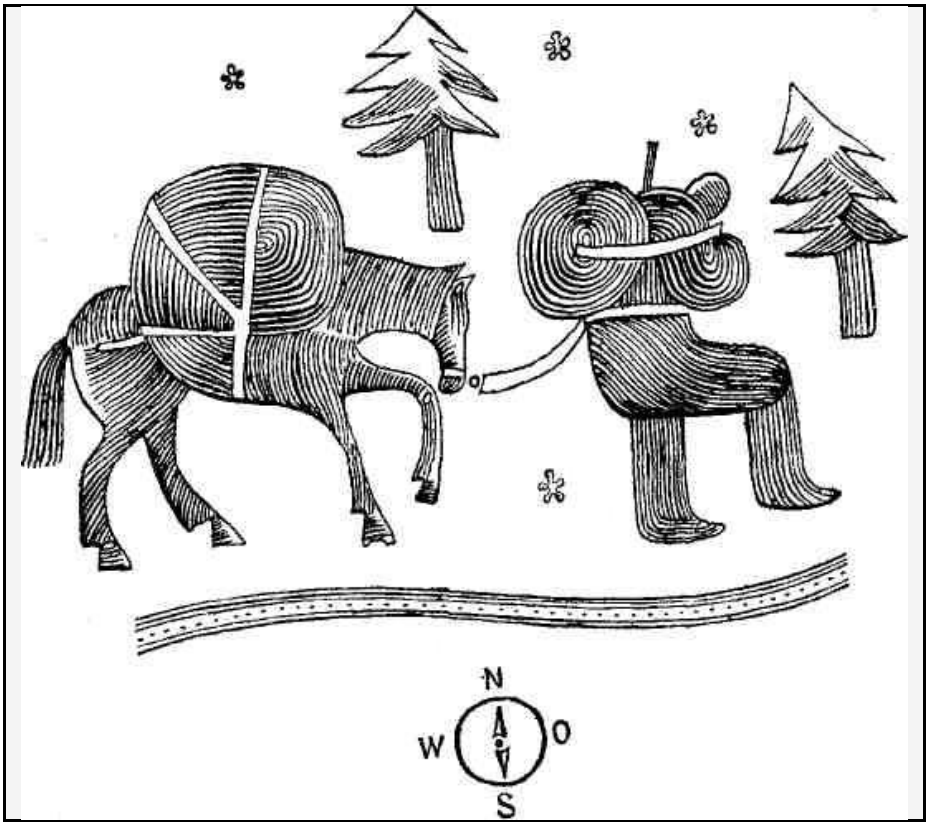
А вечером мы снова собрались все за одним столом — старый Унгуштаев, Варвара с Василием, я. Не хватало только Петра. Но мы и ему налили рюмку, которая так и стояла до конца вечера и с которой мы чокались.

Последнюю ночь в Тофаларии я опять провел в кабинете старого Унгуштаева на раскладушке, стонавшей от каждого движения. Вот и закончилось мое путешествие в страну, где

национальность человека — человек. Тоф — человек. Я долго не мог заснуть, мысленно продолжая разговор с Петром, сидящим где-то у таежного костра. А потом стал погружаться в густой туман и уже не знал, то ли сплю, то ли грежу наяву: я иду через лес, где вьется песчаная тропинка; шумят сосны, дышат смолистым запахом; я иду в свою любимую деревеньку, останавливаюсь у одинокой березы на опушке, снимаю глиняный кувшин и жадно, большими глотками, пью сладкий сок; кто-то хочет вырвать у меня кувшин, но я вцепился в него, как корни березы вцепились в почву; я держу кувшин, не отнимая губ, и чувствую, как соки родной земли струятся по моим жилам, питают меня, придавая новые силы после долгого и трудного пути…

1967

ПО КАКИМ ДОРОГАМ ХОДИТ СЧАСТЬЕ



Первое, что я услышал сквозь сон, был крик горластых сибирских дроздов. Потом к нему присоединился мерный звон колокольчика. Стянутый спальным мешком, я все же кое-как уселся и выглянул из палатки.

Геологи уже на ногах. Возможно, их голоса и заставили меня проснуться.

Я закурил и принялся разглядывать наш лагерь, раскинувшийся у подножия горы. По склону почти до самой вершины взбираются могучие сибирские ели и кедры. Рядом с ними палатки кажутся совсем крохотными.

— Женя, ты готов? — спрашивает девичий голос.

Девушку зовут Кларой.

— Иду, — откликается откуда-то сбоку Женя, вернее, Евгений Фролов, главный геолог группы. Очевидно, он еще у себя в

палатке.

Я откидываю полог. Мимо проходит Иван, ведя под уздцы лошадь, навьюченную кирками, лопатами, взрывчаткой. Звенит подвязанный под мордой лошади колокольчик.

— Ну вот!

Женя выбирается из палатки, закидывает за спину ружье, несколько раз подпрыгивает на месте, чтобы утрамбовать и поудобнее приладить объемистый рюкзак.

— Погоди! — Клара заботливо расправляет загнувшийся ворот Жениной куртки.

Мне приятно глядеть, как она хлопочет возле этого долговязого худого парня, но и немного досадно за нее.

Наконец они уходят — Женя впереди, Клара за ним. Он идет, как лось, — легко, быстро. Не останавливаясь, не оборачиваясь.

Мог бы хоть разочек оглянуться, поинтересоваться, не отстает ли Клара. Где там! Шагает как заведенный. Я смотрю на Евгения, на торопливо следующую за ним малышку Клару, и мне чертовски хочется крикнуть во весь голос:

— Эх ты, Женя, Женя!

Но я, разумеется, молчу. А когда они исчезают в тайге, снова валюсь на спину. Спать больше не стоит, понежусь просто малость, полюбуюсь нарождающимся днем.

Здесь, в горах, день спускается сверху вниз. В долине, где раскинулся наш лагерь, все еще плавает предрассветный сумрак, смутно белеют палатки, окруженные темной стеной деревьев, а гребни гор уже купаются в лучах встающего солнца.

Незаметно для себя я все-таки засыпаю. А когда просыпаюсь, нахожу пустой лагерь. Кроме нас — трех бездельников, прибывших сюда из далекой Литвы, никого нету. Судя по тому, что угли костра успели остыть и покрыться слоем пепла, все члены геологической партии разошлись достаточно давно. Рабочий день геолога определяется не часами. Он определяется светом. Нет людей более жадных до дневного света, чем геологи. По-моему, даже хлеборобы не так дорожат каждой минутой летнего дня. Геолог в самом деле, как поется в песне, солнцу брат. Подымается светило — встает и он. И пока солнце не зайдет, до тех пор стучит молоток геолога. Иначе и быть не может. Лето здесь короткое. Только в середине мая, а то и в самом конце можно пробраться в тайгу. А уже в сентябре налетают «белые мухи» — так тут называют первый снег. День-другой — и не видно из-под снега земли, дальнейшие изыскания невозможны. Вертолеты собирают застрявшие в тайге геологические партии. До следующей весны сюда не ступит человеческая нога, человеческий голос не нарушит тишины леса.

Разве только забредет случайный охотник, проложит одинокую лыжню.

А может, не только оттого, что так коротко северное лето, спешат геологи. Существует, очевидно, и другой стимул. Геолог ежедневно, ежечасно стоит на пороге открытия. Пусть открытие это окажется вовсе не случайным, пусть даже наверняка известно, что следует искать и где, тем не менее открытие остается открытием: чисто по-человечески хочется, чтобы оно пришло как можно скорее. Насколько важно для страны каждое такое открытие, говорить не приходится, уж кто-кто, а сами геологи отлично понимают это. Их труд действительно можно сравнить с трудом хлеборобов. Богатства, скрытые в земле, — тот же хлеб.

Вчера я слышал разговор Жени с Кларой. Сегодня с утра они собирались пойти вниз по ручью. Посоветовавшись, мы решаем двинуться туда же. С собой берем только ружья и по горсти сухарей.

К нашему лагерю со всех сторон подступает тайга, никогда не знавшая ни пилы, ни топора. Трава здесь такая высокая, что человек в ней прячется с головой. И даже с поднятыми руками. Мы продираемся сквозь густые переплетенные стебли и чуть не на каждом шагу налетаем на лежащие на земле, поверженные бурями гигантские сибирские ели и кедры. Заметить их заранее невозможно — буйная трава все скрывает от глаз. Поэтому мы то и дело спотыкаемся о вывороченные корни, упираемся в гниющие стволы. Перелезаем через препятствия, местами карабкаемся, как жуки, на четвереньках. А тут еще донимает жара и над головой вьются тучи мошкары, которая лезет в глаза, в рот, в нос. Останавливаемся измученные, будто прошли много километров, рвем горстями спелые ягоды, глотаем живительный сок — благо, вокруг настоящие заросли красной и черной смородины.

Всю дорогу нас сопровождает посвистывание бурундуков. Бурундук — симпатичный зверек величиной с мышку. Любопытен он, как ребенок. Сидит на стволе поваленного дерева и таращит свои быстрые глазки. Но стоит подойти ближе — пискнет и скроется в норе, где-нибудь под корнями дерева. У бурундуков сейчас горячая пора: поспели кедровые орехи, нужно спешить, собирать запасы на зиму. Бурундуки — хорошие хозяева, день-деньской в работе: устраивают у себя в норе кладовую, выстилают ее сухой травой, ссыпают туда орехи. Трудится бурундук, трудится, и вдруг нежданно-негаданно заявится незваный гость — медведь. Хозяин тайги ведет себя как настоящий разбойник: если ему посчастливится напасть на бурундучью нору, он тотчас раскопает ее своими острыми когтями и сожрет все, что успел заготовить несчастный зверек. Для медведя слопать

полмешка отборных целехоньких орехов ничего не стоит, косолапый только слегка потолстеет перед зимней спячкой, а работяга бурундук погиб. Не успеет он до зимы вырыть новую норку, а тем более сделать новые запасы.

Почти под каждым кедром валяются шишки. Все они оказываются вылущенными; если и осталось несколько орешков, так наверняка пустых. Это работа клестов. Тайга вокруг наполнена их пронзительными, скрипучими голосами. Клест прилетает, усаживается на вершине кедра, прижимает шишку когтями и начинает орудовать своим могучим клювом. Стукнет по скорлупке — и по звуку сразу определяет, полный орех или пустой.

Хоть и медленно, мы все-таки продвигаемся вперед. Странное чувство охватывает при мысли, что эта непроходимая, нетронутая тайга — без деревень, без городов — занимает территорию, на которой свободно могут уместиться десять таких республик, как Литва. Только реки прорезают девственный лес, только горы возвышаются над сплошным зеленым массивом. Чувство это нельзя назвать страхом (хотя к нему примешивается и страх), нельзя объяснить ощущением ничтожности человека перед лицом природы. Оно настолько многообразнее и сложнее, что не поддается никакому анализу. Геологи называют его «таежной болезнью». Болезнь, которая угнетает человека и в то же время придает ему и силы и мужество. Только слабого она сминает окончательно — он уже не вернется в тайгу никогда, сильный же будет искать с нею встречи снова и снова, пока не поверит в свои силы настолько, что перестанет ощущать ее вовсе. Может быть, такому «естественному отбору» геологи и обязаны тем, что в их среде не встретишь людей малодушных. И наверно, по этой же причине тут так развито чувство локтя. Один в тайге не воин. Индивидуалисты могут красоваться своим искусственным оперением где-нибудь в другом месте. В тайге такие перышки мигом осыплются и полиняют вместе со всеми громкими фразами, останется лишь пустая оболочка.

Наконец мы замечаем на другом берегу ручья Женю и Клару. Они работают у подножья отвесной скалы, на сотни метров уходящей ввысь и такой гладкой, будто ее обтесала рука великана. Мы присаживаемся подле огромного камня и через ручей наблюдаем за работой Клары и Евгения.

Горная Шория на редкость богата полезными ископаемыми. Найдены тут и высококачественные железные руды, и золото, и уголь, и немало других сокровищ. А партия, которой руководит Евгений, ищет самые обыкновенные… удобрения. Целинным землям Казахстана и Алтая необходимы фосфориты. Огромные

залежи фосфоритов уже разведаны неподалеку, в ближайшее время начнется их эксплуатация. Вырастут заводы-гиганты, безлюдную тайгу прорежут артерии шоссейных и железных дорог, подымутся новые города… А пока что геологи забираются все глубже и глубже в тайгу, открывая новые клады.

Время от времени Клара подходит к Евгению, показывает ему кусок породы, снова отходит. Иногда девушка подымает голову и несколько мгновений неподвижно смотрит на согнутую Женькину спину. Будто хочет что-то сказать, да не решается. А он не чувствует ее взглядов — весь ушел в работу. И опять меня подмывает крикнуть:

— Ах ты, Женя, Женя!..

* * *

В палатке невыносимо жарко и душно. Я лежу не двигаясь и все равно обливаюсь по́том. Выползаю наружу — ноги гудят от усталости.

По горным ущельям молоком растекается туман. Он ползет, стелется, заполняет сначала низину, а потом начинает подыматься, скрывает под собой могучие кедры. Только до вершины горы ему никогда не удается добраться — даже самым туманным утром шапки гор сверкают, озаренные солнцем.

Геологи сидят вокруг костра, готовят ужин. Вернее, и обед, и полдник, и ужин, и даже завтрак на следующее утро — все сразу. Сегодня мы наловили полное ведро хариусов. Крупных ребята жарят, мелочь пошла на уху. Нас одиннадцать ртов, всем хватит до отвала.

Чтобы не пройти мимо костра молча, спрашиваю:

— Женьки еще нету?

Ответ мне известен заранее:

— Нету… Как стемнеет, явится.

Кто-то спрашивает:

— Купаться?

— Попробую.

— Холодно.

Махнув рукой на это предостережение, я спускаюсь к ручью. В первый же день нашего пребывания в лагере я заметил, что геологи относятся к нам, как к младенцам. Вода действительно ледяная, ручей питается снегами Саянских гор. Но если геологи купаются, значит, можем купаться и мы. Конечно, в такую воду постепенно не войдешь, единственный способ — с камня вниз, в яму. Все тело тотчас обжигает, точно спиртом, глаза готовы

выскочить из орбит: выныриваешь и проворно карабкаешься обратно на камень. Вот и все купание.

У дальней излучины ручья, на тропинке, петляющей вдоль подножья горы, мелькают две человеческие фигурки. Они лишь на мгновение показываются в просвете между деревьями, но я успеваю их узнать. Так ходят только Клара с Женей.

Я торопливо одеваюсь, прополаскиваю наспех портянки и, натянув сапоги прямо на босу ногу, возвращаюсь к костру.

Вот они выходят из тайги. Женя идет как всегда: высоко подымая длинные ноги, в руке — ружье, за спиной — рюкзак, набитый образцами пород. Опять я невольно сравниваю его с лосем. Наверно, каждый человек похож на какое-нибудь животное… Клара, по обыкновению, следует сзади. На узкой тропинке ее можно и не заметить за огромной Жениной фигурой. Но поскольку вокруг лагеря трава вытоптана, Клара выныривает из-за его спины и пристраивается рядом. Я удивляюсь, как ей удается никогда ни на шаг не отставать. Маленькая, худенькая, а вот поди ж ты — топает и топает, только молотком размахивает, будто и не давит ей на плечи огромный рюкзак. Лицо у Клары смуглое, а глаза как угольки.

Женя скуп на слова. Иногда мне кажется, он бережет их для какого-то особого случая. Вот и сейчас, выслушав рассказ об удачной рыбалке и понюхав дымящуюся уху, он только кивает одобрительно и, найдя глазами Ивана, говорит:

— Неси.

— Что?

Женя не объясняет, молча пожимает плечами, вероятно удивляясь недогадливости товарища.

— А-а-а… Ясно! — широко ухмыляется Иван и, мигом слетав в палатку, возвращается с пузатой бутылью.

— Такой случай, — объясняет Женя, будто оправдывается.

— Конечно, надо.

Случай — это наш отъезд. Еще день-два, и мы свяжем плот, погрузим на него свои вещи и пустимся вниз по бурной Мрас-Су. До ближайшего селения сто, а может, и больше километров. Никто не мерял, никто не знает наверняка. Бутылка — на проводы.

Не торопясь подходит Клара. Она уже успела умыться и переодеться. Белая рубашка идет к ее загорелому лицу. Я слежу краем глаза: куда Клара сядет? Налив себе полную миску ухи, она втискивается между Иваном и Женей. Иван, уступая место, послушно отодвигается, а Женя — даже не шелохнется. Сидит опустив голову, точно не замечает девушки.

Ему наливают первый стакан — он здесь хозяин. И первый

тост тоже за ним. Женя обводит всех взглядом, поднимает стакан и говорит:

— Ну, братцы!

И только. Но ребята удовлетворены. Они знают, как много содержится в этих двух словах. Евгений выпивает до дна, и тотчас Кларина загорелая рука подносит ему закуску. Женькины глаза загораются теплом. Может, это действует спирт? Да нет, вряд ли. Однажды мне уже довелось видеть, как Женька пьет, но и от спирта не теплел тогда его взгляд. Ничего не было в его глазах, кроме страдания и боли. Такой боли, что словами не выскажешь…

* * *

В горах только что отбушевала гроза. Замолкли последние раскаты грома, стих ливень. Мы вышли на крылечко пить чай. Сибирский чай с вареньем. Вместе с нами уселась чаевничать и Валя. Кандидат геологических наук Валентина Ивановна Каминская. Прихлебывая чай, мы слушали ее рассказы о работе геологов, о богатствах Сибири, о веселых и грустных приключениях.

Ночь стояла такая, что в двух шагах ничего не было видно. Вдруг мы услышали стук тяжелых ботинок по деревянному тротуару. Кто-то приближался, вслух проклиная темнотищу. Подойдя к нам, человек остановился. Мы не могли его разглядеть.

— Не знаете, где тут живет… — он назвал какую-то фамилию.

— Нет, не знаем, — ответила Валя.

— Извините, — человек двинулся было дальше, как вдруг Валентина вскочила:

— Женька, ты?

— Я. А ты кто?

— Неужто не узнал?

Тот ничего не ответил.

— Забыл, значит. Эх, ты!

И тут Евгений признал ее.

Не одну тысячу километров прошли они вместе по Горной Шории еще в ту пору, когда Валентина была рядовым геологом, потом руководителем группы. Теперь она — ученый. По разработанному ею методу трудятся многие экспедиции, занятые поисками железной руды.

Женю пригласили к столу.

— Повезло вам, — сказала Валентина. — Они ведь, Женя, в твой отряд собираются. Чаю тебе налить?

— А покрепче ничего не найдется?

У нас в рюкзаке нашлось.

— Погоди, — спохватилась вдруг Валентина. — Как же ты тут очутился? Насколько мне известно, ни одного вертолета не было. Люди вон вторую неделю сидят на вещах. Как ты добрался?

— Пешком.

— Пешком?!

— Ну.

— Сто двадцать километров?

— Ну.

— Сто двадцать километров по такой тайге?

— Ну.

— Что ты нукаешь? Ты толком скажи! Какая беда с тобой стря… — Валентина осеклась, не договорив. Как раз сегодня утром мы слышали разговор: дескать, жена Женьки Фролова с кем-то сошлась и переехала в Таштагол.

— Настоящая беда, Валентина Ивановна, — вздохнул Женя и замолчал.

Мы тоже молчали. Кто-то принялся разливать чай.

Наконец Женя снова заговорил:

— Понимаешь, корова планшет сожрала.

Мы не знали, какое это несчастье для геолога, и восприняли его слова как шутку. Но Валентина сразу поняла, что речь идет об утере секретного документа и что история пахнет серьезными неприятностями. А Женя Фролов — способный геолог. Всего тридцать пять лет парню.

— Как же так, Женечка?!

— А черт ее знает… Спал я… Просыпаюсь, слышу, хруст какой-то… Смотрю, морда коровья надо мной, и только ремешки одни болтаются…

— Надо было зарезать… — говорит Валентина.

— Хотели пристрелить… Уже к дереву привязали… Да тут хозяин, шорец, бросился ко мне, руки целует… Ребеночек у него маленький… Ну, я подумал: будь что будет… Вот и пришел…

Так состоялось наше знакомство с геологом Евгением Фроловым.

После мы еще два дня проторчали в Усть-Шалыме, проклиная облачность. Сплошные черные тучи скрывали вершины хребтов, и ни один вертолет не вылетал в тайгу. За эти два дня мы успели сблизиться с Женей. Он написал ряд объяснительных и хотел идти обратно в свою группу, но из-за нас остался. Он приходил к нам утром, чуть свет, садился в углу и молчал. Спросишь о чем-

нибудь — ответит одним словом и опять замолчит. Просидит, бывало, так несколько часов кряду, а потом несмело предложит:

— Пошли, братцы, пластинки покрутим, что ли? Вертолета сегодня все равно не будет. Я узнавал.

У него было много пластинок, но ставил он только одну — «Прощание с Родиной» Огинского. Запускал патефон на полную мощность, словно хотел заполнить музыкой ту пустоту, которая образовалась в его квартире с уходом жены. О жене он не сказал ни слова ни в первый день, ни на следующий. Только когда совсем стемнело и мы поднялись уходить, парень не выдержал. Налил себе стакан спирта, выпил и сказал:

— А вы знаете, что меня жена бросила?

Мы сказали, что все знаем.

Он окинул нас взглядом и опустил голову. Мы снова сели, не собираясь уже никуда идти.

— Вот думаю, может, сходить к ней?.. Отсюда до Таштагола несколько километров.

— Зачем ты пойдешь? Сыпать соль на раны? Она, наверно, знала, что делала. Время у нее было все обдумать. Что изменится, если ты придешь?

— Ничего, — кивнул Женя. — Этот кувшин уже никто не склеит. Даже она сама… Если бы и захотела…

Мы молчали. Немного погодя он добавил:

— Конечно, ничего она мне не скажет…

На следующее утро мы наконец вылетели. Прибыли в верховье небольшой речушки Узас. Лагерь — несколько палаток подле одинокой усадьбы шорца-охотника.

Не один десяток километров прошли мы с тех пор вместе с Женей, не один вечер провели вместе у костра, но ни разу больше ни он, ни мы не подымали разговора о его бывшей жене. Я видел, как он, утомленный долгим рабочим днем, сидит понурившись, и у меня в сознании возникало двустишие Паулюса Ширвиса:

…Обойди меня как мертвого,
Как камень обойди!

* * *

А сейчас Женя пел. Пел вместе со всеми о геологах, о том, что путь их далек и долог и что нельзя им свернуть назад. Этот припев он подхватывал особенно рьяно. Столько упрямства, граничащего едва ли не со злостью, вкладывал он в слова песни,

будто хотел непременно убедить кого-то. А может, самого себя. Я наблюдал за ним и, казалось, угадывал, что происходит в душе у этого человека.

Когда все уже разбрелись по палаткам, Евгений присел возле меня на камень.

— Значит, плывете?

— Плывем… Может, еще застанем Генрикаса.

— Сидаугаса?

Я кивнул.

— Славный парень, — помолчав, сказал Женя и добавил: — Стопроцентный геолог.

Генрикас Сидаугас — литовец, уже пятый год работает в Горной Шории. Забегая вперед, скажу, что нам так и не довелось с ним встретиться.

— Дома семья ждет? — снова спросил Женя и сам же ответил: — Человека должен кто-нибудь ждать. Иначе нельзя.

Я почувствовал, что сейчас, перед нашим отъездом, он хочет наконец высказаться, хочет поделиться всем, что скопилось на душе, и поэтому молчал, опасаясь неосторожным словом спугнуть его откровенность.

— Знаешь, это ведь у меня была уже вторая жена…

Вот как. Я ничего об этом не слышал.

Женя с трудом, словно не говорил, а камни ворочал, поведал мне историю своей жизни.

Едва окончив учебу, он женился. До этого они три года дружили. Вскоре получил назначение в Заполярный Урал. Звал ее ехать вместе, но она отказалась. Поехал один. Переписывались. Письма от нее приходили все реже. Наконец получил последнее. Она писала, что не имеет права похоронить себя заживо в каком-то медвежьем углу, что такая, жизнь не для нее, что есть человек, который предлагает ей светлое будущее в Москве, и что в конце концов каждый сам выбирает, как ему лучше прожить свою единственную неповторимую жизнь. На том и разошлись. Он остался в Заполярье, она — в Москве.

— Видно, под несчастливой звездой я родился, — невесело усмехнулся Женя, заканчивая свой рассказ.

— Ты серьезно? — спросил я.

— И да, и нет, — ответил он.

Я не стал больше расспрашивать. Евгений, должно быть, один из тех людей, которые видят свой жизненный путь до последнего вершка. Никакая сила не может свернуть их с этого пути. Женин путь — трудный путь геолога. Наполненный и тревогами исканий, и радостью находок, и горечью разочарований. Если человек знает, чего хочет от жизни, он уже счастлив. Именно эта

уверенность в правильности своего выбора поддерживает Евгения, не дает потерять равновесие. А все остальное придет когда-нибудь. Было бы величайшей несправедливостью, если бы такой человек, как Женька, остался одиноким.

Мы подымаемся и идем к Жене в палатку послушать последние известия.

Батарейный радиоприемник тускло посвечивает шкалой на перевернутом ящике.

Женя ложится на спальный мешок. Клара незаметно прошмыгнула в палатку, села рядом с Женькой и, обхватив руками колени, застыла. Я смотрю на темный силуэт ее фигуры, на живые глаза, поблескивающие в скудном свете приемника, смотрю на развалившегося в углу Женю и думаю: почему мы порой упорно не замечаем чудеснейших людей, живущих рядом с нами, почему ищем счастья где-то вдали? Мне хочется встряхнуть Женю за плечо и сказать:

— Ты что — не видишь? Вот она — твоя звезда!

Мы еще долго сидели в ту ночь в Жениной палатке. Говорили о том о сем, Клара принялась рассказывать о себе. Ее отец известный биолог. Всю свою жизнь он посвятил Сибири. В 1947 году по его инициативе в Горную Шорию были завезены соболи, которые отлично здесь акклиматизировались. Дочь пошла по стопам отца. Окончила Томский геологический институт, четыре года проработала в Горном Алтае, а теперь уже третий год трудится здесь, в Шории.

— И никуда в другое место не хочу! — закончила Клара.

Мы помолчали. Девушка встала, поглядела на Евгения:

— Хочешь чаю?

Женька не откликнулся. Мы прислушались и услыхали его ровное, спокойное дыхание.

— Ну что ж, пойду и я. Спокойной вам ночи. Добрых снов, — Клара протянула свою маленькую сухую ладонь.

— И тебе, Клара. И тебе, дорогая!

Я хотел добавить, что от всего сердца желаю ей счастья. Но к чему громкие слова? Такие люди, как Клара, добьются своего. В конце концов люди, достойные счастья, рано или поздно находят друг друга.

* * *

Покосившаяся избенка Тудыгеша стоит, приткнувшись к отвесной горе, словно боится упасть в бурную речку. Возле домика — клочок обрабатываемой земли, между грядок

несколько ульев. Мы почти каждый день покупаем у Тудыгеша свежий мед и, естественно, успели подружиться. Приходим под вечер, садимся перед крыльцом на плоский, отшлифованный ветрами камень и ждем, пока Тудыгеш наполнит медом нашу банку.

Вечер спокойный, безветренный. По ущельям ползет туман. Тихо. Так тихо, что даже отсюда слышно, как в лагере ребята ругают Валю, повариху: опять она пересолила ужин.

Внизу, весело подпрыгивая на камушках, журчит хрустальная вода. Веселая речушка — бежит, несет свои воды к морю. Через горы, через вечную тайгу, через тундру. Добежит наконец и на тысячи лет успокоится в просторах океана. А может, обласканная солнцем, снова подымется к небу, соберется в облака и выпадет животворным дождем где-нибудь на другом краю света. А что, если ветры принесут ее влагу снова сюда, в Саянские горы, и опять она прожурчит в этом же русле? Когда это случится? Через сто, через тысячи лет? Кто тогда будет сидеть здесь, на этом камне, и слушать немудреную убаюкивающую речную песню?..

Вдруг во дворе у Тудыгеша раздается крик, который нарушает вечернюю тишину и мои размышления. Опять хозяин не поладил с женой.

Весь дворик лежит перед нами как на ладони. Жена Тудыгеша, маленькая, тоненькая как былинка, потрясая над головой крохотным кулачком, бранится на непонятном нам языке.

Голос ее, должно быть, слышен и в лагере, так как вскоре оттуда долетает совет:

— Полно языком молоть! На что бог руки дал!

Случается, что Тудыгеш и поколачивает свою супругу. Четыре года живут, а детей никак не дождутся. Тудыгеш считает, что виновата в этом жена. А теперь, когда возле их усадебки разбила лагерь геологическая партия, появился еще новый повод для ссор. Дело в том, что Тудыгеша взяли в партию рабочим, он копает шурфы — глубокие ямы-колодцы, из которых геологи берут образцы пород. Лето — все равно не время для охоты. Ни шкуры, ни мяса. Поэтому Тудыгеш и согласился помогать геологам. А в лагере есть несколько девчат. Стоит Тудыгешу задержаться где-нибудь на часок-другой — разражается скандал. Ревнива его женушка. Вот и теперь не хочет она отпускать мужа из дому.

Тудыгеш в свое оправдание сует жене под нос литровую банку. Мед через край лезет и длинными нитями стекает на землю. Женщина умолкает, однако в дом не заходит. Стоит посреди двора и следит: действительно ли Тудыгеш направляется к нам? Вдруг свернет куда?

Тудыгеш присаживается на камень и молчит. Стыдно ему — мужчина, а позволил женщине кричать на себя, да еще на глазах у посторонних.

— Уезжаем, Тудыгеш.

— Уезжаете?

Тудыгеш надолго замолкает, потом говорит:

— Скоро все уедут.

В его голосе столько грусти, что нам становится не по себе. До появления геологов Тудыгеш жил своей привычной жизнью: промышлял охотой, ловил в речке хариусов, собирал кедровые орехи, сушил смородину, чернику, малину, грибы. Забытый богом и людьми домик достался ему от отца, а тому, в свою очередь, от деда. До ближайших соседей — несколько десятков километров. Но это никогда его не огорчало. Никогда он об этом не думал. Жил, и все было хорошо. Мечтал Тудыгеш лишь об одном: дождаться наследника, чтобы было кому передать охотничьи угодья, оставить свою одинокую избушку, клочок землицы да небогатый скарб. Пришли геологи, все смешали, все перевернули в жизни и в душе Тудыгеша. Чувствует он себя теперь как странник на перепутье.

— Какой жизнь — один как палец, — сетует он. — И темный, и холодный…

Тудыгеш плохо говорит по-русски, безжалостно коверкает слова, путает падежи, и, хотя говорит он с искренним огорчением, трудно удержаться от улыбки.

— Тебе смешно?

— Нет, Тудыгеш, не смешно. Только зря ты так переживаешь. Придет весна, снова люди приедут, а через пару лет, смотришь, и дорогу сюда проложат, город вырастет…

— Правду говоришь?

— Правду, Тудыгеш.

— Правду говоришь? — повторяет он недоверчиво.

— Конечно, правду, Тудыгеш.

Шорец молчит, точно взвешивая наши слова, а потом совершенно серьезно предупреждает:

— Ну смотри!

Мы идем вдоль берега, в последний раз оглядываемся на домик Тудыгеша. Одинокий, покосившийся, цепляющийся за клочок земли над речушкой, но готовый простоять тут еще не один год. Таким он и остался у меня в памяти.

Когда мы вернулись, в лагере уже собирались ко сну. Кто-то, ругаясь, отгонял от палаток лошадей (они подходят по ночам в поисках какой-нибудь корки или сухаря и вечно что-то переворачивают). Тихо и монотонно звенят подвязанные у них на

шее колокольчики. Я вспоминаю детство. Этот звон всегда означал конец дня, отдых, покой.

Подрывник Иван копошится возле деревянных ящиков, в которых хранятся образцы пород. Вытаскивает кусок породы, записывает на нем черной тушью номер шурфа и бросает в соседний ящик.

Заметив нас, он спрашивает:

— Что, спать?

— Ага.

— Сразу уснете?

Мы несколько удивлены таким вопросом:

— На бессонницу как будто не жалуемся.

На лице у Ивана появляется выражение озабоченности.

— А что такое?

— Ничего, — отвечает он.

Мы забираемся в спальные мешки и уже начинаем засыпать под неумолчный звон колокольчиков, когда у входа в палатку опять раздается голос Ивана:

— Спим? — спрашивает он, подымая полог.

— Нет, Иван.

Он протискивается внутрь.

— Что скажешь, Иван?

— Дело есть.

— Говори.

— Свечка у вас найдется?

— Найдется.

Я нащупываю впотьмах огарок свечи и с беспокойством думаю, что за беда привела к нам Ивана. Может, он надеется найти у нас остатки спирта — в таком случае его ждет разочарование. Или хочет попросить на память охотничий нож? Тут многим приглянулись наши ножи. Оказывается, ни то и ни другое. Иван вытаскивает из-за пазухи тетрадь.

— Вот.

— Что это, Иван?

— Стихи.

— Чьи?

— Мои.

— Ты пишешь стихи?

Он что-то невнятно мычит, потом говорит, глядя в сторону:

— Хочу посоветоваться. Может, конечно, все это глупости…

При трепещущем свете огарка Иван начинает читать, шуршат замусоленные страницы тетради. Прочитав очередное стихотворение, Иван спрашивает:

— Ну как? Чушь, да?

Мы тянем с ответом, увиливаем. Стихи безнадежные. Но как скажешь человеку такое в глаза — ведь он вложил в эту замусоленную тетрадь столько чувства, столько надежд, да и весь свой досуг. И потом, кто знает? Пока жив человек — рано на нем крест ставить. Может, выйдет когда-нибудь толк и из Ивановой писанины. Так что, подумав, мы изрекаем:

— Иди, Ваня, спи спокойно. Пишешь ты от души, и никаких глупостей тут нет.

— Так я и думал, — как ни в чем не бывало сказал он и вылез из палатки. — А спать еще рано. Надо пару стихотворений записать.

— Сейчас?

— Сейчас, конечно.

— О чем же ты хочешь писать?

— А про Вальку.

Вот как! Неужели наша повариха так вскружила Ивану голову своими очами, что он посвящает ей стихи?

— Не-а! — Иван на полном серьезе отвергает такое предположение. — Ведь что за человек она, эта Валька, — вечно либо пересолит, либо недосолит! — И, опустив полог палатки, он тихо, по-кошачьи, отходит прочь.

Пересолит либо недосолит… Не одну Вальку можно упрекнуть в подобных крайностях. В жизни это случается со многими: то пересолишь, то недосолишь…

* * *

На рассвете покидаем лагерь. Густой ночной туман застилает все вокруг, только самые вершины гор уже обдало пурпуром встающее солнце. Мои товарищи, распрощавшись с геологами, направились по берегу ручья вниз, к речке Мрас-Су. Пошли они налегке, захватив только двустволки и моток проволоки — вязать плот. Все имущество: палатка, спальные мешки, рюкзаки, запасы продуктов и патроны — осталось на мне. Мы договорились с геологами, что они одолжат нам лошадь. Теперь, поеживаясь от утреннего холодка, я упаковываю и связываю вещи. Иван помогает мне. Оглядываюсь в последний раз — не забыто ли что. Нет, кажется, все в порядке.

Осталось попрощаться с ребятами. Целый месяц ели мы из одного котла, ходили одними и теми же звериными тропами по тайге. Я пожимаю руки, отвечаю улыбкой на улыбки и чувствую, как грустно мне покидать этих людей.

Иван идет впереди. Он ведет в поводу лошадь, навьюченную

нашим имуществом. Мерно позвякивает колокольчик, мы шагом продвигаемся вперед, и я думаю, отчего так тоскливо у меня на сердце. Наверное, оттого, что никогда больше не встречу я ни Женю, ни Клару, ни Ивана… Разве только чудо сведет… Вот и выходит, что прощаешься на веки вечные. Кто знает, вспомнят ли они обо мне когда-нибудь. Я-то их не забуду. Не потому, что они какие-то исключительные люди. Нет. Но, живя среди них, я узнал новую для себя область человеческой деятельности, увидел труд геолога, нелегкий и такой необходимый стране.

Пробираемся вдоль берега извилистого ручья. Не дорога — едва заметная тропка. Временами приходится брести по ледяной воде, потом тропинка взбегает на скалы и тянется по самому краю отвесного обрыва. А кругом такие заросли, что не продерешься.

Иван — невысокий, крепко сбитый парень. Казалось бы, не для его коротких ног такая дорога. Однако ходит он, как горный козел: нигде не запнется, не оступится, не споткнется. Да еще без умолку говорит. Приятно иметь такого попутчика — разговор сокращает дорогу. Плохо только, что говорит он слишком быстро, второпях проглатывает целые слоги, и подчас не так-то просто разобрать, о чем идет речь. Иногда Иван останавливается и оборачивается ко мне, словно дожидаясь ответа. Я боюсь ляпнуть что-нибудь невпопад и только мычу: «Гм… ну-ну». Главное я, однако, улавливаю: Иван завидует нам, мы скоро будем дома. Ведь и у него есть дом, и его ждут жена и дочка. Дочка болела полиомиелитом, лечили ее. Иван с самой весны в тайге, с самой весны не видел своих, только снится ему дочка… Что поделаешь, такая уж у него, у геолога, доля. Однако ничего другого он для себя и не желает.

Мы взбираемся на откос и видим перед собой деревушку. Семь домишек, разбросанных у подножья горы, вдоль берега Мрас-Су. Избы сложены из толстенных бревен, крыты тесаными досками. От дома к дому проложены дощатые тротуары. Они подняты высоко над землей, чтобы можно было ходить во время ливней.

Мы подходим к магазину. Здесь у нас назначена встреча. Товарищи уже ждут меня. Продавец, оставив прилавок, выходит к нам и начинает предлагать медвежью шкуру. Будет память о Сибири, и уступит недорого.

Шкура у него дома. Мы идем взглянуть. Он выволакивает шкуру во двор и расстилает на земле. Громадная. Когти с человеческий палец. Я смотрю на страшные лапы и вспоминаю геофизика Александра Медникова.

— Возьмете? — спрашивает хозяин.

— А сколько вы хотите?

Запрашивает он в меру.

— Сами убили? — спрашиваю я.

Нет, не сам. Купил шкуру у местного охотника.

— Зимой убит, — нахваливает он свой товар. — Гляньте, какая шерсть!

Да, шерсть густая, блестящая, крепкая. Продавец не врет — медведь действительно убит зимой. И все-таки этот человек почему-то раздражает меня. Легко сказать «убит». Небось если бы сам, как Александр Медников, встретился с медведем лицом к лицу, иначе бы говорил. И шкуру не продал бы ни за какие деньги. Разве только подарил бы кому. Во всяком случае, не стоял бы вот так, широко расставив ноги, нахваливая свой товар…

В тот день Александр Медников работал в тайге вдвоем с одним из товарищей. От лагеря они отошли достаточно далеко. Продираясь в густой траве, Александр случайно задрал голову и увидел на кедре пару медвежат, — видно, полезли за орехами. «Где медвежата, там и медведица», — успел подумать Александр и тут же услышал за спиной рев. Медведица стояла на задних лапах в трех шагах от него. Первым выстрелом Александр угодил ей в грудь. Зверь взревел громче и сделал шаг вперед. Вторая пуля наверняка попала в сердце, но медведица по-прежнему стояла и ревела, протягивая вперед лапы… Третий патрон не выстрелил. Застрял в гнезде карабина. Александр отскочил в сторону, успел спрятаться за дерево. Могучий кедр прикрыл его, но медведица тотчас шагнула снова, загребая передними лапами, с намереньем вытащить человека из-за дерева. Александр отскочил за соседний ствол. Медведица не отставала. Так они и плясали — от кедра к кедру. Вскоре Александр остался без штанов: медведица зацепила материал кончиком когтя и разодрала до самого сапога. Потом таким же образом поддела рюкзак. На счастье, Александр поленился вчера пришить отрывающийся ремень, и теперь он лопнул, как ниточка. Зверь отшвырнул рюкзак и снова двинулся за пришельцем, не сводя с него маленьких, налитых кровью глаз. Александр следил за каждым движением своего врага и пятился задом, ощупью находя очередное дерево. Любой удар мог оказаться последним. И вдруг его руки ухватили только высокую, росистую траву. За спиной — голое место. Значит — смерть. Вот она, уже рядом, Александр чувствует ее горячее, удушающее дыхание на своем лице. И тут из его груди вырвался крик. Жуткий, нечеловеческий предсмертный крик мужчины. Но медведица не двигалась. Произошло чудо. Зверь топтался на месте, размахивал лапами, но не приближался. Александр попятился и увидел своего Кучума. Пес вцепился

зубами медведице в копчик и не пускал ее вперед. Кучум никогда в жизни не решился бы напасть на медведя. Если ему случалось нечаянно наткнуться на медвежий след, он тут же, дрожа, прижимался к ногам хозяина. Отчаянный крик Александра заставил собаку забыть страх. Медведица еще несколько раз, точно отбиваясь от мух, взмахнула лапами и покачнулась. Тяжело опустившись на четвереньки, она повернула и не разбирая дороги побрела в чащу. Александр подобрал брошенный карабин и остановился в нерешительности: идти за зверем или плюнуть, оставить его в покое?.. Он вспомнил старую таежную истину: испугаешься хоть раз медведя, не сумеешь справиться со своим страхом — уходи из тайги. Малодушным здесь не место. Александр двинулся по оставленной зверем тропе. Медведицу нашел уже бездыханной. Перед смертью она успела забиться в непролазную чащу. Обе пули попали прямо в сердце, а зверь столько времени еще жил и преследовал человека. Это был одиннадцатый медведь, убитый Александром.

— Правда, что медведи скальпируют человека? — спрашиваю я у продавца.

— Правда. Зацепит на затылке кожу вместе с волосами и натянет на глаза… Не выносят они человеческого взгляда.

Об этой повадке медведей мы слыхали. Даже видели человека, которого оскальпировал медведь. Бедняга работал в геологической партии конюхом. Искал отбившуюся лошадь и вдруг услышал, что кто-то трещит ветками в зарослях смородины. Полез — а там не лошадь, а медведь. Видно, ягодами лакомился. Так увлекся, что и не заметил приближения человека. Повернул морду, только когда тот был в двух шагах. Увидел и заревел. Конюх давай орать что есть мочи, так и стоят друг против друга. Вдруг конюх вспомнил, что у него недоуздок в руках, и сдуру давай хлестать им медведя по морде. Тот рассвирепел, подмял человека, сломал ему руку, несколько ребер, содрал кожу с головы вместе с волосами и надвинул на глаза. Конюх все-таки остался жив. Ребра срослись, и рука — тоже, скальп доктора на место поставили. Прижился. Волосы, правда, вылезли.

— Боится, говорите, человеческого взгляда? — продолжаю я.

— Боится. Потому и сдирает скальп. Зацепит когтями и натягивает на глаза… — Он принялся показывать, как медведь это проделывает.

Надо было поглядеть на него в этот момент. Говорит, точно ситец на юбки отмеряет… Да и мы сами тоже хороши. Еще, чего доброго, начнем дома хвастать, что сами медведя убили. А шкура действительно отменная. И отдает продавец недорого.

— Ну так как, берете?

— Берем.

— Может, еще надо?

Я снова почувствовал острую неприязнь к этому человеку: склад он держит, что ли? Нет, говорит, не склад, а есть две шкуры годовалых медвежат. Он выносит, показывает. Шкуры маленькие и некрасивые. Обшарпанные какие-то, летние. Зато и отдает дешево. Взяли. Не возвращаться же одному со шкурой, а остальным с пустыми руками.

Иван закинул шкуры лошади на спину и проводил нас до плота. По выражению его лица трудно было понять, одобряет он эту торговую операцию или осуждает нас. Он помог нам спустить плот на воду и погрузить на него имущество. Пришла пора прощаться. Иван вытащил из кармана бутылку спирта и несколько огурцов. Огурцы он, вероятно, позаимствовал на огороде у продавца. Из одного огурца Иван выковырял ножом семена — и получилась рюмка. Иван наполнил ее и провозгласил тост:

— За удачу. Счастливо вам, ребята, доплыть!

Рюмка-огурец обошла круг, потом второй. Мы расцеловались.

До тех пор пока течение не отнесло наш плот за излучину реки, Иван все стоял на берегу и махал нам рукой. Через несколько минут, обогнув скалу, мы снова увидели Ивана: сидя верхом на лошади, он что-то кричал и размахивал руками. Не в силах разобрать слов, мы только трясли головами да разводили руками. Он скакал но берегу и продолжал кричать. Наконец отвесная скала преградила ему дорогу. Так и остался Иван под скалой. Мы принялись гадать, что же такое хотел он нам сказать. Загадка разрешилась очень скоро. Едва скала скрыла Ивана от наших глаз, бурная Мрас-Су подхватила легонький плот и понесла с бешеной скоростью. Справа и слева, натыкаясь на подводные скалы и камни, клокотала, шумела вода. Река впереди была вся белая от пены. Мы не успели опомниться, как наш плот наскочил на камень. Удар был настолько силен, что мы все трое, как были, поплюхались, точно лягушки, в холодную реку. К счастью, воды оказалось по колено. Один конец плота задрался вверх, течение поволокло его, готовое каждую секунду или сломать пополам, или перевернуть набок. Вещи наши не были прикреплены, и непонятно, каким чудом они все-таки удержались.

Тут-то мы поняли, о чем предупреждал нас Иван. Кое-как мы подтащили свой «корабль» к берегу и принялись заново упаковывать имущество. С этой бешеной рекой шутки плохи! Свернули палатку, сложили в нее все и привязали покрепче к помосту, сколоченному из досок на середине плота. Оставили

только ружья и патронташи. Теперь, если и опрокинемся, — не беда. Кому приходилось плыть по горной речке, тот знает, что осторожность здесь не вредит. Мрас-Су — настоящая горная река. Течение ее так сильно, что гигантские кедры выворачивает и несет точно щепочки. Огромные камни то и дело переворачиваются, не выдержав напора воды. К тому же мы не имели ни малейшего понятия о русле Мрас-Су, о ее мелях или порогах. Мы расспрашивали геологов и местных жителей, но не встретили ни одного, кто спускался бы по реке в летнее время. Продавец из магазина сказал, что зимой ему приходилось ездить. В зимние месяцы Мрас-Су промерзает до дна, по ледяной дороге в деревню доставляют товары, продукты, а вывозят меха. Правда, несколько лет назад, убегая от наступающей зимы, вниз по реке спустилась на плотах запоздалая группа геологов. Говорят, они благополучно добрались до ближайшего селения. Мы тоже надеялись попасть туда, хотя даже расстояния точно не знали.

Известно было только, что не более двухсот километров. Может, полтораста. Может, и меньше.

Другой дороги у нас все равно нет. Вертолета в ближайшее время не будет, а идти пешком по тайге, да еще без проводника, — гиблое дело. Мрас-Су — наша единственная надежда.

Постепенно мы привыкли к бешеному нраву реки, научились обходить ловушки и уже с нетерпением ждали новых порогов. Глухой шум водопада слышен издалека: километра за два, а то и больше. На порожистых местах река разделяется на несколько рукавов. Мы всегда выбираем самый полноводный. Он бывает самым бурным и грозным. Вооружившись длинными шестами, стоим и неотрывно смотрим вперед. Берега летят мимо — будто смотришь из окна пассажирского поезда. Вот впереди появляется белая пенная шапка. Пускаем в ход шесты. Отпихиваемся молча, стиснув зубы. Удар. Второй. Третий… Мимо со свистом проносится грозный каменный горб. На перепадах наш плот зарывается передним концом в воду. Несколько секунд кажется, что он уже не вынырнет на поверхность. Стоим по колено в воде. Наконец плот выравнивается, вода стекает, мы оглядываемся на оставшийся позади порог и готовимся встретить новый.

Всю дорогу плывем словно в туннеле. С обеих сторон отвесные скалы. Иногда они нависают над рекой, будто перекинутые великанами сказочные арки.

Кругом тайга без конца и края. Вечная, непроходимая, безлюдная тайга, скрывающая в себе сказочные богатства. И, как во всякой сказке, сокровища охраняет темная сила. Здесь, на Мрас-Су, настоящее царство коршунов. Всю дорогу нас

сопровождает их жуткий крик. Распластав крылья, они описывают круги под самыми облаками, там, где шапки гор упираются в небо.

Время от времени мы вспугиваем стаю уток или семейство рябчиков. Дичь — большое подспорье в нашем скудном рационе, и мы стараемся не упускать случая поохотиться.

Выстрел в горных ущельях не гремит, а грохочет, эхо долго еще повторяет его, и кажется, будто взаправдашний гром перекатывается по гребням гор.

Внезапно мы видим человека. Что за чудеса? Откуда он здесь взялся — посреди тайги? Может, у нас начались галлюцинации? Все говорили, что мы не встретим никакого человеческого жилья до самого селения, к которому плывем. А до него еще далековато…

Человек бежит по берегу и что-то кричит нам. За ним, на почтительном расстоянии, следует собака, по всей округе разносится ее хриплый лай. Трудно понять, на кого она лает — на нас или на этого человека. Может, он заблудился в тайге?

Мы сворачиваем к берегу, ждем. Подбегает мужчина средних лет. Пуговицы на рубахе оторваны, из-под распахнутого ворота видна волосатая грудь.

— В кого стреляли? — накидывается он на нас.

Взгляд злой и какой-то мутный.

Пес, продолжая лаять, останавливается поодаль.

— В кого стреляли?

— В уток.

— В уток? Знаем мы этих уток!

Мы переглядываемся. Почему он нам не верит? Никаких доказательств мы, к сожалению, не можем представить. Хоть бы утку ему показать. Так нет ни одной утки. Промазали мы.

— Разрешение на оружие есть?

— Есть.

— Покажите.

Показываем.

— Охотничьи билеты?

Показываем и билеты.

Мужчина долго вертит их в руках, читает и явно не торопится возвращать. В конце концов его подозрительность выводит нас из терпения.

— В кого же мы, по-вашему, стреляли?

— Сами знаете, в кого. — Он смотрит на нас, как на бандитов.

Проклятые утки!

— Покажи-ка ружье!

Я колеблюсь. В глухой тайге, вдали от жилых мест, отдать чужому человеку свое ружье — по меньшей мере легкомысленно. Тем не менее я вынимаю патроны и протягиваю двустволку. Никуда он не денется: оба моих товарища начеку. Что он хочет, проверить номер ружья? Нет, номер его не интересует.

— Патроны!

— Ружье!

Он возвращает винтовку, я протягиваю патроны. Расковыряв один, он высыпает на ладонь дробь. Мелкая. Откашлявшись, он говорит уже другим тоном:

— Куда путь держите?

Однако мы вовсе не настроены продолжать беседу.

— Твое какое дело?

Он пожимает плечами.

Не глядя больше на него, мы начинаем отпихиваться от берега. Он не уходит — стоит и не спускает с нас глаз.

А собака все лает. Брешет, будто мы лезем в кошару ее хозяина. Хоть бы он приказал замолчать этой дряни!

— Тут, километра два, порог злющий… Вы глядите… К правому берегу старайтесь.

Мы поднимаем головы. Что ему еще нужно?

Теперь он глядит совсем по-другому. Куда девались злость и угрюмость? Будто подменили человека. Взгляд растерянный, извиняющийся. Мы стараемся не замечать происшедшей в нем перемены. Мог бы с самого начала по-людски поговорить.

Собака никак не унимается. Стоит поодаль и хрипло гавкает.

— Недавно на том пороге, будь он неладен, двадцать бидонов меда к чертям полетели…

Какого меда? Какие бидоны? Тайга кругом… Уж не сумасшедший ли перед нами? И собака какая-то странная…

Ясное дело, заблудился человек. Небось не первый день плутает по тайге, вот и тронулся. Еще и не такое, говорят, бывает…

Я внимательно оглядываю его, проверяя свою догадку.

— Что вы тут делаете?

— Мед собираю.

— Мед, говорите?

Мы переглядываемся между собой: ну и дела! Как же теперь быть?

— И что? Много нашли?

— Тонну уже собрал… Вторую начал, — отвечает он без запинки и предлагает: — Слезайте, угоститесь. Со свежими огурчиками — языки проглотите!

А может, он только прикидывается? Черт его знает, что у него

на уме… Мы снова обмениваемся взглядами. Рискнуть, что ли? На вид он не бог весть какой силач. Втроем как-нибудь сладим.

— Милости просим. Будем рады.

Гляди, какой приветливый!

Мы высаживаемся на берег.

Собака, поджав хвост, отбегает в сторону. Пропустив нас всех, она почтительно следует сзади. Чудной пес. Никогда мне не приходилось видеть, чтобы таежные собаки бежали не впереди, а позади хозяина.

— Не обессудьте, что так встретил, — говорит мужчина. — В тайге живем. А тайга, она большая. Не только честные люди по ней ходят.

Мы ничего не отвечаем.

Вскоре нашим взглядам открывается огород, обнесенный плетнем, а за ним новенькие деревянные строения. Тесаные бревна сияют на фоне темной тайги, будто манят путника. Мы подходим ближе и видим сотни ульев. Выстроившись ровными рядами, они убегают в сторону леса. В густых зарослях смородины, между кедров, проложены просеки. В жизни не видал я такой пасеки. Это может быть только здесь, в Сибири. Сотни, тысячи ульев! Целое пчелиное государство! Дух края сказывается во всем — уж если замахнуться, то сплеча!

Наш новый знакомый смотрит, словно проверяет, какое впечатление произвели на нас его владения. Нам остается только охать и удивляться.

Возле дома, на низенькой лавочке, греются на солнышке две женщины. Одна по виду русская, другая — дочь Горной Шории. Монгольские черты лица, узкие, косые прорези глаз. Ей, видимо, уже за пятьдесят. Одета, как мужчина, — брюки заправлены в сапоги. Длинные черные волосы падают на плечи. Сидит и попыхивает трубкой. В ответ на наше приветствие сдержанно кивает.

— Угости людей медом, — обращается хозяин к молодой. — Огурчиков нарви.

Жена, наверно. Пока она накрывает на стол, мы успеваем выяснить, что пасека принадлежит местному леспромхозу. Действует первый год. Не удивительно, что в верховьях Мрас-Су никто еще о ней не прослышал.

Прежде чем приняться за угощение, представляемся хозяевам.

— Петр, — называется пасечник.

— В чем же все-таки вы нас заподозрили? В кого тут можно стрелять, если не в уток?

Петр не отвечает, только машет рукой. И тут же, видимо

желая перевести разговор на другую тему, спрашивает:

— Шкура-то у вас… Сами убили?

— Купили.

— Эх, вы! А еще мужики! Вот она, — он кивает в сторону женщины с трубкой, — своими руками несколько десятков уложила. Сколько всего-то?

Женщина, стиснув зубами трубку, равнодушно машет рукой.

— Не любит рассказывать, — говорит Петр. — Однако, сотня, я думаю, будет.

Мы не можем понять, разыгрывает он нас или говорит всерьез.

— Не верите? Расскажи-ка им.

Но женщина не спешит удовлетворить наше любопытство. Она попросту отворачивается и смотрит в другую сторону.

— Ну расскажи. Им ведь интересно, — уговаривает Петр.

Женщина встает, кивает нам и, не оборачиваясь, уходит.

— Ни за что не рассказывает, — словно извиняется за нее Петр. — Даже нам не говорит.

— Откуда же вы тогда знаете, сколько она медведей убила?

— Как не знать! Медведь — не иголка. В карман не спрячешь. Лошадь приходит просить — на себе ведь не понесет. А знаете, как она с ними справляется? Думаете, стреляет? Ножом!

Петр проверяет, какое впечатление произвели на нас его слова.

— Точно говорю — без ружья. Одним ножом. Нож такой длинный и ниток клубок. С голову величиной. Внутри тряпки всякие, а снаружи нитки.

— Это зачем же? Пасть медведю заткнуть?

Однако Петр не замечает в наших словах иронии и отвечает вполне серьезно:

— Нет, не пасть. Как сойдутся шага на два, так она и подкидывает этот клубок над головой у мишки, тот сдуру — цап передними лапами, запустит когти в тряпки, а ей только того и нужно. Пока он когти-то выдерет, она уж ему кишки выпустит.

Мы молчим. Легко сказать: пришел, увидел, победил.

— Правду рассказывает, — вступает в разговор жена Петра.

Что мы можем сказать? Приходится поверить. Сибиряки врать не любят. Сама природа здесь готовит человека к незаурядному, и либо ты станешь господином природы, либо она безжалостно раздавит тебя.

— Хотите медку на дорогу взять? Только вот налить не во что. Может, у вас посуда найдется?

Мы приносим закопченный чайник. Пасечник берет его и идет к дому, но в дверях останавливается. На пороге рычит,

показывая могучие клыки, собака. Поколебавшись, Петр передает чайник жене:

— Поди набери. Полный, — говорит ей и смущенно возвращается к нам. Он понимает, что мы видели эту безмолвную стычку с собакой, которая пропускает в дом хозяйку и опять кладет голову на порог, прищуренными глазами следя за каждым движением пасечника.

— Повздорили, — говорит Петр, и в его глазах мелькает злой огонек. — Я ее, подлую, пристрелить хотел.

— За что?

— Давно уж не ладим… Она еще весной меня за руку цапнула. Я хвать за мелкокалиберку и выстрелил.

— Мимо?

— Попал в затылок. Пуля над глазом вышла, да вот… Отлизалась, негодная. Со шрамом ходит.

Собака, словно понимая, что разговор идет о ней, снова скалит могучие клыки.

Когда мы направляемся к плоту, она опять идет, отставая на несколько шагов. И лает. Теперь я понимаю, почему она не бежит впереди хозяина, как все собаки. Она боится подвоха и, видимо, раз и навсегда решила не спускать глаз с человека, не подставлять ему затылок.

Петр так и остался для меня загадкой. Пасечник, а не может ужиться с собственной собакой. Интересно, как он ладил бы с пчелами, если бы они обладали острыми зубами и не давали мед?

* * *

Мы рассчитывали попасть в поселок еще до обеда. Но солнце давно перевалило за полдень, а деревушки все не было.

Вначале мы увидели людей. Двое мужчин сидели на большом камне, скатившемся в реку, и удили рыбу. Завидев нас, они коротко переговорили о чем-то между собой, и один из них съехал с камня, выбрался на берег и скрылся в густом прибрежном кустарнике. Второй остался сидеть на камне.

Несколько сильных толчков длинными шестами, и через мгновение наш легкий плот утыкается носом в песчаный берег.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Рыбачим?

— Рыбачим.

— Клюет?

— Клюет.

Мы закуриваем сами и угощаем рыболова. Рука у него заскорузлая, почерневшая от солнца и потрескавшаяся. Он мнет, вертит в пальцах литовскую сигарету и подымает на нас глаза. В них без труда можно прочесть и удивление, и явственный вопрос.

— С Узаса спускаемся. Из геологической партии.

— А-а, — протягивает рыбак и закуривает.

— Далеко ли до деревни?

— Еще малость.

— Сколько?

— Геологи — и без карты! — замечает человек.

— Мы не геологи.

— А только что говорили — геологи.

— Ничего подобного. Мы говорили, что из геологической партии.

— Ну вот, — говорит он и, послюнявив тупой палец, гасит сигарету. Окурок прячет в карман и спрашивает: — Так откуда вы будете?

— Мы же говорили.

— Не расслышал.

В его вопросах таилось недоверие, он задавал их с какой-то иронией. Мы почувствовали это и переглянулись: в чем дело? Заметив наши взгляды, человек свистнул. Мы увидели, как закачался густой кустарник, услышали, как затрещали ветви. И хотя из кустов никто не вылез, можно было не сомневаться, что там прячется не один человек. Мы принялись терпеливо рассказывать: кто мы, откуда, куда направляемся и что нас интересует.

— А вы из этой деревни?

— Нет, — ответил рыболов.

— Тоже путешественник?

Он как-то криво усмехнулся и в свою очередь спросил:

— Разве не видите, кто я?

Простая рабочая одежда, загорелое лицо с ястребиным носом и черными глазами. Человек как человек. Сотни, тысячи таких лиц. Разве только на левой щеке — небольшой, давно зарубцевавшийся шрам.

— На лбу не написано, — улыбаемся мы.

Рыбак снимает кепку, и в его черных глазах начинают прыгать веселые чертики. Голова наголо острижена.

— Заключенный, — выдержав паузу, говорит он.

Из кустов выбираются еще несколько человек. Все одинаково одеты. Все бритоголовые.

— А я на вас черт те что подумал, — благодушно признается рыболов и тут же поясняет: — Откуда мне знать? Слышу, по-

русски говорят, но так, как немцы в кинофильмах. А газеты пишут, что к нам тут всякие лезут… Ну сами понимаете…

Понимаем, чего уж тут не понять! И хотя улыбки наши выглядели, должно быть, преглупейшим образом, мы тем не менее постарались улыбнуться.

Заключенные рассмеялись — громко и непринужденно, как смеются только в большом лесу.

— Может, крючками богаты? — спросил удильщик.

Этого добра у нас вдоволь. Порывшись в своих узлах, мы надолго обеспечили рыбаков не только крючками, но и леской и свинцом для грузил. Пока мы все это доставали, они рассказывали, кто за что «сидит», сколько еще осталось «отбыть». Один польстился на чужое, другой в драку ввязался, а господь, на беду, наградил его пудовым кулачищем, третий, сбив замок, «устроил переучет» в каком-то складе…

— Охрана разрешает рыбачить?

— Какая охрана? — удивились они.

— Нет никакой охраны, — объяснил рыболов. — Косим сено для колхоза. Без охраны… Каждые два-три дня получаем оттуда продукты, а живем здесь. Поставили навес, плиту сложили, чего же больше? Лето — не зима: везде постель…

— Что ты им зубы заговариваешь? — прервал его кто-то из заключенных. — Лучше пригласи людей переночевать. Посмотрят, как мы тут живем. Небось не каждый день с арестантами спать приходится?

— Оставайтесь, парни. Уху вот сварим. Посумерничаем, — улыбнулся бархатными глазами рыбак.

Но мы стали дружно отнекиваться:

— Нет, нет, нет… Очень приятно, только мы никак не можем, торопимся…

— Поговорили бы…

— Нет, нет. Пока еще не стемнело — надо плыть.

— Да успеете…

— Спасибо, спасибо, но никак нельзя.

— Полдня туда, полдня сюда — невелика разница!

— Нет, нет! И так опаздываем.

— Уху сварим…

— Спасибо, спасибо. Прощайте!

Диалог продолжался, пока мы не вывели плот на быстрину. Как только течение подхватило нас, заключенные замолчали, видя, что все уговоры напрасны. Они сидели, скрестив руки на груди, и провожали нас глазами. Печальными, очень выразительными глазами.

Мы плыли молча, стараясь не смотреть друг на друга. Плыли

быстро, усердно работая длинными шестами, лавируя среди окаймленных пеной камней. Плыли так, словно за нами гнался кто-то, от кого нельзя убежать. Этот «кто-то» плыл вместе с нами.

В потемках, когда стало невозможно что-либо различить, мы остановились. Все так же молча, не глядя друг на друга, перетащили на берег вещи, поставили палатку, сварили ужин и легли.

Но заснуть никто не мог.

Добрый час ворочались мы с боку на бок. Наконец кто-то сказал:

— Черт возьми! Не всякая мудрость хороша.

— Что ты имеешь в виду?

— Да вот говорят же: осторожность — не позор… А выходит…

Мы не ответили.

Поднялись рано. Солнце еще не взошло, густой туман висел над рекой. Вытащили спиннинг: вдруг повезет на тайменя. Просидели с полчаса, и все без толку. Не клевало. Внезапно послышался лошадиный топот на другом берегу. В утренней тиши копыта гремели так, будто кто-то бил молотом по наковальне. Завидев нас, всадники остановились.

— Что же ночевать-то не остались?

Мы узнали вчерашних заключенных.

— Думали, успеем в деревню до вечера.

Они не сразу отъехали. На фоне огромной скалы, окутанные предрассветной мглой, их фигуры казались высеченными из камня.

— Ну что ж, счастливо добраться!

В самом деле была в этом пожелании издевка и презрение или нам только почудилось — не знаю… Во всяком случае, мы промолчали.

А они поехали дальше. И долго еще эхо повторяло стук копыт в тесной долине Мрас-Су.

Бывают в жизни мгновения, вспоминая о которых краснеешь даже много лет спустя.

Почему мы сбежали? Почему не остались переночевать с заключенными? Другие люди доверили им, отпустили в тайгу без охраны. А мы?!.. Какой неслыханный позор может навлечь осторожность!

Хуже всего то, что в деревушке нам предстояла новая встреча с заключенными. Ведь они отправились туда за продуктами. Пока нас разделяла река, можно было еще хорохориться. А куда мы будем девать глаза, когда встретимся лицом к лицу?..

Однако делать нечего — надо плыть. Неизвестно, когда еще

мы доберемся до цели нашего путешествия и сколько новых порогов приготовила нам коварная Мрас-Су.

* * *

Я пишу эти строки и снова мысленно возвращаюсь в долину Мрас-Су…

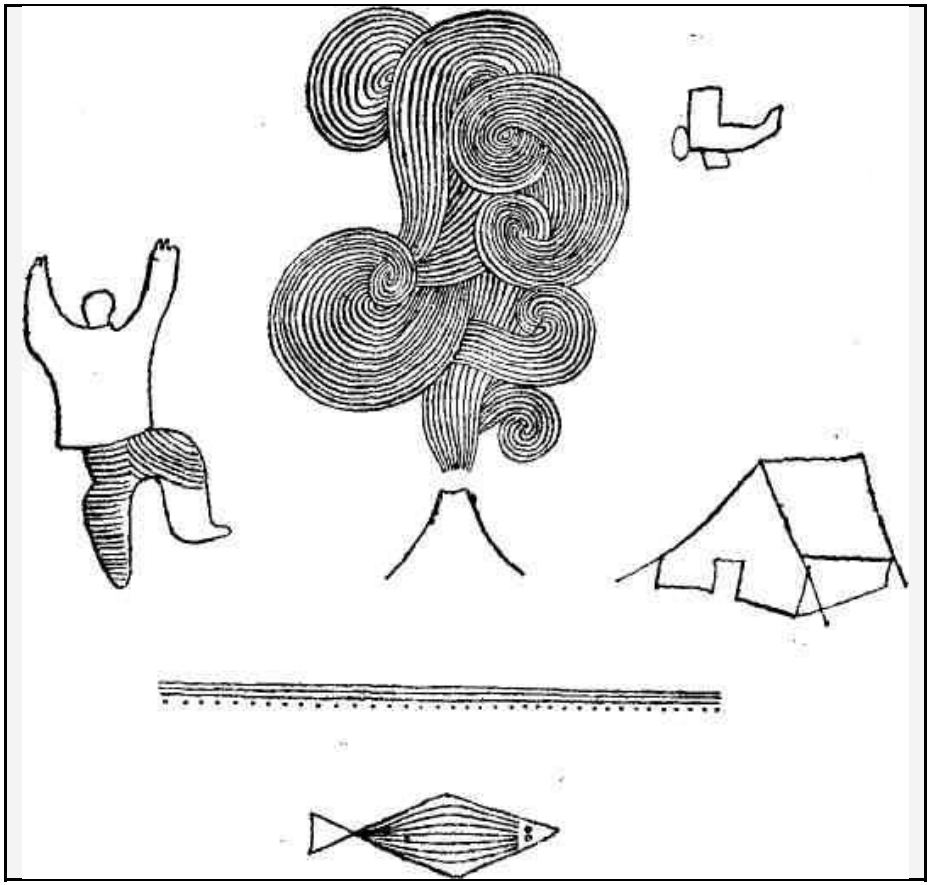
Домик Тудыгеша у быстрого ручья… Летом — быстрого. Зимой он промерзает до самого дна. Давно уже нет рядом палаток — забрал вертолет геологов. Только сугробы окружают теперь избу Тудыгеша да бескрайняя тайга. Сам Тудыгеш редко бывает дома. По целым неделям не выходит Тудыгеш из тайги, промышляет соболя, белку, ищет медвежью берлогу… Найдет, поднимет косолапого и схватится с ним один на один. Таков уж хлеб у Тудыгеша.

Долго меня мучила совесть за то, что я вселил напрасную надежду в сердце этого доверчивого человека, пообещал, что и в его края придут люди. А недавно я узнал, что геологи не зря трудились в долине Мрас-Су. Теперь там обнаружены гигантские залежи фосфоритов. По решению правительства в ближайшее время начнется эксплуатация этих богатств. Вырастет мощная химическая промышленность, фосфориты Горной Шории будут питать целинные земли Алтая и Казахстана…

И у меня словно камень с души свалился.

В глазах Тудыгеша я останусь пророком.

ГОЛОС ЗЕМЛИ



Знакомство с Камчатским полуостровом началось для меня с его южной части — в Петропавловске-Камчатском. Оттуда я предполагал вылететь в глубь полуострова, где среди высоких горных хребтов приютился поселок Эссо. Меня интересовали эвены — небольшая народность охотников и оленеводов. Я думал пожить у них несколько недель, познакомиться с этими мужественными людьми, веками борющимися с суровой камчатской природой, найти выносливого и надежного каюра и дней за восемь добраться на собаках до центра Корякского национального округа — селения Палана на побережье Охотского моря. Я думал… Думал о многом, но все предварительные замыслы и планы рухнули. Оказывается, даже в век авиации не так-то просто попасть в отдаленные уголки Камчатки. Над горами часто бушуют бури, и авиасообщение закрывается на целые

недели. Какой-то человек рассказывал, что несколько лет назад он три месяца сидел в Петропавловске, прежде чем сумел улететь на север. Мне дорог каждый день, не говоря уже о неделе или месяце. Однако я не в силах что-либо изменить, и никто не может мне помочь, потому что в это время года все зависит от матушки-природы — как ей вздумается, так и будет. А ей, по-видимому, не к спеху. Там, в северных районах полуострова, давно уже выпал снег, замерзли реки и озера, охотники отправились в тайгу за мягким золотом — пушниной, а здесь, в Петропавловске, стоит сравнительно теплая, согретая мягким океанским дыханием осень. Там, на севере, самолеты давно перешли на лыжи, а здесь — все еще на колесах. Если бы можно было, поднявшись в воздух, заменить колеса лыжами, мне, конечно, не пришлось бы долго ждать: в первый же погожий день самолет оторвался бы от земли и доставил меня в любое место. Увы, колеса остаются колесами, а лыжи — лыжами.

Надо ждать.

Разные города есть на свете: новые и старые, красивые и неказистые, погруженные во тьму и купающиеся в море света, веселые, как юность, и мрачные, как мысли смертника. У Петропавловска-Камчатского тоже свое лицо. Разумеется, для того, чтобы досконально изучить каждую черточку или морщинку этого лица, надо быть не гостем, а хозяином, пожить здесь подольше. Однако достаточно даже небольшого отрезка времени, чтобы почуять дыхание города. Петропавловск дохнул на меня романтикой. Многовековая борьба вулканических гор и океана породила изумительную по красоте Авачинскую губу — отличную незамерзающую гавань, вокруг которой и разросся город. Все для меня здесь напоено романтикой: черные, усталые, и белые, изящные, словно птицы, корабли, перекликающиеся сиплыми, простуженными гудками; жмущиеся к самой воде огромные склады, горы пустых и полных бочек, памятники с высеченными из камня парусниками; высящиеся вдали пирамидальные вершины заснеженных вулканов, поддерживающих голубое небо; бородатые мужчины, которые ходят по городским улицам враскачку, как будто и земля для них — качающаяся палуба; я слышу обрывки разговоров: «Когда пришел из моря?» — «Вчера». — «Когда опять уходишь?» — «Завтра». Все здесь дышит романтикой, даже самый обыкновенный магазин, за стеклянными витринами которого видны рыбы с причудливейшими названиями и формами, принесшие с собой частицу океанских тайн.

— Вам кальмара?

— Да. Полкило жареного кальмара.

Романтика, океан и деньги… Почему деньги? Бородатые моряки беспечно развлекаются в кафе и ресторанах, не глянув на поданный счет, достают из карманов скомканные, шуршащие банкноты и, как ничего не стоящие бумажки, бросают на скатерть, залитую дорогими винами.

И все-таки Петропавловск — это еще не Камчатка. Так мне твердили все. Правда, здесь тоже интересно, но, если хочешь увидеть и узнать Камчатку, надо лететь или плыть дальше, за сотни, а то и тысячи километров. Все мои предварительные замыслы пошли насмарку, и я чувствовал себя, как рыцарь на распутье.

Все решил случай. Незадолго до моего отъезда из Вильнюса мир облетела весть о том, что заработал кратер Ключевской сопки, величайшего из вулканов евразийского континента. В Петропавловске все только об этом и говорили. Я подумал, что и эвены и коряки, испокон веков живущие на Камчатке, никуда не денутся и наверняка у меня еще будет возможность с ними встретиться. А вулкан может затихнуть, и неизвестно, когда он опять проснется; как знать, представится ли еще случай своими глазами посмотреть на зрелище, которое не каждому суждено увидеть. В обкоме партии мы так и договорились: я немедленно вылечу в Ключи, поднимусь на вулкан, затем вернусь и пароходом или самолетом отбуду на Командорские острова, где состоится празднование двухсотдвадцатипятилетия открытия Витусом Берингом этих островов, именуемых еще Алеутскими островами. Товарищи из обкома постарались, и на следующий день я уже сидел в кабине пассажирского самолета, летевшего в Ключи. Мы летели вдоль поймы реки Камчатки, прижимаясь к земле, переваливаясь с горы на гору, так как выше свирепствовала пурга.

Селение Ключи расположено на берегу реки Камчатки. В ясный день отсюда отлично видны сразу две большие сопки — Шивелуч и Ключевская. Последняя, кажется, совсем рядом, селение находится у ее подножья, а в действительности до вулкана добрых полсотни труднопроходимых километров. Время от времени в селенье докатываются глухие взрывы, над главным кратером стоит гигантский столб дыма, пара и пепла, взметнувшийся на десять, если не больше, километров. По ночам вулкан окутан кровавым заревом. Ветер несет оттуда пепел, который садится на деревянные тротуары, заборы, дома, забивается между рамами. Пепел, точно песок, скрипит на зубах, забивается в глаза, поднятый порывом ветра.

Вулкан и манит и отпугивает меня. Я знаю, что путешествие будет не из легких, но пути назад уже нет, и поэтому я изо дня в

день обиваю порог Камчатской вулканологической станции. Директор станции Иван Кирсанов каждый раз встречает меня, улыбаясь и разводя руками:

— Ничего нового, дорогой. Думаю, после праздников будет вертолет, тогда и подбросим вас.

— А до праздников ничего не будет?

— Наверняка. — Из-под очков на меня смотрят живые, искрящиеся легкой насмешкой глаза.

— А пешком добраться можно?

Он долго не отвечает, но я и без слов понимаю, что он думает: «Где уж тебе, милый, одолеть такой переход… И вообще, какой черт принес тебя на мою голову…» А вслух директор говорит нечто иное:

— Можно и пешком, но вы без провожатого не найдете дорогу, заблудитесь.

— Так, может быть, удастся найти провожатого?

— В это время не удастся.

— А когда удастся?

— Попозже.

— Когда попозже?

— Точно не знаю. Один из наших научных сотрудников полетел в Петропавловск за аппаратурой, которую понадобится доставить к кратеру. Пока он вернется, смотришь, снег выпадет, появится санная дорога, и можно будет поехать на собаках. Возможно, тогда и вас захватим.

— Почему «возможно»?

— Собаки потащат аппаратуру и прочее снаряжение. А люди пойдут пешком. Будет нелегко.

Я понимаю, что он хочет обиняком, разными намеками и околичностями отговорить меня, заставить отказаться от своего замысла. Не понимаю только, зачем ему это. Неужели я буду непосильным бременем? Однако чем настойчивей его уговоры, тем сильнее мое желание добиться своего, и я уже знаю, что не отступлю. А время не ждет. Самое обидное, что через несколько дней Октябрьские праздники. Три дня праздников — три дня ничегонеделанья. Дабы заглушить укоры совести, я пытаюсь найти себе какое-то занятие. Смастерил самую примитивную рыболовную снасть, привязав к обрывку лески блесну, и отправляюсь ловить гольцов. В Литве этой рыбы нет. Мясистая, жирная, она в больших количествах заходит в камчатские реки, охотясь за икрой идущих на нерест лососевых. Гольца здесь столько и он до того прожорлив, что не раздумывая хватает блесну, не боясь ни лодки, ни человека. Рыба эта по вкусу очень похожа на форель. И странно, что здесь ее не ценят, не считают

хорошей рыбой. Очевидно, потому, что здесь много ценных лососевых рыб. Мне несколько раз довелось побывать в гостях, и везде подавали самых разных представителей семейства лососевых, многие из которых, пожалуй, даже не имеют литовского названия. Соленая и копченая, жареная и вареная, сушеная и маринованная рыба. В каждом доме стоят бочки с соленой рыбой, хотя ловить лососевых рыб строго запрещено. И в каждом доме угощали красной икрой, из-за которой государство и воюет с браконьерами. В то же время я слышал немало вздохов и жалоб на то, что с каждой осенью все меньше и меньше лососевых приходит нереститься в холодные и прозрачные воды камчатских рек. Как-то странно и неловко слушать эти причитания, когда на столе стоят тарелки красной, как лесная ягода, икры.

Здесь, в Ключах, река Камчатка еще не стала и, должно быть, так и не станет за зиму, потому что по ее берегам расположено много теплых источников, ключей, от которых поселок и взял название.

Однажды мы взяли моторную лодку и отплыли подальше от селения, чтобы посмотреть, как идет к нерестилищам лосось. Кета и горбуша уже отнерестились. Теперь к верховью в большие и малые притоки Камчатки движутся другие рыбы семейства лососевых, последние их косяки, почему-то опоздавшие, замешкавшиеся. С крутого скалистого берега хорошо видны темные рыбьи спины, видно, как гребут против течения плавники, как на перекатах высовываются из воды горбатые загривки, как рыба ползет на брюхе по донным камням и песку, плещет хвостом по воде, извиваясь, с шумом вздымая серебряные фонтаны брызг. Наверно, всем известно, что лососевые всегда нерестятся там, где сами вылупились из икры, — в той же речке и в том же месте. Однако не все, должно быть, знают, что нерестящиеся в камчатских реках лососевые платят за это жизнью. Гонимые инстинктом, они пробираются сквозь лабиринты сетей, расставленных японскими рыбаками, преодолевают колоссальные расстояния, ничем не питаясь, день и ночь плывут против течения, минуя множество порогов и перекатов, чтобы оставить где-то на речном дне икру — продолжение рода — и умереть. Я смотрю на реку, на эту своеобразную дорогу жизни и смерти, и грустные мысли приходят в голову при виде белых животов уносимой вниз по течению снулой рыбы, давшей жизнь тысячам потомков. Река тащит ее, обессиленную, катит по дну, выбрасывает на берег, отдельные рыбины цепляются за камни, застревают между ними, а на смену им поднимаются из океана все новые и новые косяки… Вылупятся маленькие лососи из икры

и с вешними водами схлынут по этой дороге в океан, а через четыре года этой же дорогой вернутся в родные места, чтобы умереть. Дорога жизни и смерти…

Я смотрю на эту дорогу и думаю о страшной арифметике. Каждая рыба мечет тысячи икринок. Умирая, дает жизнь тысячам. Казалось бы, все реки должны кишеть рыбой. А ее от года к году становится все меньше. Вылавливая икру, мы рубим сук, на котором сами сидим. Еще лет десять назад, рассказывают здешние старожилы, рыба шла на нерест так густо, что люди, войдя в воду, ловили ее голыми руками, пинком выбрасывали на берег. И не только люди. На Камчатке, как нигде в мире, много медведей. Они тоже любят полакомиться лососем. С самого начала лета, как только рыба принимается идти на нерест, медведи почти только ею и кормятся до поздней осени, до зимнего снега. Косолапый рыболов, облюбовав какой-либо мелкий перекат, заходит в реку, плюхается на зад и, сидя в воде, лапами хватает рыбу и выбрасывает на берег. Особенно смешно рыбачат еще неопытные звери. Обычно они садятся на подводный камень. Выхватит мишка рыбину, приподнимет зад и сунет под себя добычу. Работает, старается, и каково же его удивление, когда, покончив с рыбалкой, не находит под собой ни одной рыбешки. Однако урок не проходит даром. Медведь умен, быстро смекает, что к чему, и в следующий раз уже не прячет добычу под себя, а надкусывает рыбе голову и выбрасывает на берег. Потом выходит сам, сгребает улов в кучу и, завалив рыбу ветками, землей, камнями, оставляет на несколько дней, чтобы протухла. Что же, у всякого свой вкус!

По ночам, когда селение охватывает тишина, я выхожу во двор и, прислушиваясь к отдаленному гулу вулкана, часами смотрю на багровое зарево и жалею о своей беспомощности. Ни вертолета, ни провожатого все еще нет. Провожатый, может быть, и нашелся бы, но сейчас такое время, что никто не хочет лезть на вулкан: пришлось бы идти пешком, тащить на себе тяжелый рюкзак и спальный мешок. На вулканологической станции есть и лошади, и ездовые собаки, но ни теми, ни другими нельзя воспользоваться. Лошадь может пройти только здесь, в долине, где нет снега, а там, в горах, его уже столько навалило, что лошадь увязнет. К тому же и кормить ее там нечем. Собаки могли бы там пройти, но как они потащат нарты здесь, где земля скована морозом, а снега — ни крупинки?

— Ждите, — ежедневно советует Иван Кирсанов, но этот совет не только не успокаивает меня, а вызывает еще большее беспокойство, так как, слоняясь по вулканологической станции, я слышу разговоры о том, что, дескать, извержение затухает, скоро

кратер и вовсе прекратит выплевывать лаву.

В один прекрасный день мне наконец улыбнулось счастье.

Явившись на вулканологическую станцию, я застал незнакомого молодого человека, которого раньше здесь не видел. Высокий и стройный, он, нагнувшись над низким письменным столом, внимательно рассматривал лист бумаги, на котором вулканологи что-то чертили. Завидев меня, они хором сказали:

— Вот он!

Молодой человек окинул меня критическим взглядом, словно прицениваясь к лошади. Этот взгляд был каким-то не будничным, чем-то отличался от всех других взглядов, но я не мог догадаться, чем именно. Нас познакомили. Я пожал узкую ладонь с длинными пальцами и услышал:

— Олег Максимов, кинооператор.

— Из Москвы?

— Нет, из Новосибирска. Вы хотите попасть на вулкан?

— Да.

— Пешком пойдете?

— Почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответил я, чувствуя нарастающее недовольство этим молодым человеком, его манерой держаться.

— Через полчаса выходим, — сообщил он и снова согнулся пополам над письменным столом. Я понял: вулканологи чертят карту, объясняют дорогу к вулкану. И еще я понял, что идем только мы двое, и побежал собираться.

Кому приходилось путешествовать пешком в труднопроходимых местах, с тяжелым рюкзаком за плечами, тот знает, что это такое, и скорее откажется от самого необходимого, чем согласится положить в рюкзак лишнюю вещь, которая впоследствии кажется вдесятеро тяжелее. Я не раз проклинал перегруженный рюкзак, не раз выбрасывал из него во время трудных переходов и патроны, и консервы, и буханки хлеба. Поймут меня и те, кому приходилось переезжать из старой квартиры в новую. Сколько ненужного хлама обнаруживается в эти дни! Только диву даешься, на кой шут все это хранилось… Поэтому теперь я взял лишь то, без чего действительно не обойтись: спальный мешок на оленьем меху, унты, запасную пару шерстяных носков, две пачки печенья, полкилограмма сахара и несколько плиток шоколада. Подумав, сунул туда же бутылку спирта. Ни полотенца, ни мыла, ни смены белья!

Через полчаса я снова был на вулканологической станции. Рабочие закинули в кузов грузовика груду досок, поставили большущий бидон с водой, мы с Олегом погрузили свои вещи, и машина тронулась.

Был ясный солнечный день. На небе ни облачка. Только из главного кратера Ключевской сопки валил смешанный с пеплом дым, поднимался на головокружительную высоту и широкой лентой тянулся до самого горизонта, бросая на землю густую тень. Километров пятнадцать мы проехали по дороге, а затем свернули в лощину, похожую на русло высохшей речки. По обе стороны выстроились высокие голые тополя, кривые, будто скрюченные ревматизмом, березы, жались к земле заросли низкорослой ольхи, и повсюду виднелись большие и малые, занесенные пылью камни. Вся долина была усыпана пеплом. Ветер резвился, словно в дюнах: вычерчивал морщины, волнистые линии, длинные языки, похожие на расплесканные лужи. Казалось, какая-то разрушительная сила пронеслась, посеяв смерть, и никогда уже не зазеленеют эти деревья, никогда не запоют здесь птицы, по высохшему, заваленному пеплом руслу никогда не заструится животворная вода.

Было уже далеко за полдень, когда мы попали в нижний лагерь — одинокую зеленую палатку, приткнувшуюся среди обнаженных деревьев. Мы выгрузили из машины доски (пойдут на растопку), перелили воду из бидона в ржавый железный бак, видимо бывшую бочку, распиленную пополам. Через несколько часов вода, конечно, превратится в лед, но в этой безводной пустыне он тоже пригодится. Может, и мы с Олегом, возвращаясь с вулкана, отрубим кусок льда, растопим его на плите в палатке и утолим жажду.

Вулканологи настойчиво отговаривали нас от намерения выйти в путь в тот же день. Они советовали переночевать здесь, в нижнем лагере, а рано утром следующего дня, отдохнув и набравшись сил, приступить к подъему на вулкан.

Мы не согласились.

Собственно, я был склонен остаться, но Олег упрямо требовал немедленно отправляться дальше, и тут я понял, чем примечателен его взгляд, почему у его глаз такое необычное выражение. Это были глаза фанатика. Он, как зачарованный, смотрел на дымящуюся вершину сопки и несколько раз упрямо повторил:

— Надо идти.

Я с ужасом смотрел на его разбухший рюкзак. Там была увесистая кинокамера, километры пленки, большие, будто литые из свинца, объективы, кое-что из одежды, провизия. Его пуховый спальный мешок не влезал в рюкзак, и пришлось привязать его ремнями сверху. Помимо всего прочего, Олег был в тяжелой шубе, и на шее у него болтались аккумуляторы, втиснутые в деревянный ящик. Господи, как он все это потащит!

Дорога вилась среди небольших стелющихся по земле ольшаников. (На Камчатке, особенно в гористых местах, многие деревья остаются похожими на кусты, хотя им уже не один десяток лет. Они растут, лежа на боку, почти вплотную приникая к земле. Мне не довелось поговорить со знатоками, но, думаю, их с самого начала пригибает снег, которого здесь выпадает несметное количество. А поскольку зима стоит долгая, деревья за лето не успевают выпрямиться. Глядя на эту растительность, невольно вспоминаешь литовскую поговорку: «Клони дерево смолоду».) Видимо, перед нами тут прошли люди с топорами, проложив тропу через эти заросли. Отрубленные ветви еще не успели почернеть и, белея вдали, указывали нам путь. На более чистых местах были сделаны зарубки на стволах. Подойдешь к деревцу, бросишь взгляд вперед и видишь вдали другой белеющий знак. Так и пробираешься от зарубки к зарубке, мысленно благодаря людей, оставивших нам следы.

Мы с Олегом уговорились пятьдесят минут идти, десять — отдыхать. Первый час мы так и делали. Но затем, когда дорога пошла круче в гору, мы, уже не сверяясь с часами, все чаще и чаще останавливались, чтобы перевести дух, вытереть с лица соленый пот, дать плечам отдых от режущих ремней. К вечеру попали в узкую расселину. С обеих сторон высились отвесные скалы, иногда так плотно сжимая нашу тропу, что оставалась лишь тесная щель, в которую мы и протискивались, цепляя боками о грубый камень. Здесь, в глубоком ущелье, ночь опустилась раньше, чем мы рассчитывали. В сумерках идти стало еще трудней, нога не всегда нащупывала опору. Мы скользили, карабкались на четвереньках, но все-таки двигались вперед. Я не спрашивал Олега, сколько километров до среднего лагеря, сколько часов до него ползти, так как по опыту знал, что гораздо легче идти, когда не знаешь, далеко или близко тебя ждет отдых.

Чем выше — тем труднее. Вконец измучила жажда. Я радуюсь, почуяв под ногами снег, хватаю горсть и жадно собираю губами с ладони, как лошадь собирает крошки хлеба с руки кормильца. Однако, не успев проглотить и капли, чувствую во рту неприятный вкус, что-то скрипит на зубах. Ну конечно, снег вперемежку с вулканическим пеплом. Его здесь, наверно, очень много, если полно даже в селении, которое находится в пятидесяти километрах от вулкана.

— Не могу больше, — говорит Олег и со всей своей ношей падает прямо на снег.

— Заночуем?

— Придется, — с трудом переводя дыхание, отвечает он.

Мы выпрягаемся из своей сбруи и на ощупь принимаемся

искать сухие сучья для костра. Тащим охапки хвороста, похожего на солому. Пытаемся разжечь костер, но ничего не выходит. Я отхожу подальше от лагеря и натыкаюсь на толстую березу. Дерево давно уже мертво. Голыми руками срываю с него потрескавшуюся кору, мне удается отломать большой кусок древесины, видимо когда-то отколотый молнией. Береза горит. Неохотно, но все-таки тлеет.

Махнув рукой на злополучный костер, мы поспешно разворачиваем спальные мешки, бросаем их прямо на снег и забираемся внутрь. Зуб на зуб не попадает, дрожь колотит тело. Я подкладываю вместо подушки сапоги, рюкзак и с головой ныряю в мешок. Оленья щетина лезет в рот, душно, но зато я быстро согреваюсь. Пытаюсь уснуть, погружаюсь в сладкую дрему, но тут же просыпаюсь от жуткого ощущения, что кто-то затыкает мне рот широкой ладонью, и я начинаю задыхаться. Высовываю голову из мешка, снова задремываю, и снова невидимая ладонь перехватывает дыхание. Я понимаю, что все это — не какой-то кошмар, а просто недостаток кислорода, преследующий человека в горах, где воздух разрежен. Такой же кислородный голод я испытывал и на Крайнем Севере, и в Саянах. Господи, как много на нашей земле мест, где человеку не хватает воздуха!

Я лежу, смотрю в звездное небо, слышу, как вдали гремит и ухает вулкан. Я думаю о цивилизации, о том, что дала она человеку и что у него отняла. Вот мы с Олегом — истинные сыны цивилизованного мира, но все наши знания оказались ничего не стоящими, когда мы очутились наедине с природой. Мы не сумели разжечь приличного костра и, коченея, поспешно забились в мешки, которые, увы, не являются изобретением цивилизации. Что бы с нами сталось, если бы пришлось в таких условиях прожить неделю, месяц, год? Не слишком ли быстро растеряли мы опыт своих предков, которые противостояли природе, ниоткуда не ожидая помощи.

Видно, я все же задремал, так как, открыв глаза, увидел, что мой спальный мешок совершенно белый, словно в наволочку одет. Шел снег. Легкие снежинки падали тихо, и казалось, чьи-то влажные, мягкие пальцы осторожно касаются лица. Самое странное, что сквозь белесый тюль снежинок отчетливо проступали холодно мерцавшие звезды. Я понял, что мы лежим под самым облаком, а возможно, и в его верхнем слое. Там, внизу, в долине, снег, наверно, идет гораздо гуще, и люди не видят звезд. Плохо, когда люди не видят звезд. Звезды никогда не заменят человеку хлеб, но, по-моему, они нужны не меньше хлеба насущного.

Потихоньку, стараясь не шуметь, я выпрастываю руки из

мешка и, растопырив пальцы, сгребаю чистый, пушистый снег — дар небес истомленному жаждой человеку. Глотаю его, стараясь не чмокнуть, не выдать себя — ведь мы с Олегом договорились не есть снега, чтобы болезнь случайно не свалила одного из нас и товарищ не очутился в совсем незавидном положении — вдали от жилья и с больным на руках.

А вулкан все гремит, грохочет, как гроза. То бухает, как из пушки, то глухо рокочет. В такие минуты мне кажется, будто земля что-то говорит, пытается что-то втолковать своим детям — людям, но они не понимают ее языка, и земля злится, раскатисто ворчит, грозится, ругается, пока не устанет объяснять.

Интересно, когда же человек научится понимать язык земли, исходящий из самых ее недр? До сих пор человечество толком ничего не знает о сердце своей планеты. Мы исследовали лишь тоненькую корочку — верхнюю одежку земли, а что творится в ее сердце — никому не известно, это тайна тайн, загадка загадок.

Может быть, завтра я увижу людей, которые пытаются уразуметь язык земли. Нам говорили, что сейчас у кратера живут два вулканолога, ведут наблюдения за отверзшимися устами планеты.

На рассвете мы проснулись под белым рыхлым одеялом. Снежинки все еще падали, и ужасно не хотелось вылезать из теплого спального мешка. Мне вспомнилось далекое детство, замерзшие окна избы, хлопочущая возле печи бабушка, теплая постель, в которой так сладко понежиться, хотя бы на миг отдалить ту минуту, когда не помогут уже никакие мольбы и хитрости и, хочешь не хочешь, придется выкатываться из постели.

Мы позавтракали на скорую руку — съели несколько кусочков печенья, ломтик шоколада — и пустились в путь, опасаясь, как бы снег не занес и без того едва заметные следы, которые оставили вулканологи, возвращавшиеся на прошлой неделе от кратера. Эти отпечатки — теперь единственный наш указатель, так как, чем выше мы поднимаемся, тем скуднее растительность, и отыскивать зарубки на деревьях безнадежно.

Согласно начерченной на вулканологической станции карте, средний лагерь должен быть где-то за старым кратером, который мы назвали подковой. Собственно, любой кратер напоминает подкову. Вернее, вершина кратера имеет подковообразную форму: в почти правильной окружности есть промежуток — разрыв, через который когда-то извергалась лава. Мы идем уже несколько часов, а подковы все не видно. До чего же наивны были наши планы еще вчера вечером достигнуть среднего лагеря! И какое счастье, что не разыгрался страшный камчатский буран!

Почти в полдень мы наконец увидели заснеженную палатку.

Олег шел позади, еле таща свою амуницию. Я влез в палатку и поспешил разжечь железную печку. Сухая растопка тут же вспыхнула. Тогда я бросился к ведру с водой, но кружка звякнула о лед. Вода промерзла до самого дна, и я поставил на печку все ведро.

Осмотрелся. На дощатых нарах лежала книжка Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». На титульном листе крупными буквами кто-то вывел карандашом:

«Вниманию приходящих!
1. Не трогай вещи.
2. Поддерживай порядок.
3. Оставь ведро воды и дрова для растопки».

Что же, требования абсолютно разумные. В противном случае я, наверно, еще долго бы мучился с печкой, а сейчас в ней весело трещат дрова, и скоро я смогу не только напиться воды от растаявшего льда, но и горячего, согревающего нутро чая. При одной мысли об этом кружится голова.

Палатка разбита безупречно. Нижняя ее часть сбита из досок, крыша натянута на прочный деревянный остов, за железной печуркой сложены сухие дрова, на полках — посуда, под нарами — груда мясных и рыбных консервов, стеклянные банки с консервированными овощами и фруктами, мешок набит буханками хлеба, в коробках — сахар, чай, кофе, множество мешочков с крупой, макаронами, сухарями. В такой крепости можно целую зиму отсиживаться.

Запыхавшись и пошатываясь под тяжестью своей ноши, в палатку вваливается Олег. Напившись горячего чаю, мы долго лежим на нарах. Спешить некуда. О дальнейшем подъеме сегодня не может быть и речи, так как полдня уже прошло, а мы не скоро соберемся с силами. В общем, я не успел акклиматизироваться там, внизу, а здесь и подавно ощущаю расстройство организма: все время болит голова, как будто ее сжимает железный обруч, нет аппетита и, главное, по ночам одолевает бессонница, а днем слоняюсь как сонная муха.

Лежа на нарах, мы услышали голос человека. Выскочили из палатки, но не увидели ни живой души. Стали кричать, свистеть, но никто не откликался.

— Неужели галлюцинация? — пожал плечами Олег.

— Не может быть. У одного — еще куда ни шло, но у обоих сразу — так не бывает.

— Дай бог, — сказал Олег. Помолчал и еще раз повторил: — Дай бог.

Прошло полчаса, и мы опять услышали голос. Странно, но за

грохотом вулкана, который, казалось, заглушал все остальные звуки, мы явственно слышали человеческий голос. Мы с минуту смотрели друг на друга и конечно же думали об одном и том же — о звуковых галлюцинациях. Потом выскочили наружу.

Снегопад кончился. Небо прояснилось. Обнаружилось множество холмов и старых, потухших кратеров, которых мы раньше не замечали. От одного из этих кратеров прямо к нашей палатке по снегу шел человек. Он шел и пел. Мы отчетливо слышали песню, когда сам человек был еще очень далеко — черная точка на белом поле. В одних рубахах стояли мы на морозе, словно боясь, что человек вот-вот исчезнет, если мы упустим его из виду.

Это был юноша в очках. Из-под ушанки выбилась прядь черных и грубых, точно конская грива, волос. Близорукие глаза смотрели на нас удивленно, ноги в громадных валенках замедлили шаг, как бы сомневаясь, подойти ли ближе или в самый раз повернуть обратно.

— Юра Усельцев, — представился новоприбывший и уточнил: — Рядовой турист.

Так вот кого судьба привела к нам в гости! Об этом чудаке мы наслышались еще на вулканологической станции. Там его ругали, не стесняясь в выражениях. Мол, шляются по горам тут всякие, мешают работать, в палатках и без того тесно, а тут еще свалится на голову такой верблюд, хлещет драгоценную воду, под ногами путается. Рассказали нам и об удивительном, почти невероятном приключении Юры Усельцева. То ли по дурости, то ли просто по неведению, явившись бог весть откуда на вулкан, он прямым ходом двинулся к кратеру, который в это время не гремел, а только выдыхал в небо тучи дыма и пара. Вулканологи заметили парня слишком поздно, когда он был уже недалеко от кромки кратера. Они кричали, звали, но тот, ничего не слыша, карабкался вверх. И тогда вулканологи поставили на нем крест. Они видели, как этот, неизвестно откуда взявшийся человечек подполз на четвереньках к самому кратеру, лег на живот и заглянул в жерло вулкана. Потом они видели, как он вскочил и кубарем покатился вниз, а в ту же секунду произошел так называемый черный взрыв. Черный взрыв бывает особенно сильным. Гигантские камни вместе с пеплом, обломками скал и дымом взлетают километра на два и даже выше, а затем, широко рассеявшись, падают на землю смертоносным дождем. Вершину кратера окутали тучи дыма и пепла. Вулканологи мысленно еще раз похоронили незнакомца. Каково же было их удивление, когда дым рассеялся и они увидели его живым и невредимым, стремглав бегущим прочь от кратера. Впоследствии Юра Усельцев

рассказывал, что только он лег на край кратера, как увидел вздымающуюся из бездны красную массу, и какое-то мгновение не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, словно загипнотизированный уставившись в глотку кратера. Вулканологи заявили, что он — Юрий Усельцев — едва ли не единственный человек в мире, который своими глазами видел жерло вулкана в момент извержения лавы. Если и был на свете другой такой человек, то он, безусловно, никому не успел рассказать о том, что видел и пережил при этом. А пережить Юре, кажется, пришлось достаточно, потому что после он так ни разу и не приблизился к кратеру, держась от него на расстоянии по меньшей мере полкилометра, хотя видел, как вулканологи оставались там часами, то и дело увертываясь от валящихся с неба камней.

Мы спросили Юру, правда ли все это. Он помолчал, снял очки, тщательно протер стекла, снова водрузил их на нос и только тогда сказал:

— Правда.

Я подумал, что за эти мгновения он заново пережил весь ужас, который испытал у пасти кратера.

Юрий Усельцев вообще похож на чудака, явившегося как бы из давних времен. Его образ жизни напомнил мне о бродягах-философах прошлого столетия, которые исходили пешком всю Русь в поисках ответа на вопрос — как надо жить человеку. Некоторые здесь посмеиваются над ним, а меня привлекает этот человек. Не всякий поступит так, не у всякого хватит смелости и выдержки. Окончив несколько лет назад среднюю школу, он не попал в армию из-за плохого зрения. Без копейки в кармане парень покинул родной Свердловск — отправился поглядеть на мир. Его манили Дальний Восток, Камчатка. Юра путешествовал, время от времени останавливаясь, чтобы заработать денег на питание и дорогу. Чаще всего ему удавалось устроиться рабочим при столовой или ресторане. Месяц грузил он ящики, таскал мешки с картошкой, капустой, носил уголь, пилил дрова, делал множество самых разных других работ и, разумеется, получал бесплатную еду, а заработанные деньги шли на дальнейшие путешествия. Так он добрался до Камчатки, где устроился инструктором по туризму и пешком исходил немалую часть полуострова, возглавляя туристские группы. Теперь Юра хочет вернуться домой, в родной Свердловск. И опять в кармане ни гроша.

— Ничего, в Ключах заработаю на дорогу до Петропавловска, а там опять, а потом еще… — успокоил он меня.

— Долго же тебе добираться до дому: ведь надо проехать

около шести тысяч километров!

— А мне не к спеху. Важно будущим летом попасть домой. Документы в институт подать.

— В какой?

Юра ответил не сразу. Снял очки, прочистил стекла, снова надел и, улыбнувшись, сказал:

— Теперь я знаю, на кого учиться.

Но так и не признался, кем хочет быть. Мы с ним сидели до ночи, сожгли не одну свечу, а разговорам, казалось, конца не будет. Перед сном я предложил ему десятку, которую захватил с собой, — на дорогу. Однако Юрий наотрез отказался.

— Принципиально, — заявил он.

А утром уложил свой рюкзак, стал на лыжи и направился в нижний лагерь.

Собрались в путь и мы с Олегом. Решили облегчить рюкзаки, оставить здесь часть вещей. Я понял, что обойдусь без унтов. Подумав, оставил и бутылку спирта. Олегу было труднее расстаться со своим добром. Все казалось ему нужным позарез. Он долго вздыхал, сопел, в который раз перекладывая свои вещи, наконец решил расстаться с большим и тяжелым трансфокатором, заранее обрекая себя на опасность и риск. Дело в том, что это приспособление позволяет снимать с дальней дистанции, а на экране кажется, что оператор приблизил камеру к самому объекту. И все же Олег оставил трансфокатор, хорошо зная, что предстоит снимать не обычный пейзаж, а извержение вулкана. Когда я напомнил об этом, его глаза снова зажглись фанатическим огнем.

— И прекрасно, — сказал он.

Часть содержимого переложили из его рюкзака в мой, срубили по узловатой ольховой палке и простились с гостеприимной палаткой, натопив перед этим ведро снега и наколов кучу щепок для растолки.

Сделав первый шаг, мы провалились в снег по колено. Правда, снегом это можно было назвать весьма приблизительно, ибо неизвестно, чего там было больше — снега или пепла. Слой пепла лежал на поверхности, и казалось, что перед нами занесенная пылью пашня в истерзанной засухой степи. И странно, непривычно выглядели посреди этого темно-серого поля наши белые следы.

Чем выше мы поднимались, тем дальше отступал горизонт: открылись подернутые дымкой вереницы гор, почти черная долина внизу и множество потухших кратеров вокруг нас. Эти немые копны казались мне подозрительными, будто они не умерли, а только задремали на какое-то время и в любой миг

готовы опять проснуться. Глядя на них, я впервые со страхом осознал, что вулканы пробуждаются от сна, никогда не предупреждая заранее, так же внезапно, как человек.

Мы без отдыха поднимались почти три часа, пока не вышли к широкой гряде каких-то скал и камней, беспорядочно громоздившихся друг на друга. Самое неприятное, что и они были покрыты слоем снега и пепла, скрывшим коварные расщелины, в которые мы часто проваливались. Пробираться здесь было мукой. Один раз моя нога застряла, точно в капкане. Я долго не мог ее вытащить и освободился, только сняв сапог, который затем кое-как выдрал из этой западни.

Вулкан гремел где-то над нами, кажется, совсем рядом, но рассмотреть было ничего нельзя, так как нависли облака — то ли обычные, то ли порожденные извержением.

Мокрые от пота, подошли мы к широкой, черной полосе камней, которая уходила от вершины вулкана куда-то вниз, и конца ей не было видно. Огромные камни и скалистые глыбы здесь тоже хаотически громоздились высокой грудой, словно гигантский вал, торопливо насыпанный каким-то великаном. Почти вся насыпь была окутана паром. Местами он клубился, как над городскими трубами в раннее зимнее утро, а местами только воздух дрожал, как в знойный летний полдень над полем или рекой. Мы знали, что этот вал нам придется преодолеть, и долго стояли перед ним, охваченные сомнением. Спуститься вниз, найти его конец и обойти? Неизвестно, сколько времени потратили бы на это. Может быть, день, а может, и двух не хватит. А другого пути к верхнему лагерю нет — либо в обход, либо напрямик через этот злополучный, издали пугающий вал.

Мы выбрали второй вариант.

Едва начав карабкаться на крутой склон, я сообразил, что этот вал — работа извержения. То была вулканическая лава, еще не успевшая остыть, так как наши заснеженные сапоги оставляли на камнях мокрые следы, которые тут же испарялись. Все мои школьные представления перевернулись вверх дном. Почему-то я думал, что лава похожа на манную кашу, только, разумеется, черную. Мне казалось, она вытекает густая, как расплавленная сталь, и, постепенно остывая, твердея, становится твердой и гладкой, как лента шоссе. А она вот какая! Крупные глыбы, величиной с одноэтажный дом, большие и маленькие камни были ноздреватыми, перегоревшими в земных недрах и напоминали шлак. Видимо, хрупкие, они распадались на множество мелких осколков, местами превратившихся в липкую пыль.

Мы карабкались с камня на камень, с глыбы на глыбу, делая петли, отступая, двигаясь в обход, потому что время от времени в

лицо нам веяло жаром, пропитанным запахом каких-то газов. Иногда я заглядывал в глубокие расщелины между спекшимися глыбами и видел там, внизу, ярко-красную массу — раскаленный камень. Из таких промежутков вырывались обжигающие струи воздуха. Я хотел было плюнуть в одно из этих отверстий, но воздушный поток выбросил слюну. Не скрою, мне стало страшно. Казалось, на всей земле нет более непостоянного и ненадежного места, чем этот проклятый вал, через который мы должны перебраться. Он был как живой. Нет, не он сам, а кто-то, лежавший там, внизу, под грудой скал и камней. Этот «кто-то» был велик и могуч, он ни за что не соглашался, чтобы его похоронили заживо. И поэтому он встряхивался, потягивался, рвался наружу, стараясь сбросить придавившие его скалы и камни. Мне чудилось, что каждое судорожное движение его пальцев, каждый вздох отдается на поверхности — нагромождения перегоревших, пористых камней непрестанно вздрагивали, скрипели, шуршали, словно кряхтя и постанывая от напряжения и ни за что не желая выпустить страшную силу, таившуюся внизу. Нередко большие и малые камни начинали сползать, катились вниз, обнажая раскаленное докрасна тулово гиганта, дыхание которого было таким жарким, что и в ледяной мороз опаляло щеки, заставляло пятиться, прикрывать глаза, сворачивать в сторону. Ничего подобного мне и не снилось. Я почувствовал неодолимое желание пуститься бегом через эти каменные джунгли, но здравый смысл подсказывал, что поступать надо как раз наоборот — красться медленно и осторожно, точно кошка к добыче, в любой момент готовясь к решающему прыжку. И я крался. Медленно, осторожно, выбирая точку опоры, придерживаясь за камни и чувствуя, как сквозь варежки пробивается тепло. Порой камень или крошки шлака ускользали из-под ног, тело как бы повисало в безвоздушном пространстве, медленно сползая куда-то по камням и обломкам. В такие мгновения возникало отчаянное желание схватиться за что-то незыблемое, прочное, что могло бы остановить это сползание, но я не хватался, так как знал, что это может повлечь за собой еще большую лавину, и наступит конец, бессмысленный и печальный. В такие минуты я уже не смотрел, куда плывет уходящая из-под ног масса, и только старался не упускать из виду гребень вала, откуда можно было ждать сорвавшегося камня, который свалится, придавит и навек заточит тебя в каменном гробу. Это были редкие мгновения, и длились они какую-то секунду, но каждая такая секунда превращалась в вечность, в течение которой можно было поседеть. Самое странное, что в такие мгновения неудержимо хотелось громко говорить, смеяться, неудачной

шуткой обратить на себя внимание товарища, как бы возвещая всему вокруг, что ты жив и здоров. Очевидно, это было что-то вроде нервного смеха. И еще одно открытие сделал я для себя. Может быть, сделал его не тогда, может быть, потом, когда мы уже пересекли роковой вал: я понял, что и здесь, как в жизни, нельзя ходить по хоженым тропам. В жизни это чисто символическое понятие, но здесь оно приобретало прямой, болезненно осязаемый смысл. Идущий впереди расшатывает еле сцепленные друг с другом камни, и, двигаясь по его следам, ты гораздо больше рискуешь, так как расшатанное нагромождение камней от малейшего прикосновения может ринуться вниз, увлекая за собой и те, что нависли над твоей головой. Хоть немножко, хоть чуточку, хоть на дюйм в сторону, но ищи свой путь и при каждом шаге выбери и проверь свою точку опоры.

Когда я соскочил с большого пористого камня в глубокий, запорошенный пеплом снег, мои ноги дрожали и я был мокрый, как мышь, от пота. Мы с Олегом рухнули прямо на снег, даже не сбросив рюкзаки, и, как по команде, разразились все тем же, ничего доброго не сулящим нервным смехом. Потом, стянув варежки, расстегнули ремни. Ветер нес от лавы теплый воздух, и я опять почувствовал во рту странный, уже знакомый вкус. И вдруг вспомнил: так пахло дома, этот вкус я узнал в далеком детстве, вертясь возле матери, которая стирала белье каким-то щелоком. И от нахлынувших воспоминаний далекого детства окутанная паром лава стала не так страшна мне, вроде ближе и понятнее.

Когда мы наконец встали и я поднял варежки, они были твердыми, как жесть, и только тут я понял, какой мороз. Мы поднялись на две тысячи метров над уровнем моря, а самая крутизна была еще впереди. Через несколько десятков шагов последовало новое открытие: снег был подернут такой жесткой коркой, что ноги не только не проваливались, а скользили, будто по льду. Впереди, насколько хватал глаз, дыбилась каменистая ледяная пустыня. Здесь не виднелось уже ни пучка травы, не было больше следов белых зайцев и куропаток, которые часто встречались нам внизу. Мрачная пустыня без малейших признаков жизни! И хотя мы шли почти не отдыхая, ледяной холод пробирал насквозь, сжимал дыхание. Мои кирзовые сапоги, смазанные рыбьим жиром, задубели, их голенища смерзлись ледяной гармошкой и натирали ноги. Меня охватывала странная, никогда прежде не испытанная сладкая дрема. Я шел, как во сне, и, казалось, начал этот путь очень, очень давно. А может, все это и впрямь лишь гнетущий сон, думал я. Бывает же так: видишь кошмарный сон, каким-то уголком сознания понимаешь, что это

сон, хочешь проснуться, высвободиться из его объятий, и не можешь — нет сил. В эти минуты я прекрасно понимал, как человек замерзает на зимней дороге. И очень жалел, что оставил в среднем лагере бутылку спирта. Как пригодился бы сейчас глоток!

— Боже упаси, — сказал Олег. Он остановился, и я видел, как покачивается из стороны в сторону его высокая, тонкая фигура, точно маятник, перевернутый вверх ногами. — Достаточно даже чайной ложки — упадешь и не встанешь.

Темнело.

Мы перевалили через горбатый хребет, похожий на верблюжью спину. Где-то здесь расположена палатка — верхний лагерь, в котором живут вулканологи. Однако ничего не было видно. Ужасно не хотелось ночевать под открытым небом. Мучила жажда. В палатке мы нашли бы все — и теплый ночлег, и горячий кофе. Мы плелись, с трудом волоча ноги, внимательно смотрели по сторонам, не пропуская ни одного камня, которые издали смахивали на палатку. Наконец у одного из больших камней увидели шест, а на нем что-то трепыхалось на ветру. Это «что-то» оказалось красной рубашкой. Значит, лагерь тут. Мы принялись кричать, свистеть, хоть и не питали особенной надежды, что кто-нибудь услышит, ибо вулкан грохотал, как тысячи орудий. На секунду послышался человеческий голос, но, как мы ни напрягали слух, он больше не повторился. А сумерки густели, насыпь лавы из черной становилась красной, искрящейся, и мы уже думали свернуть к ней, подыскать местечко потеплей для ночлега, как вдруг в небо взвилась белая ракета.

— Слава богу, — сказал я.

— Слава богу, — эхом откликнулся Олег, и мы поспешили в ту сторону, где вспыхнула ракета.

Через несколько минут остановились у небольшой впадины. Из короткой трубы выскакивали искры и тут же гасли, подхваченные ветром. Палатка стояла в котловине, в защищенном от ветра месте, поэтому мы раньше и не увидели ее. Крыша была занесена смесью снега и пепла. Если бы не искры, летящие из закопченной трубы, мы снова прошли бы мимо, так ничего и не заметив.

Я часто думаю о причудах судьбы, которая сводит и разводит людей. Я отнюдь не фаталист, но иной раз человеческие пути так странно перекрещиваются, что мы не находим другого слова для объяснений, нежели «фатальность».

На сей раз судьба поднесла мне сюрприз: свела с человеком, о котором я часто думал и с которым давно хотел познакомиться.

Окутанные клубами пара, мы с Олегом ввалились в палатку

и, буркнув приветствие, плюхнулись на чурбаки у входа. При свете нескольких свечей я увидел троих мужчин. Один, коротко стриженный, седоватый (казалось, его волосы усыпаны вулканическим пеплом), сидел перед железной печкой и разводил огонь, второй — молодой, с продолговатым лицом, — забравшись на нары с голыми ногами, латал порванные брюки, а третий (похожий на актера Дружникова, только гораздо моложе) лежал в полосатой матросской тельняшке и курил.

— Пить, — чуть ли не в один голос попросили мы.

— Воды или чаю? — спросил седоватый и сам же решил за нас: — Вода ледяная. Нельзя. Смешаю с горячим чаем.

Мы одним духом выдули по две кварты теплой воды и только после этого приступили к церемонии знакомства.

— Алексей Пронин, — назвался молодой человек, зашивавший брюки.

— Валерий Дрознин, — приподнялась на нарах полосатая тельняшка.

— Вадим Гиппенрейтер, — протянул руку седоватый и, держа в другой руке чайник, спросил: — Может, еще?

Гиппенрейтер… Гиппенрейтер… Неужели тот самый? Это было несколько лет назад — пять, шесть или все десять? Не помню, на страницах какого журнала я впервые наткнулся на его снимки, но в памяти отлично сохранились и токующие глухари — лесные отшельники, которых, по-моему, до него еще никто не фотографировал во время свадебной песни. А среди удивительных фотографий была небольшая заметка. Гиппенрейтер с болью писал о трагедии леса — выловленных силками глухарях, мертвом токовище, на котором эти лесные красавцы испокон веков каждую весну устраивали свадебные игрища… Помню, мне тогда захотелось написать письмо автору этих снимков и заметки. Потом я снова и снова встречал его работы на страницах разных журналов, и каждая такая встреча была для меня настоящим праздником.

— Да. Тот самый, — ответил человек с седеющей головой.

Потом мы уплетали холодную сладкую рисовую кашу, чаевничали допоздна. Изредка кто-нибудь выходил наружу и возвращался с невеселыми вестями: погода все ухудшается, ветер из долины, похоже, предвещает пургу. Но больше всего меня тревожат разговоры вулканологов и Гиппенрейтера о странных явлениях в лаве, которая ворочалась в нескольких десятках метров от нашей палатки. Они заметили, что лава приближается к нам. Исподволь, понемногу, но тем не менее ползет к нашей палатке. Вулканологи обсуждали, что предпринять, в какое место переносить палатку, если наступит критический момент,

пытались рассчитать скорость движения лавы. Признаться, от этих разговоров мне стало не по себе. Я тоже время от времени выбирался из палатки и подолгу смотрел на лаву. Теперь она была похожа на огненную реку или гигантское факельное шествие. Багровые огни искрились, двигались, гасли и снова вспыхивали, еще более яркие, а звуки невозможно передать — лава копошилась, шуршала, скрипела, вздыхала, барабанила, словно каменный дождь. Напротив палатки лавовый поток был выше десяти метров. Там, на валу, ни на минуту не затихало движение. Огромные перегоревшие глыбы постепенно косились набок, потом отрывались, соскальзывали, съезжали вниз, волоча за собой массу мелких камней и крошки. На месте оторвавшейся глыбы горела пурпуром раскаленная масса, и куски ее, величиной с ведро, также сползали вниз. Казалось, она состоит не из камня, а из какого-то тягучего, липкого вещества. Можно было часами не отрываясь глядеть на этот своеобразный калейдоскоп. А где-то в вышине грохотало, гремело, глухо кашлял вулкан, и все небо озаряли кровавые отблески. В более ясную погоду отсюда была бы отлично видна вершина кратера и взлетающие в небо раскаленные камни. Но из долины дул резкий ветер, мело, и виднелось только великое кровавое зарево.

Легли поздно. И хотя я чертовски устал, заснуть не мог. Особенно беспокоило меня, что и остальные не спали. Я слышал, как в темноте Вадим Гиппенрейтер спросил:

— Алеша, можно заранее предугадать, когда прорвется новый кратер?

Алеша Пронин, научный сотрудник Института вулканологии, ответил не сразу.

— Невозможно, — видимо поразмыслив, сказал он. — Пока что невозможно. Вулканология — слишком молодая наука.

Потом мы молча лежали в темноте, прислушиваясь к каждому звуку за стенами палатки, погруженные в свои мысли. Наверно, думали все об одном и том же: какую неожиданность может преподнести вулкан. Тем более что теперь он вел себя довольно странно: взрывы и грохот стихли, и доносилось только сильное шипение, свист, как будто над нашими головами пролетала бесконечная вереница реактивных самолетов. Я вслушивался затаив дыхание. Казалось, никто из нас не дышит. В темноте раздался голос Алеши Пронина:

— Что-то он странно начал себя вести.

Это про вулкан. Вулканологи всегда говорят о нем, как о живом существе.

— И что же из этого следует? — спросил Гиппенрейтер.

— Может, извержение прекратится, и лава перестанет

ползти, — предположил Валерий Дрознин, но Алеша думал иначе.

— Наверно, забило кратер, — оказал он и тут же выдвинул новую гипотезу, которая зловещим призраком повисла над тесной, погруженной во тьму палаткой: — Либо откроется другой кратер. Паразитический. Так или иначе, завтра надо встать пораньше, еще до рассвета. Спите.

Легко сказать — спите. Какой тут, черт возьми, может быть сон? Я лежу с открытыми глазами, смотрю в черную, кромешную тьму и напряженно прислушиваюсь к каждому звуку. Страшная мысль, явившаяся днем, не дает заснуть, а тут еще эти разговоры, которые как бы подтверждают опасение, что в любой момент под ногами может открыться новый кратер. На душе паршиво, я невольно вздрагиваю при каждом звуке. Что-то барабанит по крыше палатки, иногда кажется, будто там носятся полчища испуганных мышей, а иногда будто пригоршни гороха сыплются сверху. Снаружи мороз, ни о каком дожде не может быть и речи, но все-таки я спрашиваю:

— Неужели дождь?

Спрашиваю, чтобы узнать, откуда эти странные звуки, что они сулят — дурное или доброе, а кроме того, хочется выяснить, спят ли остальные, — может быть, я один терзаюсь страхами?

— Вулканический пепел, — сонным голосом говорит Алеша.

Однако это объяснение меня мало успокаивает. Какой там, к черту, пепел, если по брезенту явно стучат мелкие камешки. Я прислушиваюсь к их перестуку и слышу мерный храп усталого человека. Меня берет зло. Ему, видите ли, на все плевать! Храпит, как у жены под боком. Мне кажется, будто все спят и не слышат этого барабанного грохота. Каждый дурак поймет, что это никакой не пепел… Где вы видали такой пепел, который барабанит, словно град, по крыше! Но что же это тогда на самом деле? Мой инстинкт самосохранения десятки раз задает этот вопрос, и я лихорадочно ищу на него ответ. Наконец я, кажется, нахожу его. Вернее всего, открылся новый кратер, который гораздо ближе к нам, и осколки выброшенных им камней падают на крышу палатки. И это странное завывание, свист и шипение доносятся тоже из нового кратера, а не из прежнего.

И вдруг — мощный взрыв. Кажется, в земле разверзлась новая дырка. Затаив дыхание, я прислушиваюсь, когда же с неба на палатку или рядом с ней начнут падать камни, но время идет, камни почему-то все не падают, а вулкан опять без передышки грохочет.

— Чихает, — сонно бормочет Валерий. Мне кажется, за этим словом стоит очень много: «Слава богу, все на своих местах, как

тому и положено быть». Очевидно, я не ошибся, ибо вскоре со всех сторон раздается храп — все засыпают крепким сном намаявшихся за день людей. Пытаюсь заснуть и я. Если они спокойно спят, значит, опасности нет. Однако и эта мысль не успокаивает. Почему-то я начинаю думать о том, что такое человеческий коллектив. Мне вспоминается война, когда бывало, что маленькая горстка людей совершала невероятные подвиги, а бывало и так, что куда более многочисленные группы слепо подчинялись насилию, давали уничтожить себя, даже не попытавшись встать на борьбу. Видимо, они руководствовались правилом: «Как всем — так и мне». И все они были истреблены. Человеческий коллектив, собравшийся в этой тесной палатке, напоминает мне о тех печальных уроках. Он спит! Дрыхнет самым бессовестнейшим образом. И я уже не могу мириться с мыслью, которая еще недавно утешала: как всем — так и мне. Нет, не каждую группу людей можно назвать коллективом. Коллектив тем и отличается от стада баранов, что у него есть своя программа действий, есть ясная цель, в нем все единомышленники… Я не могу больше слышать этот позорный храп, мне хочется крикнуть, разбудить всех и сказать им прямо в глаза: отоспаться успеете и дома, а здесь, на вулкане, надо действовать. Но как? Я не знаю. Наверно, поэтому и не бужу их. И еще потому не бужу, что понимаю: все это мне нашептывает инстинкт самосохранения. Вот уж не думал, что он сохранил такую силу над современным человеком. Многие замечательные свойства исчезли, атрофировались, а этот инстинкт уцелел.

«Как всем — так и мне», — мысленно говорю я, как бы пробежав полный круг и не найдя ничего лучшего, опять вернувшись на то же место, с которого начал бег.

Вулкан грохочет. Я считаю удары, более отчетливо выделяющиеся в бесконечном грохоте. Насчитав полторы сотни, я, должно быть, заснул, потому что, когда открыл глаза, тут же понял: что-то изменилось, хотя в палатке по-прежнему темно. Я прислушиваюсь. Снаружи скрипят по снегу чьи-то шаги: скрип, скрип, скрип — все ближе и ближе. Кто-то шарит руками у входа, в палатку врывается порыв холодного воздуха, и с нар доносится вопросительное:

— Ну?

Узнаю голос Вадима Гиппенрейтера.

— Ветер и снег, — отвечает вошедший, и я уже знаю, что это Валерий. Он отряхивается и, зевнув, говорит: — Звезд не видно.

— Буран? — спрашивает Вадим.

— Не совсем, но что-то в этом роде. Будем спать.

Я забираюсь поглубже в спальный мешок, прижимаюсь щекой

к нежной оленьей шкуре и тут же засыпаю.

Меня будят голоса. Ребята обсуждают, из чего смастерить временную трубу, потому что от нее остался всего лишь короткий кончик, и, когда дует из долины, печку растопить невозможно — ветер гонит дым в палатку, гасит огонь. Уже решено, что сегодня к кратеру идти нельзя, потому что в горах повисла белая мгла. В двух шагах ничего не видно, вытянутая вперед рука тонет, как в дыму. Честно говоря, я даже рад такому решению, потому что все еще чувствую усталость. А в то же время где-то закрадывается суеверная тревога: почему все мои расчеты рушатся, почему встреча с вулканом все время переносится со дня на день, какие силы — добрые или злые — отдаляют эту встречу? Может, это сигнал судьбы, предупреждающей меня, дающей время подумать, стоит ли мне вообще встречаться с вулканом, этим преддверием ада, как я мысленно его называю.

Сегодня дежурство Валерия. Он первым вылезает из спального мешка и, разломав ящик из-под мясных консервов, пытается сделать из дощечек трубу. Валерий сидит на колоде и вертит в руках тоненькие дощечки, видимо раздумывая, с чего начать, а Пронин потихоньку подшучивает над ним. Шутить здесь любят все, и, наверно, ребятам это необходимо.

— Ну вот, теперь он целый час будет курить, — упрекает Алеша, и не сразу поймешь — притворяется он или говорит серьезно.

— Подумать надо, — оправдывается Валерий, затягиваясь сигаретой.

— Тебе вредно думать, — вставляет Вадим Гиппенрейтер.

— Мы сами за тебя подумаем и дадим ряд ценных указаний.

— Нет, — качает головой Валерий. — Кто дает указания, тот может их и выполнять.

— Значит, без указаний?

— Без.

— А вопрос можно?

— Вопрос — можно, — милостиво соглашается Валерий, пытаясь составить ребрами пять дощечек — сделать некое подобие цилиндра.

— Не проще ли сбить из четырех дощечек?

— Пожалуйста, сбивайте!

— Я не указываю, а только опрашиваю.

— И еще: не проще ли связать дощечки проволокой?

Валерий молчит и делает по-своему. В этой палатке существует правило: выслушай каждое предложение, но думай своей головой, делай, как сам считаешь правильным. Наконец труба готова. Валерий натягивает торбаса[4], выбирается наружу

и, водрузив трубу, принимается готовить завтрак.

Я расспрашиваю вулканологов об их работе и быте, о том, как была организована эта экспедиция. Оказывается, у советских вулканологов исключительные условия для наблюдений: большая часть всех действующих вулканов планеты находится на территории нашей страны. Особенно много их в так называемом вулканическом поясе Тихого океана, который включает Курильские острова, Камчатку, а также некоторые другие места на побережье океана. И вулканы здесь самые беспокойные — широчайшее поле для наблюдений и научной работы. Вулканы Камчатки отличаются к тому же своими размерами. Например, высота Везувия — тысяча сто восемьдесят метров, и он считается величайшим вулканом Европы. Между тем Ключевская сопка, на которой мы находимся, достигает чуть ли не пяти тысяч метров, а кратер, у которого стоит наша палатка, вдвое выше над уровнем моря, чем Везувий.

Неподалеку от места, где развевается на ветру красная рубаха, вертолет две недели тому назад высадил вулканологов, доставив им палатку, доски и все остальное: аппаратуру, мясные и молочные консервы, мешки с крупой, большой бидон для хранения воды, груду посуды, сахар, курево, ящик свеч, несколько мешков хлеба и сухарей, спальные мешки, несколько кубометров сосновых дров (здесь нет никакой растительности), надувные матрасы, аптечку — словом, все, что необходимо людям, которым предстоят долгие недели жизни в трудных условиях, отрезанным от всего мира. Мы действительно отрезаны, не поддерживаем никакой связи с миром. В среднем лагере была рация, но она вышла из строя. Правда, у нас есть еще кучка ракет. Согласно договоренности, если внизу, на вулканологической станции, увидят зеленую ракету, это значит, что здесь требуется срочная помощь. Но заметят ли там эту зеленую ракету? Все вокруг окутано тучами дыма, пепла и пара, а ведь есть еще и настоящие облака, которые часто проплывают на этой высоте. На вулканологической станции наблюдают за кратером в специальные оптические приборы, но полагаться только на зеленую ракету все-таки слишком рискованно. Остается надеяться на самих себя. Кроме того, сегодня должен был прилететь вертолет, доставить новую рацию, но в такую погоду он, конечно, не вылетит. А сколько продержится такая погода? Ну, этого уже никто не знает. Может, день, может, два, а может, и целую неделю. Гм… Коли так, то не видать мне Командорских островов как своих ушей. Через три дня из Петропавловска-Камчатского туда вылетает областная делегация, и товарищи из обкома партии позаботились о том, чтобы нашлось местечко и

для меня. Ну да ладно, как природа рассудит — так тому и быть.

К полудню слегка прояснилось, хотя белая мгла все еще окутывала и горы, и ленту лавы. Воспользовавшись этим просветом, мы решили сходить по воду, запасы которой кончились. Взяли сорокалитровый бидон, закутались потеплей и вынырнули из палатки. Олег захватил еще и кинокамеру.

Сильный ветер то и дело менял направление, налетая со всех сторон, выискивая слабые места. Его порывы были такими сильными и внезапными, что вырывали из рук бидон. Когда ветер дул в спину, мы невольно пускались чуть не бегом, а налетал спереди — казалось, упирались в эластичную невидимую стену.

В глубоком ущелье под толстым снежным покровом шумит ручей, который берет начало у высящегося где-то над нами ледника, не тающего даже в летнюю пору. Видимо, ручей родникового происхождения, потому что бежит под землей и только на коротком участке выбивается в этом ущелье на поверхность.

Мы съезжаем на заду с отвесного склона и пробираемся в глубь ущелья. Снегу здесь намело столько, что вскоре мы оказываемся как бы в колодце, по дну которого шумит и пенится узкий, но сильный поток. Набираем котелком полный бидон воды и тащим его наверх. Тащим с трудом. Одни тянут за длинную веревку, а другие подталкивают снизу, глубоко проваливаясь в снег. Олег стоит над нами и снимает. У него на губах довольная улыбка. Когда он отрывается от камеры, я вижу в его глазах уже знакомый фанатический блеск и ничуть не удивляюсь, когда Олег говорит:

— Вот это кадр! А теперь повторим все сначала! Надо снять дубль.

Я-то не удивляюсь, зная, что Олег за удачным кадром готов лезть к черту на рога, ради хорошего кадра ему не жаль ни себя, ни других. Зато «ребят» будто колом по голове хватили. Они тяжко дышат, отворачиваются от ветра, который несет над землею снег с пеплом, так и норовит швырнуть полную пригоршню этой смеси в глаза, рот, нос. Валерий поглядывает то на Олега, то на дно ущелья и, ничего не сказав, хватается за веревки, изо всех сил тащит бидон наверх, словно боясь, что кто-нибудь из нас еще возьмет и послушается Олега. Но тот не сдается. Тяжелый бидон уже почти у самого гребня, на котором ветер не оставил ни снежинки и который сулит твердую и надежную опору нашим ногам, а Олег просит свернуть в сторону. Мы сворачиваем и до подмышек проваливаемся в снег. Мы все барахтаемся, а Олег ликует. И снимает, снимает. Вдруг камера перестает жужжать, и Олег накидывается на Валерия:

— Что ты наделал! Что ты наделал!

— Ничего я не наделал, — еле дышит Валерий. — Все равно в этом месте ты пустишь музыку. Какого-нибудь Бетховена или еще что-либо…

— Музыка музыкой, но даже глухонемой прочтет по твоим губам это словечко. И надо же было ему выругаться! — сокрушенно вздыхает Олег.

Наконец мы втаскиваем бидон в палатку. Почти два часа потратили. Дорого обходится здесь вода. Воды здесь нет. И этот ручей был найден лишь после долгих поисков. Зато вода хорошая. Никакого сравнения с талым снегом, в котором много не только пепла, но и выбрасываемых вулканом ядовитых газов. По дороге сюда я часто наклонялся к земле, выискивал, где снег почище, и утолял жажду, удивляясь его странному вкусу. От небольшой горстки во рту становилось кисло, будто клюкву жевал. Только кислинка эта была особенная. Когда я рассказал об этом вулканологам, они спросили:

— И много ты съел?

— Когда пить хотелось, тогда и ел, а что?

— Ничего. Если зубы не выпадут через несколько недель — говори спасибо.

Жалко зубов. Пусть и не ахти какие, не то что у кинозвезд, но все-таки свои.

Олегу не сидится на месте, он то и дело высовывается из палатки. Посидит минутку-другую и снова, согнувшись в три погибели, лезет нарушу. Наконец он не выдерживает:

— Пойду к кратеру.

— Сейчас?

— Немедленно, — и он укладывает в рюкзак кассеты с пленкой, кинокамеру, банку консервов, кусок хлеба, шоколад.

Ребята пытаются отговорить его. Уверяют, что в такую непогодь нечего делать возле кратера — ничего не снимешь, не увидишь. Там сейчас как в черной бане. Полно паров и газов, будешь задыхаться, чихать, кашлять. Никуда не годная затея. Только наивный человек или полный идиот может идти в такую погоду к кратеру. Говоришь, немного прояснилось? Какое там прояснилось! Воды принести — еще куда ни шло, не заблудишься, а там совсем иное дело. Там с неба камни сыплются. Может, и успеешь их увидеть над головой, но уклониться уж наверняка не удастся. А камешки там такие, что тебя либо в землю вгонит, либо расплющит в блин, или из одного кинооператора станет два. Возможно, у нас и не хватает хороших кинооператоров, но почему же непременно из тебя делать двоих?

Но Олег стоит на своем. У него в глазах горит знакомый

огонек, и я знаю, что никакие аргументы не убедят его. Не обращая внимания на все предостережения, он укладывает в рюкзак самое необходимое, надевает полушубок и, ни на кого не глядя, опрашивает:

— Может, кто-либо пойдет со мной?

Вулканологи и Вадим отказываются наотрез и делают последнюю попытку удержать этого безумца. Я молчу, хотя сразу же почувствовал, что слова Олега относились ко мне. Ведь мы вместе шли сюда от самого нижнего лагеря, и, естественно, Олег рассчитывает, что мы и дальше будем вместе идти до самого кратера. Но я молчал. Не знаю, что он подумал обо мне, — очевидно, мы оба были недовольны друг другом. Возможно, он решил, что в последнюю минуту я струсил и у меня отпала всякая охота лезть в это пекло. Не знаю. Я молчал, будто не понимая, что Олег обращается и зовет с собой только меня.

Он ушел один.

В палатке наступила гнетущая тишина. Почему-то мне вспомнился тот день, когда мы с Олегом добрались до среднего лагеря. Погода испортилась, шел снег, понемногу мело, и мы забеспокоились, что не отыщем дорогу в верхний лагерь, застрянем здесь. Помню, Олег тогда сказал: «Нечего беспокоиться. На вулканологической станции спохватятся, что нас одних отпустили, и придут сюда». Я еще в тот раз подумал, что Олег неплохо разбирается в психологии.

— Худо дело, — прервал мои мысли Гиппенрейтер.

— Не маленький, — пробурчал Валерий.

— Мы ему все сказали, — подхватил Алеша.

— Не следовало его пускать, надо было просто запретить, — волновался Вадим. — Ты ведь, Алеша, начальник экспедиции.

— Он мне не подчинен.

— Если бы он откуда-то пришел и не остановился у нас — тогда другое дело. Но его направили с вулканологической станции, и он живет в нашей палатке. Ты, Алеша, должен был либо запретить ему идти, либо не отпускать без провожатого.

Я опять подумал, что Олег — отличный психолог.

— Надо догнать его и вернуть, — решил Валерий и, поспешно одевшись, выскользнул из палатки в белую мглу.

Меня терзали противоречивые мысли. Я осуждал Олега за то, что он ни с кем не считается, ставит в затруднительное положение этих чудесных людей, которые и без того намаялись, живя вторую неделю в палатке и ежедневно поднимаясь к кратеру. Белая мгла — единственная возможность для них сделать передышку и отдохнуть со спокойной совестью. Я осуждал Олега и в то же время восхищался им. Мне нравилось,

что во имя намеченной цели этот человек не жалеет ни себя, ни других. Вероятно, только так и можно добиться в жизни чего-то ценного.

Прошло полчаса, час, но ни Валерий, ни Олег не возвращались. Я отлично представлял себе, как было дело, когда Валерий нагнал Олега и попытался его вернуть: оператор с фанатическим упорством рвался к кратеру, ничего не желая слышать, и Валерию оставалось только присоединиться к нему.

Выяснилось, что так оно и было. Воротились, когда уже стемнело. Приблизиться к кратеру им не удалось. Там, на подходах к жерлу вулкана, воздух перенасыщен газом. Почихали, покашляли, побродили на ощупь в густой мгле и не солоно хлебавши пошли обратно. Теперь Олег сушил у печки камеру, а затем взял обыкновенную медицинскую клизму и весь вечер выдувал из всех щелочек и зазоров вулканическую пыль. Тем не менее его лицо светилось спокойной радостью. Дескать, сделал все, что мог. И не его вина, если это ничего не дало. Его совесть спокойна. Может быть, поэтому Олег первым и улегся спать, а мы еще долго вечерничали.

Утром я проснулся раньше всех, потому что сегодня был мой черед дежурить. Меня удивила необычная тишина за стенами палатки. Лежа в спальном мешке, я напряженно прислушивался. Вулкан молчал — не доносилось ни грохота, ни протяжных, свистящих вздохов. Неужто все? Неужто извержение кончилось и я не увижу вулкан в действии? В опасных ситуациях иногда становишься суеверным: малейшие явления, которым обычно не придал бы значения, даже не заметил их, внезапно приобретают какой-то сокровенный смысл и значение. Я лежал и думал: какие силы — злые или добрые — заставили умолкнуть кратер, когда после таких трудов и испытаний я наконец очутился у его порога. Меня разбирала невольная досада, однако я не богохульствовал, а вел себя, как настоящий идолопоклонник, который молчит, боясь накликать злых духов, обозлить, разгневать их.

Стараясь не разбудить товарищей, я потихоньку вылез из спального мешка и удивился, что в палатке очень тепло. Так тепло, словно кто-то истопил печку. А может, и в самом деле кто-нибудь уже встал? Нет. Печка холодная, и в блеклой золе не тлеет ни один уголек.

Я отстегнул полог палатки, открыл его и опешил, не почувствовав ни малейшего дуновения. Моя рука уперлась в холодную и тугую стену снега. И тут я все понял — за ночь нашу палатку занесло.

— Лопата в углу, — услыхал я голос Алеши, и сразу стало легче на душе, улеглась тревога, потому что в его голосе я не

расслышал ни страха, ни озабоченности, а главное, меня уже не мучила неизвестность. Признаться, еще до начала подъема в горы мне хотелось своими глазами увидеть знаменитые камчатские бураны, о которых я столько слышал. Кажется, мое желание сбывалось…

Я нашел лопату и попытался пробить в снегу вертикальное отверстие. Это было не так-то просто. Пришлось навалить в палатку кучу снега, прежде чем я проткнул лопатой снежную оболочку. Вместе со светом и струей холодного воздуха в палатку ворвался вой ветра и глухое, какое-то придушенное гуденье вулкана. Я выбросил лопату наружу и сам выбрался туда же, утопая в снегу, карабкаясь, как на отвесную гору. Пурга мгновенно накинулась на меня: ослепила, ледяной ладонью зажала рот и нос, будто желая задушить. Трудно было что-либо разглядеть. Я не видел даже конец лопаты, которую держал в руке. Спотыкаясь и проваливаясь, я, как по воде, бродил вокруг палатки. Котловина, где она стояла, была полностью забита снегом. Я удивлялся, как мы не задохнулись под такой толщей. И, только увидев чернеющее отверстие, понял, что нас спасла труба. Накануне Алеша расщепил пополам длинный чурбак, выдолбил сердцевину, затем сложил обе половины, и получилась отличная труба для печки. Та, что Валерий соорудил из дощечек, просуществовала недолго — она вдруг вспыхнула, как солома, и сгорела.

Впервые в этих местах я вижу такой снег. Настоящий, белый. И мне весело. Я лижу его, и на сердце становится еще веселей оттого, что снег не кислит. Обыкновенный, чистый снег, который мы горстями пожирали в детстве, кашляли, получали нагоняй от родителей, а на следующий день опять глотали, прячась за угол, а потом врали, что «ни крупиночки не держал во рту». Буран свистел, завывал, стонал, небо смешивалось с землей, а я махал лопатой и чувствовал себя счастливым — как в далеком детстве, когда после долгой и грязной осени выпадет первый снег.

Буран неистовствовал целый день, ни на минуту не успокаиваясь.

Мы по очереди выбирались наружу, чтобы раскопать отверстие, сгребали снег с крыши палатки и делали защитный ров, но, увы, через полчаса все опять заваливало.

Буран и ночью не унимался. Толстые доски, составлявшие остов палатки, прогибались и время от времени тихо, но угрожающе потрескивали под снежной ношей. Алеша разбудил нас, и мы долго трудились, укрепляя подпорками эти доски. Если бы они сломались и на нас обрушилась снежная лавина, оставалось только забиться под бревенчатые нары и отсиживаться

там до конца бурана.

Мы долго не могли уснуть. Лежа в темноте, рассказывали всевозможные истории, а Валерий и Алеша пытались вычислить вес снега, давящего на крышу палатки. У Алеши получалось полторы тонны, а Валерий с жаром доказывал, что всего лишь одна тонна триста килограммов. «Какая, собственно, разница, обрушится на нас тонна или полторы тонны, — подумал я. — Бессмысленный спор».

Утром они вновь приступили к математическим вычислениям. Горячо спорили. Мы слушали, как они пререкаются, пока наконец Вадим Гиппенрейтер не выдержал:

— В таких случаях мы, колхозники, беремся за лопаты и лезем на крышу.

Залезли и тут же пожалели о своем опрометчивом решении. Оказывается, рыхлый и легкий снег покрылся обледенелой коркой, к которой новые снежинки не приставали, и ветер уносил их прочь. А тут повалили влажные, почти мокрые хлопья, так что опасность только увеличилась. Видимо, придется из-за этого каждый час попеременке вылазить наверх и работать лопатой. Так и делали. Только под вечер, когда ветер начал нести сухой, колющий иголками снег, мы оставили это занятие!

Потом перепутались дни и ночи.

Буран свирепствовал по-прежнему. Казалось, какие-то злые силы сорвались с цепи и, обрадовавшись необузданной свободе, бесятся, воют дикими голосами, стирая с лица земли, хороня, уничтожая все, что попадется на их пути.

Наша палатка без окошка, поэтому свеча горит день и ночь. Свечи так и тают в прямом и переносном смысле. Мы томимся, обреченные на скуку и безделье. Таксе вынужденное ничегонеделанье, по-моему, самое ужасное наказание для человека. Вряд ли можно придумать что-либо хуже. Разве что только прибавив к этому и одиночество. Мы рьяно хватаемся за любую работу и стараемся придумать ее как можно больше. Особенно рвутся к делу Вадим с Алешей. Они даже поделили между собой поленья и никому не дают взяться за топор — сами колют их, щеплют лучину и ревниво поглядывают на товарищей, если тем удается придумать себе еще какое-нибудь занятие. Раньше в такую погоду никого бы не выгнать за водой в ущелье, а теперь мы рады такой возможности, хотя воды худо-бедно, но еще на день хватило бы. Мы одеваемся, тщательно закутываемся, затыкаем каждую щелочку в одежде и, захватив компас, тесной кучкой бредем через буран к ущелью. Возвращаемся тоже по компасу, потому что наши следы уже замело, как будто их и не было.

Трудно описать буран. Наверное, надо самому увидеть это, если хочешь пережить всю гамму чувств и ощущений. В Литве таких буранов не бывает. У нас вьюги по сравнению с Камчаткой — игривый танец снежинок под нежную флейту ветра. Камчатский буран — бедствие. Алеша рассказывал, как один его знакомый в такую погоду вышел в сарай за дровами и больше не вернулся. Бедняга заблудился в собственном дворе. Его окоченевший труп нашли на полдороге от дома до сарая.

За несколько дней вынужденного безделья я услышал уйму всяческих историй о суровой природе этого края. Вот одна из таких историй, широко известная по всей Камчатке.

…На Курильском архипелаге много малых, необитаемых островов. Одиноко стоят они в бескрайних океанских просторах, забытые людьми и судами. Только тучи птиц слетаются сюда каждой весной и нарушают мертвую тишину своим гомоном. Но к осени, когда у птенцов окрепнут крылья, птицы покидают острова, и стоят они снова одинокие, неприступные, окруженные скалистыми, отвесными берегами, где нет ни спокойных бухт, ни лагун, в которых могло бы укрыться судно. Скалы и беспокойная океанская волна ревниво охраняют от людей одиночество островков. И вот у одного из таких островков поздней осенью показалась рыбачья шхуна. Беспомощную, волны изо всех сил швырнули ее на береговые скалы, и на поверхности остались только обломки. Каким-то чудом трое японских рыбаков сумели спастись, выбраться на берег. Обойдя кругом островок, они, к величайшей своей радости, обнаружили избушку. Никто в ней давно не жил, но там была печка, поленница дров на дворе, продукты в ящиках. Рыбаки поселились в избушке и ждали чуда. Они знали, что суда в эти места не заходят, а другого спасения нет — на птице не улетишь. Когда продукты кончились, двое рыбаков убили третьего и съели его. Потом оба поняли, что теперь черед кого-то из них. И тот и другой сутками не смыкали глаз, следили за каждым движением товарища. Погиб тот, кого первым сморил сон. В конце зимы наши пограничники заглянули на островок и нашли в избушке странное существо, мало похожее на человека. Обросшее длинными космами, почерневшее и заскорузлое, оно вываривало в котле берцовые кости. Все это выяснилось во время следствия. Преступник был передан японским властям. Однажды ночью он удавился в тюремной камере…

— Если буран не уймется еще недели две, то вначале вас останется четверо, — заметил я.

— Почему ты говоришь «вас»? — спросил Валерий.

— Потому что я — самый толстый.

— На всякий случай пиши заявление, Юозас.

— Диктуйте.

— Пиши: я, такой-то и такой-то, учитывая трудное положение вулканологов, согласен пожертвовать собой, но за это требую, чтобы сегодня к обеду была выдана одна из двух бутылок спирта, предназначенного для промывания аппаратуры. Поскольку в эти дни никакой работы нет и промывать нечего, спирт, по моему глубокому убеждению, надлежит использовать по его прямому назначению — на благо человечества…

— Не согласен, — сказал я.

Лица у всех вытянулись.

— Не согласен с формулировкой «по моему глубокому убеждению».

— Можно заменить на «глубочайшему»…

— Либо — «не вызывающему сомнений», — посыпались предложения.

— Нет, — возразил Вадим. — Сомневаться в чем бы то ни было — величайшее преимущество человеческого разума.

— Ладно, пусть будет так: «глубоко сомневаясь, предлагаю»…

— Да будет так, — единодушно постановили мы, и Валерий выкопал из снега пузатую бутыль из-под шампанского, наполненную спиртом, предназначенным для промывки аппаратуры.

А буран неистовствовал. Я уже примирился с мыслью, что не увижу Командорские острова. Как большинство людей, в случае какой-то потери или неудачи я ищу оборотную сторону медали, которая все покажет в ином свете. Теперь я каждое утро радовался, что буран продолжается:

— Слава богу, будет время привести в порядок записи.

Свободного времени и в самом деле много, так много, что мог бы раздавать его взаймы, чтобы когда-нибудь потом, когда будет в обрез, получить обратно. Увы, время — не деньги, его никому не одолжишь, не положишь в копилку. День за днем уходят в небытие, и ничего тут не поделаешь.

За эти дни я очень привязался к людям, с которыми судьба свела меня в тесной, затерянной в горах палатке. Я полюбил их за умение понять человека, за неиссякаемый оптимизм и юмор, за то, что им чужда банальность — пошлый анекдот или плоская острота. За то, что они даже полсловом никогда не вспомнят об оставшихся далеко своих близких, хотя все женаты и у всех есть дети. Почему? Я думаю, потому, что у каждого человека есть в душе такой уголок, куда для посторонних вход воспрещен или, во всяком случае, нежелателен. Бывают минуты, когда в нашей палатке воцаряется тишина, все сидят молчаливые, задумчивые.

Нетрудно понять, куда уносятся в такую минуту их мысли. Но это длится не долго: тут же включается «Спидола», как окрестили Валерия. Он знает множество песен. Начиная от старинных русских романсов и кончая модерновыми западными мелодиями. Правда, мелодиями их можно назвать весьма условно, поскольку в исполнении Валерия они все на один мотив. Валерий страстно любит петь, но у него нет слуха, поэтому он всегда выступает соло, подпевать ему невозможно. Он так бесчеловечно коверкает мелодию, что ее не узнал бы даже сам композитор. Однако тексты песен Валерий помнит назубок, и репертуар его неистощим.

— Наша «Спидола» работает только на одной волне, — говорит Вадим, но Валерий не обижается и продолжает давать нам концерты — иногда по часу, а иногда и по два часа кряду.

Мы давно перепутали все дни недели, часто не обращаем внимания на часы — встаем ночью и готовим еду. Плохо только, что быстро тают запасы дров — печка топится большую часть суток. Быстро подходит к концу и запас свечей — осталось всего несколько штук. Алеша сделал светильник из консервной банки: свернул из бинта фитиль, а вместо керосина налил топленое сало, которого у нас предостаточно. Однако исчезающие дрова вызывают серьезную озабоченность. Если буран продлится еще неделю — неизвестно, как мы выкрутимся. В такую погоду вертолет не прилетит, и мы не возлагаем на него каких-либо надежд. Поэтому последнее время экономим дрова: большей частью лежим в спальных мешках. Лежим и разговариваем.

— Знаете, ребята, как лучше всего испытать выдержку? — спрашивает Вадим.

— Как?

— Надо с деревенскими мужиками выйти на весь день косить сено.

И Вадим начинает расписывать сенокос. Мы все переносимся на огромный цветущий луг, где звенят косы, где воздух, напоенный ароматом цветов, густой, как мед, где солнце ласкает, не в силах высушить потные спины, где мужчины, запрокинув кувшин, большими глотками пьют родниковую воду, а вода проливается мимо рта, капает на открытую грудь. И кажется, не деревенские мужички, а мы возвращаемся тихим вечером, перекинув косы через плечо, не у них, а у нас ломит поясницу, руки и ноги налиты свинцовой усталостью.

Я догадываюсь, почему Вадим завел этот разговор. Он любит деревню, любит трудовой деревенский быт. А может быть, еще и потому, что у него, как у всех у нас, душа и глаз истосковались по зелени деревьев, босые ноги — по росистым лугам, руки — по настоящей, мужской работе. Я прекрасно понимаю его. И сам

тоже охотно соглашаюсь рассказать ему о Литве, в которой он никогда не был. Рассказываю с каким-то упоением, осязаемо чувствуя, как много дорогого и святого есть на земле у человека.

Наконец однажды буран выбился из сил. Это случилось, должно быть, на шестые сутки, потому что снова было дежурство Валерия.

— Подъем, засони, всю красоту проспите! — кричал он, выбравшись рано утром из палатки.

Мы поверили не сразу, так как уже привыкли к невинным розыгрышам, разнообразящим серые будни. Однако Валерий клялся и божился, что не врет. Не преувеличивая, могу сказать, что зрелище, которое я увидел, околдовало меня. Я как выскочил, так и застыл, по пояс в снегу и не чувствуя стужи, не в силах оторвать глаз от кратера.

Занимался погожий день. На фоне ярко-синего неба четко вырисовывались зубчатые линии белоснежных гор, а над ними непрестанно взлетали в небо букеты красных цветов — раскаленные камни и глыбы огненной лавы, выкидываемые из кратера. Вулкан был отлично виден, и казалось, он совсем рядом, рукой подать. В прозрачном предрассветном воздухе стоял оглушительный грохот. Вулкан безостановочно метал в небо тяжеленные камни, точно желая кого-то сбить. Пылающие осколки разлетались в стороны веером, гигантские глыбы лишь приподнимались над жерлом кратера и падали обратно, а он снова и снова их выплевывал, пока наконец не отшвыривал совсем.

Отказавшись от завтрака, мы захватили несколько банок с консервами и поспешили к кратеру. Я вышел первым, так как ребята еще собирали съемочную и фотоаппаратуру, укладывали в рюкзаки запасные кассеты с пленкой. Кроме того, я знал, как быстро лазят они по горам, и не сомневался, что вскоре меня догонят.

Я шел по гребням, как мне велели, потому что здесь почти не было снега и торчали голые скалы, покрытые тоненькой коркой льда. Казалось, какой-то упорный мастер обошел все камни, над каждым нагнулся и тщательно смазал лаком. Кратер почти все время был в поле зрения, исчезая из виду, только когда я пересекал впадину или ущелье. В такие минуты его грохот, казалось, в несколько раз усиливается.

Когда человек поймет язык земли? Ведь мы почти ничего не знаем. Самые глубокие океаны в наши дни, по-видимому, скрывают меньше тайн, чем земля, на которой мы живем, по которой ходим, в которой спим и на которой бодрствуем. Человек устремился в космос, заводит близкое знакомство с другими

небесными телами, но чрево земли остается для него недостижимым, непонятным. А ведь земля говорит. Она изъясняется устами вулканов, только мы не в состоянии понять, что она хочет сказать.

— Эгей! — услыхал я за спиной.

Обернулся и увидел Вадима в ярко-синем костюме альпиниста. Он что-то кричал, указывая рукой в сторону кратера. Я взглянул туда и обомлел: к небу поднимался черный столб, похожий на гриб атомного взрыва. Его шляпка, казалось, подпирала небосвод. Километра на два или на три в высоту выбросил вулкан пепел, камни, осколки, и несколько минут они висели непроницаемым облаком.

— Черный плевок? — спросил я Вадима, поравнявшегося со мной.

— Он самый… Наше счастье, что не вышли на полчаса раньше. Теперь бы мы уже были возле кратера, и кто знает… Хотя чертовски хочется увидеть все вблизи.

Он обогнал меня и пошел вперед ровным, неторопливым шагом. Приятно смотреть, как ходит Вадим в горах. Альпинист. До войны был чемпионом страны по горнолыжному спорту. Он идет небольшими шагами, медленно и верно, как часы, — ни сбавляя, ни убыстряя темп. А я то и дело останавливаюсь, мне не хватает воздуха, и отчаянно колотится сердце. Все-таки более двух тысяч метров над уровнем моря.

— Это еще не высота, — улыбается Вадим и шагает, опираясь на ледоруб, таща на себе рюкзак, в котором три фотоаппарата и множество кассет с пленкой.

Вскоре меня обгоняет и Алеша, а затем Валерий, уже недалеко сопит запыхавшийся Олег. Чем ближе кратер, тем тревожней у меня на душе. Я подхожу к месту, где только что падали вулканические бомбы. Большие камни застряли в скалах, а те, что угодили в снег, растопили его и все еще дымятся. Подняв камень величиной с кулак, я чувствую, что он еще теплый, хотя мороз щиплет лицо, а острый горный ветер так и бреет щеки. Вырытые бомбами в снегу воронки чернеют в нескольких метрах друг от друга, беспорядочно разбросанные по всему склону. Нет, не хотелось бы оказаться здесь во время черного взрыва. Что уготовили мне злые или добрые силы, которые так долго не позволяли приблизиться к кратеру?..

Вулканологи и Вадим еще раньше присмотрели укромное местечко у самого вала, образованного застывшей лавой. Отсюда хорошо видны и кратер, и начинающаяся от него река лавы. Огромный, перегоревший в лоне земли камень представляет собой надежное укрытие от свирепого ветра и неплохое убежище

во время черного взрыва. Камень еще горячий, от него исходит приятное тепло, и хорошо прислониться к нему спиной, погреть мерзнущее тело.

Все спешат фотографировать, почти беспрерывно стрекочет кинокамера Олега. Кратер с оглушительным грохотом выбрасывает ярко-красные и черные камни. Некоторые из них превосходят по величине крестьянскую избу средних размеров, не говоря уже о бане. Такие выбросы вулканологи почему-то прозвали портянками.

— Ну выбрось, выброс портянку! — как живого упрашивают они кратер, наставив аппараты. И кратер не заставляет долго себя просить, запускает в небо новую пурпурную глыбу. Люди, охваченные экстазом, кричат не своими голосами и щелкают аппаратами. Этот крик заразителен. Я ловлю себя на том, что тоже деру глотку.

Вырывающиеся из кратера черные камни похожи на громадных птиц, которые бешено кувыркаются и машут крыльями на лету.

Я стою и смотрю на реку лавы. В самом деле, другого сравнения не придумаешь. Лава движется, точно река во время ледохода. Она ползет примерно со скоростью пешехода. С обеих сторон ее обрамляют груды серых, пористых, как шлак, скал, а сама река — багровая, сверкающая, и только в нескольких стах метрах от кратера она темнеет, чернеет, подергивается золой.

Извержение началось с того, что в земле открылась почти семисотметровая щель, из которой и потекла лава. Сейчас лавовый поток прошел около пятнадцати километров, выбирая для своего русла ущелья и ложбины между скалами.

Я незаметно поглядываю на ребят, но не вижу на их лицах ни страха, ни волнения, только глаза искрятся каким-то внутренним огнем. Я понимаю, что никто из них не хочет сложить здесь голову, что они не безумцы и не станут попусту рисковать жизнью, но не могу отделаться от ужасной мысли, что земля вдруг разверзнется у меня под ногами или случится что-то еще более ужасное. Никогда не думал, что инстинкт самосохранения так силен и его так трудно подавить. Нет, подавить его, очевидно, невозможно. Можно только заглушить. Ничего подобного я в своей жизни не испытывал, разве только в снах далекого детства. Я презираю себя за этот страх, пытаюсь принять бодрый, беспечный вид, но не сомневаюсь, что товарищи видят меня насквозь, только ничего не говорят, не смеются надо мной, помнят, должно быть, тот день, когда они сами впервые очутились в этом преддверии ада. Такое не забывается.

— Смотри в оба за ним, — говорит мне Алеша, кивая на

огнедышащий кратер. — Он любит устраивать сюрпризы. Чуть что — прячься за эту скалу и не зевай, смотри в небо. Несчастья валятся на нас с неба.

Я послушно киваю головой и присматриваю для себя убежище, а Алеша, закинув на плечо теодолит, подходит еще ближе к кратеру, устанавливает треногу, что-то измеряет, делает пометки в записной книжке.

Валерия особенно интересует тепло-газовый состав лавы. Он собирает образцы — камни величиной с кулак — и кладет их в небольшие полотняные мешочки, а вернувшись в лагерь, зальет парафином. Потом, уже в Петропавловске, в лаборатории Института вулканологии, он размельчит эти камни в вакуумной мельнице и выяснит, какие газы и в каких количествах они содержат.

— Какая температура там? — спрашиваю я о кратере.

— Тысяча сто, — отвечает Валерий. — Может, и больше.

Олег не отрывается от кинокамеры и щедро меняет кассеты. Если и дальше так пойдет — он скоро останется без пленки, хотя приволок ее несколько километров.

Меньше всех снимает Вадим. Он бережет пленку для самых интересных, как он говорит, «сногсшибательных» кадров. Мне становится еще больше не по себе. Стало быть, каждую минуту можно ожидать чего-то еще, от чего захватывает дух даже у таких аборигенов, как Вадим Гиппенрейтер.

Увы, долго этого момента ждать не пришлось.

Я держал вытянутые перед собой ладони, собирая падающий с неба вулканический пепел. Он был темно-коричневым, покрупнее зернышек мака. Нередко в ладонь попадали крупинки величиной с рисовое зерно, а иногда и с горошину. Оставив теодолит, к нам вернулся Алеша.

— Алеша, разреши подойти к щели, — попросил Вадим.

— К какой?

— К первой.

Эта щель находилась метрах в пятидесяти от нас. Оттуда брала начало река лавы. Немножко выше были еще две щели, которые понемногу поплевывали, а еще выше — пышущий огнем кратер.

— Нет, — сказал Алеша.

— Почему?

— Потому, что сегодня она еще не показала, на что способна.

— А когда покажет — можно?

— Нет. Надо переждать хотя бы два плевка.

— На кой шут?

— Чтобы предусмотреть силу этих плевков и интервалы

между ними, — объяснил Алеша. Я понял, что начальник экспедиции будет твердо держаться своей установки.

В это время сильный плевок вышвырнул из кратера множество больших и малых осколков, которые, как испуганные птицы, разлетелись во все стороны. Несколько черных кувыркающихся «птиц» направились в нашу сторону, одна, размером с откормленного гуся, ударила в то место, где несколько минут назад стоял Алеша. Камень, не задев теодолит, угодил прямо в вытоптанную Алешей площадку, и теперь там зияла дымящаяся воронка.

— Точно бьет, чертяка, — сказал Алеша.

После этого взрыва вулкан вдруг притих, перестал плеваться. Мы переглянулись.

— Что-то будет, — сказал Алеша.

Все уставились на кратер в ожидании чего-то необычного, что невозможно угадать или предвидеть заранее. Однако необычное началось не там, а поблизости от нас, в щели, откуда вытекала лава. Мы стояли как загипнотизированные, не в силах оторвать взгляд от ярко-красного пузыря лавы, который рос, ширился у нас на глазах. Казалось, какой-то великан надувает красный воздушный шар. Через несколько секунд он вырос до размеров трехэтажного дома, затем было начал опадать, уменьшаться, но тут же снова раздулся и внезапно лопнул с оглушительным грохотом. Во все стороны полетели красные осколки. Некоторые упали около нас, другие со свистом понеслись дальше. Все это время щелкали фотоаппараты, но никто не произнес ни слова. Только когда на месте пузыря осталось большое алое пятно, Валерий сказал:

— Ребята, надо тикать отсюда.

Я никогда не думал, что у меня такие спортивные способности. Точно во сне перемахнул я через лавовый шлак, на собственном заду съехал с обледенелой горки, быстрее ветра промчался по узкой лощине и как птица взлетел на следующую высотку. Только тут я остановился и посмотрел назад. Четверо моих товарищей все еще стояли там, где я их оставил. А на ярко-красном пространстве начинал вздуваться новый пузырь. Тогда и они разбежались по сторонам и, притаившись за большими камнями или перегоревшими глыбами шлака, заработали аппаратами. Я тоже забился за камень и наблюдал, как надувался громадный пылающий купол, как он лопнул и от него со свистом разлетелись осколки, как они осыпались на обледенелый снег, шипя, словно неразорвавшиеся снаряды, как вокруг повалил дым, будто кто-то одновременно зажег десятки костров. Но от того, что я увидел затем, у меня действительно захватило дух. Все четверо

вдруг повыскакивали из своих укрытий, сбились в кучу, коротко посовещались о чем-то и кинулись бежать к тому месту, где только что взорвался огненный пузырь. Самым прямым и коротким путем. Подбежали, наклонились над зиявшим отверстием (издали мне показалось, что они все вместе плюнули туда) и тем же путем понеслись обратно. И только тогда, когда они очутились на прежнем месте, я спохватился, что разговариваю сам с собой.

И тут мне стало тошно. Меня душили стыд и злость на самого себя. Не было никакого желания возвращаться к ребятам, не хотелось ни с кем встречаться, а тем более разговаривать.

В грустном одиночестве я спустился к палатке, прибрал в ней, растопил печку, приготовил на всех ужин. Потом вышел наружу и долго смотрел на вулкан, который снова метал в небо раскаленные камни. Я видел, как над ним вырос новый гигантский гриб, словно там взорвалась атомная бомба. И тогда я дал себе торжественную клятву…

С беспокойством дожидался я возвращения товарищей, думая, как объясню им, почему сбежал. Мне казалось, что перед другими можно всегда найти объяснение и оправдание. Можно даже убедить людей, что все это — чистейшая правда. Я решил, что просто-напросто скажу ребятам: посмотрел на текущую из кратера лаву, и будет с меня. Я ведь не вулканолог и не фотограф, который гонится за все новыми, все более интересными кадрами. Но как обманешь самого себя?

Когда они вернулись в палатку, Вадим без обиняков спросил, какого черта я почти целую неделю торчал здесь, дожидаясь возможности встретиться с вулканом, а как только этот случай представился — дал тягу. Придуманное заранее объяснение будто ветром сдуло, и я не почувствовал, как выпалил в ответ:

— Мне стало страшно.

Все поглядели на меня, потом друг на друга, и, хотя никто ничего не сказал, я видел, что им стало легче, точно какой-то гнетущий груз упал с плеч. Впоследствии Вадим говорил мне:

— Мы думали, ты будешь выкручиваться. Этот страх испытывает каждый, кто впервые очутился у кратера. Потом — свыкаешься. Привыкнуть никогда не привыкнешь, но свыкаешься настолько, что можешь держать себя в руках.

В тот вечер в нашей палатке разгорелся спор.

Олег обмолвился, что рассчитывает привезти из этого путешествия короткометражку минут на семь.

— Почему именно семь? — спросил Вадим. — Как можно заранее предвидеть это?

Олег пытался доказать, что для зрителя ничего не изменится,

если он будет смотреть на кратер целый час: любой эффект на экране очень скоро приедается.

Вадим считал иначе: все, что здесь происходит, бесконечно интересно, и успех фильма зависит от того, как режиссер сумеет это подать зрителю.

Алеша изложил свой взгляд в следующих словах:

— И книга, и кинофильм интересны постольку, поскольку содержат информацию — как фактическую, так и эмоциональную.

Валерий не принял ни ту, ни другую сторону. Мне казалось, что он старается только подлить масла в огонь, а у самого есть собственное мнение, которое ему хочется проверить. В конце концов он все-таки высказался. Дело в том, заявил Валерий, что, как бы интересно ни была написана книга о конкретном человеке, все равно этот человек останется недоволен ею. Почему? Да потому, что пишущий никогда не сумеет объективно познать человека и либо подсластит его портрет, либо сгустит краски, либо просто сделает его мельче, чем он есть на самом деле.

— Если писатель не понимает другого человека, то не имеет права писать, — сказал Олег.

— Фотография — другое дело, — продолжал Валерий. — Тут как в зеркале: отражается лишь то, что есть у человека, а чего нет, того и не ищи.

— Но ведь люди позируют перед аппаратом, невольно делаются не такими, как в обычной жизни. К тому же аппарат фиксирует только внешность, физическую оболочку человека, — сказал Алеша.

Дальше спор шел уже между Вадимом и Олегом. Кинооператор и мастер художественной фотографии еще долго излагали свои взгляды на искусство.

А поздно ночью, когда мы залезли в спальные мешки и задули коптилку, Валерий, точно желая подкрепить свое мнение, рассказал нам случай из жизни Института вулканологии. Работает у них там один вулканолог. Росту — почти два метра, плечи — косая сажень, но очень стеснительный и скромный юноша. Однажды явилась в институт корреспондентка Петропавловского радио с магнитофоном для записи интервью. Она спросила у нашего вулканолога фамилию, и он ответил, спросила имя и снова получила ответ, но когда попросила дать интервью — вулканолог отказался, сославшись на то, что вулканология наука молодая, множество тайн остаются не раскрытыми, и для всяких речей, тем более хвастливых, еще не время, и вообще не по душе ему это. Каково же было его изумление, когда вечером того же дня он услышал по радио свой голос: сам назвал свою фамилию, имя, должность. А дальше о

нем рассказывала корреспондентша. Господи, чего только она не наплела! Начала с того, что была немало удивлена, увидев такого великана за крохотным письменным столом. Ей показалось, тут какая-то ошибка, недоразумение, она представила, как этот гигант вдруг встанет, подойдет к вулкану и могучим голосом воскликнет: «Эге-гей, горы, я пришел вас покорить!» И пошло-поехало, точно пустая бочка покатилась под гору. А на другое утро в институте нашего товарища встретили насмешливыми репликами: «Эге-гей, горы!» Так и пристало это глупое восклицание к человеку, словно кличка.

Ничего не скажешь — случай характерный, не только для нашего радио, но и для собратьев по перу. Как часто мы обедняем своих героев, делаем их какими-то смешными выскочками, хотя намерения, казалось, были самые благие — рассказать о том, как силен и могуществен наш человек. Если не знать меры, даже мед набьет оскомину.

Утром ребята еще до света отправились к кратеру, а я задержался. Убрал в палатке, наколол лучины и щепок для растопки, чтобы, вернувшись, не терять время на разведение огня. Я вышел, заделал полог палатки, чтобы туда не набился снег, но вспомнил вчерашнюю клятву и снова полез в палатку. Сунул в карман банку консервированной говядины, несколько плиток шоколада.

Светало.

Я взбирался по склону сопки, размышляя о том, почему человечеству так мало известно о недрах нашей планеты. И на вулканологической станции, и здесь все говорили, что мы опоздали — вулкан выдыхается. Но за последние дни он разбушевался с такой силой, какой никто не ожидал и ничего подобного не видел раньше. Всю прошлую ночь он бешено плевался, раскаленные камни бесконечным фейерверком взлетали ввысь и падали, чертя в небе огненные линии. Казалось, падают большие пылающие звезды. И сейчас, на заре нового дня, вулкан неистовствовал, из кратера лилась ярко-красная лава, и весь небосвод был охвачен кровавым заревом. А человек пока бессилен не только овладеть этой необузданной силой, поставить ее себе на службу, но даже не в состоянии предугадать, когда подземный великан проснется и когда опять утихомирится. Правда, извержения некоторых вулканов предсказывает аппаратура сейсмических станций — перед самым извержением она регистрирует незначительное, неощутимое для человека землетрясение…

Меня всегда занимала работа вулканологов. По-моему, они чем-то напоминают тех людей, которые еще в седой древности

желали летать, как птица, в просторе неба и, привязав крылья, бросались с высоких скал. Они погибли, но пробудили человеческую мысль, облегчили дорогу исканий, перечеркнув своим опытом один из многих ошибочных путей.

У кратера я никого не застал, там оставалась только часть снаряжения. По белым следам на черном снегу я определил, что товарищи обошли вокруг кратера, очевидно в поисках новых ракурсов для съемки (кстати, фотографирование и киносъемка — одна из главных задач вулканологов в период дежурства подле кратера). Лава сегодня текла быстрее, и уровень ее повысился. Я все думал о своей клятве, глядя на эту огненную реку. На нее можно смотреть часами, и не надоедает. Вот вынырнул огромный камень, смахивающий на фигуру человека. Он стоит ровно, как на постаменте; река лавы несет его, объятого пламенем, рассеивающего вокруг себя золотой дождь. Затем эта скульптура из огня и камня начинает сгибаться, падает на колени, валится на бок, и вот она уже плывет, а за ней — другие вынырнувшие на поверхность глыбы, похожие то на зверя, то на какую-то фантастическую рыбу или причудливую мебель.

Я встаю и иду вверх по берегу огненной реки. Иду туда, где она берет начало. Краем глаза вижу ребят, подобравшихся к кольцу кратера. Не знаю, видят ли они меня. Нас разделяет лава. Они на другом берегу и гораздо выше. Я поднимаюсь по дымящимся глыбам шлака, приговаривая: «Посмотрим, что там, в этом аду… Посмотрим, что там, в этом аду…» Когда слышишь чей-то голос (пусть даже свой собственный) — спокойнее на душе. Я подхожу к самому краю отверстия и заглядываю вниз…

Я рассчитывал увидеть нечто вроде глубокой шахты с отвесными стенами, но моим глазам открылось совсем неожиданное зрелище. Пурпурная лава поднималась не круто вверх, а зигзагами, то удаляясь, то совершенно исчезая под обломками скал. Дорога к чреву земли. Дорога, по которой никто еще не прошел и, должно быть, никогда не пройдет… Я вынул из кармана банку консервов, швырнул ее вниз — на, подавись! — повернулся и тем же путем пошел обратно.

Потом я сидел, прислонившись к камню, курил и думал, что все это — глупое мальчишество, никому не нужное озорство. И все же мне было весело. Увы, я не долго веселился.

До меня донеслись дикие возгласы моих товарищей. Прежде всего меня удивило то, что, несмотря на грохот вулкана, так явственно слышны их крики, — казалось, ребята орут где-то совсем близко. Однако они стояли у самой вершины кратера, на правом крыле так называемой подковы. Кратер пульсировал на левом краю. И вчера, и позавчера, и много дней подряд.

Вулканологи заметили это. Плевки кратера, как правило, вылетали не из правой, а из левой закраины подковы. А тут вдруг кратер плюнул пылающей лавой прямо в людей, и теперь они в экстазе вопили не своим голосом:

— Давай, давай!

— Еще портянку!

— Еще!

Странно. Человек не понимает языка земли, а она, как видно, прекрасно понимает человека. По просьбе людей кратер все чаще стал плевать в их сторону. Растерянный и подавленный, я смотрел, как они бегают от камней и вулканических бомб (так называется расплавленная масса, которая, вылетая с огромной скоростью, принимает форму бомбы). Слово «бегают» тут не совсем подходит, ибо на самом деле они не бегали, а стояли на одном месте, глядя в небо, с которого градом летели камни, и только в последнюю минуту делали несколько шагов в сторону. Но мне казалось, что они действительно бегают, так как то и дело меняли места. К тому же все четверо были при кинокамерах, фотоаппаратах. Увлеченные съемками, они часто замечали падающий камень или бомбу, когда те были уже в нескольких десятках метров от головы. В таких случаях ребята отскакивали в сторону, точно подброшенные пружиной. Я видел, как одна довольно крупная бомба летела прямо на Вадима Гиппенрейтера, словно избрав мишенью его синий костюм альпиниста. Вадим как раз фотографировал кратер и заметил ее слишком поздно, он успел сделать всего один шаг, и вдруг случилось что-то страшное, непонятное. На том месте, где стоял Вадим, казалось, разорвался зенитный снаряд — возник белый шар, похожий на головку гигантского одуванчика, но дунул ветер, и он рассеялся. (Потом я узнал, что бомба упала рядом с Вадимом, отскочила от скалы и рикошетом просвистела у его носа. Чиркнув раскаленным краем по капроновому костюму, она мгновенно прожгла его и пустила облачко, которое и напомнило мне одуванчик.) Издали показалось, что Вадим взорвался. Однако в ту же секунду я снова увидел его синий костюм, и до меня донеслись голоса:

— Еще разок!

— Будь добренький, услышь!

— Портянку! Выброс портянку!

Вадим Гиппенрейтер, в моем понимании, незаурядный художник. Только пламя творческих исканий может так зажечь человека, только страсть, понятная лишь открывателям, может так воодушевить, что человек готов идти хоть в самый ад. Я видел медведей, которых он фотографировал не в зоопарке, не скованных и затравленных, а в северной тайге, — со вздыбленной

шерстью и налитыми кровью безжалостными глазами, когда зверь, столкнувшись со своим ненавистным врагом, человеком, инстинктивно понимает, что живым из этой схватки выйдет кто-то один. И конечно же никаким гонораром не оценить такие работы, как не купить и самого человека. Не гонорар, а человеческое «я», его становление и утверждение ведет таких людей туда, куда другие не сунутся ни за какие деньги. И все-таки не редкость, что эти другие называют тех, одержимых, дураками, не умеющими жить на свете. И чувствуют себя правыми, поскольку таких, как они, больше. И если мы примем их отношение за аксиому, то всех вулканологов следует причислить к этим «дуракам, не умеющим жить на свете».

Ребята все еще увертываются от бомб. Им там, видимо, жарко, а у меня здесь мороз по коже. Я встаю и ковыляю по грудам шлака к нашей полевой кухне. Это рядом, в нескольких десятках метров, на берегу реки лавы. Кое-что из провизии и, главное, чайник. Набрав как можно больше чистого снега (чистота его, разумеется, относительная), я туго набиваю чайник и несу к ползущей лаве. Здесь, на спокойном мыске, ставлю чайник прямо на горячую лаву и ищу местечко, где бы самому присесть погреться. Плюю на один, на другой камень, но все они шипят, как раскаленные утюги. Наконец нахожу остывший. Впрочем, теплота таких, казалось бы, остывших камней обманчива и коварна. Брюки у нас у всех, а в особенности у Алеши и Валерия, прожжены и не раз залатаны неловкой мужской рукой. Бывает так: сядешь на камень, минуту-другую чувствуешь приятное тепло, и вдруг так обожжет, что аж подскочишь, а на брюках — новая дырка. Значит, камень еще слишком горяч, раскален внутри докрасна, и только самый верхний слой успел остыть на морозе. Однажды я бросил на такой камень варежки, а через десять минут они уже дымились и вот-вот были готовы вспыхнуть.

Чайник закипел, я засыпал горсть заварки и снял его с горячей лавы. Надо выждать, пока осядет пепел, попавший вместе со снегом. Тем временем я пытаюсь сделать себе на память сувенир. Выдергиваю ледорубом из лавы красный камешек и пытаюсь вогнать в него гвоздь. Но железо гнется. Алюминиевая ложка оказывается более подходящей для этой затеи. Она плавится, прилипает к камню, но все равно ничего путного не успевает получиться. Вулкан как-то глухо, необычно кашляет, и, подняв голову, я вижу над ним зловещий гриб, похожий на взрыв атомной бомбы. Этот гриб каждый раз наводит меня на грустные размышления. Как незваный гость, нагло вторгается он в наши будни и маячит в поднебесье, точно перст судьбы.

Как-то непривычно пить кислый чай, зная, что не клал туда ни варенье, ни лимон. Это — вулканические кислоты, пропитавшие пепел, и никакой марлей или ситом их не отцедишь, не профильтруешь. Не очень-то приятно, но если при каждом глотке откусывать кусочек сахара, то можно утолить жажду.

Вдруг у меня за спиной что-то бабахает, как из охотничьей двустволки. Не успеваю обернуться, как вокруг начинают падать мелкие ядрышки шлака. В потоке лавы зияет ярко-красное углубление. А ведь это местечко, рядом с нашей полевой кухней, считается спокойным уголком, не сулящим никаких сюрпризов. Я поднимаю с земли камень, решив, что это и будет самым лучшим сувениром. (Теперь он хранится как памятный дар в редакционном музее газеты «Тиеса».)

Ребята все еще трудятся на вершине кратера.

Откуда-то с гор, покрытых вечным льдом, тянет резкий ветер. Самое неприятное, что вместе с цепенящим холодом он несет от кратера дым, пепел, газы. Трудно дышать. Щиплет глаза и горло, я начинаю чихать, кашлять. Вулканологи в таких случаях надевают противогаз или привязывают ко рту содовую подушечку. Но ни противогазов, ни подушечек у нас нет: мы так и не дождались вертолета, который должен был их доставить.

Я вынимаю из кармана шоколад и, разложив его на оставленных товарищами вещах, спускаюсь вниз, обратно в лагерь.

Часа через два приходят и они. Аппетитно дымится приготовленная мною еда, но никто даже не смотрит на нее. Лица у ребят почернелые, запорошенные пеплом, усталые. О еде и думать не хотят, хотя, кроме нескольких кусочков шоколада, ничего не держали во рту с самого утра.

— Газов нанюхались, — говорит Олег.

А воду так и хлещут. Только Алеша, едва хлебнув, тут же выплевывает.

— Откуда вода? — спрашивает меня.

— Из бидона.

— Я понимаю, что из бидона, а где набрал?

— В ущелье, где всегда берем.

— Какая-то кислая, — не верится Алеше. Прополоскав теплой водой рот, он снова начинает пить маленькими, осторожными глотками. — Вода нормальная. Значит, во рту было кисло.

Алеша очень чувствителен к воде. Три года назад, во время экспедиции на Карымский вулкан, он и еще трое человек отравились водой. У них не было сил даже подняться по лестнице на второй этаж. Впоследствии анализ показал, что они получили

такую дозу отравляющих веществ, которая в двести раз превышает норму. Лечились в Кисловодске, но окончательно выздоровели, охотясь на камчатских медведей. С тех пор его организм очень реагирует на вкус. Алеша для нас как лакмусовая бумажка: если он пьет, значит, можно всем пить без опаски.

Газов здесь действительно более чем достаточно. Одежда у ребят, особенно штормовка Валерия, вся изъедена невидимыми зубами и стала такая жиденькая, непрочная, что достаточно слегка потянуть, и лезет клочьями, как шерсть с линяющей скотины. Кислые газы белыми пятнышками въедаются в стекла объективов, даже чистый спирт не смывает их.

Наконец однажды, как мы и предполагали, Олег печально сказал:

— Кончилась пленка.

Конечно, для кинооператора не может быть ничего печальнее, чем израсходовать всю пленку, когда вокруг такое множество интересных, еще никогда в истории человечества не снятых кадров и сюжетов. Вся надежда Олега на вертолет, который уже давно должен был прилететь и доставить массу необходимых вещей, в том числе и несколько километров пленки для Олега. А вертолета нет как нет. Кончаются дрова, хлеб. У нас уже нет консервированных щей, не осталось ни одной банки с овощами, вышли все свечи. Больше ждать невозможно. Ребята принимают решение: Алеша, Олег и я спустимся вниз, на вулканологическую станцию, устроим скандал, а Валерий Дрознин и Вадим Гиппенрейтер останутся здесь. На двоих еще хватит хлеба на несколько суток. К тому же есть полмешка сухарей, а главное — несколько десятков кассет с пленкой, которую Вадим бережет для «сногсшибательных» кадров, и пока она не кончится — он отсюда не двинется.

Жизнь человека — цепь встреч и расставаний. Здесь, в палатке, к этой цепи прибавилось еще одно звено. Мне почему-то было тоскливо. Видимо, каждый человек переживает подобное чувство, навсегда прощаясь с людьми, среди которых узнал не только много нового, но и глубже заглянул в себя. Наверно, поэтому наше прощанье вышло грустным, — казалось, отрываешь и оставляешь здесь какую-то часть себя.

День занимался морозный, ясный.

Вулкан грохотал, как никогда: раскаты грома катились друг за другом, над кольцом кратера беспрерывно блистал пурпурный фейерверк лавы. Казалось, вулкан не хотел нас отпускать, звал к себе, обещая сказать что-то очень важное, и в какой-то момент мы действительно заколебались: а может, остаться, еще раз услышать голос земли?

Мы ушли. Не остались.

Сильный ветер дул с гор, метя над землей мелкий, колючий снег. Казалось, снег течет, как вода. Вместе с ним катились вниз и мы, часто на заду съезжая с обледенелых склонов, будто расшалившиеся первоклассники. Чем ниже мы спускались, тем больше было снега. Мы особенно остерегались занесенных снегом расщелин, так как, попав в нее, вряд ли сумеешь выкарабкаться. Утонешь, как в трясине.

Лавовый вал пересекли в самом узком месте. Предварительно хорошенько присмотрелись, не движется ли наша дорога, нет ли на лаве красных, раскаленных пятен — огненных ран на огромном теле вытянувшегося на земле великана.

Потом мы брели по глубокому снегу. Вязли по пояс, по грудь, выручая друг друга и часто меняя идущего впереди, которому приходилось труднее всех, так как надо было прокладывать тропу.

В средний лагерь попали уже в темноте, усталые и промокшие до нитки.

Всю дорогу Олег мечтал о киселе. Он еще раньше, в верхнем лагере, часто вспоминал об этом «напитке богов», как он говорил. Мы даже дружески посмеивались над Олегом. Теперь же, когда мы кое-как дотащились до палатки, у него не было других разговоров. Я только и слышал, как он сварит пачку, нет, две, а еще лучше — три пачки киселя, как вынесет и остудит в снегу этот божественный напиток, как выхлебает три кружки залпом, а остальное будет беречь и маленькими глоточками смаковать весь вечер, а утром снова сварит целую кастрюлю.

Так он и сделал. Натопил снега, растер несколько пачек концентрата киселя, которого в этом лагере было более чем достаточно, тщательно размешал с водой, сварил и вынес кастрюлю на мороз. Однако мечте Олега не суждено было сбыться.

Мы услыхали чьи-то голоса и вылезли из палатки. В темноте трудно было что-либо разглядеть, только на фоне белого снега маячили черные движущиеся силуэты. Олег предупредил приближавшихся:

— Осторожно, ребята, не выверните кисель.

К палатке подошли на лыжах шестеро. Пять мужчин и женщина.

— Где тут у вас кисель? — спросил бровастый человек с правильными чертами лица и в шикарном лыжном костюме.

— Вот, на снегу стоит, — показал Олег.

Человек взял кастрюлю и понес в палатку. Налив полную кружку, большими глотками выпил. Налил вторую и передал

кастрюлю в другие руки. Олег с тоской провожал глазами идущую по кругу кастрюлю, видя, как она катастрофически теряет в весе, но мужественно молчал: по лицам пришельцев стекал пот, они жадно хватали воздух, весь их вид свидетельствовал об усталости и жажде.

Когда кастрюля с киселем опустилась на стол передо мной, она была почти пуста. Я взял кружку, слил в нее остатки и протянул Олегу.

— Нет, — помотал он головой. — Я чаю выпил.

Он взял кружку и вручил ее единственной женщине, которая, едва пригубив, передала чернобровому человеку в роскошной экипировке: тот облизывал спекшиеся, потрескавшиеся губы.

Я никогда не видел этих людей, однако сразу узнал, кто это такие, ибо столько слышал о них, что в воображении давно нарисовал их портреты. Чернобровый человек в шикарном костюме, безусловно, Генрих Штейнберг, недавно защитивший кандидатскую диссертацию. А сидящий рядом с ним невысокий рыжеватый человек, очевидно, Анатолий Чирков. Об этих двух вулканологах я был особенно наслышан, поэтому, не боясь ошибиться, обратился к Чиркову:

— Как ваша нога?

В глазах человека мелькнуло удивление, потом он улыбнулся:

— Ничего. Думал, хуже будет. Первый раз после такого перерыва встал на лыжи, и ничего — кое-как дошел.

Чирков почти три года пролежал в гипсе. У одного из кратеров вулканическая бомба сломала ему берцовую кость. Потом ее дважды ломали сами врачи, так как она неудачно срослась.

— А как ваша голова? — спросил я у Штейнберга.

— Дубовой башке ничего не страшно.

Штейнберг был вместе с Чирковым возле кратера. Ему пробило череп. Генрих потерял сознание, и все думали, что человек навсегда покончил с вулканологией. Однако через год Штейнберг выздоровел, защитил диссертацию, и теперь оба снова лезут в самое пекло. Видно, есть в людях что-то более сильное, чем инстинкт самосохранения.

Оказывается, несколько дней назад они летали над верхним лагерем, видели, что вулкан начал извергаться с невиданной силой, суля новую поживу для вулканологов, и было решено отправить к кратеру большую экспедицию, снабженную сложной аппаратурой и составленную из ученых различных областей, которые будут пытаться объяснить голос земли. Они не забыли и Олега — доставили ему много кинопленки, так что он может

спокойно возвращаться к вулкану.

— Где она? — просиял Олег.

— Еще в пути, — ответил Чирков.

Вулканологи вышли налегке. Даже спальные мешки с собой не взяли, так как навалило столько снега, что и на лыжах вязнешь выше колена. Все снаряжение следует но протоптанной ими тропе на двух запряженных собаками санях. Ночью должны быть здесь, если ничего не случится.

Мы долго вечерничали, поджидая погонщиков с собаками. Снаружи горит привязанный к длинному шесту ком пропитанных керосином тряпок, чтобы погонщики издалека увидели лагерь. Каждые пятнадцать — двадцать минут кто-нибудь выходит из палатки, делает несколько выстрелов из двустволки и снова пропитывает факел керосином, Вот уже и полночь, а упряжек нет. Мы ложимся спать. У кого нет спальных мешков, те устраиваются на нарах, собрав всю лишнюю одежду, а мы, в спальных мешках, ложимся прямо на пол.

Вскоре раздается храп усталых, крепко спящих людей. Бодрствуют только Алеша и Чирков. Алеша приводит в порядок записи, которые вел у кратера, аккуратно упаковывает захваченные оттуда образцы и передает все мне, потому что сам вернется с экспедицией на вулкан. Чирков тоже вручит мне пакет с указаниями, что требуется в ближайшие дни доставить к кратеру. Моя задача — как можно скорее отнести эту посылку на вулканологическую станцию.

Под утро нас будит лай собак, людские голоса, какая-то возня. Я лежу, упираясь головой в полог палатки; струя холодного воздуха ударяет в темя, забирается за шиворот. Я чувствую, как чьи-то ноги ступают прямо по мне, но еще долго не могу открыть слепленных сладкой дремой век.

В палатке трое новичков. Невероятно усталые лица. От одежды валит пар.

Я вспоминаю про бутылку спирта, которую спрятал здесь, отправляясь к вулкану. Нахожу бутылку и протягиваю вновь прибывшим. Прежде чем уснуть, еще слышу, как они чокаются, желают друг другу здоровья, крякают, выпив; у меня вот-вот потекут слюнки, но вскоре как бы проваливаюсь в глубокий, мягкий и теплый сугроб.

Когда я открываю глаза, вижу опять те же лица и не могу понять — спал я или нет. Кто-то из мужчин говорит:

— Вставайте. Пора в дорогу.

Когда же они отдохнули? И вообще, удалось ли им сомкнуть глаза?

Я поспешно укладываю рюкзак, сворачиваю спальный мешок,

выбираюсь из палатки и бреду по глубокому снегу к небольшому холму, откуда в ясную погоду виден вулкан. Я иду проститься с ним. Над кратером, подпирая широкой шляпкой голубой небосвод, висит гриб, словно там взорвалась атомная бомба. Черный столб дыма торчит гигантским восклицательным знаком, настойчиво требуя внимания к себе и вызывая в моей душе неясную тревогу. Что хочет сказать земля, почему она так часто старается могучим громом обратить на себя внимание людей, словно боясь, что, занятые своими делами, они просмотрят то, чего нельзя просмотреть, чего будущие поколения не простят им.

У палатки повизгивают от нетерпения запряженные собаки. Погонщики грузят на нарты наше имущество, принесенные Алешей с вулкана образцы шлака и камней, затягивают все брезентом, обвязывают веревками, чтобы, если даже сани перевернутся, ничего не выпало. Санки деревянные. Длинные и узкие. Вместо полозьев — две длинные лыжи. Всё из крепкого камчатского дерева, соединения и стыки тщательно заделаны без единого гвоздя. Ременная упряжь обшита мягкой тканью. На каждые нарты по девять собак — больших, лохматых эскимосских псов с очень живыми глазами, взгляд которых настолько выразителен, что можно подумать, будто эти твари и впрямь все понимают, только говорить не умеют.

Погонщики могут сойти за двух близнецов, и даже имена их звучат похоже — Яша и Саша. Оба — камчадалы[5]. Я еду с Яшей. Его прадед — донской казак — много десятилетий тому назад отбывал на Камчатке военную службу, здесь женился на девушке-ительменке и остался навсегда. Яша — невысокий, коренастый паренек. Лицо у него немного светлее, а щелки глаз чуть шире и скулы выступают меньше, чем у чистокровных представителей северных народностей, однако с первого взгляда ясно, что в жилах Яши течет азиатская кровь. Он работает на вулканологической станции. Летом отправляется в экспедиции на лошадях, зимой — на запряженных собаками нартах. На станцию пришел несколько лет назад. А до того занимался рыбной ловлей и охотой, как и его отец, дед и прадед.

— Хоть немножко поспали, Яша? — спрашиваю я.

— Спал.

— Где же вы спали, когда в палатке негде было даже ногой ступить?

— Тут спал. На нартах, — показывает он на сани.

Я не слишком удивлен, хоть и знаю, что ночью мела пурга. Я давно уже не удивляюсь выдержке северян, их умению применяться к самым, казалось бы, невыносимым природным условиям.

Яша развязывает брошенный у палатки мешок и достает из него охапку юколы[6]. Он разрывает руками сухую рыбу, бросает каждой собаке по куску, и те ловят свою порцию на лету. Неужели это и вся их радость?

— Нет, — отвечает Яша. — Это только подкрепиться, чтобы в дороге были веселей. А главная кормежка — вечером.

— Всего один раз кормите?

— Один.

— А поите?

— Снега напьются.

Все-таки незавидная жизнь у этих четвероногих. Собачья.

Мы с Яшей переворачиваем нарты набок, счищаем с лыж намерзшие комья, снега и, простившись с вулканологами, пускаемся в путь.

Мне приходилось ездить на нартах, запряженных оленями. Я еще удивлялся, что эвенки обходятся только одной вожжой, а когда надо повернуть в сторону — тычут в морду животному длинным деревянным шестом. Яшины собаки запряжены совсем без вожжей, у него нет даже длинной палки, лишь короткий бич на толстом кнутовище.

— Лево, лево! — кричит Яша сиплым, простуженным голосом, и головной пес — вожак — сворачивает влево.

За ночь вчерашнюю колею занесло, и теперь собаки находят ее чутьем, часто сбиваясь с тропы и почти с головой окунаясь в рыхлый снег. Его так много, что, даже увязнув до подмышек, человек не достал бы земли. Собакам трудно тащить по такому снегу нарты. Почти невозможно. Поэтому каюры непрерывно кричат «лево»-«право», отыскивая оставшуюся с ночи колею, где придавленный снег уже прихватило морозом, и собаки не тонут в нем. Больше всего работы вожакам — они прокладывают тропу. Но и у замыкающих нелегкий удел — они ближе к нартам, так что им не только тяжелее передних тащить сани, но и чаще достается кнутом. Лучше всего тем, кто в середине. Им и тропу не искать, не протаптывать, и кнута не бояться.

Сегодня особенно плохо Горностаю — большому белому псу, запряженному ближе всех к нартам. В первый раз он свалился, когда я сидел на санях, а Яша на широких, подбитых оленьей шкурой лыжах ушел вперед — прокладывать тропу. Горностай упал, когда нарты катились под уклон, и собратья несколько десятков метров волокли его по снегу, а он корчился, не успевая вскочить на ноги; нарты наезжали на него, и раздавался душераздирающий визг. Наконец мне удалось как-то удержать рвущихся за хозяином собак. По пояс в снегу, я пробрался к Горностаю, распутал постромки, осмотрел собаку, но она была

цела и невредима и благодарно лизнула мою руку. Я дал собакам с минуту отдохнуть. Высунув языки, они тяжело дышали, хватали снег, их бока вздымались, как кузнечные мехи, но все смотрели в ту сторону, где за небольшим холмом исчез хозяин.

Мы нагнали Яшу, он положил на нарты лыжи, сел сам. Через полкилометра Горностай упал второй раз. Яша дал собакам небольшую передышку и теперь уже все время следил за Горностаем.

— Смотри, он опять упадет сейчас. — сказал Яша.

В самом деле, собака бежала как-то странно. Казалось, у нее нарушена координация движений: лапы болтались, налезали друг на друга, голова повисла, а спина выгнулась, как у застигнутой врасплох и приготовившейся к защите кошки. Секунда, другая, третья, и Горностай снова рухнул в снег. Яша придержал собак.

— Заболел нес?

— Нет. Отъелся за лето, бездельник, а теперь трудно. Салом зарос… Через недельку-две все будет хорошо, — говорит Яша, выпрягая Горностая.

Он подвел собаку к нартам и уложил рядом со мной.

— Будет еще один пассажир, — сказал Яша, привязывая Горностая.

Мы двинулись дальше. Глядя в усталые, прижмуренные глаза Горностая, я подумал: что, если бы собаки могли мыслить и знали, что такое «симуляция»? Вряд ли они стали бы тащить сани до упаду, как Горностай. Я вытянул руку, погладил этого честного работягу, и он благодарно меня лизнул. Но Яша не позволил ему долго нежиться. Через полчаса снова поставил в упряжку. Только теперь уже в середину, а к нартам переставил Жулика. Это был молодой пес. Я еще раньше заметил, что он и на ходу ухитрялся поиграть с друзьями, шутливо хватал своего напарника за ухо или загривок. В середине Жулик не слишком уставал, и в минуты отдыха он открыто лез к другим собакам, желая поиграть, но те отвечали ему рычаньем, как бы говоря: «Отстань! Хорошо тебе дурачиться… Побудешь на моем месте — мигом вылетят из башки все глупости…» Жулик и на новом месте попытался было озорничать, но, отведав кнута, стал серьезней относиться к своим обязанностям.

Мы спускались вниз. На пути встречались ущелья, из которых приходилось выбираться по отвесным склонам. Мы с Яшей выскакивали из саней, брели по глубокому снегу, желая помочь собакам. Одежда наша промокла, обрастала снегом, который таял, когда мы снова усаживались на нарты. Поднимаясь из одного ущелья, Яша заметил на снегу кровавые пятна. Когда мы очутились наверху, он остановил собак и осмотрел их ноги. У

какого-то пса из лапы сочилась кровь. Яша очистил лапу, достал меховой мешочек, похожий на кисет старого деревенского курца, надел его на раненую лапу и привязал. Пес спокойно сидел, благодарными глазами следя за работой хозяина, и время от времени лизал его руку.

У Яши было много таких кисетов. Оказывается, эти мешочки обуваются собакам не только при ранении. Ближе к весне нередко бывают оттепели, после которых снова ударяют морозы, и снежная корочка превращается в твердый режущий наст. Вот тогда-то собак пускают только в такой обувке.

Было уже темно, когда мы достигли леса, за которым находился нижний лагерь. Мы нарубили сушняка, погрузили его на нарты и сами сели, но собаки тянули весело, не дожидаясь понуканий, видимо чувствуя близкий отдых.

Не доезжая до палатки, мы увидели синеватую ленту, поднимающуюся из трубы. Из палатки высунулась чья-то голова, и тут же вывалились наружу несколько человек. Высокий, стриженный наголо пожилой мужчина дружески приветствовал погонщика. Видно было, что они добрые старые знакомые. Познакомились и мы.

— Святловский, — сказал мужчина. Рука у него была грубая и сильная.

Месяц тому назад эта фамилия ничего бы не сказала мне, но теперь я знал, что Святловский — профессор, доктор геолого-минералогических наук, один из выдающихся вулканологов страны. Славный человек. Простой, со всеми находящий общий язык, интересный собеседник. Казалось, он из бездонного колодца черпает всё новые и новые сведения. Мы долго пили горячий чай, ели консервную уху и разговаривали. Святловский с группой из троих человек тоже хочет побывать у кратера. Завтра утром он выходит на лыжах вслед за погонщиками собак, которые доставят оставшуюся аппаратуру и другое снаряжение, необходимое экспедиции. Этот человек рассказал мне много интересного о камчатских вулканах. Спокойствие этих великанов обманчиво. Целыми десятилетиями они угрюмо молчат, и люди думают, что вулкан навсегда угас. Но в один прекрасный день он пробуждается со страшной силой. Так проснулась сопка Шивелуч, которая пятнадцать лет почти не подавала признаков жизни. Несколько лет назад она пробудилась с невиданной силой, извергнув около кубического километра скалистых пород. Я вспомнил, что недалеко от Петропавловска находится огромная Авачинская сопка. Когда выходишь из самолета, кажется, что она совсем рядом, а над ее вершиной неизменно клубится облако дыма и пара.

— Нет, она не представляет опасности, — говорит Святловский. — Не думаю, чтобы выкинула какую-нибудь штуку, потому что постоянно дымится — постепенно выпускает скапливающийся в недрах пар.

Мы стояли среди обнаженных, застывших деревьев, которые отбрасывали фантастические тени на белый снег. В лунном свете высокая фигура ученого казалась еще более длинной, а его тень все время двигалась, ни на минуту не оставаясь в покое… Вдали был слышен грохот, непрерывно гремел вулкан. Мне захотелось поговорить по душам с этим худощавым человеком, прислушивающимся при лунном свете к голосу вулкана: и об оглушительном грохоте вулкана, и о зловещем гигантском грибе, взметнувшемся до самого неба, и о тревоге людей, не понимающих голос земли.

Однако поговорить мы не успели, так как послышался отдаленный шум мотора, и на краю долины, точно два огромных звериных глаза, вспыхнули беспокойно скачущие огни. Через несколько минут возле лагеря остановился грузовик. Он должен был приехать только завтра вечером, а прибыл сегодня. Я подумал, что вулканологи, должно быть, смонтировали рацию и передали на станцию, чтоб за мной приехали. Шофер спешил, поэтому я простился наспех, не так, как думал расстаться с этими людьми.

На следующий день я шел по улице селения Ключи, прислушиваясь к отдаленному гулу вулкана, который докатывался сюда эхом дальней грозы. Вдруг кто-то окликнул меня. Я обернулся. По улице, рядом с возом дров, шагал человек. Держа в руке вожжи, он махал мне, звал по имени.

Юра Усельцев!

Мы обнялись как старые добрые друзья.

— Как он там? — спросил Юра. Я понял, что парень интересуется вулканом.

— Плюется, — ответил я и в свою очередь спросил: — А ты как?

— Как видишь — подрабатываю. Дрова пилю. Недельки через две и я махну домой.

Мне очень хотелось как-то приободрить Юру, сказать ему много самых теплых слов, но хорошо, что я не успел раскрыть рта.

— Знаешь, — сказал он, — люди не понимают меня, некоторые просто за дурачка считают. Нашелся тут один такой благодетель — вместе на деревообделочном комбинате трудимся, — узнал, что мне не на что уехать, и вызвался помочь. Собрал с рабочих двадцатку на дорогу до Петропавловска и

подносит мне. А я купил на эти деньги игрушек и отнес в подарок детскому саду. Так теперь этот благодетель не здоровается со мной: дескать, я его обманул. Чудны́е люди! Не понимают, что самая большая радость — добиться чего-нибудь своими собственными руками. Только дети ждут подарков… Верно?

Ничего я ему не ответил. Не ответил потому, что не хотел, дабы он и меня причислил к тем чудакам, пусть считает меня своим другом.

Через два дня я был уже в Петропавловске.

На Командорские острова я, конечно, опоздал. Люди, вернувшиеся оттуда, повидали много интересного. На Командорских островах сохранились единственные в мире лежбища котика. Этот дорогой зверь ежегодно собирается на них огромными стадами, так как здешние воды богаты пищей, а скалистые берега островов — удобные лежбища. Здесь котики выводят потомство и здесь же… гибнут. Охотники бьют их дубинками, так как котик подпускает человека вплотную. Делается это не как-нибудь, а с разбором — детенышей отлучают от родителей, и тогда над океаном разносятся отчаянные вопли охваченных ужасом и болью зверей. Охотой это, конечно, не назовешь. И люди, которые занимаются этим промыслом, никогда не ходили и не будут ходить в котиковых шубах. В них будут щеголять женщины. Будут носить шкуры котика, кулана, соболя, куницы, горностая, леопарда, пантеры, других зверей — и ликовать по этому поводу.

Над Петропавловском только что пронесся буран. Мокрый, пропитанный океанской влагой снег валил без передышки двое суток, причинив массу неприятностей. Люди чистили, улицы, починяли оборванные электрические и телефонные провода, откапывали из-под снега ларьки, киоски. У многих деревьев были обломаны ветви и верхушки. На проводах линии высокого напряжения, говорят, налип метровый слой снега.

А сейчас ослепительно сияло солнце, в незамерзающей океанской бухте покачивались суда, их сипловатые голоса прорезали чистый, прозрачный воздух. Гостиница опять гудела как улей, опять по ее коридорам бродили мужчины в белых накрахмаленных сорочках, черных костюмах и блестящих лакированных туфлях, слегка покачиваясь из стороны в сторону, как будто под ногами у них все еще качалась корабельная палуба.

Камчатские рыбаки сдержали свое слово — дали государству пять миллионов центнеров рыбы. Ото трудно себе представить — пять миллионов центнеров!

Пришла пора мне расстаться с этим далеким полуостровом, только малую частицу которого я успел увидеть. Билет на

самолет был уже в кармане; оставался еще один день, последний день моего пребывания на Камчатке. Разумеется, нечего и думать за такой короткий срок успеть побывать в знаменитой долине гейзеров, где бьют из-под земли почти триста фонтанов горячей воды. В это время года попасть в долину гейзеров не так-то просто. Зато в Паратуньку — можно.

Паратунька — местность в шестидесяти километрах от Петропавловска. Люди издавна замечали, что земля в этих местах дымится, а вокруг, словно в субтропиках, произрастают буйные травы выше человеческого роста. Сейчас здесь работает геологическая партия: бурят землю, проникают к горячим рекам, скрытым в ее недрах. Небольшая деревушка из палаток и временных домиков. В каждой палатке и в каждом домике — центральное отопление, горячую воду для которого дает одна из многих скважин, доставших до горячих подземных вод.

В двух километрах от палаточного городка завершается строительство первой в нашей стране фреоно-геотермической станции. Чтобы давать энергию, этой станции требуется не менее восьмидесяти литров воды в секунду при температуре не ниже восьмидесяти пяти градусов. Все это геологи уже подготовили. Воду дадут четыре скважины.

Геологи решили и вторую задачу — обеспечить горячей водой тепличный комбинат, который будет выращивать овощи для жителей суровой Камчатки. Геологи продолжают настойчиво пробиваться в глубь земли, так как уже через два года понадобится много, очень много горячей воды для отопления города Петропавловска…

В палаточном городке я увидел открытый бассейн. Был морозный зимний день, над водой клубился густой пар.

— Искупаемся, — предложил сопровождавший меня шофер обкома партии. Я решил, что он шутит, однако шофер серьезно добавил: — Такая традиция. Все, кто приезжают сюда впервые, лезут в бассейн.

Кругом белел снег.

Я шапкой смахнул его с деревянной скамейки, сложил на нее одежду и вниз головой бултыхнулся в бассейн — коль традиция, так уж традиция! Вода была теплая, но не горячая (как я выяснил потом, сорок пять градусов). Я нырял, радуясь этому чуду природы. В теплом бассейне, со всех сторон окруженном снежным пологом, я вспомнил о вулкане: когда же человек подчинит его необузданную силу и направит ее не на разрушение, не на уничтожение, а на путь созидания? Когда наконец люди, показывая детям вознесшийся над вулканом гриб, смогут сказать:

— Было время, сын, когда человечество мучил страх перед

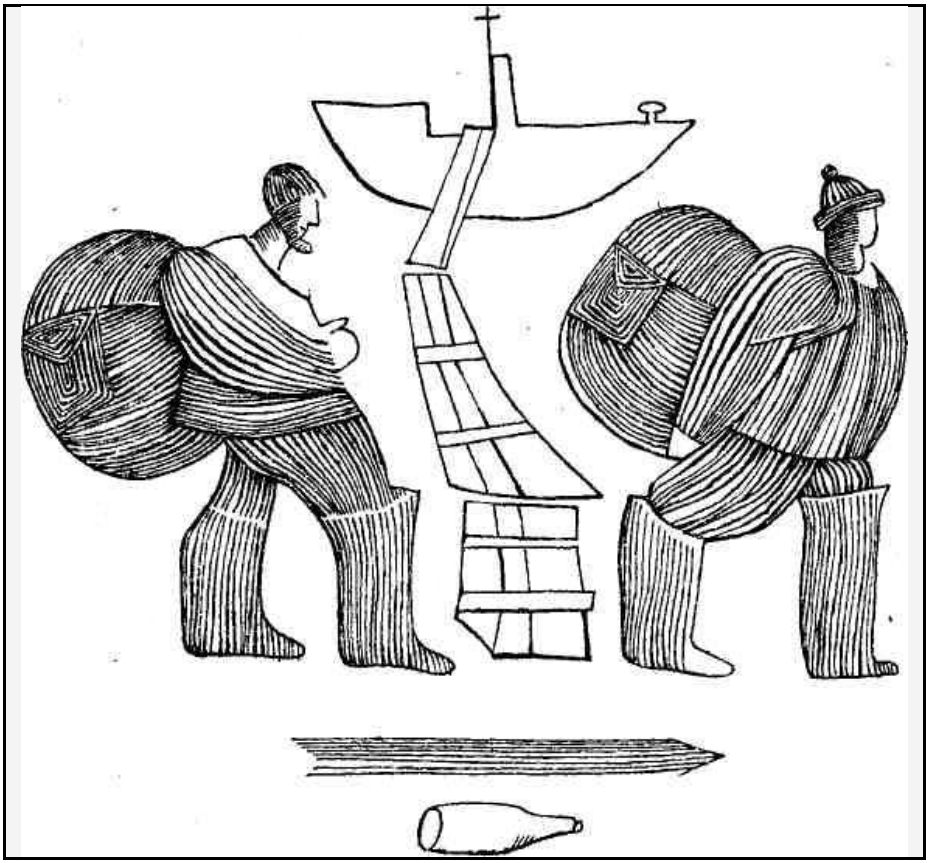
такими грибами. Правда, они были иного происхождения, отнюдь не вулканического… Но те времена канули в прошлое.

Если люди смогут когда-нибудь сказать это, я думаю, тем самым они одержат величайшую победу человеческого разума. Надо надеяться, что так и будет.

Надо!

1966

НА СЕВЕР С ПТИЦАМИ



1

Я давно мечтал побывать у кетов. Впервые я услышал об этом немногочисленном народе где-то в Саянских горах, у костра, от пожилого геолога, вдоль и поперек исходившего всю Сибирь. Затем это название встретилось мне в каком-то научном издании, посвященном народам Севера. Потом — опять рассказ. Один, другой, третий… Недавно я прочел в одном альманахе статью о кетах и твердо решил непременно познакомиться с этим интересным народом. Я узнал, что кетов осталось всего несколько сот человек и живут они не в одном месте, а разбросаны по северной части Красноярского края. Есть на Подкаменной Тунгуске деревня Суломай, где проживают около сотни кетов. Остальные рассредоточены по другим рекам, гораздо дальше на

север. Меня привлекало не только то, что кеты — маленький, можно сказать, исчезающий народ. Особенно манило то, что все рассказчики подчеркивали самобытный образ жизни, этих людей, во многом отличающихся от других народов советского Севера.

И вот, ведомые этой мечтой, мы с товарищем в середине мая очутились в Красноярске. Едва выйдя из самолета, я горько разочаровался: дул холодный, ледяной ветер, неся редкие, словно заблудившиеся, снежинки. Я не одну весну встречал в Сибири и, казалось, наверное знал, что весна приходит сюда внезапно, своим жаром мгновенно разрушая все труды зимы. Теперь же, в легкой летней одежде, под пронизывающим насквозь ледяным ветром из Арктики, я почувствовал грусть и досаду: нет, еще не знаю я Сибири со всеми ее противоречиями.

Когда в крайкоме партии мы спросили о кетах, я испытал второе разочарование. Товарищ, с которым мы говорили, знал о них немногим больше, чем я сам. Однако он указал нам человека, который д о л ж е н знать о кетах. Так оно и было. Этот человек действительно знал о кетах много: и где они живут, и сколько их приблизительно осталось, и то, что они в основном занимаются рыболовством, меньше — оленеводством и охотой. Но и этот товарищ не знал одного — как, каким путем попасть в места, где обитают кеты. Такое время года. Здесь, в Красноярске, Енисей уже освободился ото льда, а там, дальше, на севере, река еще скована льдом, и неизвестно, когда очистится. Самолетом тоже ничего не выйдет, потому что здесь авиация уже на колесах, а там еще глубокий снег, без лыж ни подняться, ни сесть. Разве что вертолетом. Но лететь вертолетом на такое расстояние стоит безумных денег. Ведь ты не ищешь ни нефть, ни газ, ни полезные ископаемые, вот тебе обычные командировочные, и будь здоров, — может, прибьешься к какой-нибудь экспедиции, упросишь, чтобы тебя взяли, подвезли, подбросили, — ведь на Севере люди чуткие и радушные. Нет, вертолет нам не по карману.

Так что о кетах мы узнали многое, не знали только одного, как к ним попасть.

— Я вам советую обратиться к Назарову, — говорит наш собеседник и добавляет: — Может быть, он что-либо придумает.

— Простите, а кто он такой?

— Вы не знаете Назарова? — удивляется собеседник. — Не знаете Ивана Михайловича Назарова?

— Не знаем…

— Ах да, я ведь забыл, что вы не здешние.

И вот спустя полчаса мы сидим в кабинете Назарова, начальника Енисейского пароходства. Иван Михайлович —

человек лет шестидесяти, с красивой сединой, сдержанный, с приятными манерами. Говорит он спокойно, негромким голосом. От его слов, от всей его манеры держаться веет большой внутренней культурой. Мы даже не удивляемся, узнав, что он автор нескольких книг о Енисее, член Союза писателей. Становится ясно, почему об этом человеке все нам говорили с любовью и уважением, тем более что Назаров работает здесь уже давно — все его знают, и он знает всех.

— Все дороги ведут к Ивану Михайловичу Назарову, — шутим мы и рассказываем, что все советовали нам обратиться к нему: «Если он вам не поможет, значит, уже и сам господь бог ничего не сделает».

Назаров выслушал наш рассказ, подробно расспросил о цели путешествия, наших замыслах, а потом вздохнул:

— По правде сказать, не знаю даже, чем вам помочь, что посоветовать… Несколько дней назад вниз по Енисею отправился караван судов. Как раз на Подкаменную Тунгуску. Вы могли бы добраться с ними до самого Суломая. Собственно, караван еще можно догнать. Надо немедленно вылететь самолетом к устью Подкаменной Тунгуски. Там лед еще стоит. Однако не знаю, стоит ли это делать.

— Почему?

— Видите ли, позапрошлой весной у нас по всему краю прошли очень большие паводки. Подкаменная Тунгуска начисто смела деревушку Суломай. Правда, в прошлом году мы отправили туда сборные дома, но сколько из них поставили — не знаю. Боюсь, что в Суломае вы застанете не много кетов. Разбрелись куда-нибудь по тайге. Кроме того, кеты, которые живут в Суломае, почти не держат оленей. Как говорится — быть в Риме и не видеть папы? Кет без оленей — это как уха без соли.

Да, я видел наводнение позапрошлого года. Я был на Нижней Тунгуске и на берегах Лены. Наводнение действительно было жестокое. Даже старожилы не припомнят такого паводка. Вода в реках невиданно поднялась и все сметала на своем пути. Как спички, ломала толстенные кедры и лиственницы, сметала приютившиеся по берегам деревушки, разбивала в щепу крепкие склады… И когда лед сошел, мы еще много дней видели, как река несет обломки домов, бревна, бочки, ящики… Стало быть, и кетскую деревушку Суломай смыло это наводнение. Я в то время даже не подозревал, что ледоход уносит и мою давнишнюю мечту…

— Так что же вы нам посоветуете?

— В Туруханском районе тоже есть кеты. Я сам у них не был, но товарищи из района помогут вам их найти. Плывите до

Туруханска, а там будет видно. Через несколько дней как раз уходит пассажирский теплоход «Байкал».

Все это было бы прекрасно, но очень уж не хочется терять несколько дней в ожидании отплытия. Мы так и сказали Назарову.

— Можете хоть сегодня сесть на другой теплоход, — говорит Назаров и, улыбнувшись, добавляет: — Только не пассажирский, а грузовой. Удобств поменьше, но если хотите почуять запах Енисея, почувствовать вкус пота, — плывите на грузовом. Сегодня вечером или завтра утром отправляется крупный караван на Нижнюю Тунгуску, до самой Туры — центра Эвенкийского национального округа.

— До Туры? — переспросил я, не поверив себе.

— Да. В самую Туру.

На меня нахлынули воспоминания. Несколько лет назад, в конце зимы, мы с товарищем мечтали попасть в Туру. На нартах. Запряженных оленями нартах. Из небольшой деревушки Наканн, расположенной на Нижней Тунгуске. Река была еще покрыта толстым льдом и белым-белым снегом. Мы хотели двигаться по реке. Но в полдень солнце слизывало снег, и он превращался в вязкую кашу, в которой мы утопали, чуть не до подмышек. А ночью мороз схватывал снег толстой ледяной коркой. Однако днем эта корка крошилась, ломалась под копытами оленей, и острые, как стекла, ее края до крови резали ноги бедных животных, сдирая не только кожу, но и мясо до самой кости… Так и не добрались мы тогда до Туры. Жили в тайге с эвенками, ели полусырую оленину и совсем сырую, мороженую рыбу, ловили оленей и клялись, что когда-нибудь мы все-таки доберемся до Туры, этой желанной точки, затерявшейся в бескрайних просторах Сибири. И вот теперь, несколько лет спустя, всемогущий Случай (конечно, без Назарова он был бы бессилен) дает нам прекрасную возможность осуществить давнишнюю мечту. Но как же быть с кетами? Хватит ли у нас времени, чтобы и в Туре побывать, и кетов посетить?

— До Туруханска Енисеем идти будете дней пять, а потом по Нижней Тунгуске еще дня два-три, — говорит Назаров.

Восемь дней. На кетов остается около трех недель.

— Согласны!

Назаров улыбается, поднимает телефонную трубку и справляется о судах, которые в ближайшее время отправятся из Красноярска в Туру. Надо сказать, что каждую весну вместе с льдинами на север уходят многочисленные караваны судов. Они спешат, почти нигде не останавливаясь, не теряя времени, стремятся на север по бурным притокам Енисея, поднимаются к

верховьям рек, оставляя в далеких деревнях и поселках все, что необходимо человеку. И когда их глубокие трюмы пустеют, суда так же лихорадочно спешат обратно в Енисей, потому что боятся где-нибудь застрять. Застрянешь — придется зимовать до весны, до следующей «большой воды». Большинство сибирских рек, едва сойдет лед, резко мелеют, а в летние месяцы уровень воды в них настолько падает, что ни одно солидное судно не может пройти: из-под воды выступает множество каменистых порогов, которые невозможно преодолеть: либо посадишь судно на мель, либо днище пробьешь. И хотя большинство этих рек куда больше нашего Немана, суда здесь появляются редко — один раз в год, когда вешние воды напитают реки, углубят и выровняют русло.

Назаров, прижав плечом телефонную трубку, свободной рукой выписывает названия судов, которые отправятся из Красноярска. Потом он улыбается и говорит:

— Кажется, нашел то, что вам нужно. Сегодня уходит «Тбилиси», но на нем не поплывете, там будет жестковато.

— Почему?

— Потом сами увидите… С «Курганом» я вас тоже не отпущу, а вот «Каунас» — в самый раз.

— «Каунас»?

— Да, есть у нас еще и «Клайпеда», но она уйдет позже, чем «Каунас». Этот может еще сегодня вечером отчалить. Ну как?

— Поплывем.

— Тогда поторопитесь собраться, а я за это время все улажу.

Через час мы снова в кабинете Назарова. Он вручает нам бумажку, на которой написано:

> «Товарищ Сербаев, прошу взять этих товарищей до Туры, зачислить на довольствие, создать условия для их работы. Прошу принять их как можно теплее, потому что они — наши гости из Европы».

— Передадите капитану, — говорит начальник пароходства. — А теперь идите на набережную. Там ждет катер, который доставит вас на «Каунас». Счастливого пути.

Мы с благодарностью пожали руку этого чудесного человека. В своих поездках по Сибири я нередко встречал таких людей, которые в любой момент готовы тебе помочь, сделать все, что только могут, чтобы ты ночью нашел гостеприимный кров и тепло, которое так нужно путешественнику, оказавшемуся вдали от родного очага. Кажется, пора бы уже привыкнуть к характеру сибиряков, но я никак не могу. Каждый раз, когда встречаю такого человека, охватывает волнение. Хорошее, человеческое волнение, которого не выскажешь никакими словами, и только

крепким рукопожатием передашь хотя бы частицу того, что чувствуешь.

Катер-буксир у набережной, качается на волнах. Енисей — это своеобразный коридор в Ледовитый океан, в арктические широты. И сейчас по этому коридору со свистом несутся ледяные ветры, взъерошивая воду, студя лицо и руки. В Литве уже отцветают сады, а тут на деревьях едва распустились почки, только-только показались крохотные листики берез, окрасившихся робкой зеленью. Мы переносим на катер свое имущество и тут же отчаливаем.

«Каунас» стоит посреди реки, вцепившись двумя якорями в дно, а рядом с ним — белехонький танкер, откуда теплоход забирает горючее. Наш катер, точно карлик, прижимается к борту «Каунаса». Теплоход не маленький. Его длина 85 метров, а ширина — почти 12. Какой-то паренек принимает брошенный конец, помогает нам пришвартоваться, подхватывает наши вещи, показывает, как пройти в каюту капитана.

2

Капитан Сербаев отводит нам двухместную каюту: две койки, два стула, столик, стенной шкаф с зеркалом, две полки и динамик. Сквозь два иллюминатора падают пучки солнечных лучей, видны мутные воды бурного Енисея. Мы сидим в своей каюте и обсуждаем, каким путем завоевать доверие капитана, как побыстрее сблизиться и с ним, и с командой теплохода. Капитан встретил нас сдержанно, почти официально. Казалось, он лишь из вежливости задал нам несколько вопросов; похоже, если бы этого не требовала официальная вежливость, он и вовсе не стал бы с нами разговаривать. Думается, что мы его интересуем не больше, чем прошлогодний снег, и вообще было бы гораздо лучше, если бы мы не лезли на глаза, не путались под ногами. От таких мыслей нам не по себе, все это действует угнетающе. Мы чувствуем себя здесь никому не нужными, нахально вломившимися, непрошеными гостями, которых хозяин не выставит вон только из-за своей врожденной вежливости и терпимости. Мы сидим и рассуждаем, каким путем сблизиться с этим человеком. Выбираем самый древний, самый примитивный, не раз испытанный путь. Освободив рюкзак, заворачиваем его в газету и отправляемся в город. Отовариться.

«Каунас» уже стоит у причала порта. Судовые трюмы жадно разинуты, как пасть ненасытного зверя: он пожирает все, что пихают ему в глотку краны. Сейчас грузят кирпич. Обыкновенный

красный кирпич. На севере это очень нужная, дефицитная вещь — простой кирпич из красной глины. Там почти не строят каменных домов. Кирпич идет на самое необходимое — на кладку печей. Подъемный кран захватывает сразу целый штабель кирпича, уложенного на специальном щите. Цепляет стальными тросами края щита, отрывает от земли и плавно переносит через борт судна, осторожно опускает в огромные трюмы, такие большие и просторные, что хоть танцы устраивай — места хватит.

Второй штурман Виталий Хлунов наблюдает за погрузкой. Это молодой светловолосый, кудрявый парень с голубыми глазами. Мы подходим к нему и спрашиваем, успеем ли сбегать в город и обратно.

— Запросто, — говорит он.

— А если задержимся на час?

— Неважно.

В ресторане речного вокзала нам посчастливилось. Завязав дружеский и в то же время деловой разговор с седым как лунь старичком, гардеробщиком ресторана, мы добываем целый ящик пива. Правда, к дружеским разговорам приходится кое-чего добавить, но мы об этом уже не думаем, мы искренне радуемся, потому что пива в красноярских магазинах не достать. Это вообще довольно редкий товар здесь. Так что нам повезло. Однако мы как та лисица, которой дай только хвост на сани положить, а там она и с ногами заберется. Вслед за пивом в емкий рюкзак отправляются несколько бутылок «Столичной», болгарской «Плиски». Кажется, все в порядке. Теперь-то мы наверняка пробьем ледяную стену, которой отгородился от нас Сербаев.

Возвращаемся со своими сокровищами на судно, прячем все подальше от посторонних глаз, а затем поднимаемся на капитанский мостик. Просторная, застекленная со всех сторон рулевая рубка. Как и везде на судне, здесь идеальная чистота. Где-то когда-то довелось читать, что придирчивые судовые боцманы проверяют чистоту белоснежным платочком. Мы тоже проводим там и сям носовыми платками, однако — пыли ни следа. На лице капитана мелькает усмешка. Не поймешь, то ли он доволен безупречной чистотой судна, то ли рад, что мы посрамлены. А мы уже так и вьемся вокруг Сербаева. Как говорится, заходим издали, исподволь. Выясняем, что «Каунас», как и другие теплоходы того же типа, построен на Красноярской судоверфи. Такое судно может принять на борт до полутора тысяч тонн груза, а два дизельных двигателя развивают мощность в тысячу сто лошадиных сил. Однако в первый рейс «Каунас» берет только семьсот тонн, хотя трюмы будут полностью загружены.

Почему? Да потому, что «Каунас» везет целый универмаг. Чего только не будет в его трюмах: галантерея и парфюмерия, начиная с пудры, зубной пасты и кончая лентами, резинками, галстуками; есть и отдел готовой одежды, заваленный всевозможными брюками, пальто, платьями, бельем, ватниками; обувь тоже на любой вкус — кирзовые сапоги, валенки, элегантные импортные туфли, а один из трюмов забит мебелью. Особенно много письменных столов. Видимо, цивилизация вместе с добрыми своими плодами несет в отдаленнейшие уголки и своего неизменного спутника — бюрократизм, ибо все эти письменные столы отправляются в Эвенкию по заявкам и требованиям различных учреждений. А по дороге, кажется, погрузим еще шестьдесят тонн овса и несколько тонн меда.

— Настоящий универмаг, — повторяет Сербаев и пренебрежительно усмехается, точно все это обилие и пестрота грузов роняют престиж и судна, и самого капитана.

Я не забываю, зачем мы явились, и говорю:

— Каунас — мой родной город.

Капитан окидывает меня недоверчивым взором, и я еще раз заявляю, что действительно родился и вырос в Каунасе. Для вящей убедительности добавляю, что и родители мои — коренные каунасцы.

— А я-то думаю, почему Назаров прислал именно к нам, — как бы про себя замечает капитан. За этими словами кроется вереница мыслей, которые, очевидно, не давали ему покоя. И конечно же большинство тех мыслей не в нашу пользу. Ну что же, самое время завести разговор по душам, сломать лед и подружиться.

— Не согласитесь ли вы отметить с нами такой случай? Несколько рюмочек коньяка за успехи «Каунаса» и каунасцев.

— С удовольствием присоединился бы к вам, но в ближайшее время не могу отлучиться с судна. Осталось полсуток до отплытия, а работы еще невпроворот.

— Не обязательно отлучаться. Можно отметить и здесь, на судне. Так сказать, пропишем коренного каунасца на «Каунасе»…

— Есть приказ министра, запрещающий брать на судно какие бы то ни было алкогольные напитки, — отворачиваясь, говорит капитан, и трудно понять, то ли рад он, то ли не рад, что министр издал такой приказ. Но во всяком случае, одно мы понимаем и без дополнительных объяснений: либо этот человек не доверяет нам, либо в рот не берет спиртного. Последнее представляется нам абсурдным. Тем более что речники, так же как и моряки, зарекомендовали себя в этой области ничем не хуже, чем представители всякой другой профессии. Они, как говорится,

тоже не квасом утоляют жажду… Остается предположить, что этот человек нарочно избегает сближения. Глупая и довольно грустная ситуация.

До самой ночи громадные краны все таскали и таскали на судно кирпич, железные балки, спички…

Утром «Каунас» отчалил. Еще горели красные и белые огоньки бакенов, указывая судам путь, отмечая опасные места. Когда-то меня манила профессия бакенщика, как одна из самых романтичных. В маленьких домиках, прижавшихся к самой воде, казалось, можно было найти то, чего нигде не найдешь: и русалок, и старых, замшелых водяных, и давние легенды о тайнах, ревниво скрываемых глубокими речными омутами… Хорошо, что я все-таки не стал бакенщиком, а то ходил бы нынче в безработных. Нет больше на Енисее старых, окутанных романтикой домишек бакенщиков, да и сами бакенщики теперь совсем не те, они, как простые смертные, трудятся в две смены. Теперь они работают не в одиночку, а бригадами. За каждой бригадой закреплен участок в шестьдесят километров, и выдан катер, на котором бригада объезжает свои бакены, вечером зажигая, а утром гася огни.

Здесь, в нескольких десятках и даже сотнях километров от Красноярска, берега Енисея еще густо усеяны деревнями и поселками, по реке снуют большие и малые суда. Движение довольно оживленное. Можно подумать, что плывешь по Волге или какой-либо другой среднерусской реке. Хотя, конечно, Енисей ни в коем случае нельзя равнять ни с Волгой, ни с другими реками. Даже Обь не сравнить с Енисеем. И у Волги и у Оби песчаное дно. Там везде песок. Если по ошибке, из-за несчастного случая или ротозейства сядешь на мель — невелика беда. Неприятность, но никакой трагедии: либо сам как-нибудь снимешься, либо стащат с мели буксирами. А тут, на Енисее, повсюду камни, скалы. Наскочишь на мель — ищи пробоины в днище. А еще туманы, бураны такие бывают, что суда только по компасу да локаторам идут. Как в океане, где нет ни бакенов, ни берегов.

Под вечер останавливаемся в деревне Галанино. Небольшие избы толпятся на крутом берегу, как будто им непременно хочется посмотреть своими глазами-окнами мутную воду Енисея.

Наш капитан сходит на берег, находит бригадира грузчиков и просит быстрее погрузить эти шестьдесят тонн овса. Бригадир обещает тут же собрать народ. Здесь, на Енисее, грузчиками нанимаются люди разные. Мужчины и женщины, потому что это дает значительный приработок. Есть у человека свободное время, он и идет на пристань. Смотришь, за полдня рублей десять-

двадцать заработает. Но сегодня охотников почему-то нет. Проходит час, другой, а грузчики так и не собираются. Наконец возвращается бригадир, беспомощно разводит руками:

— Ничего не выйдет.

— Почему?

— Сегодня зарплату выдали, — говорит бригадир, и всем все ясно.

Темнеет. На западе загорается красная, подернутая дымкой полоса зари. На ее фоне отчетливо видны вереницы черных птиц, летящих треугольниками, разрозненными стаями. Гуси и утки возвращаются на Север. Печальный крик гусей доносится до нашего судна. Вся команда стоит, запрокинув головы к небу, и глаза у всех тоже печальные, как будто в них отразилась тоска птиц. Весна. Пора томления. Непонятного, неизъяснимого. Весна. Что-то кончается и что-то начинается. Этот переход, очевидно, и наполняет душу тревожным ожиданием… Трудно заснуть в такую ночь, когда над тобой летят и летят с тоскливым криком тучи птиц. Мы и не пытаемся спать. Приглашаем в гости старшего механика судна Вадима Демирова. Его отец — болгарин, а мать — русская. Он говорит, что пошел в отца, который был таким же коренастым, плечистым, с вьющимися волосами, и черный как черт. Мы откровенно рассказываем о своей неудачной попытке сблизиться с капитаном. Демиров громко смеется, потом говорит:

— Вы напрасно переживаете. Наш Сербаев не то что в будни, по самым большим праздникам не притрагивается к спиртному. Даже когда отмечали прием судна, он только яблочным соком и побаловался. Силен капитан!

Узнали мы еще и то, что капитан нашего «Каунаса» Владимир Георгиевич Сербаев — лауреат Государственной премии. За что, когда получил премию? Этого Демиров точно сказать не может, капитан не любитель рассказывать о своей жизни. За что-то, связанное с Северным морским путем.

— Может, вам он и расскажет подробнее, — говорит Демиров и поглядывает на часы: — Час ночи. В четыре мне на вахту. Надо поспать хоть несколько часов.

Он уходит.

В иллюминаторы просачивается предрассветная синь. Ночи почти нет. И чем дальше мы будем плыть на север, тем она короче.

3

Спозаранок, еще задолго до завтрака, все зашевелились. Обычно завтрак с семи утра, но сегодня повариха Ирина Алексеевна, взяв на помощь матросов — Колю, Евгения и Валентина, сама отправилась на берег. «На заготовки», — как она сказала. Дело в том, что Галанино славится своей вкусной картошкой, квашеной капустой, солеными грибами и крепким, вышибающим слезу луком. Вместе с Алексеевной сходит на берег и девушка-матрос Тамара. У нее короткие, почти по-мужски остриженные волосы, низкий, почти мужской тембр голоса. Ходит всегда в брюках и враскачку, как настоящий морской волк. Однако больше всего меня поразила Тамарина каюта. Точнее, не сама каюта, а ее стены. Я как-то случайно заглянул в открытую дверь и увидел, что все стены заклеены портретами киноартисток и просто красивых женщин, вырезанными из «Огонька» и других журналов. Каких только не было тут красавиц! Матросы любят украшать свои каюты такого рода картинками. Ничего удивительного: мужчины по целым месяцам не видят женщин, хотя не знаю, помогают ли чем-нибудь эти красотки, скрашивают ли мужчинам одиночество. Но как бы там ни было, они — мужчины… Очевидно, Тамара, которая плавает уже десять лет, решила во всем быть похожей на матросов-мужчин. Кое-кто подтрунивает над ее причудами, хотя всем известно, что за ними, как за ширмой, прячется чуткая девичья душа, со свойственными ей мечтами, тоской и вздохами. Стоит заговорить с Тамарой, как она тут же краснеет, отворачивая светловолосую голову и прикрывая ладонью рот. Видно, что она страшно стесняется и волнуется. Тамара — сирота. В годы войны потерялась от родителей. Совсем не помнит их. Выросла в детдоме. Толком о родителях ничего не знает, но в ней все еще тлеет огонек надежды. Вот и сегодня ей незачем идти на берег, но девушка надевает красивый свитер и прихорашивается, не слушая мужчин, которые ворчат, что скоро Тамарина вахта и никто за нее стоять не будет. Капитан одним жестом утихомиривает команду и говорит:

— Ступай погляди, Тамара. На вахту успеешь.

Девушка краснеет как маков цвет. Сквозь светлые, редковатые волосы видно, что краска заливает даже макушку. Мы стоим на капитанском мостике и отлично видим все, так как разговор происходит внизу, на палубе. Тамара сходит на берег, и мы еще долго провожаем ее глазами.

— Родителей ищет, — говорит капитан. — Где только ни остановимся, у какой-нибудь деревни или поселка, она непременно идет на берег, все ищет…

— Как же она ищет?

— Заходит в одну, в другую, третью избу, расспрашивает. Но разве найдешь иголку в стоге сена! Надо бы, говорю, написать в газету.

— А как ее фамилия?

— Бормотова. Тамара Бормотова.

— А родом откуда?

— Местная. С Енисея. Если будете писать о своей поездке — не забудьте упомянуть. Черкните хоть несколько слов… Может, отзовутся, если живы.

Мы стоим молча, будто в чем провинились. Очень часто, повстречав несчастного человека, чувствуешь себя виноватым. Думаю, что многим знакомо это чувство при виде чужой беды. И хоть знаешь, что ты здесь ни причем и бессилен что-либо изменить в судьбе другого человека, все равно тебя угнетает ощущение какой-то необъяснимой вины.

— Владимир Георгиевич, за что вам дали Государственную премию?

Капитан, застигнутый врасплох, смотрит на нас, широко открыв глаза, а потом морщится, как будто проглотил ложку горчицы. И в этой мимике можно различить целую гамму мыслей, все, что он подумал за это мгновение: «Уже успели мои матросики, протрепались… Господи, неужто придется теперь рассказывать…»

За эти дни нам удалось немного узнать нашего капитана. Мы заметили, что он — человек замкнутый, сдержанный, не любит говорить о себе. И, заметив эту черту, мы настойчиво допытываемся, не отстаем, пока он наконец не начинает рассказывать. Однако большой радости от этого мы не чувствуем. Похоже, будто капитан нарочно выжал из своего рассказа всю воду, и получился его рассказ сухим, как щепка. Сербаев дважды ходил с караваном судов из Архангельска в Игарку. Северным морским путем. В 1948 и в 1949 годах. Кажется, есть о чем порассказать. Тем более что рейсы длились долгими месяцами, а Государственными премиями, насколько известно, попусту не разбрасываются. Однако рассказ Владимира Георгиевича звучал приблизительно так:

— Ну, вышли мы из Архангельска, потом попали в сильный шторм, потом пробивались через льды… Хорошо, что самолеты разведывали трассу, указывали нам путь. Кое-как пришли в Игарку…

— Все пришли?

— Да. Люди все пришли.

— А суда?

— Суда не все.

— Почему?

— Ломались.

— Как ломались?

— Пополам.

— Ничего не понимаю.

— А чего тут не понять? Был большой шторм. Мы немецкие баржи гнали. Попадет такая баржа на гребень волны и гнется — нос туда, а хвост сюда. Ну, так вот погнут, помнут волны, а после судно и пополам…

— А люди как же?

— Людей, конечно, подбирали, — говорит он и смотрит на тебя такими глазами, что чувствуешь себя полной бестолочью. Как не понимать таких простых вещей?!

Вот и все. Можно подумать, они не новый судоходный путь прокладывали, а участвовали в заурядной прогулке, о которой даже и рассказывать-то нечего. Ни одной громкой фразы, ни одного хвастливого слова не произнес капитан. И вообще говорил об этом, лишь бы отделаться от настырных собеседников. Я хорошо знаю эту сдержанность сибиряков, эту непреувеличенную и ненаигранную скромность! Эта завидная черта — не только божий, как говорится, дар. Люди могут научиться и конечно же учатся этому. Из поколения в поколение. И постепенно начинает казаться, что все это они унаследовали, все это дается им безо всяких усилий.

Тем временем грузчики установили транспортер, открыли трюм, в который будут засыпать овес. С высокого берега до самой воды протянулся дощатый желоб — своеобразная погрузочная дорожка. Доски так и блестят — по ним съехала не одна тысяча мешков. В конце дорожки — транспортер. Соскользнувший сверху мешок падает на его широкую, бесконечную ленту, которая подает мешок на борт судна и сбрасывает на специально сбитый в трюме помост. Оттуда грузчики принимают мешки на плечи и укладывают их ступеньками, по которым подымаются все выше и выше.

В трюме — грузчики-мужчины. А на берегу трудятся две девушки. Грузовик подвозит мешки с овсом, задом подкатывает к деревянному желобу, и девушки мешок за мешком бросают в желоб. Я наблюдаю за их работой. Видно, что ворочать мешки для них не в новинку, их движения экономны, слаженны, точно рассчитаны. Вот они хватают мешок за углы, тащат по дну уже полуразгруженного кузова, сбрасывают вниз, и мешок стремглав съезжает по желобу, шмякается на транспортер, точно какой-то зверь, встряхивается, бежит, подпрыгивая, вверх, ныряет в ненасытную глотку судна… Иногда мешок цепляется за

деревянный край желоба, рвется и просыпает блестящее золото зерен… Кто-нибудь из мужчин берет ведро, зачерпывает речной воды и поливает доски желоба — будто чересчур расходившегося озорника водой окатывает. Мокрые доски, как бы придерживая невидимыми руками, замедляют бег мешков, не дают им лететь как на пожар. А грузовики все подъезжают и подъезжают, покряхтывая под тяжелой ношей. Только изредка где-то происходит заминка, машины застревают и дают людям передохнуть, выкурить сигарету. Однако две девушки наверху не курят. И в такие минуты, кажется, не находят себе места. Взяли бы посидели, отдохнули, но где там! Не сидится. Языкастые. Заговаривают с ребятами с нашего судна, смеются, тараторят, заигрывают. Кажется, ни мешков, ни работы, ни усталости и в помине не было.

Вернулись и наши с многочисленными покупками. На двух тачках парни привезли картошку, лук, квашеную капусту и чертовски вкусные соленые грибы. Здесь, почти в самом центре Сибири, оказывается, очень хорошо растут все эти блага. Капитан рассказывает, что здешний колхоз каждый год приглашает из самого низовья Енисея, из Дудинки, какого-то огородника-китайца. Этот китаец — незаменимый знаток своего дела. Выращивает такие урожаи картошки и капусты, что кажется, будто живешь не в Сибири, а в Белоруссии. За свою работу китаец берет только овощами. Кроме того, получает на лето участок земли, на котором тоже выращивает овощи. Зато осенью, когда вниз по Енисею идут последние караваны судов, этот огородник всю пристань заваливает своими овощами. По тридцать копеек платит за погрузку одного мешка, еще сколько-то за перевоз и все равно загребает золотые горы, потому что там, в Дудинке, на Дальнем Севере, овощи берут не торгуясь. Сколько запросят, столько и платят.

Вернулась и Тамара. Грустная, неразговорчивая. Сидит на корме и бросает хлеб пронзительно кричащим чайкам, которые провожают нас всю дорогу, так и норовя схватить что-нибудь съедобное. Нет у меня симпатии к этим птицам. Очень уж они жадные и наглые существа. А Тамара сидит на корме, крошит в ладонях хлеб и бросает птицам. Самые проворные и нахальные хватают добычу еще в воздухе и тут же бросаются вниз, где остальные птицы дерутся за упавшие крошки.

— Куда без очереди, нахалки! — распекает их Тамара, точно птицы понимают человеческую речь.

А мешки с овсом, как живые, все летят и летят стремглав по желобу, шлепаются на широкую ленту транспортера, подпрыгивают, карабкаются вверх, исчезают в трюме нашего

корабля. Две девушки наверху, время от времени перекидываясь с мужчинами острым словцом, все так же ритмично, неустанно делают свое дело. Меня всегда удивляли и восхищали русские женщины. Особенно их задорная, не знающая пессимизма, вечно светящаяся спокойной надеждой душа. В сибирячках эти черты особенно заметны. Гораздо заметнее, чем, скажем, у женщин средней России. И я думаю, никто не будет спорить, что человеку такой души можно только позавидовать.

4

Прошли устье Ангары. Енисей сразу стал значительно шире и суровее. По берегам топорщатся льдины — серые, ярко-голубые и совсем белые. Издали ледяные торосы кажутся огромными белоснежными пароходами. Последние куски льда, точно лепестки белого лотоса, плывут по темной освободившейся воде.

— Сейчас ни одного судна впереди нет, — говорит капитан. — Мы идем головными. У Подкаменной Тунгуски, правда, стоял караван, но теперь он уже ушел вверх.

Неизвестно, как бы мы поступили, если бы еще застали этот караван. Скорей всего, не устояли бы перед соблазном пересесть и добраться до Суломая — там живут кеты.

Подкаменная Тунгуска. Где-то здесь шестьдесят лет назад упал громадный метеорит. Известный всему миру Тунгусский метеорит. Сколько самых различных предположений и гипотез возникло в последнее время относительно происхождения этого феномена. Был ли это действительно метеорит? А может быть, тут погиб космический корабль, прибывший неизвестно откуда на нашу землю? Не было ли вызвано явление термоядерным взрывом? Бьются по сю пору ученые в поисках правильного ответа, и мы тоже считаем нужным высказать каждый свое мнение. Старший механик Вадим Демиров давно интересуется тайной метеорита, прочел немало литературы по этому вопросу. Он-то и заставляет нас каждый вечер вспоминать о метеорите. А сегодня Вадим вдруг говорит:

— Вы в самом деле собираетесь побывать у кетов?

— Ну конечно.

— Хотелось бы мне выяснить одну вещь… Летают кеты во сне или нет?

— Обязательно спрошу, — обещаю я.

Мне и самому будет интересно это выяснить. Летают ли кеты во сне? Наверно, летают. Насколько мне известно, все люди летают во сне, особенно в детстве и ранней юности. Поражает не

сам сон — мало ли что может присниться, фантазия у всякого спящего разыгрывается, — а именно то, что сон этот снится буквально всем и всегда поразительно достоверно. Отталкиваешься, раскидываешь руки и летишь, летишь… Приходилось мне прыгать в воду с вышки и с моста, и каждый раз я только диву давался — до чего же этот полет напоминал тот, испытанный когда-то во сне. Парашютисты уверяют, что свободный полет они испытали впервые не с парашютом за плечами, а в детстве, во сне. Абсолютно то же самое чувство. Но откуда ему было взяться в детстве — этому ощущению? Ведь маленький человек не прыгает с высоты, никуда не летает и даже не подозревает, что когда-нибудь станет сравнивать свои сны с настоящим полетом…

Возможно, такие мысли не приходили бы нам в голову, если бы не белые ночи. Белые ночи да еще крик возвращающихся к своим гнездам птиц… Чем дальше на север мы плывем, тем светлее ночи. А сегодня, кажется, и вовсе не собирается темнеть, хотя часы — закоренелый консерватор — указывают полночь. На самом деле нет никакой ночи, никакой полночи. Я сижу под открытым иллюминатором и, не зажигая света, читаю. На часах уже половина первого. Я читаю рассказ Пристли «В другом месте». Сейчас я готов поверить в любую чертовщину, в любую мистику. Белой ночью можно поверить во что угодно. Белой ночью все кажется возможным. Невозможно только уснуть. А природа спит — наверно, по привычке, оставшейся с зимы. Угомонился, стих ветер; недвижно, словно застывшие, стоят деревья; дремлет набухшая река — на воде ни волн, ни ряби. А человек не может уснуть. И птицы тоже не спят. Летят и летят на север большие стаи и малые. Иные летят высоко, а иные над самой рекой, едва не касаясь крыльями воды.

Причаливаем к огромному острову. «Каунас» останавливается, уткнувшись острым носом в отвесный берег. Ребята накручивают стальной трос на ствол толщенного дерева. Мыс, выступающий в реку, защищает нас от идущих сверху льдин.

Я подымаюсь на капитанский мостик и нахожу здесь Сербаева. Видно, и капитану не спится. Всех мучает эта белая бессонница. Мы стоим, облокотившись на поручни, смотрим на пролетающие косяки гусей и уток и молчим. Кажется, что слова могут расколоть тишину, разбудить все вокруг. Но, может быть, капитану совсем и не жалко этой белой тишины, потому что он вдруг говорит:

— Не пришлось мне побывать в Литве. Сколько лет собираюсь, да все никак не соберусь… А хотелось бы поглядеть на Каунас… Настоящий Каунас…

Говорит он тихо, будто бы самому себе. И я не отвечаю.

— Что за город такой? — продолжает он неторопливо. — А может, и не стоит туда ездить?!

Тут уж я не выдерживаю:

— Да хотя бы ради одного Чюрлениса стоит съездить.

— Да… Я слышал…. — откликается капитан.

В самом деле, думаю я, почему бы команде «Каунаса» не завязать дружбу с моим родным городом? Почему бы не погостить у нас и капитану, и всем остальным? А правильнее будет, если сам город пригласит к себе тех, кто под его именем меряет тысячекилометровые сибирские реки. Пусть возьмется за это какое-нибудь предприятие, школа. Тут важен первый шаг. Я вспоминаю, что несколько дней назад капитан тоже заводил разговор о дружбе. Значит, он уже давно вынашивает эту мысль.

— Хотелось бы пригласить кого-нибудь из каунасцев, — говорит Сербаев. — Покатали бы по всему Енисею, до самой Дудинки. Ведь и им, наверно, интересно…

— Еще бы, — говорю я, а сам думаю, что приеду домой и поговорю с кем-нибудь из каунасских градоправителей. Они наверняка поддержат. Дружба нужна всем, всем ее не хватает. Не знаю уж почему… Вот буду писать о нашей поездке, обязательно вставлю в очерк адрес: Красноярск, Енисейское пароходство, капитану теплохода «Каунас» В. Г. Сербаеву. Пусть мои земляки напишут ребятам несколько теплых слов. Осенью, когда тяжелые льды возьмут Енисей в плен, когда все суда будут отдыхать в гаванях, команда вдруг получит весточку из далекого, совершенно незнакомого края. И людям будет приятно. Потому что никогда никому еще не мешало дружеское слово. Дружба нужна людям, нужна народам. И вдруг мне посчастливится завязать узел большой человеческой дружбы.

— Пойду, пожалуй, поохочусь, — говорю я.

Сербаев остается стоять на мостике. Перегнувшись через поручни, он глядит на мутную енисейскую воду.

Мы охотимся на каждой стоянке и после лакомимся утятиной.

Кривые стебли лозняка подступают к самой воде. Сквозь заросли приходится продираться силой, загораживая лицо от колючих ветвей. Ноги вязнут в снегу. Рыхлый, обмякший, он уже не держит, и я иногда проваливаюсь по пояс. В некоторых местах кусты примяты, будто по ним прошелся какой-то великан. Это работа ледоходов — и нынешнего, и прошлогоднего, и позапрошлогоднего. Работа десятилетий. Вот и теперь кое-где разбросаны громадные льдины. А настоящий паводок еще впереди. Вода подымется и унесет эти ледяные горы. Весь этот

остров будет залит водой. В этих местах воды Енисея подымаются метров на тридцать. Капитан заранее беспокоится — что, если вода сразу вдруг прибудет и понесет глыбы льда, наваленные по берегам. Куда тогда прятаться?

Облюбовав небольшую полянку, надеваю маскировочный плащ и усаживаюсь под кустом. Жду. Птицы летят на север, чтобы вывести там птенцов, продлить свой род. К сожалению, далеко не все достигнут родных гнездовий. В Сибири не запрещена весенняя охота на птиц. Наша повариха Ирина Алексеевна говорит, что все утки, которых мы ей приносим, оказываются с яичками. Постараюсь стрелять селезней, чтобы хоть этим уменьшить зло. В воздухе селезня нетрудно отличить от утки — он всегда летит позади своей избранницы.

Сижу под кустом, поджидаю птиц, а сам почему-то вспоминаю мертвые деревни, которые время от времени попадаются на нашем пути. Издали такая деревня выглядит совсем обычно — стоят на берегу несколько десятков изб с побеленными ставнями, в снегу чернеют днища лодок. Только ни один дымок не вьется над всей деревней. Это замечаешь уже позже, а вначале ждешь, что вот сейчас высыпет на берег народ и будет приветствовать первое в этом году судно. Но никто не выбегает, не машет, не приветствует… Избы стоят пустые. Когда проходишь по такой деревне, замечаешь, что время уже начало свою разрушительную работу — оконные рамы смотрят пустыми глазницами, двери отошли, а кое-где и совсем сорвались с петель… Глухая тайга наступает со всех сторон на осиротевшие дома, теснит к реке. И начинает казаться, что у Людей просто не хватило сил бороться с суровой природой, что они капитулировали перед стеной леса, которому нет конца-края, который тянется во все стороны на десятки, на сотни километров. Дело тут, однако, не в тайге. На наши вопросы капитан отвечает спокойно:

— Разъехались по домам. Как получили разрешение, сразу всё тут бросили и вернулись на родину.

Все легко объясняется. Восстановлена социалистическая законность, люди разбрелись по родным местам, и хотя на карте деревни значатся по-прежнему, на самом деле уже больше десяти лет тут нету ни живой души.

Правда, в одной такой деревне мы вдруг заметили дымок над трубой. Оказалось, что там заночевали охотники. Когда мы проплывали мимо, они вышли из избушки и принялись, приветствуя нас, палить из двустволок.

Птицы всё не показываются. Наконец слышу, как чьи-то сильные крылья рассекают воздух над самой моей головой. Гусь.

Но не успеваю я вскинуть ружье, как он плюхается в реку. Ледяные торосы скрывают его от меня. Я ползу на животе к берегу, осторожно выглядываю из-за края вздыбленной льдины. Гусь плавает, так что дробью его не возьмешь. Я замечаю, что он все вертит головой, будто надеется увидеть кого-то. Потом он начинает кричать — тоскливо, печально. Кричит, кричит, зовет… Никто не откликается. А он продолжает кричать. Я подымаюсь во весь рост. Гусь на минуту смолкает, смотрит на меня. Нет, я не тот, кто ему нужен. Он отворачивается и опять полным отчаяния голосом зовет кого-то. Ну, будь здоров, гусь. Желаю тебе найти того, кого ты потерял в пути. Я бреду обратно под свой куст.

Через полчаса доносится сирена «Каунаса». Это созывают охотников. Я подбираю свою добычу — двух пестрых, еще не слинявших франтов селезней — и продираюсь сквозь заросли к берегу.

— Идем дальше, — говорит капитан. — Только что был на связи с Филатовым — разрешил двигаться.

Филатов — капитан-наставник. Он руководит всем караваном судов, направляющихся в Туру. По данным авиаразведки, чистой воды впереди немного, дальше сплошные, еще не потревоженные весенним теплом льды. Однако Филатов все-таки разрешил потихоньку двигаться — в том месте, где мы остановились, лед почти сошел. Мы идем первыми, а Филатов с остальным караваном — всего под его началом пятнадцать судов — остался пока выше.

Отчаливаем.

Поворачиваемся носом по течению, точно на север.

В дверь каюты стучит Ирина Алексеевна:

— Идите завтракать!

В кубрике тепло и уютно. Едим тушеную картошку с утятиной, с наслаждением грызем и обсасываем косточки. Мне кажется, что это не завтрак, а ужин, не поймешь ведь — утро теперь или вечер, все перепуталось. Белые ночи…

Взбираюсь на капитанский мостик, оглядываю медленно отступающий назад берег. Бессонная ночь дает себя знать — голова отяжелела, слипаются глаза. А тут еще начинает идти снег. Все гуще, гуще, так что уже не видно ни берегов, ни воды впереди. В самом конце мая рождественский снег…

Капитан включает локатор.

Я спускаюсь в каюту, расстилаю постель. Не все ли равно, когда спать? Тем более что природа отменила ночи. Дивный напиток эти белые ночи. Отведаешь один раз и не забудешь уже всю жизнь. Белые ночи переворачивают душу, манят, обещают раскрыть все тайны… Белые северные ночи…

5

Нигде, пожалуй, не приходилось мне наблюдать таких резких перемен погоды, как здесь, в низовьях Енисея. Позавчера термометр стоял на нуле, валил густой снег; вчера прошел дождик, настоящий грибной дождик — такие бывают у нас в Литве в конце лета; а сегодня небо чистенькое, голубенькое, будто его вымели хорошенько, ни облачка, ни ветерка, термометр в тени показывает двадцать пять градусов тепла. Не верится, да и только.

Мы уже третий день стоим возле деревни Марково. За нами выстроилась целая флотилия: «Полтава», «Курган», «Целиноград», «Омск», «Клайпеда», «Тбилиси»… Кстати, теперь мы понимаем, что имел в виду Назаров, начальник Енисейского пароходства, когда сказал, что на «Тбилиси» будет «жестковато», — теплоход везет огромные металлические котлы. Мы так и не разобрались, для чего они предназначаются — то ли это паровые котлы, то ли цистерны под нефть. Ими заставлена вся палуба. А кроме того, судно еще тянет за собой плавучий кран. Поэтому двигается «Тбилиси» очень медленно.

Сегодня к нашему каравану присоединился и «Байкал», белоснежный двухтрубный пассажирский теплоход. Мы не двигаемся, так как получили радиограмму из Красноярска: дальше идти нельзя — внизу и Енисей, и все его притоки еще скованы льдом… Но жара стоит такая, что, по-видимому, они скоро тронутся. Тогда может сразу резко подняться уровень воды. Капитанов это беспокоит.

Вынужденная стоянка нагоняет тоску. Марково — одна из тех покинутых деревень, о которых я уже говорил. Так что на берегу делать нечего. Пытались охотиться, но в тайге еще снегу по колено, каждый шаг дается с трудом. Единственным развлечением остается посещение «Байкала». На «Байкале» есть ресторан, буфеты, и — что самое главное — в этих буфетах есть пиво. «Водные трассы» соединяют «Байкал» со всеми грузовыми судами. Кое-кто уже успел искупаться в ледяной енисейской воде. Дело в том, что желающих отправиться в рейс всегда много, а шлюпки не слишком устойчивы. То льдина перевернет какую-нибудь, а то и сами неосторожные пассажиры. Оказание помощи потерпевшим вносит некоторое разнообразие в нашу жизнь.

Течение вдруг прибило к нашему борту громадное ледяное поле. Как были, в босоножках, в сандалиях, надетых по случаю наступившего тепла, мы попрыгали на лед и сфотографировались вместе с командой. Будто в Арктике!

Перед обедом показался ярко-красный двукрылый самолетик.

Сделал несколько кругов, помахал крыльями и растаял в ясной голубизне неба. После обеда нас посетил капитан-наставник Филатов. Они с Сербаевым старые, добрые друзья. Сербаев принялся упрашивать Филатова, чтобы тот разрешил «Каунасу» выйти на разведку. Филатов уступил с условием, что «Каунас» не станет совать нос куда не следует и каждые четыре часа будет сообщать по радио о своем положении.

Под утро подняли якоря. «Под утро» — это, конечно, чистая условность, потому что теперь круглые сутки светло как в полдень. Уже через несколько часов на реке начали попадаться скопления льда. Потом лед пошел настолько густо, что «Каунасу» пришлось подолгу маневрировать и крутиться на месте, отыскивая просветы. Когда куски льда попадают в винты, по всему телу мощного судна пробегает мелкая дрожь.

Река несет огромное количество бревен. Они плывут и сбившись в кучу, и поодиночке, лежа и стоймя, словно нацеленные в небо орудийные стволы. Боюсь сказать точно, сколько Енисей уносит ежегодно в океан леса, но думаю, его хватило бы на постройку целого города. Речники смотрят на это гибнущее богатство, вздыхают, пожимают плечами и выдвигают всяческие проекты. Говорят, будто какие-то норвежцы держат в океане специальные суда, подбирают енисейские дары. Почему же мы упускаем такое богатство? Конечно, махнуть рукой проще всего, — дескать, хватает у нас этого леса, вон какая тайга еще нетронутая стоит, ни топора, ни пилы не видела. Тайга действительно стоит, но попробуй возьми хоть одно бревно там, где ни шоссе, ни железной дороги, ни просто реки, по которой можно было бы сплавлять лес. Это верно, что мы обладаем неограниченными запасами древесины, но большая часть этого богатства до сих пор остается заколдованной, поскольку человек не может до него добраться. Леса как стояли столетиями, так и стоят — подымаются, умирают, падают, вырастают снова, а мы тем временем рубим возле больших рек, автомобильных трасс, железнодорожных линий. Рубим вовсю, не смущаясь тем, что оставляем после себя голую землю.

Ребята горячо спорят, вздыхают. Я прислушиваюсь к их разговору с удовольствием. Это очень ценно, что люди мыслят широко, что их волнуют дела всей страны.

Вперед мы продвигаемся медленно, но все-таки продвигаемся. В шесть утра по московскому времени, как и было условлено, Сербаев связывается по радио с Филатовым и получает разрешение идти дальше.

Снова попали в зону холода. Вчера млели на солнышке, наслаждались теплом, а сегодня опять снег и пронизывающий до

костей ветер с океана.

К вечеру на правом берегу показываются силуэты прижавшихся к земле домов, дымящихся труб. Туруханск. Мы прошли по Енисею почти полторы тысячи километров, предстоит подыматься вверх по Нижней Тунгуске. Однако Тунгуска еще стоит. Хотя в верховье и среднем течении она уже вскрылась, но устье километров на триста покрыто льдом. Так нам сообщили по радио из Туруханска. Триста километров для такой быстрой реки расстояние не особенно большое. Весь лед может пройти за сутки, если только тронется. Беда в том, что неизвестно, когда он тронется. Пока стоит река, стоим и мы.

Чтоб скоротать время, решаем поохотиться. Спускаем на воду шлюпки, подвешиваем мотор. Плывем вдоль берега, загроможденного ледяными торосами. Время от времени глыбы льда срываются и с шумом плюхаются в воду. Если такой «кусочек» попадет в лодку — мигом пойдем ко дну.

Весна сюда не спешит. Деревья стоят голые, только ивы да вербы покрылись пушистыми барашками. А ведь май уже на исходе. Коротко северное лето! В конце сентября повалит новый снег, начнется новая зима.

Мы замечаем, что от противоположного берега отделяется целая флотилия моторок. Это охотники из Туруханска держат путь куда-то вверх по реке. Моторы у них настолько мощны, что лодки несутся против течения со свистом. Каждая лодка тащит за собой на буксире небольшой челн. Челны эти мне знакомы. Они очень легки, охотники взвалят их себе на плечи и понесут за несколько километров от реки на озера. Озера уже оттаяли. Лес защищает их со всех сторон от ледяных ветров, гуляющих по Енисею. На озерах теперь собрались все птицы — и утки, и гуси. Туруханцы направляются на охоту. Судя по количеству нагруженного на лодки имущества, они собираются посвятить этому занятию не день и не два. Ничто не забыто: палатки, кухонные принадлежности, основательные запасы продуктов и уж конечно пузатые бочки, предназначенные для засола птицы. Не первый раз я в Сибири, и каждую весну и каждую осень повторяется одна и та же картина: стоит начаться весеннему или осеннему перелету птиц, как целые деревни и поселки пустеют, все взрослое население отправляется на заготовки. Весной солят мясо на лето, осенью на зиму. Осеннюю охоту, положим, еще можно допустить, но то, что творится весной… Жуткое это дело — весенняя охота. Птицы летят день и ночь в течение долгих недель и месяцев, покрывают тысячи километров и, наконец, у самого порога родных мест, не успев свить гнезд, не успев оставить потомства, становятся жертвами поджидающих их

многочисленных охотников. Каждая утка вывела бы десяток утят. Один выстрел уничтожает целую стаю птиц. А потом те же охотники удивляются и жалуются, что птиц с каждым годом становится все меньше и меньше. (Правда, уже по возвращении из этой поездки я узнал, что весенняя охота на птиц будет запрещена в нашей стране повсеместно. Весьма своевременное и правильное решение!)

Мы вернулись под утро и нашли свой «Каунас» окруженным целым караваном судов. Здесь были и прежние наши знакомцы, и много новых кораблей. Бросаются в глаза несколько теплоходов, груженных сосной. Как же это получается? Неужто из Красноярска в Туру нужно возить лесоматериалы? Ведь кругом тайга.

— Тамошний лес не годится для строительства, — объясняет Сербаев.

— А почему бы не сплавлять с верховьев Нижней Тунгуски?

— Дорого обходится.

— Дороже, чем везти судами из Красноярска?

— Не знаю, — пожимает плечами Сербаев.

Снова мы возвращаемся к разговору о тех колоссальных богатствах, которые ежегодно уносит в океан не только Енисей, но и другие сибирские реки. Пора, пора что-то предпринимать. Мимо северных деревень и поселков проплывают тысячи, десятки тысяч бревен. Уплывают и безвозвратно погибают в океане, а через неделю в те же самые деревни и поселки строительные материалы доставляются на теплоходах.

По радио сообщают, что в Туруханск отправляется плоскодонная баржа — все, кто хочет запастись продуктами, могут воспользоваться ею. Хлеб у нас кончился, мы уже который день сидим на сухарях и в связи с этим предложение посетить город встречаем с энтузиазмом.

Туруханск, надо сказать, выглядит малопривлекательно. Мрачный, неустроенный город. Можно себе представить, каким он был в начале века, когда царская охранка высылала сюда революционеров. Тут, на краю света, отделенном тысячами километров необжитой, труднопроходимой тайги от всего остального мира, отбывали ссылку Сталин, Свердлов, Спандарян. Оторванные от близких, от боевых товарищей, окруженные суровой северной природой, гонимые и преследуемые… Царские прислужники рассчитывали, что рано или поздно наступит час, когда в человеке угаснет боевой дух, иссякнут силы, когда равнодушие и апатия охватят душу и мысли. Впрочем, не стоит говорить о том, что и без того известно. Усилия царских чиновников и жандармов ни к чему не привели. Теперь это знает

весь мир.

Мы идем по улицам Туруханска. Как и везде на Севере, тротуары тут деревянные и очень высокие. На каждом шагу кучи почерневшего, слежавшегося снега. Зимой эти улицы превращаются в туннели. Бульдозеры прорывают их словно каналы в трехметровом слое снега. Много собак. Лохматые псы самых разнообразных мастей и размеров лениво слоняются по улицам, валяются под заборами, собираются целой стаей на берегу поглазеть на проплывающие пароходы.

Заходим в магазины, оглядываем полки. Вот и тут, как в других сибирских городах, стоят стеклянные банки: «Литовский борщ с колбасой». Признаться, изготовители этих борщей мало болеют за честь и славу своей республики. Очень уж неважный борщ в этих банках. В рыбном отделе на прилавке метровые налимы и не уступающие им по размеру щуки. Для здешних мест это бедный ассортимент. Но такое уж сейчас время — и подледным ловом не займешься, и в открытых водах не закинешь пока сети. Позже будет много очень вкусной и редкой рыбы — стерляди, сибирской форели, омуля. Здешний омуль нисколько не уступает по своему вкусу знаменитому байкальскому собрату, даже еще жирнее и крупнее. Только он плавает в Енисее. А полки заняты водкой — любая марка на выбор. Есть даже поллитровки со спиртом. Это самый надежный напиток. Зимой, когда мороз доходит до пятидесяти, водка превращается в лед. А спирт в любую погоду-спирт. Хороший выбор промтоваров, даже латвийские «Спидолы» ждут покупателей. Берега Енисея обеспечиваются отлично — суда здесь ходят регулярно всю навигацию. Не то, что на Нижней или Подкаменной Тунгуске, куда караван попадает один раз в году — по весенней высокой воде.

6

Мы прощаемся с «Каунасом» — пересаживаемся на пассажирский теплоход «Байкал». Не потому, что ищем удобств или комфорта. На «Каунасе» нам действительно было хорошо. Мы переходим, чтобы сэкономить время, так как узнали, что «Байкал» придет в Туру на двое суток раньше всех судов. Два дня для нас — большое дело. Тем более что две недели пробежали, а до кетов нам все так же далеко, как в начале нашей поездки. Из Туруханска в это время к ним не попасть ни самолетом, ни катером. Когда мы будем в Туре, возможно, сумеем оттуда добраться по воздуху или по воде. Только очень мало остается

времени. Потому-то мы и пересели на «Байкал».

Прощание с экипажем «Каунаса» получилось каким-то торопливым, лихорадочным, похожим на бегство. Мы чувствовали это и пытались какими-то сбивчивыми словами сгладить охватившую всех неловкость. За эти две недели мы привязались друг к другу. Чувствовали себя здесь как дома, окруженные вниманием и сердечностью, присущими только сибирякам. Сердечностью, которая очень быстро сближает людей: кажется, что мы знакомы уже много лет.

Отпуская нас, капитан Сербаев, может, случайно, а может, и не случайно, обронил фразу, которую часто произносят в минуты прощания:

— Кто знает, когда свидимся? И вообще, доведется ли еще когда-нибудь…

— Я верю, что еще в этом году завяжется дружба между вашим и нашим Каунасом.

— Было бы очень здорово, — сказал Сербаев и, немного помолчав, добавил: — Мне кажется, у нас слишком мало делается в этом направлении. Есть, например, комитеты, общества дружбы с зарубежными странами, а между советскими народами ничего такого нет. Может быть, подобные комитеты или общества не нужны, но одно-то нужно наверняка…

— Что именно?

— Советские народы должны лучше знать друг друга.

— Безусловно, — согласились мы с его словами.

Теперь мы плывем на «Байкале». И вспоминаем Сербаева не только из-за этого разговора. Еще раньше он рассказывал нам, что Нижняя Тунгуска действует на него угнетающе, он всегда облегченно вздыхает, снова выйдя на простор Енисея. Однако нам гораздо интереснее на Нижней Тунгуске, потому что за каждым поворотом, за каждой излучиной открываются все новые картины. Правда, мы, конечно, никогда не почувствуем той тревоги, которую испытывает капитан, ведя судно по этой прихотливой и коварной реке. Мы видели знаменитый порог, на котором в одну минуту поседел бывший капитан «Байкала», мощное течение подхватило его корабль, развернуло и швырнуло на скалы. Судно было на волосок от гибели. За этот короткий миг голова капитана стала белой, как весенняя черемуха. Капитан поседел буквально на глазах у людей. Теперь он плавает по Енисею. Водит пассажирский теплоход «Чехов».

Нижняя Тунгуска — река угрюмая. Отвесные скалы вздымаются прямо из воды, и наш теплоход, кажется, лишь чудом не цепляет за них бортами. Особенно грозен так называемый Большой порог. Стиснутая крутыми скалами река бунтует,

бросаясь то к одному, то к другому берегу. Все течение, кроме узкой прибрежной полоски, устремляется в огромный водоворот. И не дай бог, если судно попадет в чрево этого водоворота. Река заглатывает даже большие плоты, комкает их и выплевывает далеко вниз по течению. Но как они выглядят при этом! Могучие стволы всплывают скомканными, как пук соломы, говорят, что дно порога похоже на гигантскую каменную пилу, и горе тому, кто попадает на ее зубья. Забегая вперед, могу сказать, что наш караван тоже пострадал. У «Полтавы» и «Клайпеды» были пробиты днища, несколько судов вышли с помятыми, покореженными бортами, некоторые отделались меньшими ранами. С Тунгуской шутки плохи. Суда здесь ведут опытные капитаны, не один раз прошедшие всю реку. Обычно такому опытному капитану придают еще два судна, которые идут в кильватере у своего вожака. Некоторые суда проводят специальные лоцманы. Несколько лет назад была подготовлена специальная группа таких лоцманов. Отряд речников на небольших морских шлюпках прошел почти всю Нижнюю Тунгуску, останавливаясь в наиболее опасных местах, изучая дно реки, фарватер, уточняя лоции, стараясь запомнить каждый скрытый водой камень, каждую отмель — все, что угрожает судам на этой коварной и угрюмой реке. Один из таких лоцманов ведет сейчас наш «Байкал».

Пассажиры «Байкала» напоминают героев Джека Лондона, которые некогда рвались в Клондайк. Такой пестроты человеческих характеров и судеб я еще не видывал. Несомненно, настоящие герои здесь — геологи. Многие из них уже не первый год работают в бассейне Нижней Тунгуски. Приезжают ранней весной, а уезжают осенью, когда выпадает первый снег. Ищут геологи многое, но, пожалуй, самые многочисленные экспедиции заняты разведкой месторождений газа и нефти. Специалисты предполагают, что в бассейне Тунгуски немало этих богатств. Ищут промышленные скопления. Геологи, почти все без исключения, прекрасные люди. Думаю, что это их профессиональное отличие. Для них, живущих целыми месяцами в бескрайней тайге, отрезанных от всего мира, от цивилизации, культуры, очагов искусства, общение с другими людьми стало такой же необходимостью, как, скажем, пища или вода. Все они, безусловно, хорошие специалисты и отлично разбираются в порученном им деле. Однако меня удивило то, что это по-настоящему культурные, начитанные и вежливые люди. Вы скажете, что в этом нет ничего удивительного, что так и должно быть. Возможно. Однако на практике не всегда бывает так, как нам хотелось бы. Ни для кого не секрет, что, когда человек живет

долгие месяцы в суровой тайге, занятый тяжелым трудом, не зная ни удобств, ни передышки, терзаемый комарами, оводами и москитами, он становится раздражительным, грубым, резким в обращении с другими людьми. А геологи, плывущие на «Байкале», буквально образец вежливости. С некоторыми из них мы познакомились, разговорились и даже нашли общих знакомых, так как геологи работали и в тех местах, где мне довелось побывать несколько лет назад. Отзывчивые, чуткие, умные парни. И веселые. Их полюбили все. А две молодые девушки — корабельный кок и официантка ресторана — решили уволиться с работы, как только «Байкал» придет в Туру. Они отправятся с геологами в тайгу. Будут работать поварихами. Девчат увлекли рассказы геологов и конечно же сами геологи.

Однако есть на «Байкале» совсем иная публика. Очень много едет «бичей». Думаю, что это название идет от слова «бичева». «Бичева» — канат, на котором тащили суда против течения. По сути дела, это заново окрещенные бурлаки, которые будут не только тащить суденышки геологических партий через пороги, но и валить лес, копать шурфы, присматривать за лошадьми, чинить упряжь, ставить временные домики и делать множество всяких дел, без которых не обходится ни в одной экспедиции. Среди «бичей» не найдешь такого, кто едет добровольно. Их собирают на вокзалах, пристанях, прямо на улицах. Все они принадлежат к злополучной касте тунеядцев. Большинство из них имеют судимости за различные преступления, начиная от мелкого хулиганства, воровства и кончая тяжкими преступлениями. И почти всех их можно было бы сажать на скамью подсудимых за паразитический, тунеядский образ жизни, но их собрали и предложили поехать в геологические экспедиции. Это — последняя возможность закрепиться; не скатиться по наклонной плоскости. Последний шанс вернуться к честной жизни, вернуться в общество. Не знаю, как сложатся судьбы этих людей в дальнейшем. Но пока они мало радуют взор. Почти всеми еще владеет инерция той жизни, которую они вели последние месяцы, а то и годы. Здесь, на судне, денег им на руки не дают. Кормят три раза в день. По талонам. Талоны выдают перед самым завтраком, обедом или ужином. Не раньше. Еще когда мы плыли по Енисею и время от времени наведывались на «Байкал», то видели на некоторых из них вполне приличные костюмы и обувь. Среди «бичей» были даже франты. А сейчас те же люди ходят полуодетые и чуть ли не босиком.

— Куда они девали свою одежду? — спросили мы капитана «Байкала» Виктора Ледневского.

— Продали, променяли и пропили. Знают, что в

геологической экспедиции бесплатно получат рабочую одежду.

— Но где же они могли променять или продать, если «Байкал» ни разу не приставал к берегу?

— Это для меня самого неразрешимая загадка, — говорит Виктор Ледневский. Он некоторое время молчит, точно раздумывая, говорить или нет, а затем все-таки говорит: — Команде строго-настрого запрещены какие бы то ни было обмены. Однако попробуй уследи. Эти операции делаются тайком… А кроме того, среди пассажиров тоже находятся такие, что готовы польститься на какие-то тряпки.

Но и среди «бичей» есть всякие люди. Не все они одним миром мазаны. Часть из них окончательно сформировалась, и уже вряд ли что-нибудь изменит их характер и привычки. Такие ходят одинокими, держатся особняком, как старые кабаны. Хмурые. Неразговорчивые. Другие, видно, считают себя обиженными судьбой, не оцененными и не понятыми обществом. Эта часть — «бывшие». Это действительно бывшие люди разных профессий, занимавшие различные посты. Иногда даже довольно высокие и ответственные. Всех их подкосило чертово зелье — водка. Эти раньше других распродали все с себя и ходят в одних носках. Однако они еще полны претензий, какой-то детской важности и иллюзий: «Наш час еще пробьет… И на нашей улице будет праздник…» Быть может, они и впрямь возьмутся за ум там, где целыми месяцами не придется даже понюхать спиртного. У них будет достаточно времени обо всем подумать на трезвую голову, все переоценить, взвесить… А есть и такие, которые уже очухались. Побыв несколько недель в таком обществе, они как в зеркале увидели самих себя. И их охватил страх, ибо они не думали, что сами так низко пали: «Другие — да, но только не я. Оказывается — и я…» Это открытие вызывает в них лихорадочное желание покаяться, что-то сделать, одним подвигом смыть все грехи прошлого. Увы, такие подвиги не встречаются. Все в жизни имеет свою логику, свои законы. Дорога назад так же длинна, как и путь падения. Ничего не делается сразу, одним махом. Постепенно, шаг за шагом, падал, постепенно, шаг за шагом, и подымись. А чудес не бывает.

Чем ближе к Туре, тем меньше остается на судне «бичей». Небольшими группами их высаживают на берег в местах, где уже стоят отряды геологических экспедиций, где белеют палатки, подымается к небу дым костров. Правда, я ни разу не видел, чтобы спущенная на воду лодка везла этих новобранцев сразу к палаткам. Как правило, их переправляют на другой берег и там высаживают.

— Почему? — спросил я капитана.

— На всякий случай, — ответил он и объяснил, что на другом берегу «бичи» проходят как бы проверку. Ни один геолог не захочет пойти в тайгу с человеком, которого он совершенно не знает, не знаком с его характером, привычками, его слабыми сторонами. Нельзя идти в тайгу с человеком, которому полностью не доверяешь. У старых солдат существует поговорка: «Я бы с ним в разведку не пошел». У геологов действует то же правило.

За все время «Байкал» только один раз подошел к берегу и спустил трап. Это было в Ногинске — сияющем новыми деревянными домами поселке, где живут шахтеры, добывающие графит. Рудник небольшой, но графит здесь очень качественный. Все грузовые суда, которые возвращаются из Туры порожняком, останавливаются в Ногинске, чтобы заполнить трюмы графитом.

К концу девятнадцатого дня плавания мы увидели Туру. Больше двух тысяч километров прошли мы по сибирским рекам. Теперь я уже знал, что моя мечта побывать у кетов так и останется неосуществленной — на этот раз не хватит времени. Но рано или поздно я вернусь сюда, выбрав более удобное время года, и непременно встречусь с ними.

Мне довелось немало странствовать по Сибири, но ни в одной из прежних поездок я так остро не чувствовал масштабов этого края, как теперь, плывя по рекам. Бывало, проделаешь весь путь самолетом, опустишься в какой-нибудь глуши, побродишь с местными охотниками по тайге или тундре, поездишь на оленях или собаках, но никогда не увидишь таких просторов. Последнее время в мировой печати часто обсуждаются проблемы будущего. Причем многие боятся бурного роста населения, боятся, что через несколько десятков лет человечеству будет слишком тесно на нашей планете. Читая такие строки, испещренные столбцами цифр, поневоле начинаешь верить, что человеку и впрямь становится тесно на старушке земле. Однако, плывя по сибирским рекам, когда день и ночь видишь кругом только суровую, необжитую тайгу, когда целыми неделями не встречаешь человека и не видишь никаких следов его деятельности, проникаешься мыслью, что пройдет еще много десятилетий, а может, и целое столетие, пока человек освоит эти бескрайние просторы. Спустя десять — двадцать лет здесь наверняка вырастут новые города, но это будут лишь маленькие заплатки на одеянии великана. И тогда, через несколько десятков лет, мы будем говорить (вернее, говорить будут наши дети и внуки), что человеку предстоит освоить, прочно обжить этот богатый и необъятный край нашей планеты.

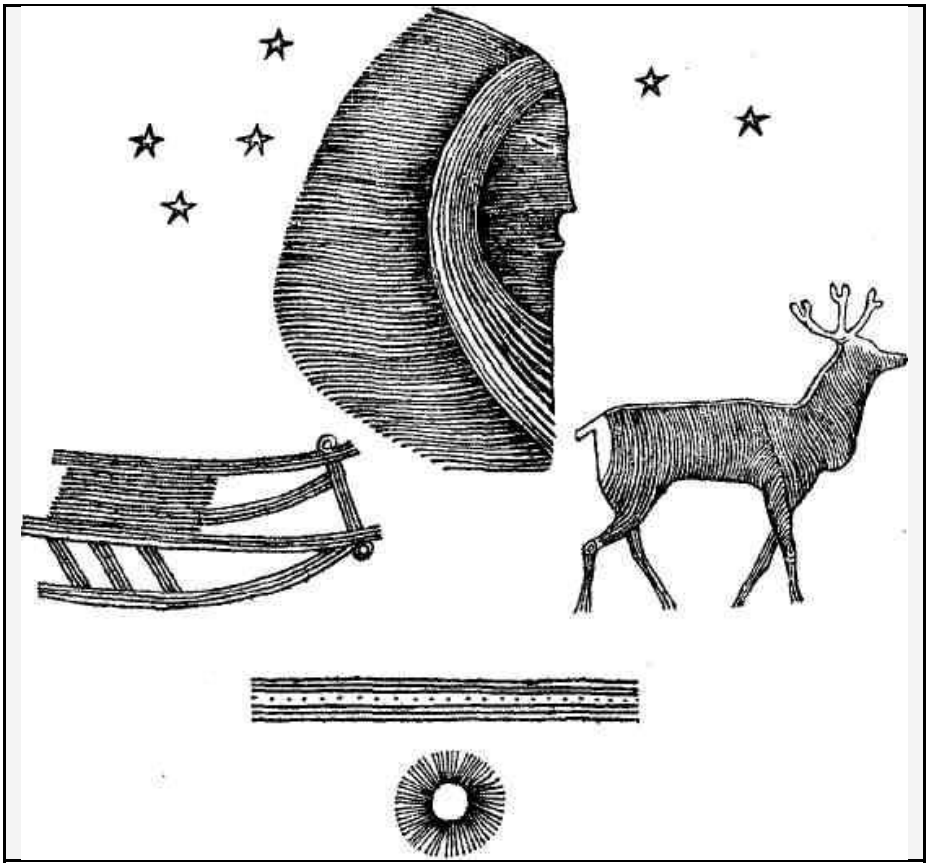
Ежегодно прибытие «Байкала» в Туру превращается в большой праздник. Я сказал бы, что этот праздник ничуть не

меньше, чем, например, Новый год. Может быть, даже более волнующий, потому что Новый год приходит точно по часам, а «Байкал» — как когда, в зависимости от капризов всемогущей природы-матушки. И жители Туры с нетерпением ждут этого праздника, который, словно сама весна, несет обновление их земле. Точнее, это обновление людям приносят набитые доверху трюмы судов.

Все население Туры собралось на высоком берегу Тунгуски. Стар и млад, мужчины и женщины. Действительно, как большой праздник: все нарядны, в светлое небо взвиваются разноцветные ракеты, слышны песни, где-то гремит музыка. А над всем этим плывет белая полярная ночь, дыша каким-то спокойствием, задумчивостью, похожими на те, что исходят от гор или океанов, от всего вечного и бессмертного в природе. Окутанные этой белой ночью, мы спустились по трапу и сошли на землю эвенков.

1968

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ



ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛЯРНУЮ НОЧЬ

И снова — уже в который раз — я отправляюсь на Север. Опять волнуюсь и радуюсь, подгоняю время, словно именно там, на Севере, лежит моя «земля обетованная». Откуда эта тоска по далекому ледовому краю? Признаться, я и сам не знаю. Каждый год меня тянет на Север, как тянет туда перелетных птиц — улетят по осени за тысячи верст в теплые края, но весной обязательно вернутся на родину, на Север. Они птицы, их гонит инстинкт. Все легко объясняется этим словом — инстинкт. Но есть другое слово — Р о д и н а. И мы понимаем птиц, хотя до сих пор не сумели разгадать, каким образом наши крылатые друзья отыскивают путь, отчего никогда не сбиваются с дороги, всегда находят родное гнездо.

Но у меня-то откуда такая тоска по Северу? Право, не знаю… Можно, конечно, попытаться объяснить эту тягу словами, сказать, что на Север меня влечет суровая природа, требующая на каждом шагу настоящего мужества, что жители Севера сохранили столько замечательных человеческих черт, которые мы, увы, успели растерять… Как будто все верно… И все-таки… Человек в чем-то похож на птицу. Боюсь, что сходство это не определить словами, его можно только почувствовать. Да и то — лишь интуитивно…

Тайга. Бескрайняя тайга. До самого горизонта. С утра до вечера бежит за окном вагона зубчатая стена тайги. От мелькания бесчисленных стволов рябит в глазах, мысли становятся ленивыми, неповоротливыми, как птицы с подрезанными крыльями.

Но я продолжаю смотреть в окно. Ели в этих местах высокие и стройные, точно кипарисы, вершины-иглы вонзаются в низкое, серое северное небо. Километрами тянется не тронутая ни человеком, ни зверем снежная целина. Приходится щуриться, глядя на нее; глаза слезятся от ослепительной белизны. Одинокие домики, утонувшие в сугробах. Мысленно приветствую их обитателей. А то вдруг поселок вынырнет из-за деревьев; ленты дыма над трубами взвились в небо и застыли. Время от времени мимо окна с грохотом проносится товарный поезд. Груз всегда один и тот же — уголь и лес. На полустанках мы тоже нагоняем составы с углем и лесом. Уголь и лес. Днем и ночью — уголь и лес. Наши проводники на любой станции имеют возможность пополнить запасы угля. В вагоне натоплено так, что пассажиры ходят в одних рубашках.

Устроившись на верхней полке, я смотрю в окно и все не решаюсь спуститься вниз, хоть и отлежал уже все бока. Спуститься — значит принять участие в разговоре, который не прекращается сегодня в купе с самого утра, с того момента, как у нас появился четвертый пассажир — молодой красивый парень, милиционер. Едва устроившись и отогревшись, он поделился с попутчиками своей бедой — дружил с девушкой, и не просто дружил, а, можно сказать, считал ее в душе своей женой, и вдруг письмо: его любимая в тюрьме. Едет сейчас туда, к ней. Начальство отпустило на неделю. Суда еще не было. Поехал, потому что должен знать правду. Посадили ее за растрату. Она продавщицей работала. Растрата не так чтобы уж очень большая, но и не маленькая — около двух тысяч рублей. Вот тут и думай что хочешь… Как быть?..

— Сколько вам лет?

— Двадцать пятый.

— Двадцать четыре года! Вся жизнь впереди! Так неужели стоит из-за какой-то, извините за выражение, портить свое будущее?

С минуту в купе стоит тишина.

— Вы любите ее? — Это уже третий пассажир. Голос у него скрипучий, как колодезный журавель, и хриплый, очевидно, от давней простуды.

— Люблю.

— Вот и поступайте, как велит совесть. И никто вам ничего тут не присоветует, поверьте мне.

— Ерунда! Парень молодой, еще столько женщин встретит на своем пути! И к совести его взывать нечего — ей совесть позволила присваивать государственные деньги. Небось знала, чем все это пахнет. Две тысячи в один день не расходуют. Да и за месяц тоже. Выходит, все это давно началось, и она вас сознательно обманывала. Сама тратила деньги, а от вас скрывала.

— А может, вы знали? — скрипит простуженный, голос.

— Нет, честное слово, не знал.

— Остается выяснить только одно: с какой целью обманывала.

— Пишет, что скрывала от меня, потому что боялась потерять. Думала, брошу, если узнаю.

— Конечно! Что ей остается говорить!

— Вполне может быть, что ей стыдно было открыться, — замечает простуженный. — И отчего обязательно не верить человеку?

— Да верьте себе на здоровье! Блажен, кто верует. Шутка сказать — две тысячи! Предположим, что вы действительно ничего не знали и ни единым рублем не попользовались. Тогда куда же она девала деньги? Тряпки покупала? А может, с другими прогуляла?

— Не знаю.

— То-то и оно.

— Для того ведь и еду, чтобы все выяснить.

— Только для того, чтобы выяснить? — спрашивает простуженный.

— Ну, само собой, и помочь.

— Это каким же образом?

— Внесу деньги.

— Ого!

— Знакомые обещают одолжить.

— Дороговато обойдется вам это удовольствие!

— Деньги в жизни не главное, — скрипит простуженный. — Можно задать вам один вопрос?

— Пожалуйста, — поспешно отвечает милиционер.

— Почему хотите покрыть ее растрату? Только потому, что любите?

— Не только… Если она действовала не по своей воле…

— Вот именно! Я вас понимаю.

— Чего уж тут не понять! Хорошенькая история — блюститель общественного порядка собирается взять под защиту и спасти от заслуженного наказания расхитительницу общественного имущества. На месте вашего начальства я поставил бы против вашей фамилии крестик. Очень значительный крестик, дорогой товарищ! Такое благодушие, и по отношению к кому?! Может, вы боитесь, что другой такой не найдете? Да вы посмотрите на себя в зеркало! Бабы сами на шею вешаться будут.

— Вы циник.

— Ну что ж, если я циник, можем вообще прекратить этот разговор. По-моему, лучше быть циником, чем святошей. — Помолчав, тот же голос продолжает: — Выдумки все. Иллюзии. Знаете, дорогой товарищ, отчего распадаются семьи?

— Разные причины бывают.

— А главная? Не знаете? Так я вам скажу. У нас у всех слишком много этих иллюзий, не желаем мы понять той простой истины, что каждый рождается сам по себе и так же сам по себе умирает.

— Но живет-то не сам по себе.

— Вот тут-то оно и начинается. Не желаем мы согласиться со своим одиночеством: ищем себе друга или там подругу, которые якобы могут нас понять. Однако время проходит, и уже становится ясно, что никуда ты от своего одиночества не убежал. А что самое глупое — так это то, что и тут мы продолжаем питать иллюзию: это, дескать, была ошибка, но если сделать правильный выбор… Чушь! Чепуха! Человек живет и умирает в одиночку.

— А вы бы хотели, чтобы за вас умер кто-нибудь другой? — не без иронии спрашивает простуженный. — Может, вам, чтобы не чувствовать себя одиноким, нужна компания, когда будете покидать этот мир? — И после долгой паузы: — Поступайте по совести. Вот вам мой совет.

Стужа за окном лютая — мороз и ветер. На станции проводник бегом отправляется к термометру и, вернувшись, сообщает:

— Сорок восемь. Плюс ветер — восемнадцать метров в секунду.

Сорок восемь да восемнадцать — итого шестьдесят тесть.

Каждый метр скорости ветра равен одному градусу мороза.

За окном давно уже не видно высоких могучих деревьев. Тайга сначала поредела, расступилась, а потом окончательно уступила место тундре — ни деревца, ни кустика.

Среди ночи поезд останавливается на конечной станции — Лабытнанги. Дальше ехать некуда. Вернее, дальше нет железной дороги. Упершись в левый берег Оби, колея кончается. А мне нужно на противоположный берег, в Салехард. Восемнадцать километров через Обь.

Вездеход напоминает танкетку — тупорылый, с широкими гусеницами, борта и кабина окованы металлом.

Осмотрев меня с головы до ног, водитель заметил:

— Холодно будет.

Будет! Мне уже достаточно холодно. Вся моя одежда — полуботинки, костюм и пальто. Я нарочно но взял с собой шубу, по опыту знал, что она тут мало поможет, а тащить в такую даль лишнюю тяжесть не хотелось.

Вездеход гудит и рычит, передвигаясь по устланному снегом льду Оби, а водитель пугает меня рассказами один другого страшней. По его словам выходит, что на Севере человеку расстаться с жизнью легче легкого, особенно если он в такой вот одежонке, как я.

— С Севером шутки плохи, тут и в шубе мороз не пощадит. Вот, не так давно, шел из Лабытнанги в Салехард пассажирский автобус. Как раз по этой самой дороге. И пожалуйста, испортилось что-то, прекратилась подача бензина. Водитель попытался исправить, но, конечно, в ту же минуту руки обморозил: в варежках-то не сделаешь ничего, а голые руки, да еще бензином облитые, в момент обжигает. (Упаси бог делать что-нибудь в такой мороз голыми руками, да если еще в бензине!) До Салехарда им километров пять оставалось. Что делать? Решили идти пешком. А тут, как на грех, пурга. Так ни один и не дошел до дому.

Я начинаю с тревогой прислушиваться к рычанию нашего мотора.

А холодно действительно ужасно. Я топаю ногами, жмусь, ежусь, но все это нисколько не помогает, мороз упрямо лезет под рубаху.

Водитель, не выключая мотора, тормозит и достает из кармана плоскую флягу.

— Спирт.

— Чистый?

— Да.

— Спасибо, но я не смогу…

— Разбавьте снегом. — Он прыгает вниз и протягивает мне снег на перчатке.

Напиток обжигает и сушит рот, нёбо, огнем разливается по всему телу. Мороз отступает, исчезает совершенно, словно вдруг наступила оттепель.

Наконец наш вездеход карабкается на крутой обский берег и с грохотом катит по спящим улицам деревянного городка. Горят фонари, окутанные густым, из сверкающих кристаллов, туманом.

В гостинице мест нет. Ни одной свободной койки. Нет даже раскладушки, которую можно было бы поставить в коридоре.

Выхожу на улицу. Город спит. Где-то лопнуло от мороза дерево. Звук такой громкий, что, кажется, весь город должен проснуться. Нет. Все тихо, спокойно. Я замечаю свет в чьем-то окне. Иду по скрипящему снегу к этому бодрствующему в ночи окну. Подымаюсь на крыльцо, потоптавшись и решившись наконец, стучу в дверь.

— Кто там?

— Свои. — Я знаю, это волшебное слово.

Дверь отворяется.

Небольшая жарко натопленная комнатушка. Только теперь я чувствую, до чего окоченел: зубы стучат, губы отказываются произносить членораздельные звуки, все тело колотит дрожь.

— Оставайтесь, ночуйте, — говорит хозяин, выслушав мой рассказ. — А утром найдете, кого вам нужно. Спирту бы вам сейчас глотнуть, — добавляет он, — да нету у меня. Ну ничего, чаю вскипячу, отогреетесь.

Он принимается стелить мне. Набросав на пол груду шкур, покрывает их свежей простыней.

— Ложитесь. Я вам принесу чаю погорячей. Так-то…

Утром я благодарю за ночлег и ухожу.

Хотя до окружного комитета партии пройти нужно метров триста, не больше, я не в силах преодолеть это расстояние: уже через минуту мороз заставляет заскочить в какой-то дом. В коридоре тепло. Только тут я вспоминаю, что не спросил ни имени, ни фамилии человека, который приютил меня на ночь. Но, может быть, и ни к чему мне знать его фамилию? Пусть он останется для меня просто жителем Салехарда. Просто человеком, что впустил и обогрел приезжего. Так я и запомню эту первую ночь за Полярным кругом: дверь, гостеприимно распахнувшуюся на мой стук, жарко натопленную комнату… Так и буду говорить: хорошие люди живут в этом городе!

— — — —

весна! — мы с приятелем скитались по лесистой Дзукии и ловили в речушках форель. Под вечер заходили в ближайшую деревню, стучали в избу, какая приглянется, и на вопрос хозяев отзывались: «Свои». Это слово обладает магической силой, перед ним открываются все двери.

Провести бы такой опыт: пройти в полночь по городу и, останавливаясь возле каждой квартиры, попроситься на ночлег. Интересно, сколько дверей откроется, чтобы впустить случайного гостя?

— — — —

впечатление исчезает. Приходится смириться с тем, что эта пустынная снежная равнина внизу и есть единственная настоящая северная земля. Здесь ее еще освещает солнце, но скоро мы пересечем ту черту, за которой оно не появляется всю зиму. На Гыданском полуострове, куда мы летим, полярная ночь.

ВКУС СВОБОДЫ

Олени бегут споро, из-под резвых копыт так и летят снежные комья. Плохо только, что летят они прямо мне в лицо. Я осторожно приподнимаюсь, пробую сесть боком. Не тут-то было! Оказывается, не так просто в моем положении совершить подобное перемещение: одежда абсолютно лишает возможности двигаться. Дело в том, что, выезжая из Антипаюты, я вторично пополнил свой гардероб. Теперь на мне уже две пары меховых чулок — одна надета мехом внутрь, другая — мехом наружу. Мягчайшие торбаса из оленьей шкуры согревают ноги до живота. Полушубок прикрывает колени, а уж малица доходит до самой земли. От всех других шуб малица отличается не только своей длиной и роскошным капюшоном, но и тем, что ее рукава снизу зашиты. Правда, есть прорезь, в которую при желании можно высунуть пальцы, но у меня, видимо, недостает сноровки попасть в нее. К тому же поверх малицы на меня надето (не без посторонней помощи) нечто вроде мехового мешка, тоже с капюшоном и рукавицами. Не знаю, сколько весит мой наряд, но чувствую, что в нем невозможно сдвинуться с места. Однако я человек упрямый. После многих безуспешных попыток все же усаживаюсь боком. Теперь снежные комья барабанят по капюшону. Зато положение мое стало явно ненадежным: стоит нартам посильней качнуться, и я со своей пудовой одеждой соскользну в снег. Аску Селиндер, мой проводник, конечно, и не заметит, что меня нет, он за всю дорогу ни разу не оглянулся. Я вспоминаю, как он наставлял меня перед отъездом: «Гляди не выпади. Вылетишь — олени не остановятся, бросят». Видно, особой надежды на то, что я сумею усидеть, у него не было. «Если случится беда, свалишься — никуда не беги, потеряешься. Сиди и жди, я вернусь за тобой по следу. А станешь замерзать — ходи, только на одном месте».

Бескрайняя, утонувшая в снегах тундра. Тусклый и холодный свет звезд. Выстуженный, вымерзший край. Ничто не напоминает о жизни. Едем второй час, и ни одного деревца, ни одного кустика. Хоть бы какой-нибудь стебелек высунулся из-под снега…

Иногда вдруг начинает казаться, что на горизонте видны огни

города, но присмотришься и понимаешь, что это лишь звезды, светящиеся в морозном тумане…

Нет, не хочу я упасть с нарт. Неизвестно, найдет ли потом меня Селиндер…

Я перетаскиваю ногу обратно и снова попадаю под удары снежных комьев. Единственный способ защитить лицо — опустить голову пониже. Теперь я уже ничего не вижу. Только нарты покачиваются. Мысли постепенно начинают путаться, обрываются, едва возникнув. Так птица иногда присядет на ветку, но тут же испуганно вспорхнет, взовьется и исчезнет в синеве неба…

— — — —

будто кто-то включил мощные прожекторы. Так же неожиданно является красный цвет. Кровавый румянец заливает край неба. Огненная полоса ширится, приближается. Снег становится розовым. Кажется, вся земля вспыхнула, неосторожно коснувшись солнца.

Селиндер останавливает свои нарты, слезает (вернее, скатывается) на снег, втыкает длинный шест в жесткий, сбитый вьюгами наст, привязывает к шесту повод. Я повторяю все его движения.

— Покурим, — говорит Селиндер.

Сигареты и спички у меня в рукавице. Проходит немало времени, прежде чем удается извлечь их. Селиндер спокойно ждет. Не успеваю я закурить, как мороз обжигает руки, покрывает тоненькой корочкой льда. Поскорей засовываю их в рукава.

А северное сияние продолжает пылать.

Казалось бы, люди, родившиеся в этой бескрайней тундре, должны быть очень суеверны, но мне как-то не приходилось этого замечать.

Горит уже весь небосвод. Зарево струится, колышется, словно театральный занавес, освещенный прожектором. Потом всякое движение прекращается. Кровавый купол застыл над тундрой. И вдруг он взрывается, разлетается в клочья. Огненные лоскуты с минуту еще плавают в небе, но вот блекнут и они. Вновь только снегá до самого горизонта и холодное сияние звезд…

— Далеко нам еще? — спрашиваю я Селиндера.

Впрочем, «далеко», «близко» здесь, в тундре, понятия весьма относительные. Ямало-Ненецкий национальный округ занимает площадь семьсот пятьдесят тысяч квадратных километров — на ней разместились бы двенадцать таких республик, как Литва. Угодья только Антипаютского участка Тазовского рыбкомбината раскинулись на территории не меньшей, чем вся Литва. Вот по таким просторам и кочуют оленеводы. Стада оленей, принадлежащих Антипаютскому рыбучастку, гигантские. Около двадцати тысяч голов! А ведь у каждого оленевода есть еще, кроме того, и собственные олени. Иногда их число не превышает тридцати — пятидесяти голов, но бывает и больше — в зависимости от потребностей семьи. Обычно со стадом кочуют одна или две семьи, которые присматривают за двумя тысячами животных. За несколько недель такое стадо съедает мох на огромном участке тундры. Тогда люди разбирают свои чумы, погружают все имущество на нарты и перекочевывают на другое место. Разумеется, это место заранее указано на карте-графике, потому что при современном росте поголовья оленей кочевье вслепую не только ничего не даст, но и может принести большой

вред: истощить пастбища, завести стада на пустые участки. Тем более, что ягель, которым питаются олени, растет очень и очень медленно. Олени вернутся на прежнее место не раньше чем спустя четыре, пять, а то и семь лет — когда подрастет новый мох… Так что в этих условиях действительно трудно говорить о расстоянии. И ненцы измеряют его не километрами, а временем.

Селиндер, запрокинув голову, смотрит на звезды.

— Час пути.

Никогда он не посмотрит на часы, обязательно на звезды. Будто мы держим путь к другим планетам. Впрочем, эта безмолвная, безжизненная тундра и в самом деле мало похожа на то, что мы привыкли называть Землей. Мне даже приходит в голову, что именно здесь следует готовить космонавтов к будущим испытаниям. Тот, кто выдержит здесь, не подведет и в космосе.

— Откуда ты знаешь, в какую сторону ехать? — спрашиваю я Селиндера.

— Звезды говорят.

— А в пургу?

Он пожимает плечами. Видно, не так просто объяснить это тому, кто в тундре только гость.

— Не обращаю внимания на ветер.

Я понимаю, он хочет сказать: не ориентируюсь но ветру.

Действительно, ветер в тундре может меняться каждые полчаса. Тот, кто доверится ветру, будет кружить и кидаться из стороны в сторону, пока не погибнет. Смерть будет ходить за ним по пятам, пока он не съест последнюю ездовую собаку или оленя, пока не закричит в отчаянии, призывая на помощь, хотя помощи здесь прийти неоткуда…

— Как же все-таки ты находишь дорогу? — допытываюсь я.

Мой проводишь молчит. При слабом свете звезд я стараюсь разглядеть его лицо. Орлиный нос, плотно сжатые губы. Светлые глаза прячутся под капюшоном, отороченным мехом песца.

— А как птицы находят родные края? — наконец отвечает Селиндер.

Мы сталкиваем с места примерзшие нарты и снова мчимся по снежной равнине. Селиндер изредка закидывает голову, чтобы взглянуть на звезды. Тут нет иных ориентиров. Но местным жителям других указателей и не требуется. Без всяких карт и приборов они отыскивают дорогу к утонувшему в бескрайних снегах одинокому чуму, находящемуся за сто, а то и больше километров. Видно, нужно родиться и вырасти в здешних краях, чтобы постичь эту науку.

Селиндер вдруг останавливает нарты, слезает и направляется

в сторону. Я с удивлением слежу за ним. Приглядевшись, и я замечаю серое пятно на снегу. Любопытство заставляет сползти с нарт…

— Олени!

Окрик Селиндера действует на меня, как удар бича. Бросаюсь к нартам, хватаю поводья. По спине течет холодный пот. Чудо, что олени не воспользовались моментом и остались на месте.

Олень — не лошадь. Я прекрасно понимаю это, потому что не раз ездил на оленях и на Камчатке, и в Эвенкии, и тут, на ненецкой земле. Олень, как бы ни был он приручен, все равно старается держаться подальше от человека. Только страх перед волками не позволяет оленю совсем порвать с людьми. Едва родившегося олененка человек приучает не бежать прочь от хозяина: вешает на шею оленю толстую доску. С первых же дней у оленя вырабатывается рефлекс — бегство от человека приносит боль. И наоборот: приближающийся человек никогда не сделает ничего плохого, он только погладит и поднесет на ладони удивительное лакомство — горстку соли. Постепенно человек приучает оленя бегать в упряжке, приучает тащить нагруженные нарты… Однако ничто не может окончательно вытравить стремление оленя к свободе, ибо только на воле он утоляет голод и жажду. Даже зимой олень сам заботится о себе: раскапывает копытами снег и щиплет мох. Особенно усиливается желание вырваться на волю, когда целыми часами приходится тащить тяжелые нарты. Горе путнику, который хоть на минуту оставит оленей без присмотра или не привяжет как следует!

Конечно, все это мне было известно, когда я отправлялся с Селиндером в дорогу, а вот поди ж ты — оплошал!

Серое пятно на снегу, из-за которого я едва не упустил оленей, оказывается песцом. Капкан защемил его переднюю лапу. Непонятно, почему издали песец выглядел серым, на самом деле он абсолютно белый. С каким отчаянием он боролся за жизнь! Весь снег изрыт, зверь бился, несколько метров тащил ловушку за собой в надежде освободиться.

— Хотел лапу себе отгрызть, — показывает Селиндер.

Действительно, шкура и мышцы разодраны острыми клыками.

— И без лапы жил бы, лишь бы вырваться, — говорит Селиндер. — Если лисица или волк один раз из капкана уйдет, больше уж не попадется.

Селиндер привязывает песца к нартам, и мы едем дальше. Я чувствую, что снова засыпаю. Нарты легко скользят по отполированному недавней пургой насту. Скрипят полозья, глухо стучат оленьи копыта. И больше ни звука… Тишина и легкое

покачивание.

Вдруг ухо улавливает далекий собачий лай. Постепенно лай становится громче, уже можно различить отдельные голоса. Наш путь подходит к концу. Мы в бухте Двух Чумов.

— Почему так называется? — спрашиваю я у Селиндера.

— Давно было два чума.

— А теперь?

— Теперь один, мой.

— Куда же второй девался?

— Второй давно был, — говорит Селиндер.

Огромные лохматые псы обступают нарты, обнюхивают меня со всех сторон. Я не знаю, как завоевать их расположение, ведь, кроме сигарет, у меня ничего нету.

Нас никто не встречает, «Значит, в чуме пусто», — думаю я.

Селиндер распрягает оленей, и те тотчас разбредаются по тундре. Покачиваются ветвистые рога. При тусклом свете звезд животные кажутся какими-то таинственными призраками. Теперь хозяин не скоро о них вспомнит. Завтра Селиндер собирается ехать на собаках осматривать капканы.

Селиндер направляется к чуму, подымает шкуру, прикрывающую узкий вход, и мы протискиваемся внутрь. Тут совершенно темно, и я останавливаюсь, не зная, куда ступить. Слышен какой-то шорох, будто в чуме есть кто-то, кроме нас двоих. Селиндер гремит спичками. Вспыхивает язычок керосиновой лампы. И тут я вижу, что в чуме действительно есть люди — мужчины, женщины, дети. Свет заставляет их пробудиться, и чум наполняется звонкими детскими голосами. Женщина встает, подходит к печке, стоящей посреди чума.

— Раздевайся, — говорит мне Селиндер.

На меховом ложе люди придвигаются ближе друг к другу, чтобы освободить мне место. С трудом выбравшись из двух шуб, я присаживаюсь на шкуры. Женщина хлопочет у печки. Волосы ее заплетены в косу и украшены латунными бляхами, которые при свете лампы сверкают, как золотые.

Селиндер вытаскивает из мешка гостинцы — конфеты, табак, чай, печенье, отрез цветастой материи, последней появляется бутылка спирта. Хозяин ставит ее на низенький столик. Он все время говорит что-то по-ненецки, и я хоть и не понимаю ни слова, но догадываюсь, что речь идет обо мне — все взгляды устремляются в мою сторону. Пожилой человек приподнимается, протягивает руку:

— Ядне.

Он очень похож на Селиндера, наверно отец.

Селиндер выходит и возвращается с песцом. Запихивает

окоченевшего от мороза зверя под малицу и опускается возле низенького столика. Некоторое время он сидит неподвижно. «Может, это какой-нибудь ритуал?» — думаю я. Но Селиндер рассеивает мои подозрения.

— Оттает, тогда шкуру сниму, — объясняет он.

Хозяйка наполняет стаканы крепким душистым чаем и подает нам. Я обжигаюсь, но пью. От горячего чая по всему телу разливается блаженное тепло. Хочется спать. Однако засыпать сейчас никак нельзя. Сегодня должно взойти солнце. Оно не показывалось здесь целых два месяца, и мне очень хочется увидеть, как его краешек выглянет из-за горизонта. Чтобы разогнать сон, я затеваю разговор:

— Что означает ваша фамилия?

— Селиндер? Человек, Живущий На Мысу.

— А Ядне?

— Пеший.

Женщина отодвигает шкуру у стены и вытаскивает из-под нее метрового осетра, твердого как кость. Теперь я понимаю, почему Селиндер отогревает песца на груди. Температура в чуме не подымается выше нуля, а положишь зверя к печке — можно спалить шкурку, испортить мех. Хозяйка передает рыбу мужу, и он принимается строгать ее ножом, как полено. Тонкая стружка сыплется на стол. Эту сырую промерзшую стружку так и полагается ость, нужно только обмакнуть в соль. Берешь в рот — зубы ломит от холода.

В Тазовской губе много рыбы. Люди едят лишь самую лучшую — осетра, лосося. Попросите у здешнего рыбака рыбки, и он ответит: «Нету», хотя у самого лодка полна метровых щук и окуней. «А это что?» — «Так это не рыба. Пожалуйста, бери, только разве это настоящая рыба…»

Мы жуем осетровую стружку и беседуем. Вдруг снаружи начинают тявкать собаки. Хозяева не обращают внимания на их лай, продолжают спокойно макать рыбу в соль и отправлять горстями в рот. Вот уже слышно, как возле чума скрипят полозья нарт. Но и тут никто не подымается взглянуть на гостей…

— — — —

спросил:

— Ну, кому замочки ставить?

— Есть замки.

— Эти, что ли?

Человечек попросил у кого-то ключ, открыл и закрыл им несколько квартир и снова радостно спросил:

— Так кому замочки ставить?

До позднего вечера стучал молоток. Надежными замками обзавелись все новоселы. Кто-то сказал:

— Хорошо бы дверную цепочку… На всякий случай.

— — — —

Селиндер похлопал себя по животу и вытащил из-под малицы хвост песца.

— Нохо.

Спустя несколько минут он уже дремал, улегшись на боку. Песец так и остался у него за пазухой.

Огонь в печке погас. Дрова в этих краях дороги. Лесов нет. Дерево можно добыть только в море — волны прибивают к берегу разбитые плоты, ящики, бочки. Мужчины, женщины и дети охотятся за этими обломками. Изредка дрова доставляют на тракторных санях из Антипаюты или сбрасывают с самолета. До́роги здесь дрова, и расходуют их бережно. Печка топится, только когда нужно вскипятить чай или сварить уху. Экономят ненцы и керосин. До Антипаюты далеко — каждую неделю не съездишь. Хозяйка ставит на стол плошку с тюленьим жиром, зажигает фитилек — сплетенную из тряпочек косичку, а керосиновую лампу гасит.

Я натягиваю на себя малицу, и выбираюсь из чума. Тут же подбегают собаки, обнюхивают руки, но у меня ничего нет. Я отхожу на несколько шагов от чума, собаки останавливаются рядом. Они не спускают с меня своих умных глаз, словно спрашивая: «Что ты делаешь здесь, чужой человек? Зачем приехал в наш ледяной край?» Мне трудно им ответить. Неужели я действительно проехал тысячи верст только затем, чтобы пить чай в чуме у Селиндера? Когда есть какая-нибудь работа, о таком не думаешь, но стоит остаться без дела, как тут же тебя начинают мучить сомнения и тоска.

Звезды постепенно гаснут. Дымчатые сумерки окутывают тундру. Густой туман из тончайших льдинок стоит в воздухе. При каждом вдохе ледяные кристаллы колют горло и верхушки легких. Очень медленно, словно нехотя, занимается утро. Рассвет не торопится, как собака, которую гонят из теплой избы на мороз. Наконец край неба светлеет, окрашивается в нежные желтые и розовые тона. Земля отрывается от неба, четкая линия горизонта ложится между ними. Я любуюсь игрой света, и собаки стоят рядом со мной, вытянув навстречу заре свои умные морды.

Из чума выходит Ядне; поглядев на светлый край неба, возвращается назад. За свою долгую жизнь он не раз уже встречал встающее после ночи солнце и ничего особенного в этом не видит.

Глядя на восход, я думаю: «Много ли ненцев покинуло свою суровую родину, променяло ее на более теплые и приветливые края?» Я думаю об этом потому, что почти четверть моего народа живет за океаном, под чужим небом, на чужой земле. Мне довелось видеть некоторых эмигрантов, приехавших навестить

землю отцов. Они спускались по трапу в Вильнюсском аэропорту, и глаза их беспокойно бегали, искали чего-то, словно эти люди хотели сразу увидеть все. Седой человек посмотрел себе иод ноги, сошел с асфальта на пожелтевшую от зноя траву, наклонился и поцеловал землю. Когда он выпрямился, на его глазах были слезы. Но я не поверил этим слезам. «Если ты в самом деле так любишь Литву, что же не останешься здесь? Ведь ты приехал как турист — повидаться с родиной и опять ее бросить!» Потом я понял, что не должен так легко судить людей. Конечно, для тех, кто запятнал себя кровью соотечественников и бежал от народного гнева, Литва не может быть родиной, но ведь сотни тысяч литовцев покинули свою землю давным-давно потому, что она не могла прокормить их. Много слов произносилось в буржуазной Литве о независимости, о единстве нации, а простой труженик не мог заработать на кусок хлеба. И я думаю, как же они, уехавшие, как живут они там, вдали от земли родной? Хорошо ли им спится? О чем они думают ночью?

Красная горбушка солнца висит над белой равниной. Я вспоминаю Балтийское море, людей, которые каждый день выходят на берег любоваться закатом. Едва коснувшись воды, солнце скоро прячется совсем. А здесь — висит неподвижно: нельзя сказать, встает оно или садится. По обе стороны его горят еще два ложных солнца — высокие желтовато-зеленые кресты, в ослепительном сиянии которых дрожат крохотные серебряные иголочки.

В чуме все, кроме хозяина, проснулись. У стола, присев на корточки, ест девочка лет шести. Волосы ее убраны так же, как у матери. Хозяйка зажала между ног длинную палку и стругает ее большим ножом. Из-под лезвия вылезает тонкая, почти прозрачная полоска древесины.

— На растопку? — спрашиваю я.

Женщина закрывает лицо рукавом малицы и по-детски фыркает от смеха. Ненецкие девушки и женщины всегда закрывают лицо, когда смеются. Нельзя показывать чужому человеку свое смущение. Неприлично.

— Почему вы смеетесь?

Она снова прыскает в рукав.

— Так это для маленького. Как у вас пеленки. — По-русски женщина говорит очень чисто. — Вот для него, — она указывает рукой на корзину, подвешенную на ремнях.

Я заглядываю в колыбель. На меня смотрит укутанный в меха младенец. Ясные глазки блестят, как ягоды омытой дождем черной смородины. Мать берет ребенка на руки, и я вижу, что все дно корзины выстелено стружками.

— У нас по-другому нельзя, — объясняет женщина. — Так и ребенку тепло, и все проходит, и сохнет.

Она наклоняется к столику, берет кусочек мороженой осетрины и дает младенцу. Тот принимается жадно жевать.

— Вы учились где-нибудь? — спрашиваю я.

— Семь классов кончила в школе-интернате, — отвечает женщина с гордостью, укладывая ребеночка в колыбель.

— Не скучно вам жить тут?

Она смотрит на меня с удивлением.

— Не скучно? — повторяю я. — Одиноко, наверно, снег кругом.

— Да нет, — говорит женщина. — Нас пятеро.

Понятие одиночества ей просто неведомо, хотя она и знает такое слово. Она вкладывает в него самое прямое содержание — одинок тот, кто один.

— Мы часто ездим, — продолжает женщина. — Охотникам и рыбакам на одном месте сидеть нельзя.

Она права. И зверь и рыба сами не идут к человеку. И зверя и рыбу человек должен найти. Вернее, должен найти звериные и рыбьи тропы, поставить капкан на зверя и сеть — на рыбу. Промысловики Антипаютского рыбучастка находятся сейчас где-то в Гыданской губе. Возможно, я их еще увижу. Мне бы хотелось увидеть, как из проруби в прорубь под толстым льдом просовывают сеть, как мужчины тянут ее, наполненную ценной рыбой, которую бросают прямо на лед и снег, а она скачет, бьется, а потом как бы засыпает и уже не просыпается, даже когда воздух дрожит от бешено вращающихся винтов, когда ее заталкивают в мешки, зашивают и грузят в самолет. Почему-то о рыбе не скажут, что она мертва, говорят: уснула… Труд рыбаков, конечно, не легок в жестокие морозы. Однако им все же легче, чем охотникам, потому что живут они все вместе, между тем как охотник почти всегда одинок. Мне кажется, и сопровождать охотника в трудном его походе — дело нелегкое. Особенно для женщины. И я говорю:

— Трудная у вас жизнь.

Она не согласна.

— Отчего трудная? Разберем чум, погрузим на нарты и поедем. Совсем не трудно. Интересно.

— — — —

обломков разрушенных зданий домик для себя. Я отнесся к этой идее скептически. Но он принялся трудиться с остервенением. Каждый вечер он сообщал:

— Двести — две нормы.

Это значило, что ему удалось добыть две сотни целых кирпичей. Или:

— Проклятие! Еле-еле восемьдесят наковырял.

В такие вечера он бывал мрачен, о путешествиях не вспоминал, а срывал свою злость на мышах. Мышей у нас в комнате было столько, что стоило открыть комод, как они опрометью кидались из ящиков, толкаясь и обгоняя друг друга, шлепались на пол и скрывались в какой-нибудь щели на полу, которых тоже было достаточно.

Наконец однажды вечером мой приятель сказал:

— Все. Кончил. И перевез!

Не так давно я был у него в гостях. Видел этажерку, забитую книгами о путешествиях. Спросил:

— Все еще интересуешься?

— По книжным страницам путешествую, — ответил он грустно.

— А почему не поедешь куда-нибудь? Теперь это несложно.

— Да видишь ли… работа…

— В отпуск поезжай.

— А на кого огород оставлю? И вообще, дом есть дом…

— Выходит, тюрьму ты себе выстроил?

— — — —

прежнему льет ручьем. Расстегиваю полушубок, чтобы сбросить и его. Селиндер кричит:

— Жить надоело?

Я послушно застегиваюсь. Дзынь-дзынь-дзынь — стучит по льду пешня, ледяные крошки разлетаются во все стороны.

От судна отделяется черная точка и движется в нашу сторону. Моя пешня наконец пробивает лед. Снизу взлетает фонтан воды. Она с урчанием заполняет всю яму. Я измеряю толщину льда — больше полутора метров.

Принимаюсь за вторую лунку.

Черная точка постепенно превращается в маленького человечка. В тот момент, когда мне удается во второй раз добраться до воды, к нам подходит молодой парень. Поздоровавшись, сообщает, что он — шкипер. Судно застряло в октябре, и теперь придется тут торчать до середины июля, пока не сойдет лед в заливе.

— Надоело на консервах сидеть до чертиков! — жалуется парень.

Селиндер протягивает ему рыбу. Парень роется в кармане, вытаскивает несколько бумажек. Селиндер обиженно отворачивается: «За кого ты меня принимаешь!»

— Ладно, — говорит моряк, — ты мне даришь, и я тебе дарю.

В руке у него оказывается карманный фонарик. Селиндер с улыбкой принимает подарок. Шкипер тоже улыбается. Покидать нас он не спешит. Не каждый день тут удается поговорить со свежими людьми. Селиндер возится с сетями, а я слушаю рассказы моряка.

В этих краях, в Обской и Тазовской губе, льды почти каждый год задерживают суда.

— Тем, кто возле какого-нибудь селения застрял, считай, повезло. Выгрузил товар — и гуляй всю зиму. — Немного помолчав, парень вспоминает: — Селение тут есть — страна Лимония зовут. Зимовала у них баржа с лимонами, так к ним со всех сторон народ за этими лимонами ездил. А то еще лучше было — парфюмерию везли. Ну, про одеколон говорить не буду, а что касается мыла и зубной пасты, так теперь их там на два поколения хватит. Все запаслись.

Я готов и дальше слушать рассказы морячка, но Селиндер торопит. Мы начинаем прощаться. И тут, словно спохватившись, шкипер спрашивает:

— А вы что же ничего не рассказываете? Что там в мире-то нового? Радио у меня испортилось, ничего не знаю.

— А ты один, что ли, на лихтере? — спрашивает Селиндер.

— Один, — говорит парень. — Ребят осенью на вертолете

увезли, а я остался за сторожа.

— Трудно одному-то?

— Трудно, — признается наш знакомый. — А все же, думаю, ребята меня вспоминают добрым словом… Я куропаток силками ловлю. Ничего, до лета продержусь.

Мы прощаемся с ним и садимся на нарты. Он остается возле наших лунок. Черная точка среди белой пустыни. Я вспоминаю вдруг Маленького принца Сент-Экзюпери. Этот моряк тоже почему-то кажется мне прибывшим с какой-то другой планеты.

У меня был друг. Я говорю «был», потому что он умер. Этот человек никогда не чувствовал себя одиноким. Хотя в разговоре мы иногда касались темы одиночества, но для него это понятие было чисто теоретическим. Книга рассказов моего друга вышла, когда его уже не было в живых. Я остро переживал его смерть, многозначительным и роковым казалось мне само название книги: «Ошибка природы». Но теперь я понимаю моего безвременно ушедшего из жизни друга. Чувство одиночества охватывает человека, когда никто не проявляет уважения и внимания к его труду. Если ты знаешь, что никому не нужен, тогда действительно ты одинок. Но если ты уверен, что твой труд приносит пользу людям, ты уже не будешь чувствовать себя одиноким, пусть даже тебе приходится жить в уединении, пусть ты оторван от большого мира.

— Знакомо тебе одиночество? — кричу я, наклонившись к самому уху Селиндера.

— Охотник всегда один, — отвечает он.

— Это же разные вещи — один и одиночество. Одиночество — это когда чувствуешь себя всеми забытым, никому не нужным.

— Мой чум никто не объезжает стороной. Все сворачивают попить чаю.

— Но разве тебе не бывает иногда грустно?

— Бывает. Сегодня было грустно, когда пустую сеть вытащил. А если зверь хорошо идет — чего охотнику грустить!

Я понимаю, что донимать Селиндера подобными вопросами бесполезно. Понятие одиночества чуждо ему, как было оно чуждо моему другу. Парадоксально: люди, живущие в этих пустынных краях за сотни километров друг от друга, никогда не испытывают того одиночества или отчаяния, которые охватывают подчас обитателя города с многотысячным населением. Боюсь делать какие-либо выводы, но мне кажется, все объясняется тем, что в тундре ежечасно идет борьба за жизнь и в этой борьбе много значат усилия каждого человека, ни одна удача или беда не проходят не замеченными. К сожалению, в сутолоке большого

города заботы и труды отдельного человека выглядят порой мелочными и незначительными.

В последние дни Селиндер весел, бодр — зверь идет хорошо, мы то и дело находим в капканах песцов. Если подошва на лапе песца черная — это местный; если красная, значит, попался гость с берегов Карского моря или даже Новой Земли. Вытаскивая из капкана краснолапого зверя, Селиндер особенно радуется: своих-то он успеет еще поймать, никуда не денутся, а эти, того и гляди, уйдут. Каждый день на оленях или на собаках мы покрываем десятки километров. Проверяем капканы. На оленях ездить удобней и быстрей, но Селиндер жалеет их и запрягает не часто: такому большому животному трудно добыть из-под глубокого снега столько мха, чтобы досыта набить брюхо. А запряженный в нарты олень и вовсе лишен возможности пастись. Поэтому обычно мы ездим на собаках. Конечно, и псам в упряжке не сладко, но зато Селиндер не жалеет им сушеной рыбы, а отправляясь в путь, укладывает на нарты недельный запас корма. Я как-то спросил:

— Зачем так много берешь? Ведь лишняя тяжесть…

Селиндер покачал головой:

— Я ученый. Раньше тоже, как ты, думал: зачем лишнее таскать?

И он рассказывает историю, которая приключилась с ним несколько лет назад. Поехал в тундру, собирался за день обернуться, ну и отправился налегке, а тут неожиданно разыгралась пурга. Такая пурга, какой никогда, наверно, не бывало: земля смешалась с небом, на шаг ничего не видно. Повалил Селиндер нарты набок, сам лег и собак вокруг уложил. Их тотчас вместе с нартами замело. Чтобы можно было дышать, Селиндер проделал отверстие в сугробе. Лежал, лежал, сколько времени прошло — неизвестно, пурга не унимается. Почувствовал Селиндер, что замерзнет, если не поест. Вылез из сугроба, выманил самую жирную собаку. Сам поел и собак немного покормил. Но сколько в ней мяса, в собаке-то! Полежал еще немного, ничего не поделаешь, придется вторую съесть. Однако та, которую он стал звать, не идет. Видела, что первая не вернулась. Как ни уговаривал Селиндер, не пошла. Пришлось силой ее вытаскивать. А самому так жалко было, что заплакал. Потом и третью съел. И вдруг подумал: что было бы, если б собаки сообразили, что их-то много, а человек один? Подумал и после уже глаз сомкнуть не мог. А пурга целую неделю не стихала…

— Вот так, — заканчивает Селиндер свой рассказ, — отправляешься в тундру на день, запасайся на три.

Совеем еще недавно, всего несколько дней назад, песцы попадались в капканы очень редко. Селиндер объезжал свои угодья не чаще двух раз в неделю, и то больше для порядка. А теперь ловушки приходится осматривать ежедневно. Стоит опоздать, и пойманного песца съедят его же собратья. Охотнику останутся только клочки разодранной шкуры… Голодный зверь рад любой добыче. Я видел ямы во льду в полметра глубиной. Селиндер объяснил, что это работа тех же песцов — добывают рыбу, вмерзшую в лед еще осенью.

Сколько кровавых трагедий разыгрывается на снежных просторах тундры! Однажды мы приехали на то место, где накануне ставили капкан, и ничего не нашли, но на снегу отпечатался отчетливый след — видно было, что зверь утащил капкан. Селиндер погнал собак по следу, причем все подгонял — непрерывно крутил кнутом над их головами. Я не мог понять, к чему такая спешка. Тогда Селиндер показал мне еще один след. За песцом, тащившим капкан, шел другой. Несколько километров мы мчались как угорелые и наконец увидели пустой капкан, кровь на снегу, клочки шерсти… Селиндер положил в ловушку рыбу. На следующий день мы нашли в капкане крупного белоснежного песца с красными подошвами. Защищая свою жизнь, он пытался укусить Селиндера за руку. Прежде чем отдать ободранного песца собакам, Селиндер вспорол ему брюхо. Мы убедились, что это именно тот самый зверь, который накануне разделался с собратом. Желудок песца был полон белой шерсти. Селиндер забыл вчерашнюю утрату и радовался новой добыче — много денег дадут за шкуру. Побольше бы таких пришельцев!

Краснолапых песцов гонит белый голод. Очень много снега выпало в этом году, и мороз сильней, чем обычно. Замерзли не только озера и реки, толстым слоем льда покрыто море — не достать ни рыбы, ни тюленя, ни моржа. Остались одни полярные мыши, белые куропатки да редкие зайчишки. Но и те уходят в глубь материка, туда, где есть хоть какая-нибудь растительность, хоть какая-нибудь пища. За ними движутся песцы. А за песцами — человек.

Позавчера мы подстрелили куропатку. Я хотел подобрать добычу, но Селиндер остановил меня: «Пусть лежит. Приманка будет». Даже поглядеть не разрешил. «Запах оставишь». Вчера куропатки уже не было, одни перья остались на снегу. Селиндер поставил на этом месте капкан. «Где зверь однажды полакомился, туда снова заглянет».

Сейчас мы едем проверять этот капкан. По очереди сползаем с нарт и бежим рядом — все собакам полегче. От них, бедняг, так и валит пар, лохматые шкуры покрыты инеем.

— Гляди! — Селиндер указывает рукой на снег.

Я напряженно всматриваюсь и начинаю различать едва заметные следы песца. Пришел с той же стороны, что и вчера. Мы движемся вдоль цепочки следов, но песец, неизвестно почему, не добежав нескольких метров до капкана, свернул в сторону.

Селиндер заглядывает в капкан: горностай, уже закоченевший.

— Вытащи его, а капкан брось на нарты.

Обычно он сам достает добычу из ловушки, а тут почему-то старается даже не смотреть на зверька. Я не могу понять, отчего он злится. Из-за того, что не поймал песца? Так ведь горностай — тоже добыча. Оказывается, дело совсем в другом. Охотник ни за что не прикоснется к этому зверьку, тем более не станет сам сдирать с него шкуру. Запах у горностая такой сильный, что ни один песец не подойдет к ловушке, если ее ставил охотник, прикасавшийся к горностаю. Там, где появился горностай, песца уже не жди. Горностай смертельный враг песца. Неважно, что песец раз в десять больше и сильней горностая. Если им случится схватиться, песец всегда окажется побежденным. Маленький, ловкий хищник вцепляется песцу в нос мертвой хваткой, избавиться от него песец не в силах, а если даже и удастся ему как-нибудь стряхнуть горностая, без носа зверь все равно не жилец — околеет через несколько дней. Тут горностай до него и доберется. Не удивительно, что наш песец, едва почуяв горностая, метнулся в сторону и унес от Селиндера свою ценную шкурку. День прибывает вовсю. Солнце подымается, все выше и все дольше висит в небе. Только рассвет по-прежнему медлителен, нетороплив. День становится длиннее, ночь короче, но мы все равно никак не успеваем управиться с делами засветло. Всякий раз выезжаем из чума на заре, а возвращаемся уже при тусклом холодном свете звезд.

Селиндер распрягает измученных собак, я несу в чум капканы и окаменевшего горностая. Зверька принимает у меня младшая дочка Селиндера, засовывает себе под малицу, чтобы согреть. Хозяйка берет капкан и сует в печку. Он обгорит, полежит несколько дней на морозе и снова станет пригодным для охоты на песца.

Мы неторопливо ужинаем, едим горячую уху, в которой плавают громадные ломти осетра, а потом пьем чай, почти кипяток, потому что тело жаждет тепла. Нужно запастись теплом на всю долгую ночь.

Укладываемся на шкурах и со всех сторон подтыкаем покрывала. Тепло. Даже жарко. В чуме все спят, а я лежу с открытыми глазами, смотрю сквозь дыру в потолке на звезды и

чувствую, как меня охватывает грусть. Вспыхивает и гаснет северное сияние… Откуда она, эта проклятая грусть? Ведь я живу среди добрых и мужественных людей и не сижу сложа руки. Неужели я так соскучился по дому, по милой моей Литве? А может, это оттого, что я чувствую себя здесь всего лишь гостем, человеком случайным? Ведь этот чум никогда не станет для меня настоящим домом… А тогда зачем я здесь, в этом пустынном, ледяном краю? К чему мои скитания и поиски? Может, то, что я делаю, ненужно и несерьезно? Не поджидают ли меня холодные объятья одиночества?..

— Завтра будет талара, — говорит Селиндер. — Поедешь?

Конечно, поеду. Что за вопрос! Кто же согласится сидеть в чуме, когда идет большая охота!

Под вечер Селиндер пригнал из тундры оленей, попотчевал их хлебом и привязал, чтобы не разбрелись. Мы долго сидели за обжигающим губы чаем — неизвестно, когда теперь доведется его пить. Жена Селиндера тоже едет с нами: чем больше людей, тем лучше. Женщина собирает припасы в дорогу — укладывает на нарты громадного осетра, кусок мороженой оленины, несколько горстей соли в кожаном мешочке. Накрывает все мягкой оленьей шкурой и стягивает веревками. Вернувшись в чум, она снимает с печки жестянку с табаком. Ненцы жуют табак. Приготавливается он так: обычный табак растирают в порошок и размешивают в воде. Когда получившаяся кашица застынет, ее колют на кусочки. Самим есть чем побаловаться и гостю поднести можно. Хозяйка ссыпает табак в кожаный кисет. Сборы закончены.

Выезжаем ночью. Горит северное сияние. Оно никогда не надоедает, сколько на него ни смотри, — наверно, потому, что постоянно меняется — будто кто-то поворачивает гигантский калейдоскоп. В небе складываются цветные ромбы, квадраты, вот они вытягиваются в прямые линии, а те, в свою очередь, превращаются в зеленые морские волны, потом одна яркая лента опоясывает небосвод, и вдруг сказочный дракон, извиваясь, ползет по небу и пожирает звезды. Никогда не надоедает мне смотреть на северное сияние, в любую минуту оно прекрасно и неповторимо.

Мы едем уже почти четыре часа, и все время нас сопровождает дивная игра красок. Но вот они бледнеют, исчезают. Позади сто километров. Олени выносят нарты к двум чумам. Здесь уже собралась добрая дюжина упряжек. Я опять не могу сдержать своего восхищения: как удается ненцам находить самый короткий путь среди равнины, на которой нет ни холмика, ни деревца? Они едут так уверенно, будто между затерянными в

снегах чумами натянуты одним им видимые нити.

Заходим в чум. Мужчины и женщины пьют чай и разговаривают. Едва заметным кивком головы сидящие приветствуют вновь прибывших. Никакого шума, никаких излияний радости по поводу встречи. Будто эти люди только вчера расстались, будто они каждый день встречаются. Одежда на всех праздничная — расшитые узорами шубы, пестрые варежки, нарядные торбаса. Степенные, солидные мужчины напоминают мне героев прочитанных в детстве книг об индейцах. Ненцы и внешне чем-то похожи на индейцев: орлиный нос, плотно сжатые губы, открытый взгляд, но главное — эта неповторимая манера держаться, умение владеть собой, постоянная невозмутимость. Один из мужчин, высокий, широкоплечий, пилит мороженого осетра. Пилит пилой, как бревно, и на землю падают белые опилки. Потом он строгает отпиленную часть и ставит угощение на стол. Каждый несет все, что у него есть. Наша рыба и оленина тоже попадают на стол. Едят все медленно, не торопясь. Степенные и гордые люди.

Высокого, того, что пилил рыбу, зовут Лаба — Лаба Худи. Я мысленно прибавляю к его имени букву «с», потом спрашиваю, не будет ли он возражать, если я стану называть его по-своему — Лабас?[7] Он улыбается. Ему лестно, что мне нравится его имя и что оно известно даже на краю света. (А мы-то считаем, что край света именно здесь!)

Еще в Салехарде я слышал много разговоров и проектов касательно того, что пора-де ненцам кончать кочевую жизнь. Когда кругом такая цивилизация…

— Не выйдет ничего, — веско говорит Лабас Худи.

— Отчего не выйдет?

— Видал ты, чтобы рыба жила на дереве?

Я прекрасно понимаю смысл этой аллегории, однако продолжаю упрямо настаивать:

— Нет, ты скажи, почему ненец не может жить в хорошем доме?

В самом деле, почему бы совхозу не выстроить для оленеводческих бригад настоящие дома с электричеством, водопроводом и прочими современными удобствами?

Мой собеседник молчит, только слегка улыбается. Нет ничего вызывающего в его улыбке, он и не думает, конечно, обидеть собеседника, но меня задевает это снисходительное молчание. Так обращаются с ребенком, который болтает чепуху, пристает с такими вопросами, на которые взрослому уже надоело отвечать. Я принимаюсь с жаром доказывать, что рано или поздно ненцам все равно придется расстаться с кочевьем и перейти к оседлому

образу жизни.

— А оленей куда девать? — не выдерживает Лабас Худи. — Скажи, куда? У нас на участке двадцать тысяч оленей. Всех резать будем?

— Зачем же… Олени нужны…

— А пока нужны олени, до тех пор нужны и люди, которые их пасут, охраняют от волков, верно?

— Ну да.

— Оленей ведь в хлев не загонишь — они сами добывают себе корм. Но зато и кочуют с места на место, тысячи километров за год проделывают.. Чем олень кормится? Ягелем! А ты знаешь, как этот ягель растет? То-то и оно, что не знаешь. За семь лет на один миллиметр вырастает. Вот и кочуем за оленями по всей тундре. Где же, по-твоему, хорошие дома строить?

— В поселке!

— А кто в нем жить будет?

— Семьи.

— Выходит, семьи будут в домах жить, а мужчины годами не увидят ни жен, ни детей, будут в тундре кочевать за оленями, рыбу ловить, охотиться. Такую жизнь ты нам хочешь предложить?

— А если построить удобные переносные дома на колесах или полозьях?

Лабас Худи снова снисходительно улыбается:

— Летом в тундре даже трактор не пройдет. Как же дом передвигать? А сколько транспорта понадобится, а?

И он поведал мне историю, которая в свое время немало позабавила здешних жителей. Некий ученый муж, задавшись благородной целью облегчить быт кочующих по тундре ненцев, создал модель усовершенствованного чума. В городе изобретение понравилось, говорят, автору даже премию дали. Привезли чум в тундру, попробовали поставить. Оказалось, одной семье никак с этим делом не справиться — ни собрать, ни разобрать: рук не хватает. А для того, чтоб перевезти чудо техники на другое место, полтора десятка нарт понадобилось. Зато обычный ненецкий чум, придуманный и усовершенствованный далекими прадедами, каждый может собрать и разобрать, а перевозят его на двух-трех нартах.

— Наша работа сделала нас самыми свободными людьми на свете, но и привязала так, что ни днем, ни ночью от себя не отпускает, — уже без улыбки говорит Лабас Худи.

— Ну, а если работать посменно? Месяц одни пасут стада, месяц — другие. Я слышал, якутские оленеводы испытывают такой метод.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво отвечает Лабас Худи. —

Ведь бригады за оленями на сто, и на двести, и на триста километров уходят. Сколько же времени потребуется, чтобы туда-обратно обернуться? Да и все равно это дела не меняет: будут те же кочевники, только с месячным перерывом. А что касается охотников и рыбаков, так их работа вовсе никаких смен не признает!..

Что я могу ему возразить? Может быть, стоит пересмотреть наше отношение к кочевому образу жизни? Прежде я воспринимал слово «кочевник» как синоним страшной отсталости, чуть ли не полудикого существования. Теперь я сижу с кочевником в кочевом чуме и вынужден совсем по-иному взглянуть на положение вещей. Я вспоминаю, что и в городских условиях приходится, к сожалению, сталкиваться порой с отсталостью и невежеством. В то же время здесь, в тундре, я встретил столько умных и прекрасных людей. И после, в Салехарде, я уже не очень удивлялся тому, что, несмотря на всевозможные планы, все-таки нет торопливости в переводе ненцев на оседлый образ жизни.

Несколько лет назад группе ненцев-колхозников предложили переселиться в тайгу. Топлива там сколько угодно — экономить дрова уже не придется, а в тепле люди и жить будут по-другому. К тому же, для оленей полно всякого корма, не то что в тундре — один несчастный ягель. Перевезли несколько семей. Надеялись, что добрый пример первых переселенцев привлечет остальных. Однако не прошло и трех месяцев, как вся затея с треском провалилась: кочевники вернулись в родную тундру, покинув тайгу с ее щедрым теплом и всеми остальными благами. Оказывается, ненцы, без труда ориентирующиеся в тундре в любую погоду, на новом месте начали плутать. То и дело они сбивались с дороги и только по собственным следам кое-как находили свой дом. Вместо осетрины им приходилось есть, точно собакам, щук да ершей. А бедные олени никак не могли сообразить, что мох нужно собирать с деревьев, а не выкапывать из-под снега. Собаки тоже заскучали без сушеного лосося.

— А для ненца три вещи святы, — говорит Лабас Худи и, поочередно загибая сильные, загрубевшие от работы пальцы, перечисляет: — Ребенок, олень, собака.

Я и сам успел это заметить. Взаимоотношения родителей и детей, больших и маленьких, строятся здесь на особой философии, для нас не совсем понятной и приемлемой, но основанной, без сомнения, на самых гуманных принципах. Ненцы никогда не бьют детей. Простой, неученый кочевник никогда не поднимет руку на ребенка — неважно, своего или чужого. Я не раз видел, как родители не отказывали ребятам в куреве или

даже капле спирта, разбавленного водой. Возможно, это объясняется тем, что все члены семьи равны — каждый занят нелегким трудом на благо всей семьи. И дети трудятся здесь с малых лет. Бутуз, которому всего-то несколько лет от роду, запрягает в саночки собаку и, глядишь, уже катит к речке собирать хворост. В жиденьких кустах не много наберешь, да еще в самый мороз. Работа не легкая, тем более что печка так и жрет это жалкое топливо.

Чрезвычайно заботливо относятся ненцы к своим главным помощникам — собакам и оленям. Вот и теперь возле Лабаса Худи лежит крупный лохматый пес, и хозяин не гонит его из чума.

— Приболел, — говорит Лабас Худи голосом, полным искренней озабоченности и печали.

Хозяин гладит собаку, подсовывает ей лакомый кусочек.

Наконец Лабас Худи встает:

— Пора!

Мы покидаем согретый жаром печки и нашим дыханием чум. Ленивый рассвет гасит звезды на небе. До восхода солнца еще несколько часов. Рассветы стали особенно долгими. Это оттого, что солнце уже не уходит далеко за горизонт, каждый день оно все раньше показывается и опускается все позже. Скоро совсем перестанет прятаться, в течение нескольких месяцев будет беспрерывно кружить и кружить над тундрой.

Оленьи упряжки одна за другой веером разъезжаются по тундре. Я волнуюсь, боюсь, что не сумею выдержать положенной дистанции — нельзя слишком приближаться к нартам Селиндера, но и отставать тоже не годится. Я слежу за удаляющимися нартами, пока они не превращаются в тонкую черточку на снегу, потом перевожу взгляд на отпечатки копыт и полозьев. Я должен держаться справа от этого следа. Тот, кто поедет за мной, будет забирать еще правей, следующий — еще правей. Головные упряжки удаляются друг от друга, но вскоре они повернут, сблизятся и поведут за собой остальные нарты, образуя в тундре гигантский загон. Постепенно мы начнем сжимать кольцо, приближаться друг к другу, и самые лучшие охотники, самые меткие стрелки войдут в круг бить песца.

А пока что мы с бешеной скоростью несемся по тундре. Кромка солнца показывается над землей, и снег сразу становится ослепительно белым. Теперь я вижу все нарты. Вот Селиндер направляет своих оленей прямо в центр круга. Обернувшись, он машет мне рукой. Повинуясь этому жесту, я тоже сворачиваю. Начинается своеобразный праздник с весьма оригинальными танцами на снегу. Руки охотников нелепо взлетают, тундра

наполняется отчаянным криком. Вдруг я вижу, что на меня летят две белые молнии. Они явно рассчитывают улизнуть в промежуток между нашими нартами. Из груди у меня вырывается устрашающий вопль, а руки сами собой взлетают кверху. Две белые молнии застывают на мгновение, превращаются в двух роскошных песцов, потом, оглушенные моим криком, шарахаются в сторону и вот уже мчатся обратно, в центр круга. Вдруг один, перекувырнувшись в воздухе, падает на снег. Лишь через секунду доносится короткий треск выстрела.

Стая белых куропаток, ошалело хлопая крыльями, спешит убраться из гибельного круга. На птиц никто не обращает внимания, сейчас не до них. Песцы мечутся между нартами в надежде унести от охотников свою дорогую шкуру. Изредка раздается выстрел. Крики становятся все азартнее. Намотав на руку поводья и увлекая за собой оленей, люди устремляются в круг. Какой-то песец стремглав бросается прямо на моего соседа. Тот пинком швыряет зверя в снег и хочет схватить голыми руками, но хитрец уже пришел в себя, понял, что вырвался из оцепления, и несется со всех ног в глубь тундры.

Мужчины собирают добычу, укладывают в ряд. Мертвые песцы скалят свои хищные зубы. Люди недовольны результатами охоты — шкуры отличные, но слишком их мало. Обычно охотники в один заезд берут несколько десятков песцов. Иной раз оказывается и больше сотни. А что это за добыча — восемь штук?!

Помрачневшие охотники советуются, решают еще раз попытать счастья. Мы снова разбиваемся на две группы и долго мчимся по тундре, растянувшись цепочкой. Все повторяется сначала. На этот раз добыча еще беднее — шесть песцов. В кругу оказывается заяц-беляк, но его пропускают без выстрела.

Короткий день гаснет, и мы поворачиваем обратно, к чумам. Всю дорогу нарты мчатся, словно хотят обогнать друг друга. Я думаю об удивительной способности живого существа приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям. Чем, к примеру, жив заяц в этой мертвой белой пустыне, где лишь изредка увидишь пробившуюся из-под снега верхушку куста? Чем живы лемминги — полярные мыши, которыми кормятся песцы? Ну, леммингам, допустим, проще — они разрывают снег и добираются до растительности. А как устраивается человек? Он не преследует песцов ни тогда, когда они уходят за мышами на юг, ни тогда, когда они возвращаются весной к себе, на север. Человек разгадал загадки природы, понял взаимосвязь явлений, он знает, что его добыча никуда не денется и в свое время непременно, с юга ли, с севера, но сама придет в руки. В этом сила человека.

К чумам мы подъезжаем уже ночью, при свете звезд. Никто не спешит по домам, хотя многим предстоит дальняя дорога. И в чумы никто не заходит. Все взоры обращены к двум мужчинам. Те берут кожаный плетеный ремешок и направляются к одинокому оленю, привязанному к остову сломанных нарт. Снег поскрипывает под торбасами. Мужчины становятся по обе стороны оленя, один из них обматывает шею животного ремешком и перебрасывает свободный конец товарищу. Тот вскрикивает негромко и хрипло, и оба сразу натягивают удавку. Животное вскидывает голову, пытается взвиться на дыбы, но тут же теряет силы. Будто ноги его были надувными, резиновыми, — вышел из них воздух, и они сразу обмякли, не в силах удержать тяжелое тело.

— Зачем? — спрашиваю я.

— Есть будем, — говорит Селиндер.

— Почему не зарезали?

— Кровь жалко.

Загорается северное сияние — длинная волнистая полоса, словно колеблемая ветром лента. Низ ее оторочен зеленой бахромой и напоминает волосы сказочной феи или морские травы, которые колышутся, ни на минуту не останавливаясь, в неспокойной воде.

Мужчины снимают с оленя шкуру, одним взмахом ножа вспарывают брюхо, внутренности бросают собакам, а печень кладут на шкуру. Освежеванная туша лежит на спине, задрав все четыре ноги к цветному небу.

Селиндер берет меня за локоть:

— Идем!

Все тесным кругом обступают оленя. В спокойном морозном воздухе пахнет свежатиной, приторно сладкой кровью. Над оленем дрожит облачко пара, будто животное по-прежнему дышит и никак не может отдышаться после долгого, утомительного бега.

Кто-то выносит из чума чашку. Селиндер сует ее мне, в руки:

— Начинай.

Я догадываюсь, что должен зачерпнуть чашку крови и выпить. Трудно решиться.

— Начинай, — повторяет Селиндер.

Десятки глаз смотрят на меня испытующе и нетерпеливо. Я нагибаюсь, зачерпываю немного густой черной жидкости. В ноздри ударяет сладковатый запах. Едва пригубив, передаю чашку Селиндеру. Он хочет что-то сказать мне, но Лабас Худи успевает прикрикнуть на него, и Селиндер оставляет меня в покое. Сам он проворно склоняется над оленем, набирает полную

чашку крови и глоток за глотком осушает. Сосуд переходит из рук в руки. Мне становится не по себе, хотя в детстве я не раз видел, как люди пьют свежую кровь, когда режут свиней. Перед рождеством в ясные морозные утра со дворов каунасских предместий по всей округе разносился душераздирающий визг.

На Севере человеку не хватает витаминов. Многие малые народности жестоко страдают от цинги — страшной болезни, которая нередко оставляет без зубов даже молодых людей. Ненцы тоже годами не видят ни овощей, ни фруктов, если не считать растущих в тундре ягод, а тем не менее могут похвастаться здоровыми белыми зубами. Этим они обязаны опыту своих предков. Ненцы испокон веков едят сырую рыбу и мясо и дорожат каждой каплей свежей крови.

Покончив с кровью, люди принимаются за оленину. Прежде всего исчезает печень. Это лакомство. Затем мужчины начинают отрезать куски мяса, макают их в остатки крови и, смакуя, отправляют в рот. Я тоже проглатываю несколько ломтиков, круто посолив предварительно. Голод не тетка, а человек так устроен, что постепенно ко всему привыкает.

Ненцы о чем-то оживленно спорят. Лабас Худи говорит, что речь идет о дележе добычи. Обычно делят выручку по количеству нарт, но охотники не знают, как поступить со мной. Пока шкуры не проданы, нельзя узнать, во сколько их оценят.

— Мне ничего не надо, — говорю я.

Однако мои слова вызывают новые споры. Наконец к моим ногам кладут твердого, как полено, песца. Представив, что мне придется отогревать его под малицей и самому сдирать шкуру, я снова принимаюсь убеждать, что мне ничего не надо. Но меня уже не слушают. Вопрос решен, и решен бесповоротно.

Непослушными зубами я жую сырую оленину и думаю: вернее всего, мне никогда больше не доведется побывать в этом уголке земли, никогда уже не придется участвовать в таларе — этой удивительной охоте, а потом стоять под полыхающим небом перед грудой свежего мяса… Следующее поколение, вероятно, вообще не застанет ничего подобного, ибо ничто не вечно, все имеет свое начало и свой конец, все изменяется, движется вперед даже в таких отдаленных от городской цивилизации углах.

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ПОДРУГА

Антипаюта — небольшой поселок на берегу Тазовской губы. Я живу здесь несколько дней и успел все обойти и осмотреть — несколько десятков жилых домов, магазин, столовую, школу-

интернат, метеостанцию. В летную погоду сюда наведываются небольшие ярко-красные самолеты полярной авиации. Только они да телеграф связывают Антипаюту с остальным миром. Вокруг поселка, отступя на километр — то ли стесняясь общества поселковых домов, то ли, наоборот, гордясь своим обособленным положением и самостоятельностью, — по тундре разбросаны чумы.

Я сижу в жарко натопленной комнатке и смотрю сквозь оттаявшее окно во двор, где по сугробам носятся лохматые псы. Сергей курит, растянувшись на раскладушке. Курит и рассказывает. Слова расплываются по комнате, заполняя каждый уголок, проникая во все щели. Мне кажется, я вдыхаю их вместе с дымом сигареты…

— — — —

Сергей вдруг замолкает.

Я поворачиваюсь к нему. Он по-прежнему лежит на раскладушке, в одной руке дымится сигарета, ладонь другой касается пола, глаза прищурены.

— Сережа! — окликаю я, стараясь вывести его из задумчивости.

— А? — не шевелясь, отзывается он.

Я не могу понять, отчего он вдруг замолчал и переменился. Наконец он говорит:

— Вильнюс был сильно разрушен, и кое-кто там сильно нас не любил.

— Приезжай к нам теперь.

— Отстроили Вильнюс? — он смотрит на меня и улыбается. Я чувствую за этим вопросом другой, невысказанный.

— Не узнаешь город, — отвечаю я и тоже улыбаюсь.

— Это хорошо, — говорит он. На этот раз уже серьезно.

— — — —

— По мне, так можно и ехать, но… — не договорив, Селиндер смотрит на меня.

— Поехали, — говорю я, памятуя, что на Севере ни над кем так не смеются, как над трусом.

Здесь понимают и ценят осторожность, пусть даже и чрезмерную порой, но трусов презирают. Для ненцев трусость такой же порок, как жадность. Жадного человека ненавидят, слух о нем разносится по всей бескрайней тундре, никто никогда не направит своих оленей или собак к его чуму, он обречен на постоянное одиночество. Кстати сказать, тому, кто незнаком со здешними понятиями и обычаями, прослыть скупердяем и трусом нетрудно. Так что лучше уж пойти на риск, даже если и не чувствуешь в душе избытка храбрости.

Мы едем.

Сергей Лобанов прилетел в Антипаюту по своим делам. Он — председатель районного комитета народного контроля, и хлопот у него хватает. Однако, узнав в Антипаютской школе-интернате, что один из учеников не вернулся после зимних каникул, он заказал нарты, и вот мы едем в затерявшийся где-то на краю света чум.

Как и повсюду в нашей стране, здесь обязательное восьмилетнее обучение. Каждый год, перед началом занятий, в тундру отправляются люди, которые собирают по одиноким чумам мальчиков и девочек школьного возраста. На моторных лодках или верхом на оленях детей доставляют в заранее условленное место, а потом на самолетах переправляют в поселки, где находятся школы-интернаты. Эти довольно сложные экспедиции требуют больших средств и тщательной подготовки. Было время, когда ненцы наотрез отказывались отпускать детей в интернаты. Нелегко было убедить родителей, что с ребятами не случится ничего плохого, доказать, что ученье необходимо и ненцу, вечно живущему в тундре. На все уговоры родители знай свое твердили: «Школа не научит ни охотиться, ни ухаживать за оленями. Этому я сам научу своих детей. Так зачем им школа?» Трудно, очень трудно было сломать лед недоверия. Теперь положение изменилось. Многие ненцы, живя в интернате, окончили восьмилетку, а пример — лучший агитатор. Но и поныне встречаются люди, которые и слышать не хотят ни о каких школах, прячут детей, отправляя их далеко в тундру. По-моему, консерватизм этот объясняется спецификой труда ненцев, который связан с кочевой, отшельнической жизнью. Многие семьи все еще держат крупные стада оленей и обычно поручают смотреть за ними подросткам. Чем больше у семьи оленей, тем меньше у детей возможности приобщиться к образованию; чем

богаче родители, тем хуже детям. Парадокс? Возможно. Однако люди, которых это непосредственно затрагивает, меньше всего об этом думают.

За годы советской власти ненцы, как и все народы советского Севера, совершили бросок через целые столетия. Они как бы оттолкнулись одной ногой от патриархально-родового уклада жизни, а другую поставили уже в социализм, миновав не только капитализм, но и феодальный и рабовладельческий строй. Это поистине головокружительный скачок, и не всякий может его осмыслить, надлежащим образом использовать то новое, что принес в этот край социализм. Правда, есть вещи, которые приняты всеми без исключения, северяне быстро освоили их и пользуются ими так, словно иначе и быть не может. Прежде всего это касается таких достижений цивилизации, как радио, авиация. Тут к ним прибегают и стар и млад. По радиотелефону связываются за сотни километров, а в случае надобности — садятся в самолет и летят в любое место. Примерно так же вошло в быт и медицинское обслуживание. Правда, некоторые еще долго относились к врачу с недоверием — сказывалось вековое владычество шаманов. Мне рассказали, как всего месяц тому назад один ненец выбил окна больницы, когда соседи доставили из тундры и положили рожать в больницу его беременную жену. Есть еще люди, которые одной ногой стоят в сегодняшнем дне, а другой увязли в прошлом. Такие и на учебу смотрят, как на ненужную выдумку. Не легко здесь учителям, работникам народного просвещения. И поэтому я искренне восхищаюсь их благородным трудом, их настойчивостью и достигнутыми результатами. Ведь до революции в этом крае было всего три начальных школы. И учились в них только дети царских чиновников да купцов. Ненцы были неграмотными. А сегодня на каждую тысячу жителей Ямало-Ненецкого национального округа приходится одиннадцать человек с высшим и двадцать девять со средним образованием! Это поистине головокружительный скачок. Сейчас в округе около семидесяти средних и восьмилетних школ, в Салехарде открыты педагогическое и медицинское училища. Учится там не только ненецкая, но и молодежь других национальностей. Однако для будущих педагогов, какой бы национальности они ни были, обязательно изучение ненецкого языка, чтобы молодые специалисты могли успешно нести свои знания в отдаленнейшие уголки округа, где абсолютное большинство учащихся — дети ненцев.

Ужасно хочется спать. Каждый раз перед тем, как отправиться в путешествие на оленях, я стараюсь вдоволь отоспаться. Сплю

столько, что потом не могу уже смотреть на подушку — как объевшийся на еду. Но и это не помогает. Достаточно просидеть на нартах несколько часов, и уже клюешь носом. Это кислородный голод. Здесь, как и повсюду в Заполярье, не хватает кислорода. Вот так, в полудреме, и путешествуешь. Теперь я уже не боюсь свалиться с нарт — привык, научился и во сне не терять ощущения реальности: слышу стук копыт, свист ветра, чувствую, как немеют руки, вцепившиеся в кожаный ремень, которым привязано наше имущество…

Неизвестно откуда взявшись, лохматые псы обступают нарты, лают, носятся, оскалив зубы, и все норовят цапнуть за ногу. Я поджимаю под себя закутанные в мех ноги и едва не падаю с нарт. Просыпаюсь. Действительно, лают собаки, но они стоят возле одинокого чума и вовсе не думают приближаться: им и дела нет до моих ног.

Мы привязываем оленей и лезем в чум.

Две женщины шьют меховую обувь. В больших иглах незаменимая дратва — оленьи сухожилия. Обувь сносится, но никогда не распорется по шву. Оторвавшись от работы, женщины смотрят на нас, а потом бросаются к печке, раздувают погасший огонек, ставят чайник. С мехового ложа подымается пожилой ненец. Мы здороваемся, заводим разговор. Хозяин не словоохотлив. Оглядев нас троих, он опускает голову — видно, понимает, какое дело привело в его чум гостей. Наверно, поэтому Михаил говорит без обиняков:

— Приехали за твоим сыном. В школу ему надо.

— Нету, — разводит руками хозяин.

— Почему не хочешь, чтобы ребенок учился?

— Хочу. Он сам не хочет.

— Где сын?

— Нету.

— Не тяни время. Говори, где мальчик.

— Нету.

— Где же он?

— В тундре.

— С оленями?

— Да.

— Где именно?

— Тундра большая. Где олени, и он там.

— А где сейчас олени?

— В тундре.

— Хочешь, чтобы сын рос неучем?

— Почему неучем? Охотиться умеет, нартами править умеет…

— Мы приехали, чтобы забрать мальчика.

— Нету.

Хозяин разводит руками, и снова начинается сказка про белого бычка.

Лобанов жестом успокаивает Селиндера — не спеши, не горячись, брат. Мы пьем чай, заводим речь о посторонних вещах, но разговор не клеится.

Мы вспоминаем про бутылку спирта. Захватили ее с собой на всякий случай, но в дороге она не пригодилась, зато, кажется, поможет нам тут, в устланном шкурами чуме, где ни мороз, ни вьюга не страшны. После второй стопки хозяин уже дружелюбнее поглядывает на нас и сам пытается объяснить, в чем дело.

— Был я в Салехарде, видел — там люди по-другому живут, им без школы не обойтись. А тут зачем человеку зря годы терять? Читать, писать и считать мой сын умеет. И будет с него. Пусть за оленями смотрит. Это тоже не каждый умеет.

Сергей пытается его переубедить:

— Ты небось и не знаешь, какие способности у твоего парня. В школе говорят — замечательная голова! Должен дальше учиться. Кончит восемь классов, мы его в десятилетку определим, а там в Ленинград поедет, институт окончит. Он инженером или ученым может стать, а ты его к оленям привязать хочешь.

Хозяин молчит и смотрит себе под ноги. Трудно сказать, о чем он думает.

Меня, сказать но правде, даже зло берет, глядя на этого человека, я злюсь не столько на него, сколько на его упрямство и нежелание думать о том, что дети уже не будут жить так, как он, что им уже не хватит тех знаний, которых было достаточно ему… Ведь для детей ненцев, как и других малых народов Севера, в нашей стране созданы великолепнейшие условия. Как только малыш появляется на свет, государство берет его на полное попечение. А что это значит? Это — бесплатные детские ясли и детсад, бесплатная одежда, питание, даже игрушки. Затем — бесплатное обучение, бесплатное содержание в интернате, бесплатные книги, тетради, учебники, снова и снова бесплатная одежда, обувь… Государство, как заботливая мать, ухаживает за этими детьми и стремится лишь к одному — чтобы они выросли просвещенными людьми. С этой целью в Ленинграде основан специальный Институт народов Севера. Получил среднее образование — пожалуйста, поезжай в Ленинград, учись дальше. И опять же все бесплатно, опять государство-мать и одевает и обувает, и покупает все учебные принадлежности, и еще стипендию платит. А ты, человек, только знай учись, подымайся к свету, к солнцу… А он вот сидит себе, смотрит под ноги и

молчит, как будто полон рот воды набрал. Почему он не хочет воспользоваться этими правами? Меня в самом деле зло берет.

— Говоришь, профессором будет? — наконец спрашивает ненец, повернувшись к Лобанову.

— Может статься, и профессором.

— А кто оленя пасти будет, рыбу ловить, на песца охотиться кто будет? — снова спрашивает хозяин и, как бы читая наши мысли, добавляет: — Я стар, мне жить недолго осталось, а он у меня один сын — единственный мужчина в чуме. Он профессором будет, а они что делать будут? — он кивает на женщин и маленькую девочку, которая спала, когда мы пришли, но проснулась, разбуженная голосами. — Хочешь, чтоб они голодали? — снова спрашивает хозяин, не дождавшись ответа на свои вопросы.

Мы молчим, тут и впрямь не легко ответить. Один только Селиндер не сдается.

— Ладно. Пусть не будет профессором, но восемь классов надо окончить, — заявляет он напрямик.

— Не поедет, — так же прямо заявляет хозяин и неожиданно предлагает: — Берите девочку.

— Ей сколько лет?

— Шесть скоро.

В школы-интернаты ребят берут шести-семи лет, и маленькую Урчук — так зовут эту кроху — повезут в Антипаюту лишь в конце лета, через полгода. А впрочем, почему бы и не сейчас? Тем более что мальчика нам все равно, видно, не заполучить. Да и самой Урчук будет веселее там, среди сверстниц, нежели в этом одиноком чуме.

Девочка понимает, что разговор о ней. Она с любопытством таращит на нас черные блестящие глазенки, а потом дергает за рукав сидящую рядом женщину и шепотом спрашивает о чем-то. Мать гладит девочку по волосам и долго говорит ей что-то по-ненецки. Я роюсь по карманам — где-то были конфеты. Вынимаю несколько конфет, протягиваю на ладони, зову Урчук подойти ближе. Девочка смотрит на мать и, ободренная ее кивком, подходит ко мне. Но сговориться нам очень трудно: я ни слова не знаю по-ненецки, а она — всего несколько слов по-русски. Я достаю из карманов разные мелочи, показываю их Урчук, дарю ей зеркальце, авторучку. Мать не спускает с нас обоих взгляда, ее глаза блестят от слез, но она сдерживается и говорит мне:

— Погладь ее.

Я провожу рукой по гладким черным волосам Урчук и вижу — мать довольна, лицо сияет, словно женщина проделала какой-то эксперимент, который убедил ее, что девочку отдают в

хорошие руки. А маленькая Урчук тоже показывает мне свое доброе сердце — встает и, порывшись в груде шкур, приносит узелок, отдаленно напоминающий тряпичную куклу. Протягивает обеими руками эту, должно быть, единственную свою игрушку, а мать говорит:

— Берите. Это — подарок.

Я знаю, что подарка не принять нельзя, если не хочешь обидеть того, кто дарит. Беру куклу и всячески стараюсь показать Урчук, как я рад.

— —

— Я из тебя сделаю человека! — кричал отец, таская мальчишку за ухо. — Сделаю человека из тебя!

Проходивший мимо сосед остановился и спросил:

— Что случилось?

— Понимаешь, вчера купил ему лопатку, а сегодня ее уже нет. Променял на какую-то, прошу прощения, дрянь… — Отец показал какую-то железяку непонятного назначения.

— Ребенок, он и есть ребенок, — сказал сосед.

— Ничего дорогого, ничего святого для него нет! Что вынесет — пиши пропало! Марш домой, болван!

Он гнал сына перед собой, и по двору еще долго разносилось ничего доброго не сулящее малышу обещание:

— Я из тебя сделаю человека!

И в тот же день — другой случай.

Вдоль ограды нашего двора пожилая женщина сажала вишни. Жильцы стали возмущаться — гляньте, какая ушлая! Ишь какой сад задумала разбить! Детям повернуться негде будет.

Женщина молча сажала вишни. Потом не выдержала:

— Я не для себя сажаю. — Тыльной стороной кисти смахнула волосы с лица. — Соберу ребят со всего двора, подарю каждому по деревцу — пусть выращивают…

Соседи только плечами пожали — смотрите, какие чудаки еще встречаются в наше время.

А я знал, что у женщины, которая сажала вишни, есть и свои дети. Что с того, если они уже взрослые, разве с годами материнская любовь слабеет?

— —

Урчук тепло одевают, Михаил усаживает девочку на свои нарты, привязывает на всякий случай, и мы пускаемся в путь.

Три темные неподвижные фигуры долго стоят возле одинокого чума. Изредка они подымают руки и машут вслед удаляющимся нартам, но маленькая Урчук не замечает этого —

она глядит вперед. Встречный ветер сечет лицо, я вижу, что девочка морщится, щурится, но не отворачивается. Узкие глазенки упрямо смотрят вперед, словно девочка старается увидеть свое будущее.

После поездки к одинокому чуму, откуда мы привезли в Антипаюту маленькую Урчук, началась наша дружба с Михаилом Селиндером. Михаил работает заготовщиком пушнины. Его контора помещается в малюсеньком, состоящем всего из одной комнаты, домике. В углу — железная печь и несколько чурбаков, чтобы гости могли присесть. Широкий прилавок делит комнату надвое. За прилавком неизменно стоит Михаил. Стены и потолок у него за спиной увешаны шкурами песцов, горностаев, полярных волков. Есть тут и мокасины с высокими голенищами из оленьего меха. Их иногда покупают охотники, доставившие сюда из тундры дорогую добычу — пушнину. Живу я в избе Павла Чауса, завхоза рыболовецкого участка, на самом краю поселка. Школа-интернат находится на другом конце, и, направляясь навестить Урчук, я всегда заглядываю к Селиндеру — обогреться, перебросится несколькими словами, выпить чаю, а потом уже двигаюсь дальше.

Вот и сейчас я вхожу в контору. На прилавке перед Михаилом несколько песцовых шкур. Два ненца стоят, навалившись на прилавок, и невозмутимо наблюдают за руками Михаила, которые ощупывают шкурку, встряхивают, опять ощупывают. Впечатление такое, будто Михаил надеется найти в шкуре иголку или еще какую-то крохотную, одному ему известную вещицу. Наконец он берет следующую шкурку. Вся процедура повторяется сначала. Охотники не произносят ни слова, только переступят иногда с ноги на ногу и опять застынут, невозмутимые и торжественные. Ничего не говорят они и тогда, когда Михаил, оценив шкуры, выписывает квитанции и выплачивает им деньги — больше трехсот рублей за восемь шкур.

— Может, и больше стоят, однако не хочу переплачивать, — говорит Селиндер. — В Салехарде точную цену скажут, окажутся дороже — получите разницу.

Теперь, когда деловая часть окончена, ненцы оживают и пускаются в разговор. Полученной суммой они довольны, обиженными себя не чувствуют. Я думаю о том прошлом, когда в этих краях орудовали купцы и за песцовую шкуру охотник получал пачку чаю, фунт соли или бутылку водки.

Несомненно, одно из самых важных явлений, которые принесла на Север советская власть, это — справедливость. Наверно, нет для человека ничего более обидного, чем несправедливое отношение к его труду и несправедливая плата за

этот труд. Селиндер знает, что ни один рубль охотника не пропадет, люди получат именно столько, сколько стоят добытые ими шкуры. К каждой шкуре прикалывается табличка с номером и фамилией охотника. А когда в Салехарде окончательно установят сорт и стоимость меха, на имя охотника прибудет денежный перевод — разница между выплаченной Селиндером суммой и действительной стоимостью шкурки. Хорошо зарабатывают охотники. По две, по три тысячи рублей за сезон, а некоторые и больше. Но ведь они не только охотой промышляют. Как правило, все оленеводы — в то же время и охотники. А уход за оленями оплачивается очень высоко. Семья ежемесячно получает по четыреста — пятьсот рублей, в зависимости от количества закрепленных за ней оленей.

Охотники уходят, мы с Михаилом остаемся одни. С ним приятно поговорить — он начитан, развит, хорошо знает родную тундру. Но сегодня мне не до разговоров: я тороплюсь к Урчук и зашел к Селиндеру за советом. С моей маленькой приятельницей творится что-то странное. Воспитательница сказала, что вчера Урчук целый день ничего не ела и как тень бродила из угла в угол. Вечером я зашел поглядеть, как она спит. Все девочки спокойно спали, а постель Урчук была пуста. Свернувшись комочком и зажав ладони между колен, малышка лежала на холодном полу рядом с кроватью. Я поднял ее, положил на постель, накрыл одеялом, но через несколько минут она его сбила, соскользнула, не открывая глаз, на пол и свернулась клубочком.

Видя мою растерянность, воспитательница попыталась меня успокоить:

— Первое время со всеми ребятами так, потом привыкают.

Однако я решил посоветоваться с Селиндером.

— Ничего страшного, — говорит он, выслушав меня. — В постели ей действительно слишком жарко. Ведь в комнатах плюсовая температура. Вот Урчук и ищет бессознательно местечка похолодней. Мы, ненцы, не избалованы теплом.

Селиндер не кончил ни одного класса даже начальной школы, однако в его речи масса специальных терминов, международных слов, и, надо сказать, пользуется он ими правильно, употребляет именно там, где следует. Вот и сейчас он хочет произнести целую речь, но мне некогда, я спешу к своей подшефной.

Урчук застаю в школьном коридоре среди весело гомонящих ребятишек. Все они кажутся мне очень похожими друг на друга, но Урчук отличается от остальных — маленькая, слабая, она еще не привыкла к новой обстановке, глаза горят любопытством.

Завидев меня, Урчук оставляет товарищей, подбегает, прижимает ко мне голову, и я глажу ее пушистые после мытья волосы. Глажу, как в первый раз, там, в тундре, в ее родном чуме.

Учительница хлопает в ладоши, зовет ребят в класс. Я иду вместе со всеми, сажусь в угол. Мне интересно наблюдать первые шаги Урчук на трудном пути учебы.

Ненецкие дети начинают учиться не с первого класса, а с приготовительного, который называется «нулевкой». Почти все они попадают в интернат с очень ограниченным запасом существительных. Это и понятно. Ребятишки не так уж много видели в одиноко разбросанных по тундре чумах: суровая природа, немногочисленная утварь, все те же олени, собаки, нарты, сети и все те же разговоры о повседневных делах и заботах. Очень многие имена существительные, которые известны другим детям с младенческих дней, ничего не говорят ненцам, остаются для них бессмысленным набором звуков. Поэтому уроки в нулевке превращаются в своеобразную демонстрацию различных вещей. Каждую букву здесь изучают с помощью наглядных пособий, и учитель приносит с собой всевозможные предметы домашнего обихода, не говоря уже об альбомах с рисунками и фотографиями.

Сегодня на учительском столе — чучело филина, поношенная фуфайка, потертый футляр от скрипки, желтый футбольный мяч. Сегодня ребята выучат несколько слов, которые начинаются на букву «ф». Сначала они все вместе, громким хором несколько раз повторяют по слогам названия предметов, а затем учительница вызывает учеников по одному. Маленькой Урчук никак не дается этот трудный звук — у нее все время выходит не «ф», а «в». Девочка старается, даже бусинки пота выступают у нее на лбу. Голос тоненький, похожий на мышиный писк… Учительница терпеливо объясняет, показывает ей, как сложить губы, как выдохнуть злополучное «ф». Наконец Урчук это удается, и учительница оставляет ее в покое. Моя маленькая подруга смотрит на меня сияющими от радости глазами.

— — — —

усилий пожилого человека. Но, по-видимому, сам он думал иначе, потому и начал весь разговор сначала:

— Я спрашиваю: неужто вы среднюю школу кончили только для того, чтобы заниматься таким нехорошим делом?

— Образование у нас обязательное. Закон такой, товарищ начальник, — ответила черноглазая и сокрушенно вздохнула, как будто во всех грехах виноват закон о всеобуче.

— Как же вы дальше жить будете?

— На то начальство есть. Пусть начальство и думает, как нам жить, — ответила черноглазая, и подружки снова переглянулись. И снова я увидел скачущих чертиков в их глазах, словно все здесь происходящее было не более чем забавной игрой.

— Идите, — сказал начальник.

Девицы — точь-в-точь средневековые благородные дамы — отвесили по реверансу и выкатились за дверь. Из коридора донеслось их веселое фырканье.

— Что делать? — развел руками начальник, и я не понял: то ли он размышляет вслух, то ли спрашивает совета. — Что делать? Тунеядки. Их сюда перевоспитываться прислали, а они ведут себя по-старому. Куда мне их выслать? Разве что в какую-нибудь Антипаюту.

— — — —

Потом мы с Урчук отправляемся обедать, и я вижу, как много нового узнала она за эти дни: аккуратно завязывает фартук, правильно держит ложку, хоть суп и стекает с нее обратно в тарелку, берет хлеб кончиками пальцев, вот только все еще носом шмыгает, и воспитательница напоминает о платочке, забытом в кармане куртки. Но ест Урчук без аппетита. Похоже, перед ней не ароматный суп, а какое-то противное лекарство, — зажмурясь, отправляет его в рот и еще долго не решается проглотить. Вспомнив совет Михаила, я прошу воспитательницу отпустить Урчук погулять со мной.

— Сейчас я сдам свою смену, и, думаю, вы сможете идти, — говорит она.

Подобная «сдача смены» кажется мне весьма странной: новая воспитательница тщательно пересчитывает детей. К чему эта формальность?

— Нет, — объясняет воспитательница, — мы отвечаем за каждого ребенка. А дети разные. Один чувствует себя здесь как рыба в воде, а другого тоска по дому и родным гонит в тундру. Никому не сказавшись, такой малыш иногда бросает все и дает тягу. Всякое бывало с беглецами: кого тут же ловили, кого настигали только на второй, на третий день за несколько десятков километров. А один побег закончился трагически. Никто не заметил с вечера, что исчезла десятилетняя девочка, хватились только на следующее утро. Был конец мая, но тундра в эту пору еще лежит под снегом, по ночам морозы. Беглянку нашли в пятидесяти километрах, замерзшей насмерть. Воспитательницу судили. Вот с того раза мы и пересчитываем ребят, принимая смену.

Я покрепче сжимаю в варежке руку Урчук, словно опасаясь, что девочка каким-то чудом исчезнет, испарится. По снежной целине направляемся туда, где возле добротного деревянного дома приютился крытый шкурами чум. Урчук показывает на него, спрашивает:

— Туда?

— Туда, — говорю я и замечаю, как загораются глаза моей приятельницы.

Она о чем-то рассказывает, лепечет, но я ничего не могу понять: по-русски лишь несколько слов, все остальное — по-ненецки.

В одном месте наш путь пересекает цепочка отпечатанных на снегу крестиков. Урчук, нагнувшись, рассматривает их и снова щебечет что-то на родном языке, размахивая руками. Очевидно, уверяет меня, что можно поймать белых куропаток — вот следы! Только жаль, не из чего силки связать. Она оглядывается по

сторонам и все время ойкает: ой, какая жалость! Ой, поймала бы их, да не из чего петли сделать!.. Не знаю, сколько бы она там простояла, если бы я ее не увел.

Михаил Селиндер пьет горячий чай. Он, должно быть, уже успел обо всем рассказать жене, потому что пожилая ненка, увидев нас, тут же выходит и возвращается с мороженой нельмой и куском сырой оленины в руках. Я все время слежу за Урчук и вижу, как жадно вбирает она запахи чума, как нежно прижимается к шкурам, устилающим пол, как блестят ее глаза и как она глотает слюну при виде мороженой рыбы и мяса. Михаил нарезает все это тоненькими ломтиками и предлагает Урчук. Весело и грустно смотреть, как маленькая моя приятельница принимается за еду. Селиндер что-то говорит, и Урчук, не переставая жевать, часто-часто моргает и кивает головой.

— Я сказал, она всегда может прийти и всегда получит сырой рыбы и мяса, — поясняет мне Михаил.

— А почему их лишают этого в интернатской столовой?

— Не разрешается, — говорит он. — Медслужба запрещает. Однако потихоньку даем. Еще никому из наших детей не повредили сырое мясо и рыба. Скорее, наоборот.

(Потом, уже вернувшись в Салехард, я разговаривал на эту тему с товарищами из окружкома партии, и они подтвердили слова Михаила Селиндера: действительно, несмотря на запрещение медиков, почти во всех школах-интернатах детям время от времени дают строганину. Партийные работники смотрят на это нарушение инструкции сквозь пальцы. Официальных циркуляров о том, конечно, не рассылают, тем не менее устно даже поощряют за это директоров, завхозов, поваров, и, по-моему, правильно делают. Инструкция на всю страну, на все школы-интернаты одна. Но если где-нибудь на юге, там, где безжалостно печет солнце и чуть не круглый год стоит жара, употреблять в пищу сырое мясо более чем рискованно, то здесь, на Крайнем Севере, это только на пользу детям ненцев. А что касается требований санитарии, — никто не станет есть мясо больного животного, а тем более не дадут его детям.)

Пока Урчук ест, Селиндер рассказывает о себе. Он, Михаил Селиндер, давно оставил чум и перебрался в избу из толстых бревен. Он — первый в этих местах ненец, покинувший чум и переехавший в новое жилье. Приезжают из тундры ненцы — непременно заходят к нему домой, обязательно пощупают мягкую мебель, отведают вареной еды, а кое-кто и ночевать останется. И задумываются люди и немного ему завидуют. Не избе, не мягким постелям и печи, на которой можно варить еду, а пятерым ребятишкам. Пятеро малышей носятся по дому Селиндера.

Видать, хорошее дело эта изба, эти мягкие постели, даже и эта кирпичная громадина печь тоже, видать, хорошая штука, если у Селиндеров под этой крышей пятеро детей, и все растут, все здоровы.

— Все учиться будут, — говорит Михаил. — В Ленинграде есть Институт народов Севера — пускай едут. Ненецкой земле нужны просвещенные люди.

Он замолкает, глаза сосредоточенно смотрят в одну точку. Я сперва решаю, что он задумался, но через минуту замечаю его шевелящиеся губы и, зная, что Селиндер ни в бога, ни в черта не верит, поворачиваюсь в ту же сторону, и все становится ясно: у стены лежит клочок газеты. Я вспоминаю, как однажды мы ехали на нартах и чертовски замерзли, а потом остановились перекусить. Я передал Михаилу бутылку спирта, завернутую в газетный лист. Он тут же углубился в чтение (хотя газета была старая) и читал долго, обо всем позабыв. Когда у меня иссякло терпение и я что-то сказал, он, не подымая головы от помятого газетного листа, вернул мне бутылку. Теперь он так же жадно пожирает глазами клочок газеты, лежащий у стены, и мне думается, что если даже этот человек смертельно заболеет и ему принесут завернутое в газету лекарство, то первым делом он, должно быть, прочтет газету.

Догорает короткий зимний день. Мы с Михаилом провожаем Урчук и расходимся по домам.

Мои хозяева — Павел Чаус и его жена Таисия — не первый десяток лет живут на Севере. Скоро оба выйдут на пенсию, а все никак не договорятся, где им жить тогда — на Украине, родине мужа, или же на берегу Лены, в Киренске, откуда родом жена. Год назад мне довелось побывать в Киренске, и по вечерам Таисия расспрашивает меня о родных местах, которых она не видела много-много лет. Чаусы — люди добрые, отзывчивые и безмерно радушные. Как бы поздно я ни вернулся, на горячей плите поет чайник, меня ждет большая миска ароматной, наваристой ухи из осетра, какой нигде больше не отведаешь, а хозяин, глядишь, и отыщет чего-нибудь еще к ухе в известном ему одному тайничке. Вечерничаем мы долго, до полуночи, иной раз прихватывая еще часок-другой от нового дня.

И сегодня засиделись. Втроем. Их дочка Светлана давно уже спит, а мы все разговариваем, потому что эта ночь — последняя. Завтра я улетаю из Антипаюты, и кто знает, доведется ли еще когда-нибудь свидеться. Скорее всего — нет. Я кладу на стол яркие стеклянные бусы и прошу:

— Передайте Урчук.

— Завтра?

— Нет. Когда увидите, что девочка скучает, — тогда отдайте ей и скажите, что от меня.

— Сделаем, — говорит старый Чаус и, помолчав, обращается к жене: — Глянь-ка, Света спит?

— Знаешь ведь, что спит.

— А ты погляди.

Таисия идет в спальню и сразу возвращается.

— Спит.

Чаус кивает и поворачивается ко мне:

— Вы знаете, что Светлана не дочь нам?

Я смотрю на хозяина во все глаза и не понимаю, всерьез он говорит или шутит.

— Правду говорю, — убеждает Чаус.

— Правда, — подтверждает жена.

Свете не было и двух лет, когда родная мать бросила ее на произвол судьбы. Чаусы приютили девочку, удочерили, а ту женщину суд лишил материнских прав. Вот пожелтевшие страницы газеты, в которой писали об этом, а вот и документы об удочерении. Все эти бумаги Чаус извлекает из глубокого тайника.

— Чтоб Света не наткнулась, — говорит он.

— Она ничего не знает?

— Нет. Вот мы и думаем, не перебраться ли нам отсюда побыстрее, не дожидаясь пенсии, хоть и остался до нее всего год…

— Вы много потеряете…

— Бог с ними, с этими деньгами. Главное, чтобы Свете не нашептали лишнего.

— А разве кто-нибудь знает?

— То-то и оно, что знают. Ляпнут слово, а девчонка переживать потом будет. Испортят жизнь ребенку.

— — — —

— Что? Куда?

— Одевайся, — повторил он.

Жена оделась, и они вышли.

Стояли под дождем, смотрели в широкое, ярко освещенное окно магазина. Человек направился не к хлебному отделу, а к напиткам, сунул в карман бутылку дешевого вина…

Была весна. Свежие листья показались на деревьях. И у нас во дворе молодые липы расправляли почки. Люди выходили из своих квартир, вдыхали запах оттаявшей земли и часами смотрели, как дети строят замки из песка.

Он стоял в окружении соседей и рассказывал:

— Понимаете, я дал ему рубль… Как не дать, если человек потратился и не на что купить хлеба? Пожалуйста, бери. На хлеб не жалко. Но что-то мне показалось подозрительным, и мы с супругой пошли за ним. Сказать по чести, я не так уж и удивился, когда увидел, что он берет не хлеб, а вино. Знаете, есть такое вино, противное, как чернила. Ну и мерзавец, подумал я. «Значит, тебе выпить надо было, а не на хлеб?» — спрашиваю. А он нагло так отвечает: «Скажи я правду, ты бы мне и этого драного рубля не дал, ведь ты у нас — человек гуманный». С того дня мы с супругой на нем крест поставили… Не знаемся…

Он умолк. Люди глядели в сторону, на детей, что строили песочные замки. Никто не смотрел на рассказчика. Самое странное, что мы просто не могли смотреть в глаза друг другу, и никто не хотел хотя бы нечаянно встретить взгляд соседа.

— — — —

— Как хотите, но только это совсем другое дело.

Голос старого Чауса звучит суховато, и я думаю, как трудно иногда бывает сговориться людям, пускай даже нет у них никаких разногласий и все полны наилучших намерений.

Каждый раз, когда приходит время расставаться с Севером и возвращаться домой, я тяжело переживаю эту разлуку, потому что очень остро чувствую, сколь малую частицу этого необъятного края успел узнать. Прощаюсь с Севером и уже думаю, что опять придется сюда вернуться. Ведь Север — понятие очень широкое. И север северу не ровня. Там, где-то гораздо восточнее, эскимосы и чукчи на своих легких, обтянутых тюленьими шкурами лодках выходят в океан и охотятся на кита; где-то на просторах Магаданской области люди моют золото; в навеки промерзшей Якутской земле собирают алмазы; где-то устремляются к небу трубы рудников и заводов Норильска… Наверно, я чертовски жадный человек, но ничего не поделаешь — очень хочется своими глазами повидать, своими ногами исходить весь наш Север, такой сложный, богатый и разный.

Теперь я познакомился с севером Ямало-Ненецкого национального округа — краем оленеводов, охотников и рыбаков. Кончается мое время. Неправда, что время всегда работает на нас. Я чувствую сейчас, что время — мой враг. Вернее, не само время, а его безостановочное, безжалостно уносящее все с собой течение.

Несколько часов полета, и нагруженный мешками рыбы самолет опустился в районном центре Тазовске.

Тазовск — районный центр. Еще несколько десятилетий назад здесь не было ни одного дома и лишь случайно забредшие оленеводы, охотники или рыбаки разбивали в этих местах свои чумы. Но они уходили кочевыми дорогами, и тундра снова оставалась безлюдной, голой. Правда, тут она несколько всхолмлена, на этих небольших холмах и растет теперь Тазовск. Городом его не назовешь, но важным населенным пунктом в необозримой тундре — безусловно. Ненцы приезжают сюда так же, как, допустим, литовские крестьяне из деревни приезжают в большой город, где их все удивляет — и размеры домов, и обилие машин. Тазовские дома сложены из толстых, обычно даже нетесаных бревен, на весь поселок только несколько двухэтажных зданий, однако и они повергают в изумление ненцев, не видавших на своем веку ничего, кроме чумов. Здесь большая школа, интернат, детские сады и ясли, гостиница, Дом культуры, магазины.

Один из магазинов особенно заслуживает внимания, потому что является в то же время и школой торговых кадров. Здесь

порядок, продавщицы — молодые девушки — обходительны; тут можно выпить чашку горячего кофе или какао и закусить свежими, душистыми булочками, которые выпекаются по специальному заказу магазина. Словом, такой магазин сделал бы честь даже большому городу. Более того. Торговые работники наших городов могут многому поучиться здесь. Особенно качеству обслуживания, неизменно сопровождаемого такой сердечной улыбкой… Есть в Тазовске и рыбокомбинат. Ненецкий край исстари славится отличной рыбой, какой не найдешь нигде в другом месте. Здесь ловится не только осетр, но и самые вкусные лососевые — нельма, муксун. Рыбная промышленность развивается быстро. Тазовский и Салехардский рыбокомбинаты ежегодно производят более десяти миллионов банок рыбных консервов. А до чего хорош лосось, которого коптят на этих предприятиях!

Правда, несмотря на то, что все это находится за Полярным кругом и построено совсем недавно, вряд ли стоило бы писать о Тазовске, так как ничего особенного тут нет: нам известны куда более крупные новостройки, и мы привыкли не удивляться. Однако о Тазовске непременно надо писать, писать ради его будущего.

Первый секретарь райкома партии Бороздич — человек обаятельный, душевный и по-настоящему мыслящий. Работает здесь пятый год. Бороздич не хвалится тем, что сделано, он глядит вперед, и ему кажется, что все идет не так быстро и не так хорошо, как надо бы. Мне нравится в нем эта черта, я понимаю, что здесь нужны люди с размахом, фантазией и умением смотреть лет на десять — двадцать вперед. По-моему, в здешних условиях эти человеческие свойства нужнее, чем где бы то ни было.

Как я уже говорил, Тазовск растет на небольших холмах, разбросанных вдоль берега реки Таз. Кругом ровная как ладонь тундра. Во время весенних паводков она превращается в самое настоящее море — трудно найти клочок сухой земли. Попасть сюда и выбраться отсюда в такую пору можно только при помощи вертолета.

Чего-чего, а воображения у секретаря райкома достаточно: я уже вижу, как на окрестных холмах поднимаются небоскребы из стекла и стали, город стремительно растет вверх и накрывается куполом из стеклопластика, который свободно пропускает солнечные лучи и не дает доступа морозам, свирепым ветрам и метелям; под этим куполом поддерживается постоянный микроклимат, цветут субтропические растения, зреют фрукты, круглый год в бассейнах плещется детвора… Фантастика? Пустые

мечты? Ничего подобного! Норильск — крупный город, а его жители между тем планируют создание такого колпака с благоприятным для человека микроклиматом. Так почему же тазовчанам не думать об этом? А пока что, конечно, хвастаться трудно: работают в самые сильные морозы, строят деревянные дома… Откуда лесоматериалы? Издалека. За тысячу километров, в нетронутой тайге, специально откомандированные люди круглый год валят лесные гиганты, доставляют волоком к реке, а когда Таз сбрасывает лед, вяжут плоты и сплавляют их сюда. И на стройку, и на топливо.

Четыре сотни лет назад этот край был знаменит — люди знали морской путь в город Мангазею, где проходили шумные ярмарки и купцы грузили свои корабли «мягким золотом» — драгоценными северными мехами. Сейчас нет такого города. От него не осталось никаких следов — голая, пустынная тундра. Мне так и не удалось разузнать, при каких обстоятельствах исчезла Мангазея.

Ныне этому краю суждено возродиться: здесь обнаружены колоссальные запасы природного газа. Они так велики, что исчисляются не миллионами или миллиардами, а триллионами кубометров!

А сколько еще неисследованных площадей, сколько неизвестных богатств кроется под этой голой, пустынной тундрой.

Я посетил один из поселков нефте- и газоискателей, побывал на буровых вышках и понял, какое великое будущее у этого края. К сожалению, недостаток времени и громадные расстояния не дали мне возможности подробнее и глубже познакомиться со всем, что здесь делается. Но даже и то, что я видел, произвело на меня неизгладимое впечатление. Мне захотелось написать отдельную книгу о покорении Севера. Вернуться когда-нибудь в эти края, подольше пожить с людьми и потом рассказать о них, ибо все, что здесь происходит, — настоящий подвиг. В этой бескрайней тундре человек впервые делает такое, о чем прежде не приходилось и мечтать. Я видел, как у одной из скважин люди укрощали вырвавшуюся из глубин воду, смешанную с нефтью. Эту скважину пробурили для того, чтобы определить контуры месторождения, а также подсчитать, насколько богато подземное море газа. Две недели боролись люди с необузданным потоком. Я наблюдал только полдня из этой борьбы, видел, как бьющая к небу струя воды падала на землю уже льдом, видел, как одежда людей за несколько минут покрывалась ледяной коркой, которая ломалась и звенела, точно стеклянная, видел, как белели на морозе руки мужчин, как через каждые полчаса они бегали

сменить одежду, а на их место становились другие, видел, как росла у скважины ледяная гора, как люди скалывали ее, как пытались во что бы то ни стало забрать отверстие арматурой и как им это не удавалось, потому что работали они, можно сказать, голыми руками. Все моторы были выключены, так как малейшая искра в насыщенном газом воздухе могла бы вызвать пожар. А что такое пожар на нефтяных и газовых промыслах, представляет себе каждый… Две недели — днем и ночью — люди боролись со стихией и победили.

Я хотел бы написать книгу, чтобы подробно рассказать об этих людях всей стране.

Я хотел бы рассказать о пилотах-вертолетчиках, о водителях вездеходов, о трактористах, о людях смелой, пытливой мысли — инженерах, ищущих новые, нехоженые пути. Я видел, как на мощных вертолетах доставляются гигантские стальные трубы, как пилоты спасают застрявшие в снегу тракторы — просто поднимают их и переносят на другое место, где тверже грунт. Здесь я понял, почему советские геологи считаются во всем мире непревзойденными разведчиками земных недр и почему столько стран обращается к ним за помощью: они не только отважны и настойчивы, но обладают еще и высокой квалификацией, прекрасно знают свое дело.

Я спрашиваю у секретаря райкома Бороздича, овладевает ли ненецкая молодежь новыми специальностями, которым принадлежит будущее.

— Трудно, очень трудно убедить людей, которые всем сердцем привязаны к охоте, рыболовству, привыкли кочевать по тундре…

— —

Мы сидели в кабинете начальника Антипаютского рыболовецкого участка. Молодой ненец вошел в комнату и остановился у двери. Начальник спросил, кто он и по какому делу. Посетитель назвал свою фамилию, и начальник долго чесал в затылке, пока не вспомнил:

— Так я ж тебя еще три месяца назад вызывал, в начале ноября! Где ты был?

— В тундре.

— Тебе передали, что я звал?

— Ага.

— Где ж ты был до сих пор?

— В тундре.

— Почему не приехал?

— Приехал.

— Почему раньше не приехал?

— План.

— Какой план?

— План пушнины.

— Раз я сказал — надо ехать.

— План. Капканы поставлены…

— Снять надо было капканы и ехать.

— Снимешь — песца не поймаешь.

Начальник вздохнул — умаялся. Потом сказал миролюбиво:

— Хотим взять тебя на стройку. Согласен?

Ненец молчал.

— Поезжай, снимешь капканы и через пять дней вернешься. Будешь работать на строительстве, хорошо?

Ненец по-прежнему молчал.

— Пять дней достаточно?

Юноша кивнул.

— Так будем ждать!

— — — —

Примечания

1

Тоска.

2

Заря. Это имя в Туве можно встретить как у женщин, так и мужчин. — *Прим. автора.*

З

Дзукия — южная часть Литвы.

4

Торбаса — сапоги с длинными голенищами из оленьей шкуры, мягкие и теплые, — незаменимая обувь на Севере.

5

Камчадалами называют старожилов Камчатки. Чаще всего это метисы, потомки смешанных браков европейцев и представителей местных национальностей.

6

Юкола — высушенная на солнце рыба, основная и, можно сказать, единственная пища собак.

Лабас — добро, благо.